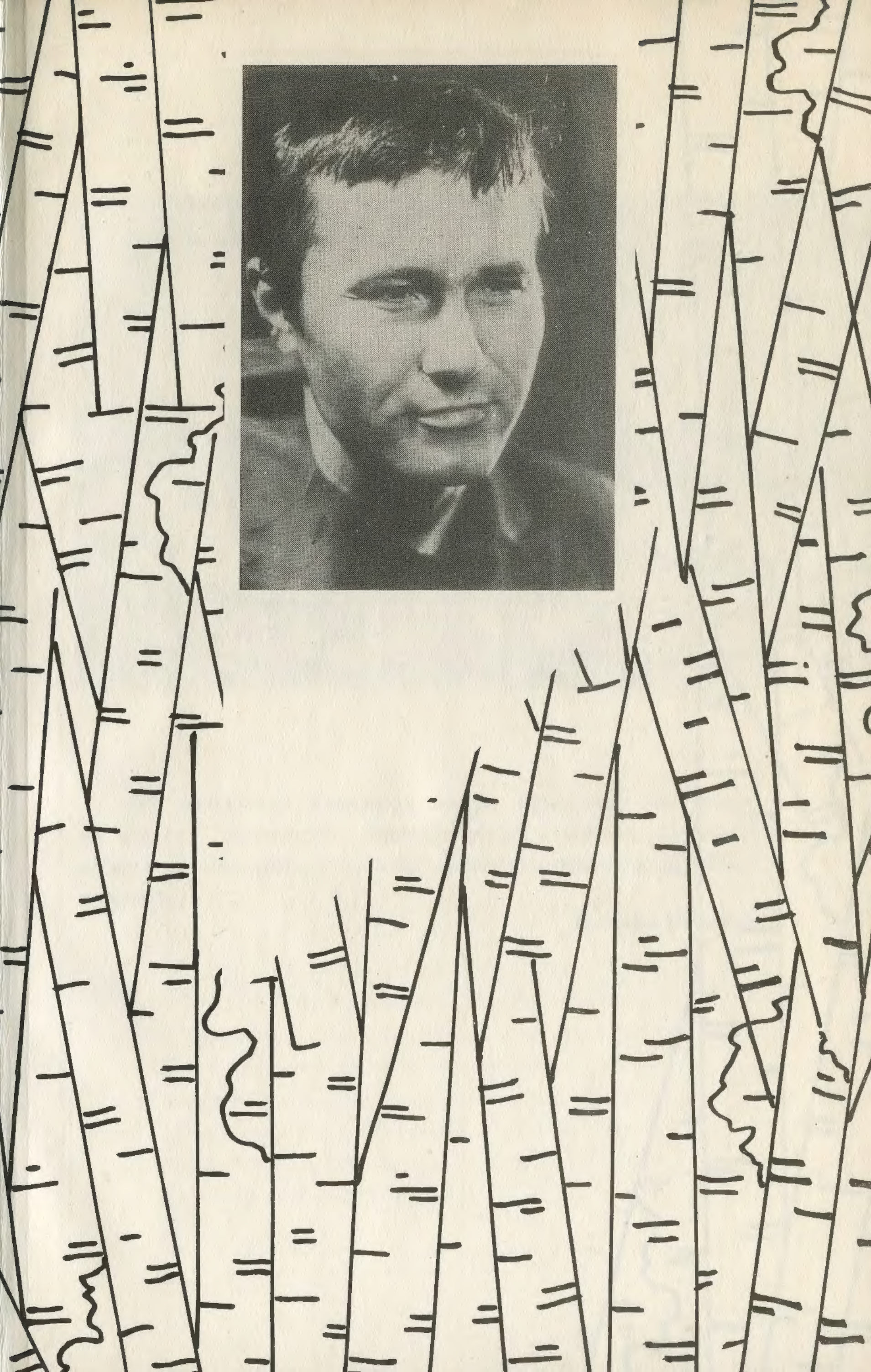
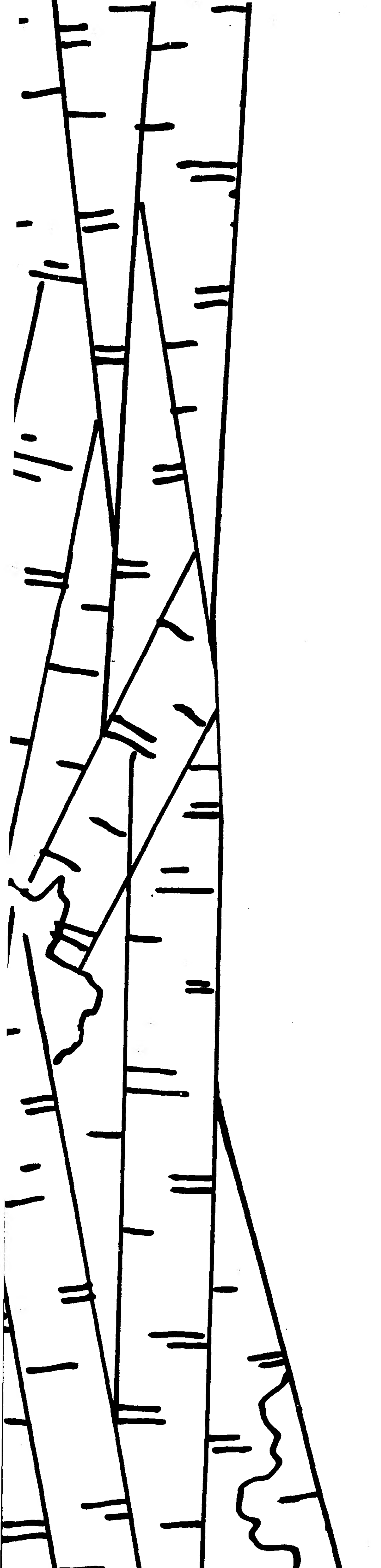
ВАСИЛИЙ
ШУКШИН

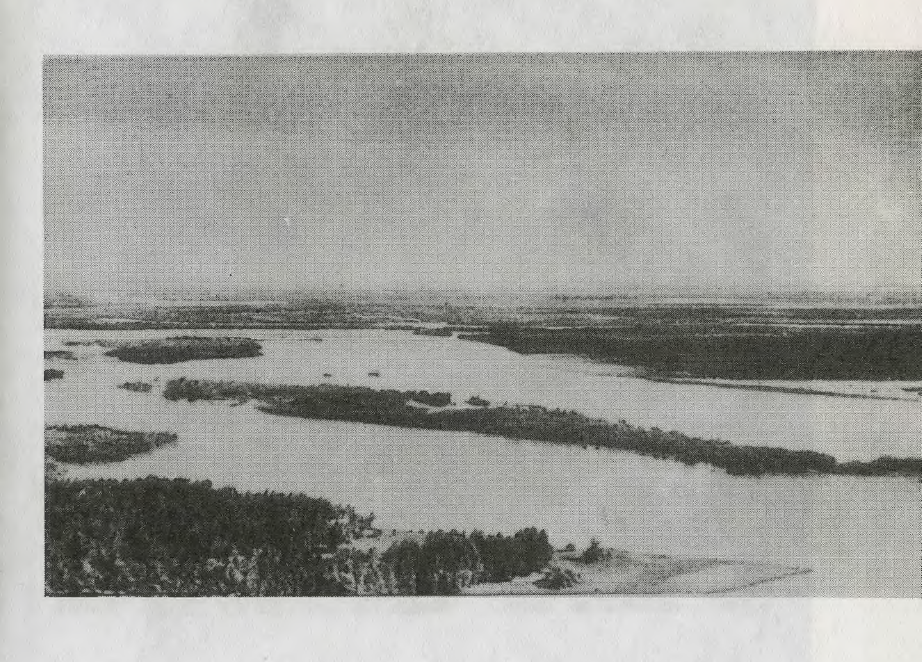








К 70-летию
со дня рождения
Василия Шукшина



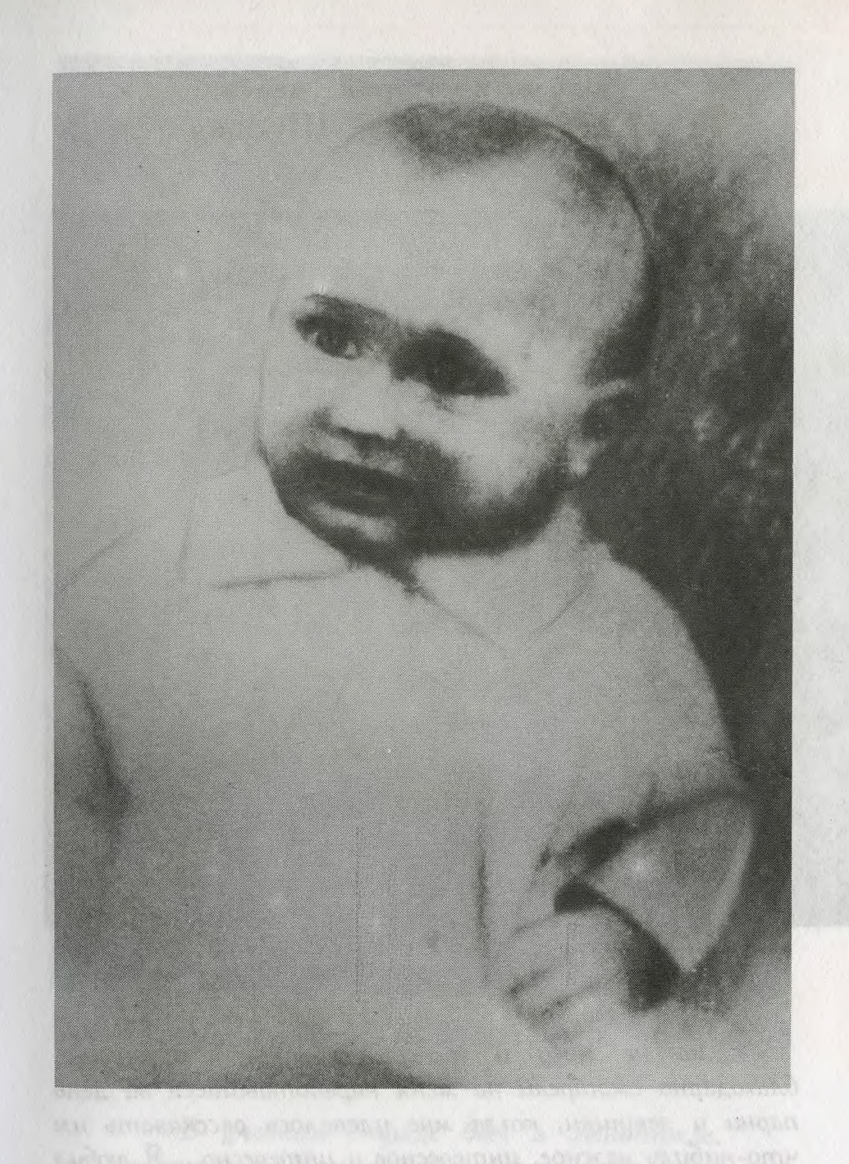
«И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, к которой нужно прикоснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови...»

Василий Шукшин



«Мария Сергеевна оставалась человеком небольшой грамоты, но душа ее была развита высоко и сильно сама по себе, от природы и от своего народа. Она была чуткой к слову, к песне, к картине, к любому искусству, и не только чуткой, но и способной к нему. Это было вполне очевидно, это были не необыкновенные, ни в ком более неповторимые задатки, которые она передала своему сыну».

Сергей Залыгин



«Частенько сельчане мне говорили: "Ну что ты, Мария, генерала, что ль, хочешь вырастить из него?" — "Выше", — отшучивалась от них я.

25 января 1930 г.

Школа, в которой учился и учительствовал В. Шукшин



«...но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное и интересно... Я любил их в такие минуты. И в глубине души не без гордости и счастья верил — вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье...»

Василий Шукшин



«В учебном отряде был в Ленинграде, служил на Черном море, в Севастополе. Воинское звание — старший матрос; специальность — радист».

Из автобиографии В. Шукшина



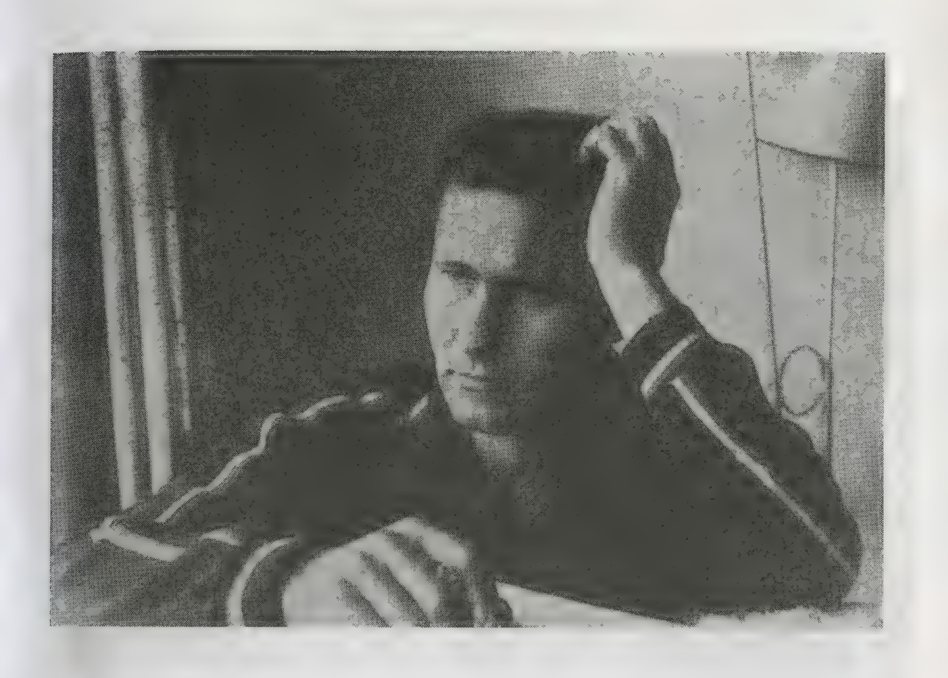
70-летие
М И РОММА



3е творческое объединение
„Мосфильм" - 1971.

«Рассказы свои посылай во все редакции веером. Придут обратно — меняй местами — и снова. Я в свое время сам с этого начинал».

Михаил Ильич Ромм



«Так я и сделал. График составил, чтобы не перепутать. Первым откликнулся журнал "Смена"».

Из автобиографии В. Шукшина

Первая главная роль



«Главную роль отдал Шукшину, потому что почувствовал его индивидуальность, которая была выражена и лицом, и голосом, и жестом».

Марлен Хуциев,
режиссер-постановщик фильма «Два Федора»

«Живет такой парень» — первый самостоятельный фильм Шукшина-режиссера



«В своем фильме я хотел рассказать о хорошем добром парне, который как бы "развозит" на своем газике доброту людям. Он не знает, как она нужна им, он желает это потому, что добрый запас его души большой и просит выхода».

Василий Шукшин

Премьера пьесы «Энергичные люди» в ленинградском Большом драматическом театре





Только в первые дни после смерти Василия Шукшина в Москву, в его квартиру, в комитет кинематографии пришло свыше ста шестидесяти тысяч писем. На его могиле на Новодевичьем кладбище среди цветов и кистей красной калины можно было увидеть открытки, листки из тетрадей, блокнотов со словами прощания и горького недоумения.



Именем Шукшина названы улицы в селе Сростки, в г. Барнауле, сростинская средняя школа, Центральная библиотека в городе Бийске, библиотека в г. Волгограде, станице Мелоголовской, пассажирский теплоход Обского речного пароходства, сухогруз Дунайского речного пароходства, ледник на горе Белухе в Алтайском крае, малая планета, открытая астрономом Черных. Во ВГИКе учреждена стипендия им. В. Шукшина.



«Как ценил он людей,
Как любил,
Жаль — как любят его —
Не увидит».

Леонид Чикин



«Я всегда гадал, на что он похож обликом своим, характером, талантом. И только сейчас здесь понял: он похож на свою родину... Я совершенно счастлив, что попал на эту землю, низко кланяюсь ей за то, что она подарила миру такой удивительный талант».

Виктор Астафьев



«Когда меня спрашивают, каким был Шукшин, я отвечаю: "Читайте его прозу. Герои его произведений — это он сам, это его голос. Больше вам о Шукшине никто не расскажет"».

Алексей Ванин



Он хозяйственно понимал
Край как дом — где березы и хвойники...
Занавесить бы Черным Байкал,
Словно зеркало в доме покойника.

Андрей Вознесенский

Василий Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах



книга

Охота жить



Москва
«Надежда-1»
1998

ББК 2
Ш 93

Шукшин В. М.

Ш 93 Собрание сочинений в 6-ти книгах. Книга первая. Охота жить. Рассказы. М.: Изд-во «Надежда-1», 1998. 512 с.

В первую книгу нового шеститомного наиболее полного собрания сочинений В. М. Шукшина вошли рассказы 60-х годов. Открывается книга разделом «Я родом из деревни...». В нем приводятся краткие биографические сведения о жизни и творческом пути писателя, сопровождаемые рассказом Марии Сергеевны Шукшиной-Куксиной, матери Василия Макаровича, воспоминаниями родных и близких. Здесь же помещены рассказы, посвященные детству Шукшина.

Ш $\frac{4702010200 - 046}{В72\ (03) - 98}$

ISBN 5-86150-046

Я родом из деревни...

Комната Марии Сергеевны Шукшиной-Куксиной, матери Василия Макаровича Шукшина. На стенах — портреты, картины. На столе из-под стекла и отовсюду смотрят глаза Василия Макаровича. Спокойно и дружелюбно.

— Не спится мне, мил человек, ночами-то: все думаю, думаю. Обложу вот так вот, обставлю себя со всех сторон портретами и гляжу на них и не нагляжусь глазынькими-то. Ночи длинные, так что наговорюсь досыта. Два года минуло, как Васи-то моево нет, а никак не снится он мне. Все снятся, а он — нет. Иногда только и то чуть-чуть. Просто порой места себе в хоромах своих не нахожу. Благо, хоть люди у меня постоянно бывают, и мне как-то веселей делается с ними, а одной-то тяжко, не приведи господи никому!..

У нас в семье было двенадцать человек детей. Я седьмая. Что делала ребенком, где когда-то с подружками играла, — все хорошо помню.

В семнадцать лет посватался Макар, рослый, разбитной парень. И родители наши были не прочь поженить нас. В восемнадцать родила Василия.

«Родился 25 июля 1929 г. в селе Сростки, Бийского района, Алтайского края.

Родители — крестьяне. Со времени организации колхозов (1930 г.) — колхозники» *(из автобиографии Шукшина).*

— В двадцать родила Наташу, по-домашнему Таля. А в 33-м забрали моево Макара.

«Отца плохо помню... Рассказывают, это был огромный мужик, спокойный, красивый... Насчет красоты — трудно

сказать. У нас красивыми называют здоровых, круглолицых — «ряшка — во!»... Он был какой-то странный человек. Я пытаюсь по рассказам восстановить его характер и не могу — очень противоречивый характер. А может, не було еще никакого характера — он был совсем молодой, когда его «взяли» — двадцать два года... Отца реабилитировали в 1956 году, посмертно» (из рабочих тетрадей В.Шукшина).

«После взятия по линии НКВД отца Василия Макаровича, а моего родного брата, Мария Сергеевна записала своих детей Васю и Наташу на свою девичью фамилию — Поповыми и запретила посещать квартиру бабушки и дедушки Шукшиных — за детей боялась. Но Вася бабушку свою очень любил и почти ежедневно прибегал к ней навестить, об отце расспрашивал. Когда Васе нужно было получать паспорт, то спросил у матери: «А как фамилия моего отца?». Мария Сергеевна ответила: «Шукшин». — «Вот я и буду оформлять в паспорте фамилию Шукшин!» *(из воспоминаний Андрея Леонтьевича Шукшина, дяди Шукшина).*

— И начала работать в колхозе, где потяжельше, чтобы заработать поболе, и так я всю жисть пласталась, чтобы только довести детей своих до ума. А я каждый день хотела скорее к детям домой прийти, рассказать им что-нибудь доброе, хорошее. Еще когда Вася маленький был, то дед его, Сергей Федорович, бывало, говорил мне: «Береги детей, Марья, а особливо Васю. Он у тебя шибко умный ноне, не по годам».

«Матери уходили в поле чуть свет, работали допоздна, и мы засыпали прям на горке в ямках. Вырывали ямки и кто во что — в тулупы, в полушубки, в фуфайки — заворачивались и так засыпали. Матери приезжали ночью. И разбирали нас, как кульки уносили. Утром просыпаешься, видишь, что уже на кровати, дома...

Ну, такое дело, мы — ребятишки! Или на Бикет забирались, или в Кучугуры даже. Уходили, питались там саранками, чесноком диким — «слизун», трава такая есть. В общем, кормились...» *(из воспоминаний Ивана Попова, троюродного брата Шукшина)*

— Я всегда боялась Катуни и всячески старалась отвлечь Васю от нее, боялась, что вдруг да он или простудится, или,

не дай бог, утонет. Жили, правда, на берегу прямо. Ну хоть бы игде, наверно, — со всей деревни сходились туда ребятишки. Но он любил остров. Остров и лесочек, березняк вот там. На другой стороне, туда за горой, там уже голый березняк, туда ходили гнезда зорить сорочьи... В острова они плавали на лодке с ребятами. У нас не было своей лодки, у товарища была. Когда вот так с работы прихожу — дома Таля одна. Васи нет. Ну, думаю, на острове, значит. Иду на берег — кричу: «Вася! Вася!».

А вечером по реке хорошо слышно. Они уж там, это... — дымочек идет, на ночлег уже они. Но он-то бы не остался, конечно, все равно. Ну, а охота побыть шибко, ну, думает поди, приплыву, мол, попозже. Ну когда уж я кричу: «Вася!..» — он сразу услышит и зачинает мне свистеть оттуда.

Господи! И так он выговаривает... всяко: то песней, то птицей какой-нибудь — он знал все эти голоса птичьи, как какая птичка свистит. Он зачинает, а я говорю: «Ну он! Васенька наш миленький...». Ближе, ближе так, все ближе, и все он идет, и все насвистывает, насвистывает! — и все ближе, ближе...

Приплывет, я говорю:

— Вася, ну как же так ты, миленький?

— Я бы, мама, приплыл, приплыл... Ну мне охота побыть там. Рыбки там поймали, уху варят...

— Ты не поел?

— Да нет уж, раз пошел, дак...

Господи! И жалко и боюсь. Ну, думаю: «Ить охота тоже ему с ими...».

1936—1945

В 1936 г. Василий пошел в школу в селе Сростки.

В 1939 г. отчим Шукшина Павел Николаевич Куксин перевозит семью в город Бийск, а затем, когда началась война, все возвращаются в Сростки. В 1942 году отчим ушел на фронт. В этом же году погиб.

«А он, знаешь, какой был, Вася? Он смире-е-ный был, маленькой-то. Маня их принесет маме, посодит к печке-то. А Наташка маленькая баловливая была. А он: «Ты не балуйся, ты чо?.. Сядь, сиди, не баловай».

Ух и умный парнишечка был! Бог его знат, как ему далося. Дал ему бог, дал ума. Жизни-то ему не дал, мы все жалеем.

Драться он ни с кем не дрался, на пакостил никаво.

«Васенька, андел мой!», — вот как она его воспитывала. Она вообще не обижала ребятишек. Дети, говорит, невинные. Хоть она за другого выходила, и он, другой-то, Паша, их не обижал тоже. Жили хорошо, и ево убили. К ей из Урожайного приезжал свататься. Она ево даже в избу не запустила: и не заходи, не заходи, нечего делать. Раз, говорит, мне бог дал вдовой жить, буду вдовой жить. Одна буду растить детей ***(из воспоминаний Анны Сергеевны Козловой, тети Шукшина).***

— Помню, как появилась у Васи «болезнь» — увлекся книгами. Всегда у него под ремень в брюках была книга подоткнута. Читал без разбора, подряд. Читал и по ночам: карасину нальет, в картошку фитилечек вставит, под одеялом закроется и почитывает. Ведь, что думаете, — однажды одеяло прожег. Стал неважно учиться, я тогда и вовсе запретила строго-настрого читать. Так нет — стал из школьного шкапа брать тайно от меня. Ох, и помаялась я с ним, не знала уж, что и делать дальше, как отвадить от чтения-то!

«Вася любил участвовать в концертах, они у нас каждую неделю в субботу проходили. Не было такого, чтобы наш класс не приготовился: Вася настаивал, он у нас организатором был» ***(из воспоминаний Валентины Безменовой, одноклассницы В.Шукшина).***

— Потом Васю-то я стала брать с собой в поле: мальчишка есть мальчишка. Помню, скирды складывали допоздна, все в инее, позастывает на нас все, а мы работаем. Вот поэтому, видимо, и обезножели, и сердце больное, и рученьки не слушаются вовсе. А сейчас, вишь как, стог еще не дометан, а все уж домой норовят — часы, вишь ли, вышли у них... Нет, не дело это!

Частенько сельчане мне говорили: «Ну что ты, Мария, генерала, что ль, хочешь вырастить из него?» — «Выше»,— отшучивалась от них я, но сердцем все же чуяла, что генералом не генералом, а человеком он будет настоящим!

Дитенек милый был у меня стройный, как свечечка. А губки-то у Васи моего были вечно бантиком. Редкозубень-

кий мой, уж как он любил и Сростки, и дом наш. Дом стоит вроде маленько на горке, вроде на отшибе. Зеленый, глазастый! Крапивный переулок называется, а номер 31. Мне тут ноне, мил человек, сказывали, что вроде бы музей скоро откроется, а на читки (так Мария Сергеевна называла Шукшинские чтения), говорят, что приедет много миру и друг Васин из Вологды будет — тоже Васей зовут, а фамилия Белов. Большой писатель, мне Вася сказывал, и человек добрый, мой Вася шибко его любил...

Вася помочь мне хотел, дак года три воду возил на «Табачок». «Табачок» — плантация была, а работали там женщины, садили, поливали, рыхлили. Ну, садили много, там сколько гектара, я не знаю, правда, но воды для полива много надо. Ну, вот воду возили. А возщики-то каки? Ребятишки. Но побольше, чем он... А этот маленько мал был, а на конях шибко любил ездить. Просился в ездовые. Не брали — мал. Он тут же ко мне: «Мама, ты, говорит, попроси». Ну я к бригадиру. Он упирался, конечно, попервости-то. Кто, говорит, воду-то ему станет в бочки наливать. Я говорю, он сам нальет по полведерку, ну, кто подсобит, не поедет с пустой бочкой-то. Упросила-таки бригадира, а Вася рад-радехонек. Еще бы! Любили его мужики, правда, любили.

Вот есть у него рассказ «Дядя Ермолай». Это бригадир такой был у нас в Сростках. Вася даже ни фамилии, ни имени нисколечко не переменил. Помню, начали сено возить. Я и говорю: «Ермолай Григорьевич, возьми, бога ради, моего Васю-то копна возить на волокушах. Вот хоть маленько, да подработает». А он: «Я бы взял, мне-то что, да беда, ножонок-то у него не хватит, чтобы коню спину обнять». Я говорю: «Что вы, он же цепко держится». Взяли все же. Вот поедет он в поле, а книжечку нет-нет да непременно прихватит с собой. Затолкает под штаны и рубахой для маскировки, значит, прикроет. На перекуре коней отпустит, и кто костянику собирать, кто пучки рвет. А Вася сядет и книжечку читает да поглядывает, пока бригадир не покличет: «Ну, хлопцы, по коням!». И снова за работу.

Корчевал Ваня со мной пни... уставали очень, а он ребенок совсем был. Несет лопатку, топор. Лом, веревку — все тяжелое, — так вдвоем и шли. Отец у меня был плотник. Я ему говорю: «Тятя, дай Васе топорик маленький». Подыскал он мальчонке топорик поменьше, а тот был рад, под-

рубает корешочки — тут ведь лес-то был непроходимый. А он маленько передохнет и снова. Гляжу, рубашонка-то на нем вся мокрая от пота... А после я спрошу: «Устал, сынок?» — «Нет, нет, мама, жарко просто, нисколь не устал», — отвечал мне.

Читала как-то книгу его — это после смерти Васи — да и наткнулась вот на слово то, где он пишет, что устает, как на раскорчевке пней. Я прямо целый день плакала: «Господи, когда покаялся-то!..».

«Росли и учились мы в трудные годы войны, дружили и жили ребячьей жизнью. Учиться было трудно — тетрадей не было, писали на газетах, занимались в холодных классах, сидели в верхней одежде, не всегда досыта ели. Как могли, помогали: школе — в заготовке дров, колхозу — в уборке урожая... В суровую зиму 1942 г. выходили мы Чуйский тракт — по нему из Монголии в Бийск шли караваны верблюдов. Погонщики давали нам клочки шерсти. Из них потом вязали носки и перчатки и отправляли в школьных посылках на фронт» *(из воспоминаний Александра Куксина, друга детства Шукшина).*

Осенью 1942 г. Васю отправляют к дяде Павлу, крестному, в Онгудай, учиться на бухгалтера. Ничего из этой попытки не получилось: «бухгалтерия в голову не полезла». Он вернулся домой.

«Помню, в 1943 г. к нам приехала концертная бригада. Такие бригады формировались в госпиталях из выздоравливающих воинов, разумеется, из тех, что имели талант. Мы сидели на почетном месте в третьем или четвертом ряду. Все буквально были изумлены, когда увидели концертный аккордеон, сверкающий перламутром, и, затаив дыхание, слушали песни, от души хохотали над юмористическими частушками.

Но вот вышел на сцену конферансье и стал читать «Сын артиллериста» К.Симонова. Я что-то хотел сказать Васе и тронул его за колено. Васю трясло мелкой дрожью, он ничего не видел кругом, кроме происходящего на сцене» *(из воспоминаний Александра Куксина).*

В 1943 г.Шукшин окончил школу в селе Сростки и поступил в Бийский автомобильный техникум, проучился там два с половиной года.

— Семь классов закончили, надумали все поступать в Бийск в автомобильный техникум. Словно сговорились сорванцы меж собой. Я против сразу была и не хотела отпускать: кончай, говорю, сынок, десять классов. Вот придут всей оравой и уговаривают, упрашивают меня. И Вася просится: «Мам, поеду с ребятами». Уговорили. Согласилась. В техникуме не доучился: не поглянулось ему там. Вернулся в Сростки.

Я прихожу с работы, а у меня матрасик, подушка, одеяльце завернуто лежит там в сеночках. Я говорю:

— Дак это мое ведь все... А-ах! Это что же это с ним случилось-то?

Захожу, а он все-таки это... — волнуется: «Что мать скажет? Три года, надо же! Такое тяжелое время — мать обидится, заругается...».

Я зашла.

— Вася! Что с тобой?

— Да... ничо, мама. Я не болею, так... Только я... не буду учиться мама, там больше.

А я постояла, подумала-подумала: «Что же мне это делать-то? Если мне на него так это обрушиться, вроде заругаться! Там самый такой возраст нехороший, и... боже спаси! Еще чо ни случись с ребенком...». И вспомнила опять: «Мне ить не глянулась эта специальность. Я ить помню, какая это специальность! Они вон шоферами работают, эти сами техники-та». Вот так-от думаю... Так ему и сказала.

А он так рад! Подбежал, схватил — господи! Сам меньше еще меня почти, а таскал-таскал меня по избе! Радый-нерадый, что мать не заругалась на ево.

— Ну, теперь куда, — говорю. — В колхоз идти работать. Покамест? Скоро в армию...

Он говорит:

— Нет, я поеду поближе к Москве, мам.

В 1945 г. Шукшин принят в колхоз в селе Сростки.

«Работа начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла — с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но учили... (из воспоминаний В.Шукшина).

В 1946 г. Шукшин покидает родное село.

«Мне шел 17-й год, когда я ранним утром, по весне, уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, ледку, а надо было уходить в огромную, неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого. Было грустно и немного страшно. Мать проводила меня за село, села на землю и заплакала. Я понимал: ей больно и тоже страшно, но еще больней, видно, смотреть матери на голодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И ушел» (*из воспоминаний В. Шукшина*).

В 1947 г. Шукшин поступил на работу в трест «Союзпроммеханизация» (Москонтора) и был направлен на турбинный завод. Получил здесь профессию слесаря-такелажника.

«Работал в Калуге на строительстве турбинного завода, во Владимире на тракторном заводе, на стройках Подмосковья. Работал попеременно разнорабочим, слесарем-такелажником, учеником мастера, грузчиком.

В 1948 г. я как парень сообразительный и абсолютно здоровый был направлен в авиационное училище в Тамбовской области. Все мои документы повез сам. И потерял их дорогой. В училище явиться не посмел и во Владимир тоже не вернулся — там, в военкомате, были добрые люди, и мне больно было огорчить их, что я такая «шляпа».

И еще раз, из-под Москвы, посылали меня в военное училище, в автомобильное, в Рязань. Тут провалился на экзаменах. По математике» (*из автобиографии В.Шукшина*).

«И Василий уехал. Работал в разных городах . Голодал, бездомничал. Однажды, в 60-х годах, ехали мы с ним из Судака в Москву, на одной из подмосковных станций — название я забыла уже — Василий показывает в окно и говорит: «Видишь скамеечку? Я ведь спал на ней когда-то» (*из воспоминаний Наталии Макаровны Зиновьевой, сестры Шукшина*).

29 октября 1949 г. Ленинским райвоенкоматом Московской области призван на срочную службу в Военно-Морской Флот СССР.
Начал службу на Балтийском флоте.

«Служил действительную, как на грех, во флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства: ребятки в основном все из городов, из больших городов, я и помалкивал со своей деревней» (из воспоминаний В.Шукшина).

«В учебном отряде был в Ленинграде, служил на Черном море, в Севастополе. Воинское звание — старший матрос; специальность — радист» (из автобиографии В.Шукшина).

В январе 1953 г. решением медицинской комиссии госпиталя Черноморского флота Шукшин был досрочно демобилизован по болезни.

«Помню один его рассказ. Однажды стало ему плохо на палубе, то ли приступ аппендицита, то ли язвы. Было это в шторм. И врач велел везти его срочно на берег. Он показывал рукой, как поднимали волны шлюпку, как прыгал вдалеке берег. “Вот так: раз — и вверх, а потом вниз проваливаешься. А боль — прямо на крик кричал: «Ребята, ребята, довезите!». Стыдно, плачу, а не могу кричу. А они гребут. Не смотрят на меня, гребут. Довезли.”» *(из воспоминаний Игоря Хуциева)*

После демобилизации вернулся в родное село. Экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости в сростинской школе.

«Во все времена много читал. Решил, что смогу, пожалуй, сдать экстерном экзамен на аттестат зрелости. Сдал... считаю это своим маленьким подвигом — аттестат. Такого напряжения сил я больше никогда не испытвал» (из автобиографии В.Шукшина).

Остался преподавать русский язык, литературу, историю, некоторое время исполнял обязанности директора.
В 1954 г. Шукшин принят кандидатом в члены КПСС. Сростинский райком КПСС предложил кандидатуру Шукшина на должность второго секретаря райкома комсомола.

— Вася секретарем райкома комсомола никогда не был, как многие потом писали. Звать они его звали и обещали курорт и 3-х-годичную партийную школу в Барнауле, ну он не пошел...

В июне — Шукшин в Москве.

«Думал ли Вася, что пойдет в Литературный институт или во ВГИК, — это трудно сказать. Во всяком случае, сначала поступал он в Историко-архивный институт, на заочное. А потом сдал экзамены во ВГИК на очное. И там и там был принят. Написал в телеграмме: мама, что делать? Мама отослала ему телеграмму: оставайся на дневном. Вот так он остался во ВГИКе» *(из воспоминаний Натальи Макаровны Зиновьевой)*

«Конечно, не забуду, как на собеседовании во ВГИКе меня Охлопков — сам! — прикупил... Я приехал в Москву в солдатском, сермяк сермяком... Вышел к столу, сел. Ромм о чем-то пошептался с Охлопковым, и тот, после, говорит: "Ну, земляк, расскажи-ка, пожалуйста, как ведут себя сибиряки в сильный сибирский мороз?". Я это напрягся, представил себе холод и ежиться начал, уши тереть, ногами постукивать... А Охлопков говорит: "Еще". Больше я, сколько ни думал, ничего не придумал. Тогда он мне намекнул про нос, когда морозно, ноздри слипаются, ну и трешь было... Потом помолчал и серьезно так спрашивает: "Слышь, земляк, а где сейчас Виссарион Григорьевич Белинский работает? В Москве или Ленинграде?". Я оторопел. "Критик который?.." — "Ну да, критик-то...". — "Дак он вроде помер уже!..". А Охлопков подождал и совсем серьезно: "Что ты говоришь!". Смех, естественно, вокруг, а мне-то каково?» (из воспоминаний В.Шукшина).

25 августа 1954 г. приказом по ВГИКу № 200 В.Шукшин зачислен студентом режиссерского факультета в мастерскую Михаила Ильча Ромма.

— Пять пятерок получил мой Вася на вступительных экзаменах.Учиться-то трудно было попервости-то. Денег не всегда хватало, но не жаловался Вася, наоборот даже.

Почитай, мил человек. Это Васины письма из Москвы!

«Здравствуй, мама! Получил 200 рублей, посылочку (вторую), письмо. Мама, так что это ты делаешь? Купила пальто. Милая моя, ведь я бы с таким же успехом проходил в шинели осень и весну. Получаю посылочку, опять как маленький вагончик. Что же, думаю, она сюда умудрилась еще-то положить. Развертываю, а там новехонькое паль-

то. Вот тебе раз! Мама, ты где деньги-то берешь? Пальто мне как раз, но я пока носить не буду. Вот дотаскаю шинель, а там уж... Деньги у меня есть. Числа до 15 октября денег хватит. Больше не покупай. И вообще, мама, больше ничего не покупай. Сегодня получил твое письмо с фотографией. Мама, ты как будто немного похудела. Милая моя, напиши честно —как живешь? Как питаешься? У меня в этом отношении все в порядке. Денег хватает через глаза. Насчет валенок. Да, мама, придется, наверное, выслать. Это верно ты говоришь: Москва-то Москвой, а зима зимой...»

«Учиться, как там ни говори, а все-таки трудновато. Пробел-то у меня порядочный в учебе. Но от других не отстану. Вот скоро экзамены. Думаю, что будут только отличные оценки. Но учиться страшно интересно»

«Живу очень интересно, мама. Очень доволен своим положением. Спасибо тебе за все, родная моя. Успехи в учебе отличные. У нас не как в других институтах, — т.е. о результатах обучения известно сразу. Ну вот пока и все. Итак, мама, повторяю, что я всем решительно обеспечен. Недавно у нас на курсе был опрос, кто укого родители... У всех почти писатели, артисты, ответственные работники и т.д., доходит очередь до меня. Спрашивают, кто из родителей есть? Отвечаю: мать. Образование у нее какое? Два класса, отвечаю. Но понимает она у меня не менее министра.

Смеются.

Ну, будь здорова, милая. Твой Василий.»

1955-1960

Шукшин учится во ВГИКе.

1955

Снимается в эпизодической роли матроса, в массовой сцене, в кинофильме С.Герасимова «Тихий Дон».

«Мы так рады были, когда он поступил в институт. Потом шел фильм «Тихий Дон». Мы увидели Василия в эпизодической роли. Приподнялся на локте, выглянул из-за плетня и — упал. И мы, знаете, разочаровались. Думали: наверно, ничего из него не выйдет» *(из воспоминаний односельчанки).*

1956

Работает над романом «Любавины».

1958

Шукшин находится на режиссерской практике в Одессе. Одновременно снимается в главной роли — Федора-старшего — в кинофильме М.Хуциева «Два Федора».

«Будучи еще студентом, на режиссерской практике встретился с Марленом Хуциевым. Он готовился снимать второй свой фильм "Два Федора". Искали исполнителя главной роли. Хуциеву пришла мысль попробовать меня. Попробовали. Решили снимать... Вместо положенных шести месяцев моя практика растянулась до полутора лет. О фильме потом много спорили. Дело десятилетней давности — фильм хороший, честный. Я же от начала до конца пробыл бок о бок с человеком необычайно талантливым, добрым. Полтора года почти я каждый день убеждался: в искусстве надо быть честным. И только так. И не иначе» (из архива В.Шукшина).

В журнале «Смена», № 15 напечатан рассказ «Двое на телеге». Это первая публикация В.Шукшина в центральном журнале. В том же году рассказ опубликован в Албании в сборнике молодых советских авторов.

1959

«Дела мои такие: сейчас, как ты знаешь, сессия (последняя). В феврале госэкзамены и...полная неизвестность...»

«Что такое наш диплом? Это поставить картину на одной из студий (где, пока никому неизвестно), на полной производственной базе, т.е., в сущности, первый фильм. Для этого дают два года. Можно больше. Все дело в сценарии. Задумал большую штукенцию... Писать буду сам...» (речь идет о дипломной работе — «Из Лебяжьего сообщают» — ред.)

«Сейчас я в Москве — сдал госэкзамены. Знаешь, думал, думал и решил еще раз сняться. Студия Горького. Натура в Воронеже. А потом съемки в Москве... Сценарий выписывается, буду работать над ним» (из писем Шукшина к Ивану Попову).

Шукшин снимается в фильмах «Золотой эшелон» И.Гурина в роли подпольщика Андрея Низовцева и «Простая история» Б.Метальникова и Ю.Егорова в роли Ивана Лыкова.

1960

Шукшин защищает режиссерский диплом фильмом «Из Лебяжьего сообщают» с Леонидом Куравлевым в главной роли. Сам Шукшин играет в этой картине роль инструктора райкома партии.

1961

Напечатаны три рассказа в журнале «Октябрь», один — в газете «Труд».

«Дела мои ничего. Снимаюсь, пишу...Зарылся я в мелкие делишки по ноздри — прописка, жилье, лживый кинематограф... Ни глоточка вольного ветра...

Много думаю о нашем деле и прихожу к выводу: никому, кроме искусства, до человека нет дела (...) А ведь люди должны быть добрыми, кто же научит их этому, кроме искусства (...) В этом смысле твой «Табунщик» попадает по-моему точно. Там угадывается в чем-то одно неотъемлемое качество русского человека — терпение. Как мне хочется, Ваня, чтобы ты довел эту работу, не бросал бы. Она трудна, знаешь, чем? Покоем своим. Сужу об этом как литератор и актер. Попробуй написать рассказ, где ничего не происходит, где жизнь течет себе и течет, а вместе с тем надо чтоб читатель задумался — это ой, как трудно! Куда проще и легче описывать, как один идиот всадил другому идиоту нож под ребро «из идейных соображений». Динамика. Чесоточный ритм. Тю» (из писем к Ивану Попову).

1962

Вышел на экраны фильм Ю.Победоносцева «Мишка, Серега и я», в котором Шукшин снимался в роли учителя Геннадия Ивановича, а также фильм Б.Барнета «Аленка», в нем Шукшин — в роли целинника, бывшего моряка Степки Ревуна.

Публикуются рассказы в журналах «Октябрь», «Молодая гвардия», в газетах «Комсомольская правда», «Туркменская искра».

Шукшин снимается в фильме Л.Кулиджанова «Когда деревья были большими» в роли председателя колхоза.

В конце годе Шукшин приносит рукопись романа «Любавины» в издательство «Советский писатель» и в редакцию журнала «Новый мир». В журнале рукопись была отклонена.

1963

В издательстве «Молодая гвардия» вышел первый сборник рассказов «Сельские жители».
С этого года Шукшин — режиссер на студии им. Горького. Снимает по своему сценарию фильм «Живет такой парень».
Вышел на экраны фильм Ю.Лысенко «Мы, двое мужчин», в котором Шукшин сыграл главную роль.

«Фильм "Мы, двое мужчин" выдвинули на международный фестиваль. 17-го будут показывать в Кремле. Пойду и я туда. Очень хороший фильм получился...» (из письма В.Шукшина к родным).

В журнале «Новый мир» напечатан цикл рассказов «Они с Катуни».

1964

В журнале «Москва», № 1 в рубрике «Год рождения — 1963», которая открывала своим читателям не просто первую книгу литератора, а книгу, с появлением которой бесспорно можно связывать рождение писателя, опубликована заметка Михаила Алексеева:

«Хорошо, что Шукшин разносторонен, хорошо, что знает он и сельских, и городских жителей. Но знать-то можно поразному. Одно ты знаешь разумом и сердцем, а другое — только умом. Думается, в творчестве надобно отдавать предпочтение тому куску жизни, какой близок к разуму твоему и особенно, конечно, сердцу. Сердце Василия Шукшина принадлежит сельским жителям. О них пишет он талантливо. И даже — очень талантливо».

Вышел на экраны фильм «Живет такой парень». Картина удостоена главного приза «Золотой лев святой Марии» на XVI международном кинофес-

тивале детских фильмов в Венеции, а также отмечен премией «за жизнерадостность, лиризм и оригинальное решение..» на Всесоюзном Ленинградском фестивале.
Летом Шукшин снимается в фильме Э.Бочарова «Какое оно, море?» в роли моряка Жорки. Одновременно работает над сценарием «Ваш сын и брат», к осени заканчивает его.
Публикуются рассказы в журналах «Искусство кино», «Новый мир», газетах «Московский комсомолец», «Литературная газета».
В газете «Литературная Россия» напечатана статья «Как я понимаю рассказ», в газете «Водный транспорт» — «Приглашение в соавторы».
Готовит к публикации роман «Любавины в журнале «Сибирские огни»

1965

2 февраля В.Шукшин принят в члены Союза писателей СССР. Единогласно.

«Проза Шукшина добра и достоверна, трудна и серьезна, как жизнь людей, которых автор всегда любовно имеет в виду. Шукшин хочет и умеет воспроизвести эту жизнь в совершенной подлинности, в точном соответствии с ее реальной сложностью и живописностью» *(из рекомендации Юрия Нагибина для вступления в Союз писателей).*

Летом в Алтайском крае Шукшин снимает по своему сценарию фильм «Ваш сын и брат».

— Когда Вася приезжал, парни деревенские частенько собирались под нашими окнами. Вызывали его. Вася-то бывало этак скажет им: «Да ребята, мои милые, занят я срочной работой. Рассказы вот пишу. Ну да ладно, пойдемте потолкуем, а заодно и покурим». Выйдет на улицу и всех непременно угостит сигаретками, никого не обделит. А ребята прихвастнут, байку ему поведают какую, а Васе правда нужна была, а то иначе же как про жисть-то описывать?

В журнале «Сибирские огни» полностью напечатан роман «Любавины» (книга первая).
В «Литературной России» печатаются главы из романа «Любавины». В этом же году роман вы-

шел в издательстве «Советский писатель». На гонорар от книги Шукшин покупает для матери дом, в котором в 1978 г. создается Дом-музей В.М.Шукшина.
В газете «Советское кино» напечатаны заметки «Главное звено» (раздумья перед съездом кинематографистов).

1966

Шукшин был в служебной командировке в Польше.
Написал ответы на вопросы редакции журнала «Советский экран» («Как нам лучше сделать дело»).
Вышел на экраны фильм А.Аскольдова «Комиссар», в котором Шукшин играет командира отряда.
В марте Шукшин подал заявку на литературный сценарий «Конец Разина».
В газете «Советская культура» напечатана статья В.Шукшина «Как привлечь мастеров».
Весной Шукшин впервые поехал на Дон, предварительно совершив путешествие по Волге от Ульяновска до Астрахани. Он работал в музеях Астрахани, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, собирал материал для разинской темы в станице Старочеркасской.

«Если позволят здоровье и силы, надеюсь сам сыграть в фильме Степана Разина» (Из беседы В.Шукшина с корреспондентом газеты «Молодежь Алтая» В.Баулиным)

В газете «Советская культура» и журнале «Сельская молодежь» напечатана статья «Вопросы самому себе».
В одиннадцатом и двенадцатом номерах журнала «Молодая гвардия» напечатана повесть «Там, вдали».
Опубликованы рассказы в журнале «Сибирские огни», газетах «Литературная Россия», «Советская Киргизия».

1967

Шукшин был в командировках в Югославии и на Кубе.
Указом президиума Верховного Совета СССР В.Шукшин награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В.Шукшину, В.Гинзбургу, В.Санаеву присуждена Государственная премия имени братьев Васильевых за фильм «Ваш сын и брат».

«... размышляю над второй книгой «Любавиных».Хочу продолжить Егора, поглубже ковырнуть его философию: способен ли человек быть один — без людей» (из беседы Шукшина с писателем Юрием Скопом).

Редакцией газеты «Правда» Шукшин командирован на Алтай для работы над статьей о причинах ухода молодежи из села. Находясь в Бийске в командировке, принял участие в создании документального фильма о городе, встречался с читателями, выступал в воспитательно-трудовой колонии.

— Однажды Вася как-то целый день, помнится, провел в Бийске в колонии для несовершеннолетних. За ним специально заранее приходили трое сотрудников и пригласили побеседовать с их подопечными. Вася оттуда вернулся слишком поздно и каким-то не таким, расстроенным. Я это сразу заметила. Прилег на кровать. Курил папиросы одну за одной. Дым коромыслом стоял. Я спрашиваю: «Вась, что ж ты так расстраиваешься-то? Что-нибудь, поди случилось?» — «Если бы ты, мама, только знала, — отвечал он мне, — жалко мне этих ребят: ведь среди них хороших-то поболе, однако, чем плохих. И думаю я, ну почему они такими стали? Отчего? Видимо, из-за того, что потянулся мальчонка за поганым человеком и оступился, а если бы он пошел за добрым, то он бы обязательно на правильную, честную дорогу вышел. Хочется, мама, или книгу написать об этом, или же фильм поставить. Я со многими там беседовал, расспрашивал о жизни, о родителях и вот расстроился окончательно...». Я ему говорю: «Да будет, полно о них так пе-

реживать-то, Вася, отпетые они все там да и только!» — «Нет, мама, они пока еще не отпетые! Ну как тебе объяснить? — он взял в руки пластилин, смял его и начал чо-то лепить: — Так вот и они еще не такие уж пропащие, как мы думаем, они вот что тот же пластилин: из них ведь что угодно еще вылепить можно. Понимаешь, мама?».

В журнале «Вопросы литературы» напечатана заметка «Литература и язык».
Написана статья «Средства литературы и средства кино». Впервые она напечатана в журнале «Искусство кино» в 1979 г.
Опубликованы рассказы в журналах» Новый мир», «Москва», газете «Советская Россия».

1968

Вышел на экраны фильм С.Герасимова «Журналист», в котором Шукшин сыграл роль журналиста Корпачева.
Шукшин написал две статьи для сборников: «Монолог на лестнице» и «Нравственность есть правда».
В издательстве «Советский писатель» вышла книга «Там, вдали».
Вышли на экраны фильм М.Осипьяна «Три дня Виктора Чернышова», где Шукшин снялся в роли бригадира Кравченко, а также фильм А.Сурина и Л.Головни «Одни» по одноименному рассказу В.Шукшина.
Весной и летом в окрестностях Суздаля и Владимира ведутся съемки нового фильма «Странные люди».
В журнале «Искусство кино» напечатан сценарий «Я пришел дать вам волю» о Степане Разине. Сценарий признан лучшим на втором Всесоюзном конкурсе сценариев. И тем не менее...

«Мои дела пока оставляют желать лучшего — заморозили с «Разиным». Остановили. 1) историческая тема — сейчас лучше бы современность. 2) дорого — 45 мил. старых. 3) слишком жесток Разин. Говорят, два года надо подождать. Пока суть да дело, сделаю сейчас современную картину, черт

с ними, но борьба за «Разина» продолжается» (из письма Шукшина к Ивану Попову).

В газете «Труд» напечатана заметка Шукшина «Моя главная тема — красота людей».
В журналах «Новый мир» и «Сельская молодежь» публикуются рассказы.

1969

Шукшин снялся в кинофильме И.Шатрова «Мужской разговор» в роли морского офицера Ларионова.
В сценарный комитет студии «Мосфильм» Шукшин представил сценарий «Печки-лавочки».
Для сборника «Мода: за и против» работал над статьей по тематике сборника.
В газете «Советская культура» опубликована беседа с В.Шукшиным «Насущное, как хлеб», в которой он расказал о поездке в село Богородскоре Московской области, где издавна живут резчики по дереву: для фильма «Странные люди» (новелла «Степан Разин») понадобилась деревянная фигурка Стеньки.
В феврале состоялась сдача фильма «Странные люди» художественному совету студии имени Горького.
За заслуги в области кинематографии Шукшин получил почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

«Пишу вам из Венгрии, из Будапешта, Я здесь в связи со съемками одного фильма. Как актер. Дней на 10.... С этой картиной («Странные люди») вроде все в порядке. Но сдавал я ее 8 месяцев. Устал, изнервничался... Сниматься в фильме «У озера» закончил. Осталось еще в Ленинграде в фильме «Любовь Яровая» (комиссар Кошкин) и вот здесь — в венгерско-советской «Держись за облака». Тут вовсе мало — эпизод... Закончил еще роман о Степане Разине и сборник рас-зов...(сборник «Земляки» должен выйти в конце этого года). Но и скоро, очевидно, начну свой фильм. Или о Степане Разине, или современный — еще не знаю...» (из письма В.Шукшина к родным)

В газете «Советское кино» напечатано интервью с В.Шукшиным «Мне везло на умных и добрых людей».
Публикуются рассказы в журналах «Новый мир» и «Сельская молодежь».
Шукшин предлагает журналу «Новый мир» и издательству «Советский писатель» первую редакцию романа «Я пришел дать вам волю». Журнал «Новый мир» рукопись отклонил.

1970

Шукшин снялся в фильме Н.Губенко «Если хочешь быть счастливым» в роли рабочего, у которого берут интервью.
Вышла на экраны киноэпопея Ю.Озерова «Освобождение», где Шукшин снялся в роли маршала Конева.
Начата работа над сценарием фильма о родном селе Сростки.

«Деревню он знал и любил, недаром приезжал снимать фильмы сюды, на родину. Да и вообще часто бывал, встречался с друзьями, рыбачил с ними. Он был не из тех людей, что зазнаются, — земляков уважал. И не только уважал, но и как-то стеснялся перед ними...» *(из воспоминаний Наталии Макаровны Зиновьевой).*

Летом Шукшин продолжает работу над разинской темой. Он встречается со скульптором Коненковым, работавшим над вторым вариантом скульптурной композиции «Степан Разин с дружиной»; во главе съемочной «разинской группы» совершает путешествие по северу, Волге, Дону.
В ноябре Шукшин едет во Францию.
На киностудии имени Горького написал план перестроения двухсерийного фильма о Разине в трехсерийный.

— Когда я видела Васю на экране, каждый раз стремилась понять — не болел ли он за это время. Ведь у него в юности язва желудка была, правда, он ее залечил. А жаловаться Вася не любил. Всегда просил не беспокоиться, писал, что он здоров.

Волновало меня, что Вася работает все больше и больше. В письмах все писал: «Опоздал». «Закрутился». «С утра до ночи занят». «Впереди огромная работа — года на четыре запрягусь».

Вася очень переживал, что нет у нас в доме мужика, руки мужской. Конечно, родня, наши деревенские помогали. Но все-таки дом на мне. Ая-то понимала, что раз вышел Вася на такую дорогу, уводить его на другую тропку нельзя.

В конце года в издательстве «Советская Россия» вышел сборник рассказов «Земляки». Публикуются рассказы в журнале «Новый мир», в газетах «Литературная газета», «Литературная Россия», «Сельская жизнь».

— Вася очень любил работать в нашем доме, в Сростках. Работал в зале, в самой большой комнате. Засиживался до глубокой ночи. Как-то вечером говорит: «Мама, спой мне две песни старинные. Они мне для работы нужны». Я отвечаю: «Спою тебе,сынок, хоть пять, только ты ложись сегодня пораньше, сразу как с танцев пойдут». До двух часов договорились. Он обещал. Я проснулась, светает. А он все сидит, не ложился еще. Я ему говорю: «Что ты, Вася, как ребенок. Ведь обещал». Он засмеялся: «Будешь ребенком. Ничего не успеваю, мама!».

И радовалась я, что он так работает, и жалела, что отдыха себе не дает. Приедет домой — мне праздник, а сердце все-таки неспокойно: вот телеграмма придет, вызовут.

Однажды утром пеку блины и вдруг вижу в окно — идут по селу мужчина и женщина городские, в белых плащах. Так свободно идут, не бояться запачкаться. Поняла, что к нам. Скорее заторопилась: хоть напоследок блинами Васю накормлю, уедет, думаю. Гости позавтракали, а потом с Васей закрылись и долго разговаривали. Вася выходит и спрашивает: «Просят разрешения на экранизацию «Любавиных». Как думаешь?». Стал просить у меня совета. Я только ответила: «Ты же сам хотел!» — «Времени нет. А если им не дать согласия, они здесь будут год сидеть». — «Пусть сидят, блинов хватит». Вася улыбнулся: «Нет, мама, все же надо помочь людям».

1971

Шукшин написал сценарий для фильма «Пришел солдат с фронта» по мотивам рассказов Сергея Антонова.

«Сценарий поразил меня человечностью. Не так часто кинодраматурги балуют нас, актеров и режиссеров, сценариями, из которых сочится подлинная драма» *(из беседы режиссера-постановщика фильма Николая Губенко с журналистами).*

Вышел на экраны фильм В.Трегубовича «Даурия», где Шукшин снялся в роли командира красного бронепоезда Василия Андреевича.
В журнале «Сибирские огни», №№ 1,2 опубликован роман «Я пришел дать вам волю».
В журнале «Искусство кино» напечатан сценарий В.Шукшина «Иван Степанович».
В журнале «Советский экран» напечатана статья «Как нам лучше сделать дело».
Во главе съемочной группы киностудии имени Горького Шукшин приехал в город Бийск для работы над своим фильмом «Печки-лавочки».

— В письмах-то Вася нам писал, все собирался переехать и жить в деревне. Скучал он по ней. Один раз, помню, приезжал с кем-то со студии, Шолохов была фамилия-то. Но не писатель. В нашем сельсовете, когда командировку отмечать стали, подумали — писатель. Даже лозунг хотели писать, но тут Вася, слава богу, вмешался и все объяснил. Другой это был Шолохов, просто фамилии больно схожие. Вася все водил его по селу, показывал нашу красоту, а когда вернулись, то кто-то сказал: «Воздух-то здесь какой! Кислород хошь поварешкой зачерпывай и хлебай на здоровье!».

А раз был такой случай — это уже когда «Печки-лавочки» сымали. Вася за мной специально на «Волге» приезжал: «Поедем, мама, посмотришь, как кино делается». Я все отнекивалась и на хозяйство ссылалась. Теперь-то я уразумела, зачем он хотел меня тогда в Советский район везти — для фильма надо было. Вот сказал бы тогда, дите мое милое, что к чему — я бы все бросила и поехала за ним! А он не знал, с какого бока ко мне подойти.

Осенью В.Шукшин, А.Заболоцкий, П.Пашкевич, Г.Шолохов находятся в Новочеркасске для подготовительной работы к фильму о Степане Разине.
Публикуются рассказы в журналах «Наш современник», «Звезда», «Сибирские огни», «Литературный Киргизстан», в газетах «Литературная Россия», «Советская Россия».
За исполнение роли директора комбината Черных в фильме «У озера» В.Шукшину присуждена Государственная премия СССР. Эта роль признана лучшей ролью года.

1972

Вышел на экраны фильм «Печки-лавочки».
Вышел на экраны фильм Л.Головни «Конец Любавиных» по сценарию Л.Нехорошева и Л.Головни.
В Петрозаводске в издательстве «Карелия» вышел роман «Любавины».
В журнале «Искусство кино» напечатана заметка Шукшина «Он учил работать», посвященная памяти Михаила Ромма.

— Вася хорошо понимал людей. И они его понимали, уважали. Он любил людей... Василий вообще очень расстраивался, когда кто-нибудь из близких людей болел, а когда тяжко заболел Ромм, не находил себе места. А Васю как раз за границу послали. Он пришел к Ромму и говорит: «Не поеду». Михаил Ильич еле уговорил его ехать. Вася как чувствовал. Больше они не увиделись.

— Что вы думаете — снял, да как! Смех и грех об этом даже вспоминать-то. Сначала Вася один приезжал. Сказал, что съемки заканчиваются и ребята просятся у него: охота им Сростки наши поглядеть и как он живет. «Устали, говорит, они у меня мама: отдохнуть, прийти в себя перед дальней дорогой им надо. Так что гостенечков поджидай, мама!». «Ох, сынок, говорю, да чем же я угощать-то их стану? Кроме картошки, что я им могу дать? Они ведь у тебя как-никак люди особливые, столишные.» — «А что?! Картошка — наипервейшая еда! Мы все на ней выросли. Да ты не рас-

страивайся шибко, мама, навари-ка целиком, в мундирах! Они у меня люди простецкие, не обидятся».

Вечером поужинали. Посидели, поговорили.А Вася-то так потихонечку, чтобы я случайно не услыхала, говорит Толе Заболоцкому: «Вот, Толя, видишь, моя мама, сыми, для фильма нам пригодится!». Вася, однако, на улице устроился спать, ну а остальные — кто где. Я им постельки-то приготовила всем.

Проснулась — петухи уже горланяли вовсю над Сростками. Ну, думаю, заспалась я. Вот так вот беру полушалок-то, подвязываю... Все спят еще: проговорили допоздна. И вижу — за окном кто-то мельтешит, а кто — сразу-то узнать спросонья не могу. Потом поняла — так это Толя Заболоцкий со своим аппаратом. Сымает, наверное, подумала тогда я. Ну и ни к чему. А он, значит, снял и на боковую — досыпать.

А потом они стали собираться в Москву. Ждали, когда подойдет машина и увезет багаж на вокзал. Небо было ясным-яснехонько. И тут, как на грех, вылетела откуда-то страшенная тучища. «Ох, говорю, сынок, не к добру она. Как бы града не вышло: повыхлещет в огородах-то!».

Он остановился посреди двора. Посмотрел на цинковую крышу: «Все ничего, мама, да вот беда — громоотвода у тебя нет! Это плохо! Вишь, какие тучи бывают?!». Он хватился было залезть на крышу да посмотреть —лестницы нет. «Вы, ребята, собирайтесь, — говорит он, — а я маме подсоблю». Принес две жердины, топор, молоток, гвозди и принялся за работу. «Надо, говорит, лестницу тебе сделать, мама...».

А тут вскорости и машина подрулила. Сигналит ему, а он все: «Счас мы, счас!».

Уж такой он был неугомонный: если возьмется за что, то до конца дело непременно доведет!

Я говорю ему: «Ладно, сынок, бог с ней, с лестницей-то, без нее как-нибудь обойдусь!» — «Нет, что ты, мама, без нее как раз и нельзя! Вот уезжаю, а сердце у меня болит за тебя: как же ты без громоотвода-то?».

И снова принялся за работу. Вскоре лестница была готова. Вася поставил ее, поднялся на крышу — проверил на прочность.

А шофер знай себе сигналит, значит, на машине-то. Я говорю: «Ладно, Вася, спасибо, сынок! Ребята тебя заждались. Езжай с богом!».

Он направился к калитке-то было, да этак остановился, посмотрел на баньку, веранду, которые он сам своими ручонками построил, и сказал: «Поаккуратней будь, мама! Береги себя!».

Подошел, обнял и расцеловал меня в обе щеки. Вот так мы с ним расстались. Не знала я, мил человек, что это последняя встреча — никуда бы не отпустила его тогда от себя.

Осенью Шукшин работает над сценарием «Калина красная».
В журнале «Новый мир» напечатана рецензия Шукшина на повесть А.Скалона «Живые деньги».
В издательстве «Современник» подписан к печати сборник рассказов «Характеры».
Публикуются рассказы в журналах «Наш современник», «Звезда», «Север».

1973

В феврале Шукшин перешел со студии имени Горького на студию «Мосфильм».
В журнале «В мире книг» напечатан отрывок из повести «Калина красная».

«Доброе в человеке никогда не погибает до конца — так я сказал бы про замысел киноповести...» (из авторского предисловия).

«Особого чего-то в нем не было, но остряк он был, остряк! Он был такой острый на язычок, как скажет-скажет, бывало! Это чувствуется и в его рассказах. Я, когда их читаю, узнаю героев-то — я же их в жизни знаю, — и его самого узнаю, по языку. Он таким языком и говорил...

А о маме как он беспокоился! Однажды сказал: «Если мама умрет вперед меня, я этого не переживу, лучше я вперед умру». Так я другой раз положу маму в больницу, а ему не пишу. Он узнает — забросает телеграммами, вызовами на переговоры...

Мне всегда помогал. Да что там помогал! Я жила им. Муж умер, я с двумя ребятишками осталась. Не знала, как обуть и одеть их. Он мне высылал деньги, и я покупала. Я так скажу: это из тысячи братьев — брат.

Он только себя не жалел. Когда бы в Сростки не приезжал, всегда много работал, по ночам работал, а спал где-то часов с пяти до одиннадцати. Ну какой там сон может быть? Тем более что

после его приезда то один к нему идет, то другой: он хоть и дремлет, а слышит же. Не жалел он себя — это точно, нисколечко не жалел..

Вспомнила вот, как Маша, Васина дочка, плакала. Мать спрашивает ее: "Почему плачешь?". Она говорит: "Папа пьет кофе. Опять папе будет нехорошо"» *(из воспоминаний Наталии Макаровны Зиновьевой).*

В журнале «Наш современник» напечатана киноповесть «Калина красная».
В «Комсомольской правде» напечатана беседа с В.Шукшиным «Судьбу выстраивает книга».
Летом начинаются съемки кинофильма «Калина красная».

«Работать Шукшину приходилось на предельном напряжении сил... В мае фильм запустили в производство практически без подготовительного периода, а уже в декабре картину нужно было сдать. В самый разгар монтажных работ над фильмом «Калина красная» очередной приступ болезни опять загнал Василия Макаровича на больничную койку. Но, не пролежав и нескольких дней, он просто сбежал из больницы... И он-таки успел переписать некоторые диалоги» *(из воспоминаний сослуживцев).*

В журнале «Дружба народов», № 9 напечатана беседа с В.Шукшиным «Воздействие правдой»
Публикуются рассказы в журналах «Наш современник», «Звезда», «Аврора», «Сельская молодежь», «Сибирские огни», в газетах «Литературная Россия», «Сельская жизнь».

1974

Январь

Вышел на экраны фильм «Калина красная». На VII Всесоюзном фестивале фильм получил главную премию по разделу художественных фильмов.
В издательстве «Советская Россия»

Февраль

В издательстве «Искусство» Шукшин подал заявку на сборник киносценариев: «Калина красная», «Печки-лавочки», «Живет такой парень»,

«Земляки», «Позови меня в даль светлую». Сборник под названием «Киноповести» вышел в этом издательстве уже после смерти Шукшина, в 1975 году.

В ленинградском Большом драматическом театре состоялась читка пьесы «Энергичные люди».

Студией «Ленфильм» Шукшин был приглашен на роль Достоевского в готовящемся фильме о жизни великого писателя. Шукшин принял предложение студии, но осуществить работу над образом в кино не успел.

Появился замысел составить «Сибирский разговорный словарь». «Большущим делом» называл Шукшин необходимость составления такого словаря.

Март

Публикуются рассказы в газетах «Литературная Россия», «Неделя».

Апрель

«Здравствуй, родная моя! Сам измучился и вас измучил своими обещаниями приехать. Все никак не могу вырваться. А сейчас вот лег в больницу — это по поводу своей язвы. Полежу немного. А то впереди огромная работа (три фильма о Степане Разине) — года на четыре запрягусь, тогда некогда будет полежать. А так у меня со здоровьем ничего, бог несет. Пролежу я, наверное, до 10 апреля, потом поеду в Западную Германию на 10 дней — значит до 20 апреля. А там к концу апреля обязательно приеду. Сам соскучился — сил нет.» (из письма В.Шукшина к матери)

Весной на имя генерального директора «Мосфильма» Н.Т.Сизова Шукшин подает заявку на фильм о Степане Разине.

«Последнее время я отдал немало сил и труда знакомству с архивными документами, посвященными восстанию Разина, причинам его поражения, страницам сложной и во многом противоречивой жизни Степана...» (из заявки В.Шукшина).

Май

Н.Губенко делится с Шукшиным замыслом фильма, построенного на материалах уголовного дела об убийстве. Губенко хочет привлечь Шукшина к работе над фильмом и дает ему для ознакомления материалы судебного процесса. Изучив материалы, Шукшин подает заявку на литературный сценарий двухсерийного фильма «Квинтэссенция души».

Шукшин беседует с корреспондентом итальянской газеты «Унита» в Москве Карло Бенедетти при участии переводчика Сергея Гринблата. Запись беседы была опубликована в Италии в газете «Унита», на русском языке в журнале «Наш современник» под названием «Я родом из деревни».

В конце мая начались съемки фильма «Они сражались за Родину» по одноименному роману М.Шолохова. Шукшин снимается в роли сержанта бронебойщика Петра Лопахина.

«Вы спрашиваете, что привело меня в этот фильм? Профессия. Интерес — тоже, впрочем, профессиональный, к большой постановочной картине, к процессу производства ее: мне впереди предстоит нечто подобное, хочу пройти этот путь сперва в качестве актера» (из беседы В.Шукшина с корреспондентом «Литературной газеты» И.Гуммером)

Июнь

Состоялась встреча съемочной группы с Михаилом Шолоховым в станице Вешенской.

«Я тут бы сказал про собственное, что ли открытие Шолохова. Я его немножко упрощал, из Москвы глядя. А при личном общении для меня нарисовался облик летописца» (из интервью В.Шукшина)

В «Литературной России» печатается сатирическая повесть-пьеса «Энергичные люди». Продолжаются репетиции этой пьесы в БДТ в Ленинграде.

Во время съемок Шукшин работает над произведениями «А поутру они проснулись», «До третьих петухов» и др. В 1975 г. Повести-сказке «До третьих петухов» присуждена премия журнала «Наш современник».

Сдано в набор в издательстве «Советский писатель» отдельное издание романа «Я пришел дать вам волю».

Июль

В журнале «Звезда» напечатана повесть-сказка «Точка зрения».

В журнале «Искусство кино» напечатан сценарий Шукшина «Брат мой» (первоначальное название — «Враг мой»). По этому сценарию режиссером В.Виноградовым поставлен кинофильм «Земляки».

Август

Печатается рассказ в газете «Литературная Россия».

Продолжаются съемки фильма «Они сражались за Родину».

Сентябрь

В «Литературной газете» напечатан рассказ «Кляуза».

Шукшин едет в Ленинград для участия в съемках фильма Г.Панфилова «Прошу слова»: играет роль «местного» драматурга Феди.

Публикуются рассказы в журнале «Наш современник».

Работает над новым произведением. Условное название «Драма в тайге».

Октябрь

В ночь с первого на второе октября Василия Макаровича не стало...

— Нет, я очень благодарна москвичам. Уж как они Васю-то моего любили! И знают все об ем, может, поболе, чем я, мать.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Я начинаю помнить себя с такого случая.

Знойный полдень. Сенокос. В селе, на улицах — ни души. Только иногда по улице проскочит верховой или протарахтят дрожки, и опять надолго установится сухая, горячая тишина.

Я сижу на дороге в мягкой шелковистой пыли, стряпаю пирожки. Это делается просто: надо принести из дома ковш воды и эту воду понемножку плескать в пыль. Образуются вязкие комочки грязи. Из них-то и лепятся пирожки. Но пирожки — пирожками... Делаются они для того, чтобы разложить их потом рядком поперек дороги и ждать, когда поедет какой-нибудь мужик. Ждать приходится подолгу. Наконец в конце улицы показался мужик на телеге. Я залезаю в крапиву у прясла (крапива у нас растет высокая, в рост человеческий, и жалит только ее верхняя часть. Внизу же можно спокойно спрятаться) и оттуда смотрю, как приближается телега. Она все ближе, ближе... У меня замирает сердце: сейчас проедет по моим пирожкам. Мужик увидел пирожки, оглянулся по сторонам, лениво подстегнул коня... Я с каким-то непостижимым трепетным волнением вижу, как сперва лошадиные ноги расшвыривают мои пирожки, потом по ним проехали четыре колеса. Выскакиваю из крапивы и стою над пирожками. Почти все погибли. Те, что с краю, уцелели, а средние все погибли. Снова принимаюсь стряпать и выстраивать рядок поперек дороги. Есть в этой работе какой-то смысл. Наверно. Вот что: мужик до по-

следнего момента не видит мои пирожки на дороге, а я знаю, что они лежат там, и я знаю также, что, увидев их, мужик оглянется. Я это знаю и заранее жду; когда он оглянется. И меня охватывает сладостный восторг и волнение, когда он оглядывается. И еще — очень приятно сидеть в пыли. У меня, конечно, на ногах «цыпки», но это уже больше беспокоит маму. Вечером она будет отмывать меня у колодца.

Вот за таким-то занятием, когда я мирно сидел и стряпал пирожки, меня захватил соседский бычок. Он был бодливый, как черт, я его ужасно боялся. Мы, ребятишки, все его боялись. Мы его дразнили издалека, а когда он, нагнув голову, кидался на нас, мы разбегались, кто куда. А тут я, занятый за пирожками, проглядел его. Увидел, когда он был в шагах пяти. Он стоял и смотрел на меня. Я вскочил было, чтобы бежать, и тут же сел — ноги отказали. А телок взбрыкнул задними ногами, зловеще мэкнул и помчался ко мне. Я, кажется, заранее упал на спину. Он принялся катать меня по дороге. Я молчал. Потом ко мне вернулся голос, и я заорал. Заорал так, что телок отскочил, расставил передние ноги и долго и глупо смотрел на меня. Кто-то выскочил из избы и выручил меня.

Вечером в нашей избе появилась грязная сухая цыганка с большими вороватыми глазами. Я лежал на печке, а цыганка шуршала в кути, у печки, юбками и торопливо шептала. Мама с надеждой и подозрительно смотрела на нее. Цыганка растопила в ложке воск, вылила тот воск в стакан с водой — там образовался какой-то желтый бесформенный комочек. Цыганка торопливо закивала маленькой галочьей головой. Я не помню, что она говорила, что-то говорила. Помню как мама сказала: «Телок напугал-то, а не собака». Потом они говорили про нашего петуха. Цыганка почему-то кричала, мама тоже сердилась и говорила: «Ишь ты какая! Ишь ты!». Потом я выпил теплую воду из стакана, над которым колдовала цыганка и уснул. Потом помню себя за таким занятием.

Жилось нам тогда, видно, туго. Недоедали. Мама уходила на работу, а нас с сестрой оставляла у деда с бабкой. Там мы и ели. И вот... Дед строгает в завозне, бабка полет в огороде грядки.

Я сижу у верстака и сцепляю золотисто-солнечные кольца стружек. И вдруг вспоминаю, что у бабки в шкафу лежат

шанежки. Выхожу из завозки и направляюсь к дому. На дверь накинут замок — просто так, без ключа (сестра в огороде с бабкой). Если замок вынуть из пробоя и открыть дверь, бабка услышит и спросит: «Ты чего там, Васька?». А мама наказывала — я это хорошо помню — не надоедать деду и бабке, особенно деду, не просить есть: сколько дадут, столько и ладно.

Окно в избу открыто. Оттуда пахнет свежеиспеченным хлебом и побеленным шестком. В углу стоит, тускло поблескивая стеклами, пузатый шкаф — там шанежки.

Я влезаю в окно и осторожно, на цыпочках, иду по крашеному полу... Открываю шкаф, беру самую маленькую шаньгу и тем же путем убираюсь из избы. Воровал я до того что-нибудь или нет, не помню. Но я помню, как я крался по избе на цыпочках. Откуда-то я знал, что так надо.

Вечером бабка, посмеиваясь, рассказывала маме, как я лазил в окно (она из огорода все видела). Мама не смеялась. У нее было недовольное лицо.

— Вы сами-то уж сроду не догадаетесь... Скупые вы шибко, мам, уж до чего скупые.

Бабка обиделась.

— Кормим ведь... Чего же скупые? Да он и есть-то не хотел. Так — пакостник.

Еще помню такое.

Стоит у нас посреди избы страшный маленький человек с рыжей бородой — Яша Горячий, грозит пальцем и говорит: «Ты меня не пужай, не пужай — отпужались». А мама стоит перед ним и говорит негромко: «Ну, смотри, Яша, смотри... Я тебя не пужаю... Недоактивничать бы тебе».

Потом Яша полез на полати и стал оттуда сбрасывать березовые чурбаки (березник около села запрещалось рубить, но его рубили и прятали, где могли. Яша Горячий, сельский активист, искал его по домам).

И еще одно такое помню:

Пропал у нас телок. Телка самого не помню, а помню, как мы его искали. Мы пошли с мамой за село, к озерам. Уж вечерело. Звали мы его, звали: «Тпруся! Тпруся!» — нет телка, как провалился. Вдруг мама села на землю и сказала: «Ой, сынок, мне что-то плохо... Господи, господи... Дорогу домой найдешь? Беги скорей к бабке...».

Я сказал, что найду. Помню: бежал. Я воображал, что я на коне. Кричал сам себе: «Но!», взбрыкивая ногами, ржал...

Бабка перепугалась. Я предложил ей тоже сесть на коня и гнать вмах. Но та только махнула рукой и семенила рысью.

Мама повстречалась нам недалеко за селом. Она тихонечко шла по дороге и держалась за грудь.

Они о чем-то стали говорить с бабкой, а я шел сзади «пешком».

Потом я начинаю помнить свою сестру.

Я как-то до этого не знал ее существования, а тут, помню, был я в яслях, и мне там что-то не понравилось. Я нашел Наташку, сестру, и мы с ней убежали из яслей. Мы шли через всю деревню, взрослые останавливались и спрашивали меня: «Ты куда ее ведешь-то, Васька?». Я отвечал: «Домой. Мне мама так велела». Врал. Вообще, я очень рано научился врать.

Мамы, конечно, не было дома. Мы с Наташкой сели на крыльцо и уснули.

Еще случай в яслях.

Ясли были двухэтажные. Окна открыты. Я влез на подоконник на втором этаже, сел и свесил ноги. И тут увидел маму. Она мне снизу негромко говорит: «Васе-е, слазь, сынок, с окна. Слазь, я посмотрю, как ты слезешь. Только туда, в избу слазь... Ну-ка...». Я слез с подоконника.

Потом мама вбежала, взяла меня на руки и понесла. А на лестнице встретилась нам наша няня, толстая, молодая тетка. Мама опустила меня с рук, а няня побежала от нас. Вниз. Мне стало смешно.

— Корова семинтальская! — мама ничего не боялась.

Потом, когда я уж стал взрослее, я слышал рассказ о том, как нас хотели выселить из избы. Отца арестовали и угнали в район, в «каталажку». А к нам на другой день пришли двое: «Вытряхивайтесь».

Так стали мы жить. Голоду натерпелись и холоду. На всю жизнь я сохранил к матери любовь. Всегда ужасно боялся, что она умрет — она хворала часто.

Потом в нашей избе появился другой отец. Жить стало легче.

А потом грянула война, и другого нашего отца не стало — убили на Курской дуге.

Опять настали тяжелые времена. Вот отсюда, пожалуй, я и начну рассказ.

Начну рассказ с того времени, с какого помню почти каждый свой день — с двенадцати лет. Для начала только расскажу о своем селе.

Село наше небольшое...

Я родился в 1929 году (в «Мордве»). Уже колхозы были. Отец с матерью были колхозниками.

В 1933 году отца «взяли». Сказали: «Хотел, сволочь такая, восстание подымать». Еще многих «взяли» из деревни. Больше мы их никогда не видели. Все они в 1957 году полностью реабилитированы «за отсутствием состава преступления».

Остались мы с мамой: мне три с лишним года, Наташке, сестре, — семь месяцев. Маме — двадцать два.

Нас хотели выгнать из избы. Пришли двое: «Вытряхивайтесь».

Мы были молоды и не поняли серьезность момента. Кроме того, нам некуда было идти. Мама наотрез отказалась «вытряхиваться». Мы с Наташкой промолчали. Один вынул из кармана наган и опять сказал, чтоб мы вытряхивались. Тогда мама взяла в руки безмен и стала на пороге. И сказала: «Иди, иди. Как дам безменом по башке, куда твой наган девается». И не пустила — ушли. А мама потом говорила: «Я знала, что он не станет стрелять. Что он, дурак, что ли?».

Прожито тридцать лет — точно песню пропел. И пропел, кажется, неважно. Жалко. Песня была хорошая.

Село родное

Село наше большое, Сростки называется. Стоит оно на берегу красавицы Катуни. Катунь в этом месте вырвалась на

волю из каменистых теснин Алтая, разбежалась на десятки проток, прыгает, мечется в камнях, ревет... Потом, ниже, она несколько успокаивается, круто заворачивает на запад и несется дальше — через сорок километров она встретит свою величавую сестрицу Бию и умрет, породив Обь. В месте слиянья рек далеко еще виден светлый след своенравной Катуни — вода в ней белая.

Образовалось село в 60-е годы прошлого века, когда началось печальное переселение людей российских в Сибирь, на вольные земли.

Приходили рязанские, самарские, тверские, вятские, котельнические и оседали здесь. Строились пришлые ближе к своим... Наверно, поначалу было несколько небольших деревень, а потом, со временем, все срослось — в Сростки. Но зато в одном селе образовалось несколько краев с разными обычаями и говором. Было пять краев: Баклань, Низовка, Мордва, Дикари и Голожопка. Так было еще при мне.

Баклань — это коренные сибиряки, чалдоны. Угрюмоватые, скуластые, здоровые... Мужики ходили — руки в брюки, не торопились, смотрели снисходительно, даже презрительно. Если бывали не среди своих, — помалкивали. Работяги. Лишнюю копейку не пропьют. Все — рыбаки, охотники. У всех лодки. Катунь знали верст на пятьдесят вверх и вниз по течению. Драться не любили, но умели.

Бабы бакланские — чистюли, рожать много не любили, тоже очень работящие, но не искусницы. Так все больше — Кочугановы, Борзенковы, Кукусины. Говорили так: «Дак это, ты че этот день делашь-то?» — «Ниче». — «Сплавам в островишко, посмотрим?» — «Дак это, у меня припасишки вышли». — «Я посмотрю, у меня, однако, есть маленько — дам» — «Но дак, а че — дай. Я, этто, на днях в городишко сбегаю, привезу». Договорились плыть на охоту; один другому пообещал дать ружейных припасов.

Низовка — это что-то среднее между чалдонами и «расейскими». Мужики красивые, драчуны, вечно на ножах с Бакланью. Дома строили крестовые, селились кучно. Там — Байкаловы, Любавины, Пономаревы, Морчуговы, Быстровы... Говорили правильно, немного нажимали на «р».

— Здоррово.

— Слава богу, — и все.

Говорить тоже не любили много. Уважали в человеке силу. По праздникам бились на кулаках. Гуляли «справно»,

хвастались друг перед другом столами — тем, что выставлялось на стол для гостей. Считалось, что мужик живет хорошо, если частенько гуляет. Вообще, в селе гуляли много. Но алкоголиков как-то не было.

Мордва, Дикари и Голожопка — это «расея»: Поповы, Бедаревы, Дегтяревы, Докучаевы, Бровкины, Колокольниковы. Это края большие, крикливые, песенные. Там «чавокали», «надыськали», «явокали»... Там хлеборобы, лошадники, плотники. Там, если гуляли, — с треском, с поножовщиной, с песнями, от которых грустно становилось. Там умели поговорить, умели словчить в деле... Мужики не такие крупные, как в Баклани или Низовке, но верткие и дружные: где один не справится — приведет орду. Там любили землю, редко кто охотился или рыбачил. Там знали толк в пашне, в лошадях... Уважали справных хозяев. Там семьи огромные, и там все — родня.

Бабы там бойкие, несколько заполошные. По пустяку поднимет такой крик, хоть беги. Поймала соседского парнишку в своем огороде, отодрала крапивой, потом пошла по улице: «Это что же делается-то на белом свете, тошно мнеченьки! Это как же жить-то дальше?.. Выпростал весь горох, окаянный варнак! Весь огород потоптал. Да вить, от так доберется — дом подожгет!»

Мужики баб не слушали. Случалось — поколачивали под пьяную руку, и крепко.

Большое село. Вообще, в Сибири села большие. Любят рассказывать такую присказку: «Еду, значит, гляжу — деревня. “Какая деревня?” — “Ярки”. Ладно. Лег, поспал маленько, просыпаюсь — опять деревня. Опять: “Какая деревня?” — “Ярки”»... и так далее, пока не надоест рассказывать.

А за селом нашим — благодать и раздолье. Уже начинаются горы, но это еще не горы, это — «кучугуры», как их у нас называют — предгорье. Холмы, луга, долины, опять холмы — все в зелени, бесконечные «околки», согры, услоны, солонцы, гривы... Травы — по грудь, в траве ягоды всякой, змей полно. Едет человек по траве на коне, конь то и дело шарахается в сторону — змей. Змеи одолевают особенно на покосе. Бывает так, что проспит человек в шалаше всю ночь, утром просыпается — рядом, свернувшись кольцом, лежит змея. Или: только ляжет, укроется одежонкой, слышит — по ногам, по одежонке, ползет... Человек вскакива-

ет, запаляет смоленую веревку и носится по шалашу с палкой, заранее приготовленной с вечера, лупит змею, материт ее, на чем свет стоит. И знали, впрочем, что через веревку, свитую из конского хвоста, змея не может переползти, и даже, может быть, лежит у него такая веревка в телеге — вожжи волосяные, — но воспользоваться этим как-то лень. Безалаберность какая-то русская: «А-а, один черт». И все. Сказал так и лег спать. Впрочем, сонных змеи кусали редко.

А в сограх и в лесах подальше — волки. Волков били с удовольствием. Искали пиры, душили выводки. Еще — барсучили. Это дело тоже азартное.

По сограм — воронье, сорочья, галки... Тучи!

А над всем этим — синее-синее алтайское небо. Рдеет, дрожит вдалеке горячий воздух, день-деньской висит над косогорами сухой стрекотный звон кузнечиков. А вечерами пахнет полынью, дымком, волглой пылью... Кричат перепела, крякают на озерах утки... И далеко, далеко слышно, как кипит в камнях бешеная Катунь. А на западе в полнеба пластает соломенный пожар зари; задумчиво на земле, хорошо...

ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ ИВАНА ПОПОВА

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ

Перед самой войной повез нас отчим в город Б. Это — ближайший от нас, весь почти деревянный, бывший купеческий, ровный и грязный.

Как горько мне было уезжать! Я невзлюбил отчима и, хоть не помнил родного отца, думал: будь он с нами, тятя-то, никуда бы мы не засобирались ехать. Назло отчиму (теперь знаю: это был человек редкого сердца — добрый, любящий... Будучи холостым парнем, он взял маму с двумя детьми), так вот назло отчиму, папке назло, — чтобы он разозлился и пришел в отчаяние, — я свернул огромную папи-

росу, зашел в уборную и стал «смолить» — курить. Из уборной из всех щелей повалил дым. Папка увидел... Он никогда не бил меня, но всегда грозился, что «вольет». Он распахнул дверь уборной и, подбоченившись, стал молча смотреть на меня. Он был очень красивый человек, смуглый, крепкий, с карими умными глазами... Я бросил папироску и тоже стал смотреть на него.

— Ну? — сказал он.

— Курил... — хоть бы он ударил меня, хоть бы щелкнул разок по лбу, я бы тут же разорался, схватился бы за голову, испугал бы маму... Может, они бы поругались и, может, мама заявила бы ему, что никуда она не поедет, раз он такой — бьет детей.

— Я вижу, что курил. Дурак ты, дурак, Ванька... Кому хуже-то делаешь? Мне, что ли? Пойду сейчас и скажу матери...

Это не входило в мои планы, и это могло мне выйти боком — мама-то как раз и отстегала бы меня. Я догнал папку...

— Папка, не надо, не ходи!

— Зачем ты куришь, дурачок, с таких лет? Ведь это ж сколько никотину скопится за целую жизнь! Ты только подумай, голова садовая. Скажи, что больше не будешь, — не пойду к матери.

— Не буду. Истинный мой бог, не буду.

— Ну смотри.

...И вот едем в город — переезжаем. На телеге наше добро, мы с Талей сидим на верхотуре, мама с папкой идут пешком. За телегой, привязанная, идет наша корова Райка.

Таля, маленькая сестра моя, радуется, что мы едем, что нам еще далеко-далеко ехать. Невдомек ей, что мы уезжаем из дома. Вообще-то мне тоже нравится ехать. Вольно кругом, просторно... Степь. В травах стоит несмолкаемая трескотня: тысячи маленьких неутомимых кузнецов бьют и бьют крохотными молоточками в звонкие наковаленки, а сверху из жаркой синевы, льются витые серебряные ниточки... Наверно, эти-то тоненькие ниточки и куют на своих наковаленках маленькие кузнецы и развешивают сверкающими паутинками по траве. Рано утром, когда встает солнце, на ниточки эти, протянутые от травинки к травинке, кто-то нанизывает изумрудный бисер — зеленое платье степи блестит тогда дорогими нарядами.

Мы останавливаемся покормиться.

Папка выпрягает коня, пускает его по бережку. Райка тоже пошла с удовольствием хрумтеть сочным разнотравьем. Мы раскладываем костерок — варить пшенную кашу. Хорошо! Я даже забываю, что мы уезжаем из дома. Папка напоминает:

— Вот здесь наша река последний раз к дороге подходит. Дальше она на запад поворачивает.

Мы все некоторое время молча смотрим на родимую реку. Я вырос на ней, привык слышать днем и ночью ее ровный, глуховатый, мощный шум... Теперь не сидеть мне на ее берегах с удочкой, не бывать на островах, где покойно и прохладно, где кусты ломятся от всякой ягоды: смородины, малины, ежевики, черемухи, облепихи, боярки, калины... Не заводиться с превеликим трудом — так, что ноги в кровь и штаны на кустах оставить — бечевой далеко вверх и никогда, может быть, не испытать теперь величайшее блаженство — обратный путь домой. Как нравилось мне, каким взрослым, несколько удрученным заботами о семье мужиком я себя чувствовал, когда собирались вверх «с ночевой». Надо было не забыть спички, соль, ножик, топор... В носу лодки свалены сети, невод, фуфайки. Есть хлеб, картошка, котелок. Есть ружье и тугой, тяжелый патронташ.

— Ну, все?

— Все вроде...

— Давайте, а то поздно уже. Надо еще с ночевкой устроиться. Берись!

Самый хитрый из нас, владелец ружья или лодки, отправляется на корму, остальные, человека два-три, — в бечеву. Впрочем, мне и нравилось больше в бечеве, правда, там горсть смородины на ходу слупишь, там второпях к воде припадешь горячими губами, там надо вброд через протоку — по пояс... Да еще сорвешься с осклизлого валуна да с головой ухнешь... Хорошо именно то, что все это на ходу, не нарочно, не для удовольствия. А главное, ты, а не тот, на корме, основное-то дело делаешь...

Эх, папка, папка! А вдруг да у него не так все хорошо пойдет в городе? Ведь едем-то мы — попробовать. Еще неизвестно, где он там работу найдет, какую работу? У него ни грамоты большой, ни специальности, и вот надо же — поперся в город и еще с собой трех человек потащил. А сам ни-

чего не знает, как там будет. Съездил только, договорился с квартирой, и все. И мама тоже... Куда согласилась? Последнее время, я слышал, все шептались по ночам: она вроде не соглашалась. Но ей хотелось выучиться на портниху, а в городе есть курсы... Вот этими курсами-то он се и донял. Согласилась. Попробуем, говорит. Ничего, говорит, продавать не будем, лишнее, что не надо, рассуем для хранения по родным и поедем, попробуем. А папке страсть как охота куда-нибудь на фабрику или в мастерскую какую — хочется ему стать рабочим, и все тут. Ну, вот и едем.

...Приехали в город затемно. Я не видел его. Папка чудом находил дорогу: сворачивали в темные переулки, громыхали колесами по булыжнику улиц... Раза два он только спрашивал у встречных, встречные объясняли что-то на тарабарском языке: надо еще до конца Осоавиахимовской, потом свернуть к Казармам, потом будет Дегтярный... Папка возвращался к нам и говорил, что все правильно — верно едем. Мы с Талей и мама притихли. Только папка один храбрился, громко говорил... Наверно, чтоб подбодрить нас.

По бокам темных улиц и переулков стояли за заборами большие дома. В окнах яркий свет.

— Господи, да когда же приедем-то? — не выдержала мама. Это же самое удивляло и меня: казалось, что мы, пока едем по городу, проехали пять таких деревень, как наша. Вот он, город-то!

— Скоро, скоро, — бодрится папка. — Еще свернем на одну улицу, потом в переулок — и дома.

Дома!.. Смелый он человек, папка. Я его уважаю. Но затею его с городом все-таки не могу принять. Страшно здесь, все чужое, можно легко заблудиться.

Не заблудились. Подъехали к большому дому, папка остановил коня.

— Здесь. Счас скажу, что приехали...

— Скорей там, — велит мама.

— Да скоро! Скажу только...

В переулке темно. Я чувствую, мама боится, и сам тоже начинаю бояться. Одной Тале — хоть бы хны.

— Мам, мы тут жить станем?

— Тут, доченька... Заехали!

— Уговори ты его назад, домой, — советую я.

— Да теперь уж... Вот дура-то я, дура!

Папки, как на грех, долго нету. В доме горит свет, но забор высокий, ничего в окнах не видать.

Наконец появился папка... С ним какой-то мужик.

— Здравствуйте, — не очень приветливо говорит мужик. — Заезжай, я покажу, куда ставить. Барахла-то много?

— Откуда!.. Одежонка кой-какая да постелишка.

— Ну, заезжайте.

Пока перетаскивают наши манатки, мы сидим с Талей в большой, ярко освещенной комнате на сундуке в углу. В комнату вошел долговязый парнишка... с самолетом. Я прирос к сундуку.

— Хочешь подержать? — спросил парнишка.

Самолет был легкий, как пушинка, с тонкими размашистыми крыльями, с винтиком впереди... Таля тоже потянулась к самолету, но долговязый не дал.

— Ты изломаешь.

Таля захныкала и все тянулась к самолету — тоже подержать. Долговязый был неумолим. И во мне вдруг пробудилось чудовищное подхалимство, и я сказал строго:

— Ну, чего ты? Изломаешь, тогда что?! — мне хотелось еще разок подержать самолет, а чтоб долговязый дал, надо, чтоб Таля не тянулась и нечаянно не выхватила бы его у меня.

Тут вошли взрослые. Отец долговязого сказал сыну:

— Иди спать, Славка, не путайся под ногами.

Когда остались мы одни, я вдруг обнаружил, что свет-то — с потолка!.. Под потолком висела на шнуре стеклянная лампочка, похожая на огурец, а внутри лампочки — светлая паутинка. Я даже вскрикнул:

— Гляньте-ка!..

— Ну что? Электричество. Ты, Ванька, поменьше теперь ори — не дома.

Тут вступилась мама:

— Парнишке теперь и слова нельзя сказать?

— Да говори он, сколько влезет, — потихоньку. Чего заполошничать-то?

Они еще поговорили в таком духе — частенько так разговаривали.

— Завез, да еще недовольный...

— Ну и давай теперь на каждом шагу: «Гляди-ка! Смотри-ка!». Смеяться ведь начнут.

— Ну и не одергивай каждый раз парнишку!

— Погоди, сядет он тебе на шею, если так будешь...

А как, интересно? Самого отец чуть не до смерти зашиб на покосе за то, что он, мальчишкой, побоялся распутать и обратать шкодливую кобылу — лягалась... Сам же нет-нет да вспомнит про это и обижается на своего отца. Его тогда, маленького-то, насилу откачала мать, бабушка наша неродная. А на шею я никому не сяду, не надо этого бояться.

Мы легли спать.

Долго мне не спалось. Худо было на душе. За стеной громко, с присвистом храпел хозяин, чуждо гудели под окнами провода, проходили по улице — группами — молодые парни и девки, громко разговаривали, смеялись. Почему-то вспомнилось, как родной наш дедушка, когда выпьет медовухи, всякий раз спрашивает меня:

— Ванька, какое самое длинное слово на свете?

Я давно знаю, какое, а чтоб еще раз услышать, как он выговаривает это слово, хитрю:

— Не знаю, деда.

— А-а!.. — и начинает: — Интре... интренацал... — и потом только одолевает: — Ин-тер-на-ци-о-нал!

Мы покатываемся со смеху — мама, я и Таля.

— Эх вы!.. Смешно? — обижается дедушка. — Ну, валяйте, смейтесь.

Можно бы сейчас написать, что в ту ночь мне снились большие дома, самолет, лампочка... Можно бы написать, но не помню, снилось ли. Может, снилось.

Утром я проснулся оттого, что прямо под окном громко сморкался хозяин и приговаривал:

— Ты гляди што!.. Прямо круги в глазах.

Мамы и папки не было. Таля спала. Я стал думать: как теперь пойдет жизнь? Дружков не будет — они, говорят, все тут хулиганистые, еще надают одному-то. Речки тоже нету. Она есть, сказывал папка, но будет далеко от нас. Лес, говорит, рядом, там, говорит, корову будем пасти. Но лес не нашенский, не острова — бор, — это страшновато. Да и что там, в бору-то? — грузди только.

Тут вдруг в хозяйской половине забегали, закричали... Я понял из криков, что Славка засадил в ухо горошину. Всем семейством они побежали в больницу. Я встал и пошел в их комнату — посмотреть, какие в городе печки. Говорили, ка-

кие-то чудные. Открыл дверь... и не печку увидел, а аккуратную белую булочку на столе. Потом я узнал, что их зовут — сайки. Никого в комнате не было. Я подошел к столу взял сайку и пошел к Тале. Она как раз проснулась.

— Ой! — сказала она. — Дай-ка мне.

— Всю, что ли?

— Да зачем?.. Смеряй ниточкой да отломи половинку. Это мама купила?

— Дали. Славка дал.

Разломили саечку и стали есть, сидя на кровати. Никогда не ел такого вкусного хлеба. До чего же душистый, мягкий, чуть солоноватый, даже есть жалко; я все поглядывал, сколько осталось. Мы не услышали, как открылась дверь... Услышали:

— Уже пакости́ть начали? — с порога на нас глядела хозяйка. У меня все оборвалось внутри. — Зачем ты взял сайку?

И — вот истинный бог, не вру — я сказал:

— Я думал, она чужая.

— Чужая... Нехорошо так делать. Это — воровство называется. Я вот скажу отцу с матерью...

Что-то я вконец растерялся... Вдруг спросил:

— Горошину-то вытащили?

— О какой! — удивилась хозяйка. — Хитрит еще, — и ушла.

Мне стало совсем невмоготу.

— Пойдем домой? — предложил я Тале.

— Счас, давай только доедим, — легко согласилась она. Она твердо помнила наказ мамы: не есть на ходу, а — сядь, съешь, чего у тебя там есть, тогда уж ходи или бегай.

Я увидел в окно, что хозяйка пошла в сарай, и заторопил Талю. Она было заупрямилась, но все же пошла.

Я помнил, что мы к воротам подъехали слева, если стоять к ним лицом, значит, теперь надо — вправо. Пошли вправо. Дошли до перекрестка... Я не знал, как дальше. Спросил какого-то дяденьку:

— Как бы нам до Ч-ского тракта дойти?

— А зачем? — спросил дяденька.

— Нам мама сказала туда идти. Она нас там поджидает, — раньше всего другого, что значительно облегчает эту жизнь, я научился врать. И когда врал и мне не верили, я

чуть не плакал от обиды. Дяденька внимательно посмотрел на меня, на Талю... И показал:

— Вот так прямо — до перекрестка, потом улица налево пойдет — по ней, а там, как дойдешь до водонапорной башни, большая такая, там спроси снова.

От водонапорной башни дорогу дальше показала тетенька и даже прошла с нами немного.

Долго ли, коротко ли мы шли, а к Ч-скому тракту вышли. Там мы сели на взгорок и стали ждать, кто бы нас подвез до нашей деревни. Там, на взгорке, к вечеру уже, нашли нас мама с папкой. Таля плакала — хотела есть, мной потихоньку овладевало отчаяние...

— Таленька!.. Доченька ты моя-а!..

Я думал, мне крепко влетит. Нет, ничего.

Скоро началась война. Мы вернулись в деревню...

Папку взяли на войну.

В 1942 году его убили.

ГОГОЛЬ И РАЙКА

В войну с самого ее начала, больше всего стали терзать нас, ребятишек, две беды: голод и холод. Обе сразу наваливались, как подступала бесконечная наша сибирская зима со своими буранами и злыми морозами. Летом — другое дело. Летом пошел поставил на ночь перемета три-четыре, глядишь, утром — пара налимов есть (до сего времени сладостно вздрагивает сердце, как вспомнишь живой, трепетный дерг бечевы в руках, чириканье ее по воде, когда он начинает там «водить»). Или пошел назорил в околках сорочьих яиц, испек в золе — сыт. Да мало ли! Будь попроворней да и!ей башку на плечах — можно и самому прокормиться, и домой принести. Но зима!.. Будь она трижды проклята, эта зимушка-зима!.. И воет и воет над крышей, хлопает плахами... Все тепло, какое было с утра в избе, все к вечеру высвистит, сколько ни наваливай на порог, под дверь, тряпья, как ни старайся утеплить окна. Или наладятся такие морозы, что в сенцах трескотня стоит и, кажется, вот-вот, еще маленько поддаст, и полопаются стекла в окнах. Выскочишь на минуту в ограду, в пригóн — тебя точно в сугроб голенького, и рот ледяной ладошкой запечатают. А

в пригоне — корова... Вот горе-то: сена в обрез, ей жевать и жевать в такую стужу, а где возьмешь, зиме еще конца не видно. Сделаешь свое малое дело и пулей опять в избу — от холода жгучего, в нестерпимой боли за корову: чтоб уж хоть не видеть ее, понурую, всю в инее, с печальными глазами. И в избе нет покоя: тут — худо-бедно — согреешься, а она там стоит... И только на ночь дадим ей охапку сена, и все. И так и видишь все время бесконечно печальные коровьи глаза — прямо в душу глядят. Она ведь кормилица. Она по весне принесет молоко и теленка — это такая суматошная радость в эти дни, когда наша Райка (корова) вот-вот отелится. Тут весна, теплеет уже, а тут скоро заскользит по полу нежными копытцами, может бог даст, телочка (мы в прошлом году сдали телочку в колхоз. Нам дали муки, много жмыха и чайник меда. Долго, конечно, такого праздника ждать — лето, зиму и еще лето, но тем он и дороже, праздник-то. Да и есть, что ждать). В такие дни, весной, у нас в избе идет такой тарарам, что душа заходится от ликующего, делового чувства. Я то и дело выскакиваю смотреть Райку, щупаю ее теплое брюхо, хоть ни шиша не смыслю в этом. Таля тоже бегает со мной, тоже щупает Райкино брюхо... Райка, повернув голову, смотрит на нас дымчато-влажными глазами, нежными глазами — она тоже ждет теленка, она, наверно, понимает наше суетливое беспокойство.

— Вань, скоро?

— Ночью, наверно, опростается.

Всю ночь у нас горит свет; мама ходит к Райке, тоже щупает ее брюхо...

Приходит и говорит:

— Прямо близко уже... Слышно: толкается ногами-то, толкается, а все никак. Уж не беда ли с ней? Матушка-царица небесная, не допусти до смерти голодной. Куда мы тогда денемся?

Тревожная, страшная ночь.

И рано поутру наш дедушка смотрит Райку и говорит нам всем:

— Чего заполошничаете-то? Сегодня к ночи только... Детей пужаешь, дуреха! — это он на маму, потому что к утру мы с Талей бываем зареванными. Сколько счастья приносил нам дедушка!

А теперь — еще зима. Я на стенке начертил в ряд несколько палочек, сколько осталось дней до марта. Вычеркиваю вечерами по одной, но их еще так много!

Но бывала у меня одна радость — неповторимая, большая — и зимой: в долгие зимние вечера я читал на печке маме и Тале книги.

С книгами у меня целая история. Я каким-то образом научился читать до школы: учил меня дядя Павел (тот сам читать страсть как любил и даже пытался сочинять стихи и, говорит, когда он был на войне, то некоторые его стихи печатали во фронтовой газете. Наверно, неправду говорит, он прихвастнуть любит: когда мне теперь попалась тетрадка его стихов, они поразили меня своей бестолковщиной)... Словом, как только я еще и в школе поднаторел и стал читать достаточно хорошо, я впился в книги. Я их читал без разбора, подряд, какие давала библиотекарша. Она удивлялась и не верила:

— Уже прочитал?

— Прочитал.

— Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если берешь книги. Вот возьми и дочитай.

Что с ней было делать? Брал книжку обратно, терпел дня два и шел опять. Потом я наловчился воровать книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, шкаф, и когда летом школу ремонтировали, в коридор — вечерком, попозже — можно было легко проникнуть. Дальше — еще легче: шкаф двустворчатый, два колечка на краях створок, замок с дужкой... Приоткроешь створки — щель достаточна, чтоб пролезла рука: выбирай любую! Грех говорить, я это делал с восторгом. Я потом приворовывал еще кое-что по мелочи, в чужие огороды лазил, но никогда такого упоения, такой зудящей страсти не испытывал, как с этими книгами.

Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь я в школе на редкость плохо. Это пришла и рассказала учительница. Они с мамой тут же установили причину такого страшного отставания — книги (парень-то я был не такой уж совсем дремучий). А тут еще какая-то дура сказала маме, что нельзя, чтобы парнишка так много читал, что бывает — зачитываются. Мама начала немилосердно бороться с моими книгами. Из библиотеки меня выписали, дружкам моим запретили давать мне книги, которые они берут на

свое имя. Они, конечно, давали. Мама выследила меня дома, книжки отняла, меня выпорола... Я стал потихоньку снимать с чердака книги, украденные раньше в школьном шкафу (эта лавочка со школьными книгами к тому времени для меня кончилась: обнаружили пропажу переделали запор. В краже книг обвинили плотников: зачем они на свои самокрутки достают и дерут книги, которые так нужны школе. Для этого есть старые газеты. Плотники клялись, что они ни сном ни духом не ведают, куда девались книги — они не брали). Я снимал книги с чердака и перечитывал уже читанное. Я делал это так: вкладывал книгу в обложку задачника и спокойно читал. Мама видела, что у меня в руках задачник, и оставляла меня в покое и еще радовалась, наверно, что я сел, наконец, за уроки. Подумай она нечаянно, что нельзя же так подолгу с таким упоением читать задачник — подумай она так, мне опять была бы выволочка.

На мое счастье, об этой возне с книгами узнала одна молодая учительница из эвакуированных ленинградцев (к стыду своему, забыл теперь ее имя), пришла к нам домой и стала беседовать со мной и с мамой (наши женщины, все жители села очень уважали ленинградцев). Ленинградская учительница узнала, как я читаю, и разъяснила, что это действительно вредно. А главное, совершенно без всякой пользы: я почти ничего не помнил из прочитанной уймы книг, а значит, зря угробил время и отстал в школе. Но она убедила и маму, что читать надо, но с толком. Сказала, что она нам поможет: составит список, и я по этому списку стану брать книги в библиотеке (читал я действительно черт знает что: вплоть до трудов академика Лысенко — это из ворованных. Обожал также брошюры — нравилось, что они такие тоненькие, опрятные, отчесал за один присест и в сторону ее).

С тех пор стал я читать хорошие книжки. Реже, правда, но всегда это был истинный праздник. А тут еще мама, а вслед за ней и Таля тоже проявили интерес к книгам. Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда с собой лампу. И я начинал... Господи, какое жгучее наслаждение я испытывал! Точно я прожил большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать разные истории моим родным, крайне заинтересованным, благородным людям. Точно не книгу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась: «Ах, ты господи! Гляди-ка!

Вот ведь что на свете бывает!», — я чуть не стонал от счастья и торопливо и несколько раздраженно говорил: «Да ты погоди, ты послушай, что дальше будет!».

— А что дальше, Вань? — вылетала со своим языком курносая Таля. Я шипел на нее, обзывая «дурой», мама строго говорила, что так не надо.

— А чего она!..

— Ну раз мы не понимаем, мы и спрашиваем. А ты не сердись, а рассказывай — ты же знаешь. Тебя разве учительница обзывает дураком?

— Дак можно же сообразить, что я еще сам пока не знаю, что будет дальше!

— Она маленькая. Читай-ка дальше.

Ах, какие это были праздники! (я тут частенько восклицаю: счастье, радость! праздники!.. Но это — правда, так было. Может, оттого, что — детство. А еще, я теперь догадываюсь, что в трудную, горькую пору нашей жизни радость — пусть малая, редкая — переживается острее, чище). Это были праздники, которые я берегу — они сами сберегаются — всю жизнь потом. Лучшего пока не было.

Вот что только омрачало праздники; мама, а вслед за ней Таля скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишься читать всю ночь, глядь, уж мама украдкой зевает. А вслед за ней и ее копия тоже ладошечкой рот прикрывает — подражает маме. Я чуть не со слезами смотрю на них.

— Читай, читай! Что, уж зевнуть нельзя?

— Да ведь поснете сейчас!

— Не поснем. Читай знай.

Но я знаю — поснут. Читаю дальше... Мама борется со сном, глаза ее закрываются, она слабеет. Эх!.. Еще минута-две, и мои слушательницы крепко спят. Сижу, горько обиженный... Невдомек было дураку: мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой, маленькой, ей эти мои книжки — до фонаря: она хочет быть похожей на маму, и все. Пробую читать один — не то. Да и в сон тоже начинает клонить... И еще одно, что тревожило праздники: мысль о Райке. Вот она скоро доест свою охапку сена и будет стоять мерзнуть до утра. От этой мысли самому холодно и горько, и совестно становится на теплых кирпичах. И маму тоже больно тревожила эта же мысль, и она нет-нет да вздохнет, когда я читаю.

Я знаю, о чем она. Но что делать, что делать! Где его возьмешь, сена?

В один такой вечер мы читали «Вия». Я, сам замирая от страха, читал:

— «Он дико взглянул и протер глаза. Но она, точно, уже не лежит, а сидит в своем гробу. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала... идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь.

Она идет прямо к нему...»

Первой не выдержала мама.

— Хватит, сынок, не надо больше. Завтра дочитаем.

— Давай, мам...

— Не надо, ну их... Вот завтра дедушку позовем ночевать, и ты нам опять ее всю прочитаешь. Как заглавие-то?

— Гоголь. Но тут разные, а эта — «Вий».

— Господи, господи... Не надо больше.

Мы долго лежали со светом. Таля уже спала, а мы с мамой не могли заснуть. По правде говоря, я бы и сам не смог читать дальше. Вот так книга! Учительница отметила на листочке, какие читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то (запретный плод, что ли?) начал именно с «Вия». И вот, пожалуйста: сразу непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас. И сил нет оторваться, и жутко. Хоть бы завтра дедушка не хворал, хоть бы он пришел, курил бы, лежал на лавке, накрывшись тулупом (он не мог спать на кровати под одеялом), хоть бы он... Мы бы... я бы снова стал читать этого «Вия» и дочитал бы до конца.

— Ты не бойся, сынок, спи. Книжка она и есть книжка, выдумано все. Кто он такой, Вий?

— Главный черт. Я давеча в школе маленько с конца урвал.

— Да нету никаких Виев! Выдумывают, окаянные, — ребятишек пужать. Я никогда не слыхала ни про какого Вия. А то у нас старики не знали бы!..

— Так это же давно было! Может, он помер давно.

— Все равно старики все знают. Они от своих отцов слыхали, от дедушек... Тебе же дедушка рассказывает разные истории? — рассказывает. Так и ты будешь своим детишкам, а потом, может, внукам...

Мне смешно от такой необычайной мысли. Мама тоже смеется.

— Вот чего, — говорит она, — побудьте маленько одни, я схожу сено подберу. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. Она подымается рано — увидит, подберет. А жалко — добрый навильник-то. Посидишь, ничего?

— Посижу, конечно.

— Посиди, я скоренько. Огонь не гаси. С печки не слазь.

Мама торопливо собралась, еще сказала, чтоб я никого не боялся, и ушла. Я стал думать, что я опять не отдал должок (семнадцать бабок) Кольке Быстрову, — чтоб не думать про Вия. Тоже невеселая дума (неделю уже не могу отдать), но уж лучше про это, чем... Но мысли мои упрямо возвращаются к Вию; возникает неодолимое желание посмотреть вниз, в темный угол. Я начинаю отчаянно бороться с этим желанием, отвернулся к Тале, внушаю себе знакомое: на печке никакая нечистая сила не страшна, на печку они не могут залезть, им не дано, они могут сколько им влезет звать, беситься, стращать внизу, но на печку не полезут, это проверено. Покрутятся до первых петухов и исчезнут. Лежу и стараюсь повеселей думать об этом. Но точно кто за волосы тянет — затылок сводит от желания посмотреть вниз, в угол. Сил моих нет бороться. И уж думаю: ну, загляну! Пусть они попробуют на печку залезть. Пусть они только попробуют... И тут я слышу в сенях торопливые шаги. Я цепенею от ужаса... Кто там? Мама еще до старухи Сосниной не дошла... Вот уж за скобку взялись... Я дернул одеяло на себя, укрылся с головой, — чтоб только не видеть... Господи, господи!.. Учиться хорошо буду, маму слушаться... Дверь открылась, и я слышу мамин голос, потревоженный скорой ходьбой:

— Спишь, сынок?

С сердца схлынул мглистый, цепкий холодок жути.

— Ты, мам? Ты чего скоро-то?

— Да я подумала: чего же я одна-то пошла, мне же одной-то не донести — навильник-то добрый... Пойдем-ка возьмем веревки, навяжем две вязанки да принесем. Жалко бросать-то. Таля-то спит?

Я мигом слетаю с печки.

— Спит. Я счас... Она сроду не проснется!

И вот мы идем темной улицей близко друг к другу... Молчим. Поспешаем. Я считаю, сколько еще домов осталось до

старухи Сосниной. Пять. Вот — переулочек. Тут — четыре избы и длинный огород этой самой старухи.

— Сено-то доброе! Прямо пух... Жалко оставлять-то. Давечь никого в переулке-то не было, я и сбросила с воза. Чего им, колхозным-то? Им-то до весны с лишком хватит...

— Если хороший навильник — раза на три хватит дать.

— Там на четыре хватит. Я ишо там, когда накладывались, подумала: может, запоздаем в деревню-то — стемнеет, поедем переулком, я и сброшу. Да и положила поверх бастырка здо-ро-о-вый навильник.

— А если б в переулке кто-нибудь бы оказался?

— Ну, тогда что ж... отвезла бы в бригаду. Тут уж ничего не сделаешь.

— Ух, она же и поест у нас сейчас! Свеженького-то... Сразу согреется. Сразу ей дадим?

— Знамо, сразу! Дармовое...

Ну вот она, старухина изба. У нее там — между избой и баней — есть такой закоулок... Летом там крапива растет в рост человеческий, а зимой сохлые стеблины торчат из снега, чернеют — вечером и то никакого сена не разглядишь, не то что ночью.

Мы скоро навязываем две большие вязанки... Сено пахучее, шуршит в руках, колется. Так и вижу нашу Райку — как она уткнет свою морду в это добро.

Идем назад. И тут — черт ее вынес, проклятую, — собака Чуевых: подбежала, невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки не выронил... А мама выронила свою и села на нее. Едва оправилась от страха, пошли. Мама ругается:

— Вот гадина!.. У меня чуть разрыв сердца не случился. Ты-то как, сынок?

— Да ничего. Ноги маленько ослабли сперва, а сейчас ничего.

Некоторое время еще идем.

— Может, подбежим, сынок? Оно скорей дело-то будет. А то Таля бы там не проснулась...

— Давай.

И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка — точно большой, темный горб — подскакивает на маминой спине.

Райка мыкнула, услышав нас... Я распустил свою вязанку и бухнул ей в ноги большую охапку. Райка мотнула головой и захрумтела вкуснейшим сенцом.

— Ешь, милая, ешь, — говорит мама. — Ешь, родимая, — и чего-то всплакнула и тут же вытерла слезы и сказала: — Ну, пошли, Вань, а то Талюха там... Дело сделали!

Таля спит! Даже не пошевельнулась, пока мы шумно и весело раздевались и залезали на печку.

«Здорово, Вий!» — сказал я про себя и посмотрел вниз, в дальний темный угол.

Весны-то мы кое-как дождались, а вот Райки у нас не стало... У меня и теперь не хватает духу рассказать все подробно. У нас уж в избе раскорячился теленочек — телочка! — цедил на соломенную подстилку тоненькую бесконечную струйку. Мы ели картошку и запивали молочком.

Сена, конечно, не хватило. А уж вот-вот две недели — и выгонять пастись. Только бы эти две недели как-нибудь... Мама выпрашивала у кого-нибудь по малой вязанке, но чего там! Райке теперь много надо: у ней теперь молоко. И мы ее выпускали за ворота, чтобы она подбирала по улице: может, где клочок старого вытает или повезут возы на колхозную ферму и оставят на плетнях... Иногда оставляют на кольях по доброй горсти. Так она у нас и ходила. А где-то, видно, забрела в чужой двор, пристроилась к стожку... Стожки еще у многих стояли: у кого мужики в доме, или кто по блату достал воз, или кто купил, или... бог их там знает. Поздно вечером Райка пришла к воротам, а у ней кишки из брюха висят, тащатся за ней: прокололи вилами.

Вот... Значит, надо ждать телочку, пока она вырастет. Назвали ее тоже Рая.

ЖАТВА

Год, наверное, 1942-й (мне, стало быть, 13 лет). Лето, страда. Жара несусветная. И нет никакой возможности спрятаться куда-нибудь от этой жары. Рубаха на спине накалилась и, повернешься, обжигает.

Мы жнем с Сашкой Кречетовым. Сашка старше, ему лет 15—16, он сидит «на машине» — на жнейке (у нас говорили — жатка). Я — гусевым. Гусевым, это вот что: в жнейку впрягалась тройка, пара коней по бокам дышла (водила или водилины), а один, на длинной постромке, впереди, и на нем-то в седле сидел обычно парнишка моих лет, направляя пару тягловых — и, стало быть, машину — точно по срезу жнивья.

Оглушительно, с лязгом, звонко стрекочет машина, машет добела отполированными крыльями (когда смотришь на жнейку издали, кажется, кто-то заблудился в высокой ржи и зовет руками к себе); сзади стоячей полосой остается висеть золотисто-серая пыль. Едешь, и на тебя все время наплывает сухой, горячий запах спелого зерна, соломы, нагретой тра́вы и пыли — прошлый след, хоть давешняя золотистая полоса и осела, и сзади поднимается и остается неподвижно висеть новая.

Жара жарой, но еще смертельно хочется спать: встали чуть свет, а время к обеду. Я то и дело засыпаю в седле, и тогда не приученный к этой работе мерин сворачивает в хлеб — сбивает стеблями ржи паутов с ног. Сашка орет:

— Ванька, огрею!

Бичина у него длинный — может достать. Я потихоньку матерюсь, выравниваю коня... Но сон, чудовищный, желанный сон опять гнет меня к конской гриве, и сил моих не хватает бороться с ним.

— Ванька!.. — Сашка тоже матерится. — Я сам с сиденья валюсь! У меня у самого счас кровоизлияние мозга будет! Потерпи!

— Давай хоть пять минут поспим?! — предлагаю я.

— Еще три круга — и выпрягаем.

Три огромных круга!.. А машина стрекочет и стрекочет, и размерно шагает конь, и дергает повод, и фыркает, и на голову точно масленый блин положили, и горячее масло струйками стекает под рубаху, в штаны... Там, где сидишь в седле, мокро, все остальное раскалилось, тлеет.

— А, Сань?! А то упаду под жатку, вот увидишь!

Сашку допекло тоже; он еще немного хорохорится, поет песни, потом натягивает вожжи.

— Тр-р! Пять минут, Ванька! А то застукают.

Господи, да больше и не надо! Это и так вечность. Падаю с коня, на карачках отползаю подальше в рожь — на тот слу-

чай, если кони сами тронут, то чтоб не переехало машиной — успеваю еще подумать про это... Потом горячая, пахучая земля приникла к лицу, прижалась; в ушах еще звон жнейки, но он скоро слабеет, над головой тихо прошуршали литые, медные колоски — и все. Мир звуков сомкнулся, я отбыл в мягкую, зыбучую тишину. Еще некоторое время все тело вроде слегка покачивается, как в седле, приятно гудит кровь, потом я бестелесно куда-то плыву и испытываю блаженство. Странно, я чувствую, как я сплю — сознательно, сладко сплю. Земля стремительно мчит меня на своей груди, а я — сплю, я знал это. Никогда больше в своей жизни я так не спал — так вот — целиком, вволю, через край.

Сколько мы спали, не знаю, только проснулся я вдруг с ощущением близкой опасности; сразу как-то, как от толчка, всплыл из глубины небытия на поверхность... Кто-то кричал... Я вскочил. Нас все же застукали: сам председатель колхоза Иван Алексеич бегал по стерне за Сашкой, но так как одна нога у председателя деревянная, то догнать Сашку, конечно, он не мог, и только издали грозил плетью и ругался. Увидев меня, председатель кинулся было за мной, но я так дернул с места, что он сразу остановился.

— Контры! Вы мне ответите!.. Садитесь жать счас же!

— Отойди от жатки, тогда сядем, — Сашке, видно, попало разок председательской плетью — он почесывал спину.

— Счас же у меня садитесь! Вы што, под статью меня подвести хочете?!

— Отойди от жатки...

Председатель, ругаясь, пошел к своему легкому коробку, который стоял в стороне.

Опять заскрипела, заскрежетала жнейка, опять наладилось жечь солнце, но теперь на душе куда легче, даже весело: малость урвали.

Председатель еще постоял немного, посмотрел на нас и уехал.

Странный он был человек, Иван Алексеич, председатель. Эта нога его — это ему давно еще, молотилкой: хотел потуже вогнать сноп под барабан, и вместе со снопом туда задернуло ногу. Пока успели скинуть со шкива приводной ремень, ногу всю изодрало зубьями барабана, потом ее отняли выше колена. Мы его нисколько не боялись, нашего председателя, хоть он страшно ругался и иногда успевал жогнуть

плетью. Мы не догадывались тогда, что народ мы еще довольно зеленый, вовсю ругались по-мужичьи, и с председателем — тоже. С нами было нелегко. Как я теперь понимаю, это был человек добродушный, большого терпения и совестливости. Он жил с нами на пашне, сам починял веревочную сбрую, длинно матерился при этом... Иногда с силой бросал чиненую-перечиненую шлею, топтал ее здоровой ногой и плакал от злости.

В тот день председатель здорово насмешил нас.

Съехались мы поздно вечером к бригадному дому, расселись кто где хлебать затируху (мелкие кусочки теста, крошки, сваренные в воде). Потом должно было быть собрание: у председателя много накопилось фактов нашего безобразного поведения: кто-то еще, кроме нас с Сашкой, спал на полосе, кто-то накануне, вечером, самовольно бегал домой в баню, кто-то, дожав клин, гонялся с бичом за перепелками — терял драгоценное время...

Председатель, пока мы ужинали, застелил красным сукном длинный стол под навесом, сидел один за столом, строго поглядывал в нашу сторону — ждал: предстояла «накачка».

Мы ополоснули чашки, закурили и приготовились слушать.

— Сегодня четыре оглоеда, — начал председатель, — спали на полосе. Это: Санька Кречетов, Илюха Чумазый, Ванька Попов и Васька-безотцовщина. Вы што, соображаете?! А этот верзила... Колька, я про тебя! — в баньку ему вишь, захотелось!

(Колька, Моисеев внук, поймал у меня вчера на рубахе вшу и подговаривал вместе бежать вечером в деревню в баню, а к свету вернуться. Я отказался)

— Попариться ему вишь, захотелось, жеребцу! Дубина такая... Ты всю ночь-то пробегаешь туда-сюда, а днем — спать на полосе!

— Я не спал.

— Я посплю вам! Я вам посплю, дьяволы! Вы у меня ишо скирдовать в ночь будете.

Далеко, за лесом, медленно опускается в синие дымы большое красное солнце; хорошо на земле, задумчиво, покойно. Под председательским столом, свернувшись калачи-

ком, мирно спит Борзя, наш бесконечно добрый, шалавый кобель.

Председатель никак не может разозлиться, вяло у него получается — никакого интереса. Мы клюем носами.

— Дальше: што это за моду взяли — перепелок стегать?! Живодеры... Первое: они всяких личинок уничтожают... Да время же теряете, черти! Пока ты ее догонишь да угодишь бичом — времени-то сколько уходит! Дальше: Ленька-японец наехал, сукин сын, на пенек, порвал пилу. Оглазел?! Скину вот трудодней пятнадцать, будешь вперед смотреть! Ехай счас прямо в кузню — штоб завтра, как только дед Макар проснется, пилу мне склепали.

Ленька-японец радешенек: дома побудет. Везет недомерку! Не нарочно ли на пень-то наехал? Но он хитрый, радости не показывает, а виновато хмурится.

— Дальше: еслив ишо кого увижу...

Тут-то нанесло нежданного: на дороге, из-за взгорка, показались дрожки уполномоченного — мы хорошо знали его жеребца. К нам едет.

Эх, как вскочил тут наш председатель (он ужасно боялся уполномоченного), да как застучал кулаком по столу, как закричал:

— Я давно уж замечаю среди вас контр... контр...

А деревяшкой своей председатель наступил Борзе на хвост; Борзя взвыл блажным голосом. Председателю надо перекричать собаку, он кричит:

— Давно уж я замечаю среди вас контрреволюционные элементы!

Собака воет, крутится под столом; председатель почему-то не может сойти с нее — то ли от волнения, то ли... бог его знает. Добрый Борзя начал кусать деревяшку; мы корчимся от смеха: до того уморительная картина (потом, когда мы вспоминали эту историю, Ленька-японец сознался, что у него случилась тогда посикота — написал в штаны от смеха).

Уполномоченный подъехал. Глядит на нас, ничего не может понять. Председатель быстро пошел навстречу ему. Ошалевший Борзя с визгом вылетел из-под стола, кинулся бежать... Да прямо в ноги райкомовскому жеребцу. Красавец жеребец дико всхрапнул, дал в дыбы — чуть из хомута не вылез. Уполномоченный выскочил из коробка; председа-

тель поскакал было на деревяшке за Борзей, потом вернулся, стал успокаивать жеребца.

Мы все лежали вповал. Мы тоже побаивались уполномоченного, но тут ничего не могли с собой сделать — умирали от смеха.

— В чем дело?! — строго спросил уполномоченный.

— Это... собрание у нас — насчет итогов, — пояснил Иван Алексеич. — С собакой маленько комедия вышла... — и закричал на нас: — Завтра же убрать этого блохастого!..

— Я вижу, что комедия, а не собрание. Может, рано веселиться-то?! — спросил у нас уполномоченный. — Может, наоборот, плакать надо?!

Мы постепенно затихли. Вот теперь, кажется, будет «накачка» настоящая. Но уполномоченный почему-то отменил собрание. Неожиданно добрым голосом сказал:

— Ладно: поработали, посмеялись — идите спать.

Спали мы в доме на нарах. Долго еще не могли успокоиться в тот вечер, вспоминали Борзю, Ивана Алексеича, хохотали в подушки. Иван Алексеич беседовал у огонька с уполномоченным... Раза два он входил к нам и сердито шипел:

— Вы будете спать? Опять завтра не добудишься!.. Оглоеды. Хоть бы человека постеснялись.

Потом уполномоченный уехал.

Мы один за другим проваливаемся в сон...

Когда я — позже других, последним, наверно, — выхожу до ветра, уже светит луна и где-то близко вскрикивает ночная птица.

Председатель сидит у костра, тихонько звякает ложкой об алюминиевую чашку — хлебает затируху. Протез его отстегнут, лежит рядом... Худая култышка как-то неестественно белеет на траве. Иван Алексеевич часто склоняется и дует на нее — видно, до боли натрудил за день, теперь она, горячая, отдыхает.

А вокруг тепло и ясно; кто-то высоко-высоко золотыми гвоздями пришил к небу голубое полотно, и сквозь него сквозит, льется нескончаемым потоком чистый, голубовато-белый легкий свет.

И все вскрикивает в согре какая-то ночная птица — зовет, что ли, кого?

БЫК

Одно время работал я на табачной плантации, на табачке, у нас говорили. Поливал табак.

Воду надо было возить из согры.

Как только солнце подымалось, мы запрягали в водовозки быков и весь день возили воду.

Бык у меня был на редкость упрямый и ленивый. Сбруя — веревочная, то и дело рвется. Едешь на взвоз, бык поднатужится — хомут пополам. А бык шагает дальше. А я с бочкой посередь дороги стою. Догоняю быка, заворачиваю, кое-как связываю хомут, запрягаю, и с грехом пополам выезжаем на взвоз. Несколько раз он меня переворачивал с бочкой. Идет, идет по дороге, потом ему почему-то захочется свернуть в сторону. Свернул — бочка набок. Я бил его чем попало. Бил и плакал от злости. Другие ребята по полтора трудодня в день зашибали, я едва трудодень выколачивал с таким быком. Я бил его, а он спокойно стоял и смотрел на меня большими глупыми глазами. Мы ненавидели друг друга.

Один раз — после обеда — надо запрягать, моего быка нет. Бригадир Петрунька Яриков, косой, маленький мужик, орет на меня:

— Куда же он у тебя девался-то, мать-перемать?! В землю, что ли, провалился?

Я ополека́л все закоулки, все укромные места — нет быка. Ну, думаю, только бы мне найти тебя, змей, я тебе покажу.

Нашел в просе — лежит, отдувается в холодке. Я прямо с разбегу сапогом ему в морду. Как он мэкнет, как вскочит да как даст мне под зад! Я отлетел метра на три и подумал, что я уже мертвый. А он раскорячил ноги, нагнул голову и смотрит на меня. Я тоже смотрю на него. Мне показалось, что мы долго так смотрели друг на друга. Я боялся пошевелиться. Думаю, как с собакой: встанешь, он опять кинется. Потом все-таки потихоньку стал подниматься... Бык стоит. Смотрит. Я поднялся и пошел от него задом. Кое-как доковылял до бригады. Задница огнем горит... Хорошо, еще не рогом попал (они у него широченные, лбом угодил), — сидеть бы мне у него на голове, как снопу на вилах.

Бригадир разозлился на быка, вырвал из телеги железный курок и побежал в просо. Через пять минут, видим, летит наш бригадир сломя голову, за ним бык. Бежит бригадир и орет:

— Стреляйте в него! Стреляйте, что вы стоите?! Спорет ведь он меня!..

Забыл с перепугу, что ружья ни у кого нет — у нас их позабирали, как началась война.

Ребятишки и бабы, увидев разъяренного быка, — кто куда, врассыпную. Я лежал на животе возле избушки. Бык протопал мимо — не обратил внимания. Видно, Петрунька с железным курком насолил ему здорово. Пробежал бык совсем близко, аж земля задрожала. У меня сердце в пятки ушло.

Петрунька туда — бык за ним, Петрунька сюда — бык за ним, гоняет его по ограде. Загнал в угол. Петрунька, как птица, взлетел на плетень — и на ту сторону. Бык, не останавливаясь, с ходу саданул рогами в плетень, вырвал его с кольями и пронес, и сбросил. Тогда только остановился. Ему накинули волосяную петлю на шею, стянули, измучили, потом продели веревку в кольцо и привязали к столбу.

По давней традиции (она, как ни странно, сохранялась и в войну) после того, как табак уберут с плантации, высушат и свезут в город на табачную фабрику, бригада гуляет. Валили какую-нибудь скотину, варили, жарили... Привозили из деревни самогонку и — начиналось.

На этот раз забили моего быка. Трое мужиков взяли его и повели на чистую травку — неподалеку от избушки. Бык покорно шел за ними. А они несли кувалду, ножи, стираную холстину... Я убежал из бригады, чтобы не услышать, как он заревет. И все-таки я услышал, как он взревел — негромко, глухо, коротко, как вроде сказал: «Ой!». К горлу мне подступил горький комок; я вцепился руками в траву, стиснул зубы и зажмурился. Я видел его глаза... В тот момент, когда он, раскорячив ноги, стоял и смотрел на меня, повергнутого на землю, — пожалел он меня тогда, пожалел.

Мяса я не ел — не мог. И было обидно, что не могу как следует наесться — такой «рубон» не часто бывает.

САМОЛЁТ

Мы, четверо пацанов: Шуя, Жаренок, Ленька и я, шагаем с сундучками в гору. Поступаем в автомобильный техникум. Через три с половиной года будем техниками-механиками по ремонту и эксплуатации автотранспорта. Техникум — в городе, точнее за городом, километрах в семи, в бывшем монастыре. Идти надо обрывистым правым берегом широкой реки. Это мой второй приезд в этот город. Душа потихоньку болит — тревожно, охота домой. Однако надо выходить в люди. Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села. То есть буду еще приезжать потом, но — так, — отдышаться... Вот уж не знал!

Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли «чертями» (кто черти, так это, по-моему, — они) и «рогалями». Что такое «рогаль», я по сей день не знаю, и как-то лень узнавать. Наверно, тот же черт — рогатый. В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаешь, и уже чувствуешь в себе кое-какую силенку — она порождает неодолимое желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлесткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел — только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился — схватил нож... Тот, кто стоял против него — тоже с ножом, —очень удивился. И это-то — что он только удивился — толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться — мы защищались. Иногда — так вот — безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной.

Но это было потом. Тогда мы шли с сундучками в гору, и с нами вместе — налегке — городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.

— Чяво там, Ваня? Сальса шматок да мядку туясок?

— Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!

— Гроши-то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!

Откуда она бралась, эта злость — такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие-то, о них думают, там — ничего, как хочешь, так выживай. Мы мол-

чали, изумленные, подавленные столь открытой враждебностью. Проклятый сундучок, в котором не было ни «мядку», ни «сальса», обжигал руку — так бы пустил его вниз с горы.

А на горе, когда поднялись, на ровном открытом месте стоял... самолет. Да так близко! Там был аэродром. И так он нежданно открылся, этот самолетик, так близко стоял, и никого рядом не было — можно подойти и потрогать... Раньше нам приходилось — редко — видеть самолет в небе. Когда он летел над селом, выскакивали из всех домов, шумели: «Где?! Где он?».

Ах ты, господи!.. Я так и ахнул. Да все мы слегка ошалели. И городские — тоже. Что уж, так каждый день видели они их, самолеты? Но они скоро взяли себя в руки, притворяшки.

— Кукурузник, сука.

— Сидит... Горючего, наверно, нет.

И пошли, не глядя больше на самолет.

Мы пошли за ними и тоже старались не смотреть на самолет: нельзя было показать, что мы — действительно такая уж совсем непролазная «деревня». А ничего же ведь не случилось бы, если бы мы маленько постояли, посмотрели. Но мы шли и не оглядывались. Когда я не выдержал и все-таки оглянулся, меня кто-то из наших крепко дернул за рукав.

Он мне, этот самолет, снился потом. Много раз после приходилось ходить горой, мимо аэродрома, но самолета там не было — он летал. И теперь он стоит у меня в глазах — большой, легкий, красивый... Двукрылый красавец из далекой-далекой сказки.

ДАЛЕКИЕ ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Под Москвой идут тяжелые бои...

А на окраине далекой сибирской деревеньки крикливая ребятня с раннего утра режется в бабки. Сумки с книжками валяются в стороне.

Обыгрывает всех знаменитый Мишка Босовило — коренастый малый в огромной шапке. Его биток, как маленький снаряд, вырывает с кона сразу штук по пять бабок. Мишка играет спокойно, уверенно. Прежде чем бить по кону, он снимает с правой руки рукавицу, сморкается по-мужичьи на дорогу, прищуривает левый глаз... прицеливается... Все, затаив дыхание, горестно следят за ним. Мишка делает шаг... второй... — р-р-раз! — срезал. У Мишки есть бабушка, а бабушка, говорят, того... поколдовывает. У ребятишек подозрение, что Мишкин биток заколдован.

Ванька Колокольников проигрался к обеду в пух и прах. Под конец, когда у него осталась одна бабка, он хотел словчить: заспорил с Гришкой Коноваловым, что сейчас его, Ванькина, очередь бить, Гришка стал доказывать свое.

— А по сопатке хошь? — спросил Ванька.

— Да ты же за Петькой бьешь-то?!

— Нет, ты по сопатке хошь? — когда Ваньке нечего говорить, он всегда так спрашивает.

Их разняли.

Последнюю бабку Ванька выставил с болью, стиснув зубы. И проиграл. Потом стоял в сторонке злой и мрачный.

— Мишка, хочешь «Барыню» оторву? — предложил он Мишке.

— За сколько? — спросил Мишка.

— За пять штук.

—Даю три.

— Четыре.

— Три.

— Ладно, пупырь, давай три. Скупердяй ты, Мишка!.. Я таких сроду не видывал. Как тебя еще земля держит?

— Ничего, держит, — спокойно сказал Мишка. — Не хочешь — не надо. Сам же напрашиваешься.

Образовали круг. Ванька подбоченился и пошел. В трудные моменты жизни, когда нужно растрогать человеческие сердца или отвести от себя карающую руку, Ванька пляшет «Барыню». И как пляшет! Взрослые говорят про него, что он, чертенок, «от хвоста грудинку отрывает».

Ванька пошел трясогузкой, смешно подкидывая зад. Помахивал над головой воображаемым платочком и бабьим голоском вскрикивал: «Ух! Ух! Ух ты!». Под конец Ванька становился на руки и шел, сколько мог, на руках. Все смеялись.

Прошелся Ванька по кругу раз пять, остановился.

— Давай!

Мишка бросил на снег две бабки.

Ванька опешил.

— Мы же за три договаривались!

— Хватит.

Ванька передвинул шапку козырьком на затылок и медленно пошел на Мишку. Тот изготовился. Ванька неожиданно дал ему головой в живот. Мишка упал. Заварилась веселая потасовка. Половина была на Ванькиной стороне, другие — за Мишку. Образовали кучу малу.

Но тут кто-то крикнул:

—Училка!

Всю кучу ребятишек как ветром сдуло. Похватали сумки — и кто куда! Ванька успел схватить с кона несколько бабок, перемахнул через прясло и вышел на свою улицу Он был разгорячен дракой. Около дома ему попалась на глаза снежная баба. Ванька дал ей по уху. Высморкался на дорогу как Мишка Босовило, вошел в избу. Запустил сумку под лавку, туда же — шапку. Полушубок не стал снимать — в избе было холодно.

На печке сидела маленькая девочка с большими синими глазами, играла в куклы. Это сестра Ваньки — Наташка.

— Ваня пришел, — сказала Наташка. — Ты в школе был?

— Был, был, — недовольно ответил Ванька, заглядывая в шкаф.

— Вань, вам про кого седня рассказывали?

— Про жаркие страны, — Ванька заглянул в миску на шестке, в печку. — Пошамать нечего?

— Нету, — сказала Наташка и снова стала наряжать куклу — деревянную ложку — в разноцветные лоскуты. Запела тоненьким голоском:

Ох, сронила колечко-о
С правой руки-и!
Забилось сердечко
По милым дружке-е...

Наташка пела песню на манер колыбельной, но мелодии ее — невыносимо тяжкой и заунывной — не искажала. Ванька сидел у стола и смотрел в окно.

Ох, сказали, мил помер —
Во гробе-е лежи-ит,

В глубокой могилке-е
Землею зарыт.

Ванька нахмурился и стал водить грязным пальцем по синим клеточкам клеенки.

Голос Наташки, как чистый ручеек, льется сверху в синюю пустоту избы.

Ох, надену я платье-е,
К милому пойду-у,
А месяц укажет
Дорожку к нему-у...

— Хватит тебе... распелась, — сказал Ванька. — Спой лучше про Хаз-Булата.

Наташа запела:

Хаз-Булат удало-ой...

Но тут же оборвала:

— Не хочу про Хаз-Булата.

— Вредная! Ну, про Катю.

— Катя-Катерина, купеческая дочь?

— Ага.

— Тоже не хочу. Я про милого буду.

Ох, пускай люди судю-ют,
Пускай говоря-ят...

Ванька поднялся, достал из-под лавки сумку, сел на пол, высыпал из сумки бабки и стал их считать. Вид у него вызывающе-спокойный; краем глаза наблюдает за Наташкой.

Наташка от неожиданности сперва онемела, потом захлопала в ладоши.

— Вот они где, бабочки-то! Ты опять в школе не был? Обязательно скажу маме. Ох, попадет тебе, Ванька!

— ...Семь, восемь... Говори, я ни капли не боюсь. Девять, десять...

— Вот не выучишься — будешь всю жизнь лоботрясом. Пожалеешь потом. Локоть-то близко будет, да не укусишь.

Ванька делает вид, что его душит смех.

— ...Одиннадцать, двенадцать... А лоботрясом, думаешь, хуже?

В сенцах что-то треснуло. Ванька сгреб бабки и замер.

— Ага! — сказала Наташка.

Но это трещит мороз.

Однако бабки все равно нужно припрятать. Ванька ссыпал их в старый валенок и вынес в сенцы.

Потом опять он сидит у стола. Думает, где можно достать три полена дров. Хорошо бы затопить камелек. Мать придет, а в избе такая теплынь, хоть по полу валяйся. Она, конечно, удивится, скажет: «Да где же ты дров-то достал, сынок?». Ванька даже пошевелился — так захотелось достать три полена. Но дров нету, он это знает.

Наташка уже не поет, а баюкает куклу.

Нудно течет пустое тоскливое время.

За окнами стало синеть.

Чтобы отвязаться от назойливой мысли о дровах, Ванька потихоньку встал, подкрался к печке, вскочил и крикнул громко:

— А-а!

— Ой!.. Ну что ты делаешь-то! — Наташка заплакала. — Напужал, прямо сердце упало...

— Нюня! — говорит Ванька. — Ревушка-коровушка! Не принесу тебе елку. А я знаю, где вот такие елочки!

— Не надо мне твою елочку. Мне мама принесет.

— А хочешь, я тебе «Барыню» оторву?

Ванька взялся за бока и пошел по избе, и пошел, высоко подкидывая ноги в огромных валенках.

Наташка засмеялась.

— Ну и дурак ты, Ванька! — сказала она, размазывая по лицу слезы. — Все равно скажу маме, как ты меня пужаешь.

Ванька подошел к окну и стал оттаивать кружок на стекле, чтобы смотреть на дорогу.

В избе тихо, сумрачно и пусто. И холодно.

— Вань, расскажи, как вы волка видели? — попросила Наташка.

Ваньке не хочется рассказывать — надоело.

— Как... Видели, и все.

— Ну уж!

Опять молчат.

— Вань, ты бы сейчас аржаных лепешек поел? Горяченьких, — спрашивает Наташка ни с того ни с сего.

— А ты?

— Ох, я бы поела!

Ванька смеется. Наташка тоже смеется.

В это время под окнами заскрипели легкие шаги. Ванька вскочил и сломя голову кинулся встречать мать.

Наташка запуталась в фуфайке, как перепелка в силке, — никак не может слезть с печки.

— Вань, ссади ты меня, а... Ва-нь! — просит она. Ванька пролетел мимо с криком:

— А я первый услыхал!

Мать в ограде снимала с веревки стылое белье. На снегу около нее лежал узелок.

— Мам, чо эт у тебя?

— Неси в избу. Опять раздешкой выскакиваешь!

В избе Наташка колотит ножонкой в набухшую дверь и ревет — не может открыть. Увидев Ваньку с узелком в руках, она перестает плакать и пытается тоже подержаться за узел — помочь брату.

Вместе проходят к столу, быстренько развязывают узел — там немного муки и кусок сырого мяса. Легкое разочарование — ничего нельзя есть немедленно.

Мать со стуком свалила в сенях белье, вошла в избу. Она, наверно, очень устала и намерзлась за день. Но она улыбается. Родной, веселый голос ее сразу наполнил всю избу; пустоты и холода в избе как не бывало.

— Ну, как вы тут?.. Таля (она так зовет Наташку)? Ну-ка, расскажи, хозяюшка милая.

— Ох, мамочка-мама! — Наташка всплескивает руками. — У Ваньки в сумке бабки были. Он их считал.

Ванька смотрит в большие синие глаза сестры и громко возмущается:

— Ну что ты врешь-то! Мам, пусть она не врет никогда...

Наташка от изумления приоткрыла рот, беспомощно смотрит на мать: такой чудовищной наглости она не в силах еще понять.

— Мамочка, да были же! Он их в сенцы отнес, — она чуть не плачет. — Ты в сенцы-то кого отнес?

— Не кого, а чего, — огрызается Ванька. — Это же неодушевленный предмет.

Мать делает вид, что сердится на Ваньку.

— Я вот покажу ему бабки. Такие бабки покажу, что он у нас до-олго помнить будет.

Но сейчас матери не до бабок — Ванька это отлично понимает. Сейчас начнется маленький праздник — будут стряпать пельмени.

— У нас дровишек нисколько не осталось? — спрашивает она.

— Нету, — сказал Ванька и предупредительно мотнулся на полати за корытцем. — В мясо картошки будем добавлять?

— Маленько надо.

Наташка ищет на печке скалку.

— Обещал завезти Филипп одну лесинку... Не знаю... может, завезет, — говорит мать, замешивая в кути тесто.

Началась светлая жизнь. У каждого свое дело. Стучат, брякают, переговариваются... Мать рассказывает:

— Едем сейчас с сеном, глядь: а на дороге лежит лиса. Лежит себе калачиком и хоть бы хны — не шевелится, окаянная. Чуток конь не наступил. Уж до того они теперь осмелели, эти лисы.

Наташка приоткрыла рот — слушает. А Ванька спокойно говорит:

— Это потому, что война идет. Они в войну всегда смелые. Некому их стрелять — вот они и валяются на дорогах. Рыжуха, наверно?

...Мясо нарублено. Тесто тоже готово. Садятся втроем стряпать. Наташка раскатывает лепешечки, мать и Ванька заворачивают в них мясо.

Наташка старается, прикусив язык; вся выпачкалась в муке. Она даже не догадывается, что вот эти самые лепешечки можно так поджарить на углях, что они будут хрустеть и таять на зубах. Если бы в камельке горел огонь, Ванька нашел бы случай поджарить парочку.

— Мама, а у ней детки бывают? — спрашивает Наташка.

— У кого, доченька?

— У лисы.

Ванька фыркнул.

— А как же они размножаются, по-твоему? — спрашивает он Наташку.

Наташка не слушает его — обиделась.

— Есть у нее детки, — говорит мать. — Ма-аленькие... лисятки.

— А как же они не замерзнут?

Ванька так и покатился.

— Ой, ну я не могу! — восклицает он. — А шубки-то у них для чего!

— Ты тут не вякай, — говорит Наташка. — Лоботряс!

— Не надо так на брата говорить, доченька. Это нехорошо.

— Не выучится он у нас, — говорит Наташка, глядя на Ваньку строгими глазами. — Потом хватится.

— Завтра зайду к учительше, — сказала мать и тоже строго посмотрела на Ваньку, — узнаю, как он там...

Ванька сосредоточенно смотрит в стол и швыркает носом.

Мать посмотрела в темное окно и вздохнула.

— Обманул нас Филиппушка... образина косая! Пойдем в березник, сынок.

Ванька быстренько достает с печки стеганые штаны, рукавицы-лохматушки, фуфайку. Мать тоже одевается потеплее. Уговаривает Наташку:

— Мы сейчас, доченька, мигом сходим. Ладно?

Наташка смотрит на них и молчит. Ей не хочется одной оставаться.

Мать с Ванькой выходят на улицу, под окном нарочно громко разговаривают, чтобы Наташка их слышала. Мать еще подходит к окну, стучит Наташке:

— Таля, мы сейчас придем. Никого не бойся, милая!

Наташка что-то отвечает — не разобрать что.

— Боится, — сказала мать. — Милая ты моя-то... — отвернулась и вытерла рукавицей глаза.

— Они все такие, — объяснил Ванька.

... Спустились по крутому взвозу к реке. На открытом месте гуляет злой ветер. Ванька пробует увернуться от него: идет боком, идет задом, а лицо все равно жжет, как огнем.

— Мам, посмотри! — кричит он.

Мать осматривает его лицо, больно трет шершавой рукавицей щеку. Ванька терпит.

В лесу зато тепло и тихо. Удивительно тихо, как в каком-то сонном царстве. Стройные березки молча обступили пришельцев и ждут.

Ванька вылетел вперед по глубокому снегу и, облюбовав одну, ударил обухом по ее звонкому крепкому телу. Сверху с шумом тяжко ухнула туча снега. Ванька хотел отскочить, запнулся и угодил с головой в сугроб, как в мягкую постель. Мать смеется и говорит:

— Ну, вставай!

Пока Ванька отряхивается, мать утаптывает снег вокруг березки. Потом, скинув рукавицы, делает первый

удар, второй, третий... Березка тихо вздрагивает и сыплет крохотными сверкающими блестками. Сталь топора хищно всплескивает холодным огнем и раз за разом все глубже вгрызается в белый упругий ствол.

Ванька тоже пробует рубить, когда мать отдыхает. Но после десяти-двенадцати ударов горячий туман застилает ему глаза. Гладкое топорище рвется из рук.

Снова рубит мать.

Березка охнула и повалилась набок.

Срубили еще одну — поменьше — Ваньке и, взвалив их на плечи, вышли на дорогу. Идти поначалу легко. Даже весело. Тонкий конец березки едет по дороге, и березка глуховато поет около уха. Прямо перед Ванькой на дороге виляет хвост березки, которую несет мать. Ванькой овладевает желание наступить на него. Он подбегает и прижимает его ногой.

— Ваня, не балуй! — строго говорит мать.

Идут.

Березка гудит и гнется в такт шагам, сильно нажимая на плечо. Ванька останавливается, перекладывает ее на другое плечо. Скоро онемело и это. Ванька то и дело останавливается и перекладывает комель березы с плеча на плечо. Стало жарко. Жаром пышет в лицо дорога.

— ...Семисит семь, семисит восемь, семисит девять... — шепчет Ванька.

Идут.

— Притомился? — спрашивает мать.

— Еще малость... Девяносто семь, девяносто восемь... — Ванька прикусил губу и отчаянно швыркает носом. — Девяносто девять, сто! — Ванька сбросил с плеча березку и с удовольствием вытянулся прямо на дороге.

Мать поднимает его. Сидят на березке рядом, Ваньке очень хочется лечь. Он предлагает:

— Давай сдвинем обои березки вместе, и я на них лягу, если уж так ты боишься, что я захвораю.

Мать тормошит его, прижимает к теплой груди.

— Мужичок ты мой маленький, мужичок... Потерпи маленько. Большую мы тебе срубили. Надо было поменьше.

Ванька молчит. И молчит Ванькина гордость.

Мать думает вслух:

— Как теперь наша Талюшка там?.. Плачет, наверно?

— Конечно, плачет, — говорит Ванька. Он эту Талюшку изучил, как свои пять пальцев.

Еще некоторое время сидят.

— Отцу нашему тоже трудно там, — задумчиво говорит мать. — Небось в снегу сидят, сердешные... Хоть бы уж зимой-то не воевали.

— Теперь уж не остановются, — поясняет Ванька. — Раз начали — не остановются, пока фрицев не разобьют.

Еще с минуту сидят.

— Отдохнул?

— Отдохнул.

— Пошли с богом.

Было уже совсем темно, когда пришли домой.

Наташка не плакала. Она наложила в блюдце сырых пельменей, сняла с печки две куклы и усадила их перед блюдцем. Одну куклу посадила несколько дальше, а второй, та, что ближе, говорила ласково:

— Ешь, доченька моя милая, ешь! А этому лоботрясу мы не дадим сегодня.

...Ванька с матерью быстро распилили березки; Ванька впотьмах доколол чурбаки, а мать в это время затопила камелек.

Потом Ванька с Наташкой сидят перед камельком.

Огонь весело гудит в печке; пятна света, точно маленькие желтые котята, играют на полу. Ванька блаженно молчит. Наташка пристроилась у него на коленях и тоже молчит. По избе голубыми волнами разливается ласковое тепло. Наташку клонит ко сну, Ваньку тоже. А в чугунке еще только-только начинает «ходить» вода. Мать кроит на столе материю, время от времени окликает ребятишек и рассказывает:

— Вот придет Новый год, срубим мы себе елочку, хорошенькую елочку... Таля, слышишь? Не спите, милые мои. Вот срубим мы эту елочку, разукрасим ее всякими шишками да игрушками, всякими зайчиками — до того она у нас будет красивая...

Ванька хочет слушать, но кто-то осторожно берет его за плечи и валит на пол. Ванька сопротивляется, но слабо. Голос матери доносится откуда-то издалека. Кажется Ваньке, что они опять в лесу, что лежит Ванька в снегу и помалкивает. Странно, что в снегу тепло.

...Разбудить их, наверно, было нелегко. Когда Ванька всплыл из тягучего сладкого сна на поверхность, мать говорила:

— ...Это что же за сон такой, обломон... сморил моих человечков. Ух, он сон какой!..

Ванька, покачиваясь, идет к столу.

В тарелке на столе дымят пельмени, но теперь это уже не волнует. Есть не хочется. Наташка, та вообще не хочет просыпаться. Хитрая, как та лиса. Мать полусонную усаживает ее за стол. Она чихает и норовит устроиться спать за столом. Мать смеется. Ванька тоже улыбается. Едят.

Через несколько минут Ванька объявляет, что наелся до отказа.

Но мать заставляет есть еще.

— Ты же себя обманываешь — не кого-нибудь, — говорит она.

...После ужина Ванька стоит перед матерью и спит, свесив голову. Материны теплые руки поворачивают Ваньку: полоска клеенчатого сантиметра обвивает Ванькину грудь, шею — ему шьется новая рубаха. Сантиметр холодный — Ванька ежится.

Потом Ванька лезет на полати и, едва коснувшись подушки, засыпает. Наташка тоже спит. В одной руке у нее зажат пельмень.

В самый последний момент Ванька слышит стрекот швейной машинки — завтра он пойдет в школу в новой рубахе.

ДЯДЯ ЕРМОЛАЙ

Вспоминаю из детства один случай.

Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо — синим-сине, и уж дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть, а дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил.

— Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей, — ему охота было домолотить скирду. Но... все уж собирались, и он скрепя сердце тоже стал собираться.

До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней и поужинали, густая синева небесная наползла, но дождя не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль... Во мгле трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, носил, а дождя не было.

— Самая воровская ночь, — сказал дядя Ермолай. — Ну-ка, Гришка... — дядя Ермолай поискал глазами, я попался ему, — Гришка с Васькой, идите на точо́к — там ночуете. А то как бы в такую-то ночку не подъехал кто да не нагреб зерна. Ночь-то... самая такая.

Мы с Гришкой пошли на ток.

Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю: вспыхивало и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу. Пахло пылью и чем-то вроде жженым — резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.

Когда вверху вспыхивало, все на земле — скирды, деревья, снопы в суслонах, неподвижные кони, — все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко, уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали.

Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит: опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем, резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотало.

— Давай залезем в первую попавшую скирду и заночуем, — предложил Гришка.

— Давай, конечно.

— А утром скажем, что ночевали на точке́, кто узнает?!

Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе проснуться пораньше... И не заметили, как и заснули, не слышали, как ночью шел дождь.

Утро раскинулось ясное, умытое, тихое. Мы проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут, мы знали. Мы пошли в дом.

— Ну, караульщики, — спросил дядя Ермолай, увидев нас, мне показалось, что он смотрит пытливо. — Как ночевали?

— Хорошо.

— Все там в порядке? На точкé-то?

— Все в порядке. А что?

— Ничего. Спрашиваю... Я посылал, я и спрашиваю. «А что?», — а сам все смотрит.

Мне стало не по себе.

— Зерно-то целое?

— Целое, — у Гришки круглые, ясные глаза; он смотрит не мигая. — А что?

— Да вы были там?! На точкé-то?

У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся... Хлоп-хлоп глазами.

— Как это «были»?..

— Ну да, были вы там?

— Были. А где же мы были?

Эх, тут дядя Ермолай взвился:

— Да не были вы там, сукины вы сыны! Вы где-то под суслоном ночевали, а говорите — на точкé! Сгребу вот счас обоих да носом — в точóк-то, носом, как котов пакостливых. Где ночевали?

— От... Ты чо?

— Где ночевали?!

— На точкé, — Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче.

— Васька, где ночевали?

— На точкé.

— Да растудыт вашу туда-суда и в ребра!.. — дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. — Ты гляди, что они вытворяют-то! Да не было вас на току, не было-о! Я ж был там! Ну?! Обормоты вы такие, обормоты! Я ж следом за вами пошел туда — думаю, дошли ли они хоть? Не было вас там!

Это нас не смутило — что он, оказывается, был на току.

— Ну и что?

— Что?

— Ну и... мы тоже были. Мы, значит, маленько попозже... Мы блудили.

— Где попозже?! — взвизгнул дядя Ермолай. — Где попозже-то?! Я там весь дождь пережидал! Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там!

— Были...

Дядя Ермолай ошалел... Может быть, мы — в глазах его — тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони — отчего-то у него глаза сделались большие и удивленные.

— Были?

— Были.

Он схватил узду... Мы — в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый.

— Обормоты, — говорил он на ходу. — Не были же, не были — и в глаза врут стоят. Штыбы бы вам околеть, не доживая веку! Штыбы бы вам... жены злые попались!.. Обормоты. В глаза врут стоят — и хоть бы что! О!.. — дядя Ермолай повернулся к нам. — Да ты скажи честно: испужались, можеть, не нашли — нет, в глаза смотрют и врут. Обормоты... По пять трудодней снимаю, раз вы такие.

Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам.

— Гришка, Васьк... сознайтесь: не были на точке́? По пять трудодней не сниму. Не были же?

— Были.

Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас... Потом позвал с собой.

— Идите суда... Идите, идите. Вот тут вот я от дождя прятался, — показал. И посмотрел на нас с мольбой: — А вы где же прятались?

— А мы — с той стороны.

— С какой?

— Ну, с той.

— Да где же с той-то?! Где с той-то? — он опять стал терять терпение. — Я же шумел вас, звал!.. Я ее кругом всю обошел, скирду-то. А молонья такая резала, что тут не то что людей, иголку на земле найдешь. Где были-то?

— Тут.

Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтоб опять не взвиться. Опять сморщился...

— Ну, ладно, ладно... Вы, можеть, боитесь, что я ругаться буду? Не буду. Только честно скажите: где ночевали? Не скину по пять трудодней... Где ночевали?

— На току.

— Да где на току-то!! — сорвался дядя Ермолай. — Где на току-то?! Где, когда я... У-у, обормоты! — он запекал глазами — чем бы огреть нас.

Мы убежали.

Дядя Ермолай ушел за скирду... Опять, наверно, всплакнул. Он плакал, когда ничего не мог больше.

Потом молотили. По пять трудодней он с нас не скинул.

Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай ...вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно — до отчаяния и злости — не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так — грамоты ради и слегка из трусости — величаю ее с заглавной буквы, а не знаю — что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их.

ПЛЕМЯННИК ГЛАВБУХА

Совещание было коротким.

— Хватит миндальничать! — сказал дядя. — Дальше еще хуже будет. Завтра он поедет ко мне и будет учиться на счетовода. Специальность не хуже всякой.

Мать всплакнула было, но скоро успокоилась, и, поглядывая на закрытую дверь горницы, стала негромко и жалко просить брата:

— Помоги, Егорушка! Я больше не могу ничего сделать. Учиться не хочет, хулиганит... На днях соседской свинье глаз выбил. Я уж просила доктора — доктор, сосед-то, — чтобы он не жаловался никуда. Свинья-то теперь боком ходит.

Дядя нахмурился и покачал головой.

— Уж ты будь ему заместо отца родного. Жив был бы Игнат — разве так все было... — мать опять всплакнула.

— Ладно, ладно, — сказал дядя, — чего там!.. Сделаем.

...В горнице сидел подросток лет тринадцати-четырнадцати, худой, лобастый, с голубыми девичьими глазами — Витька. Катал по столу бильярдный шар и недовольно сопел. Решалась его судьба.

В горницу вошел дядя и объявил:

— Поедешь завтра со мной!

— Куда это?

— В Кондратьево. Будешь учиться на счетовода.

Витька искренне удивился.

— Какой же из меня счетовод? Вы что?

— Ничего-о, я с тобой сам теперь займусь. Вот так.

Дядя вышел.

Витька спрятал в карман шарик, открыл окно, вылез на улицу и, пригибаясь под окнами, пошел прочь со двора.

...Дядя догнал его на коне за поскотиной.

Витька, завидев всадника, нырнул в придорожный черемушник и затих. Дядя остановился как раз против того куста, под которым затаился Витька. Негромко приказал:

— Вылазь!

Витька ни гугу.

— Я ведь знаю, что ты здесь. Бегать еще не умеешь: кто же прячется возле дороги?

Витька вышел. Потер ушибленное колено.

— Где же еще спрячешься? Чистое поле кругом.

—Пошли, — сказал дядя беззлобно. — Ну и осел же ты, Витька! Даже удивительно.

Витька шагал рядом с мордой лошади. Молчал.

— Куда бы ты побежал, интересно?

Витька сплюнул на дорогу, сунул руки в карманы и посмотрел далеко-далеко — на закат. Ему не хотелось об этом говорить.

— Характер! Эх, отца бы тебе сейчас!.. Ну ничего!

Долго молчали.

В воздухе заметно посвежело. Пыль на дороге стала холодной.

— Чего тебе в жизни надо, Витька?

Молчание.

— Почему ты не учишься, как все люди?

Опять молчание.

— Работать хочешь?

— Хочу.

— Кем? Конюхом?

— Необязательно конюхом...

Дядя тоже сплюнул на дорогу и замолчал.

— Сопляк, — сказал он через некоторое время.

Витька посмотрел на него снизу чистыми честными глазами и отвернулся.

— У нас в родне все в люди вышли, авторитетом пользуются, а ты... Вот осел-то! — громко возмутился дядя. — Ты думаешь, конюхом — хитрое дело? Это ведь кому уж деваться некуда, тот в конюхи-то идет. Голова садовая! Ну ничего! Я возьмусь за тебя.

Витьку посадили за большой стол рядом с толстой девушкой, которую все называли Лидок.

Лидок внимательно посмотрела на Витьку... И вздохнула:

— Надо же, такие глаза и парню достались.

Витьке это почему-то не понравилось. Вообще все тут ему не понравилось. Контора была большая и бестолковая, как показалось Витьке. Много шумели, спорили и, главное, целыми днями сидели на месте. Дядя Витькин, главбух объединенного колхоза, занимал отдельный кабинет. Время от времени он, озабоченный, выходил оттуда и требовал у какой-нибудь из девушек «балансовый отчет» или «платежную ведомость». И внимательно и строго смотрел на Витьку.

Девушек в конторе было четыре. Все, как одна, скучные и глупенькие. Когда никого не было, они сплетничали о парнях и смеялись. Очень много смеялись. И без конца ели конфеты. Витька презирал их. Но больше всех он невзлюбил Лидок.

— Ты таблицу умножения знаешь, конечно?

— Знаю, конечно.

— Перемножь вот эти цифры. Только не сбейся!

Витька умножал скучное число на число еще более скучное, получал скучнейший результат и подавал Лидок. Лидок сосала конфетку и проверяла на арифмометре Витькино вычисление.

— Пра-льно. Тренируйся больше.

— Ну и дура ты! — не выдержал Витька.

Лидок сделала большие глаза и перестала сосать конфетку.

— Ты что это?

— Кто же тут тренируется? Тренируются на турнике или в волейбол.

— Егор Васильевич! — позвала Лидок.

Из кабинета вышел дядя, строгий и озабоченный.

— Он на меня говорит «дура».

— Зайди ко мне.

Витька не без робости вошел к дяде в кабинет.

— Вот что, дорогой племянничек, — заговорил дядя, стоя посреди кабинета с бумажкой в руке, — если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю. Понял? Я тебе не мать. Понял?

— Понял.

— Вот так! Иди извинись перед девкой. Она в два раза старше тебя, сопляк. Не хватало еще с тобой тут возиться.

Витька вышел из кабинета, прошел на свое место.

Девушки щелкали на счетах и неодобрительно посматривали на него.

— Попало? — спросила Лидок.

Витька взял чистый лист бумаги... задумался, глянул на солидную Лидок и написал крупно, во весь лист: «ФИФЫЧКА». И показал Лидок.

Лидок тихонько ахнула, посмотрела на дверь кабинета, потом взяла лист и тоже что-то написала. И показала Витьке.

«КОНЮХ» — было написано на листе.

Витька взял новый лист и написал: «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».

Лидок фыркнула, взяла новый лист и быстро написала: «ТЫ ЕЩЕ НЕ ДОРОС».

Витька долго думал, потом написал в ответ: «СВЕЖАСРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО ДУБ».

Лидок быстро нагнулась и выхватила лист у Витьки. И пошла с ним в кабинет.

Витька, недолго раздумывая, поднялся и пошел из конторы, осторожно прикрыв за собою дверь.

Близилась осень. Ее дыхание тронуло уже лес и поля. Листья на деревьях пожелтели. Трава поблекла, сухо шуршала под ногами.

Витька вышел за деревню, на косогор, сел и стал смотреть в степь.

День был серый, темное небо образовало над степью крышу. Под этой крышей было пасмурно, тепло и просторно. На западе сквозь тучи местами пробивалась заря. Ее неяркий светло-розовый отсвет делал общую картину еще печальней. Стал накрапывать мелкий-мелкий теплый дождик. Витька свернулся калачиком и лег. Земля была тоже теплая. Витьке сделалось очень грустно. Вспомнилась мать. Захотелось домой. Он вспомнил, как мать разговаривает с предметами — с дорогой, с дождиком, с печкой... Когда они откуда-нибудь идут с Витькой уставшие, она просит: «Матушка-дороженька, помоги нашим ноженькам — приведи нас скорей домой». Или, если печка долго не разгорается,

она выговаривает ей: «Ну, милая... ты уж сегодня совсем что-то... Барыня какая». Витька любил мать, но они, к сожалению, не понимали друг друга. Витьке нравилась жизнь вольная. Нравились большие сильные мужики, которые легко поднимали на плечо мешок муки. Очень хотелось быть таким же — ездить на мельницу, перегонять косяки лошадей на дальние пастбища, в горы, спать в степи... А мать со слезами (вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его: «Учись ты ради Христа, учись, сынок! Ты видишь, какая теперь жизнь пошла: ученые шибко уж хорошо живут». Был у них сосед-врач Закревский Вадим Ильич, так этим врачом она все глаза протыкала Витьке: «Смотри, как живет человек». Витька ненавидел сытого врача и одно время подумывал, не поджечь ли его большой дом? Ограничился пока тем, что выбил его свинье левый глаз.

— Матушка-степь, помоги мне, пожалуйста, — попросил Витька, а в чем помочь, он точно не знал. Он хотел, чтобы его оставили в покое, хотел быть сейчас дома, хотел, чтобы Лидок не мучила его вычислениями. Стало легче оттого, что он попросил матушку-степь. Он незаметно заснул.

Разбудил его дядя.

Когда Витька проснулся, дядя стоял над ним и снимал с себя брезентовый плащ. Сеялся нехолодный мелкий дождь. Было уже темно.

— Замерз? — спросил дядя.

— Нет.

— Нет... — дядя поднял Витьку и стал закутывать в плащ. Плащ громко шуршал, а дождик тихонько шумел. — Ох, Витька, Витька... обормот ты мой!.. — дядя взял Витьку в охапку и понес. Тут только увидел Витька, что рядом с ними стоит конь. — Садись.

Витька устроился на теплой конской спине. Дядя сел сзади.

— Ну что? — спросил дядя, когда они поехали.

— Ничего.

— Не хочешь быть бухгалтером?

— Нет.

— Ни в какую?

Витьке показалось, что дядя сейчас начнет ругаться, и он промолчал.

— Ну и черт с ней! Знаешь... тоже, я тебе скажу: невелика пешка — бухгалтер. Ничего, Витька, проживем. Ты только, я прошу тебя, не хулигань. Разобидел давеча девку до слез. Она ж невеста, а ты ей такие слова. Чудо!

— Она сама начала.

Дядя закурил и задумался.

Дождь перестал сеяться. Кое-где показались на небе звезды. Крепко запахло картофельной ботвой и гнилой древесиной. По селу лаяли собаки. Хлопали калитки. Разговаривали невидимые люди, слышался молодой беспечный смех. Где-то недалеко били палкой по чему-то мягкому, наверное по перине, и приговаривали:

— Ты гляди, что делается — пыли-то! Пыли-то!

— Завтра пойдем с тобой к председателю, посоветуемся, — заговорил дядя. — Я бы тебя к машине какой-нибудь приставил. Хочешь?

— Конечно. А домой я не поеду?

— Нет, домой пока не надо.

— Почему?

Дядя помолчал.

— Мать твоя замуж, наверно, выйдет. Она ведь молодая еще. Сватается там один...

Витька чуть с коня не свалился — настолько поразило его это известие. Во-первых, он с удивлением узнал, что его мать еще молодая, во-вторых... как это так? А как он, Витька?

— Он неплохой мужик. Я его знаю немного, — рассказывал дядя, а Витька с болезненной остротой представил себе, как ходит по ихнему дому этот «неплохой мужик» и зевает. Почему-то зевает.

«Из-за меня это она. Потому что я непутевый», — догадался Витька, и ему стало до слез жаль свою мать.

Когда приехали домой, у Витьки окончательно созрел план действий.

У ворот дядя соскочил с коня, открыл одну воротину, впустил Витьку.

— Расседлай его и насыпь овса. Седло в сенцы занеси — дождь, наверно, опять будет. Я пошел на собрание. Сам раздевайся и лезь сразу на печь.

Дядя пошел от ворот и сразу пропал из виду, растворился в чернильной темноте.

Витька подождал, когда затихнут его шаги, выехал из ворот, подстегнул лошадь.

До Игренево, где жила мать Витьки, было километров семь. Витька пробежал их скоро: лошадь разохотилась в беге, несла ровно и быстро. Витька сперва ждал, что она где-нибудь споткнется, потом успокоился и стал думать о матери. Не терпелось поскорей увидеть ее и сказать... что-нибудь хорошее, ласковое. Витька ругал себя, свой дурной характер, который привел к тому, что мать вынуждена впускать в дом чужого мужчину Ей, конечно, трудно одной — это Витька и без дяди понимал. Теперь они будут вдвоем, теперь Витька никогда не обидит мать, не причинит ей горя.

Мать уже спала, когда Витька въехал во двор. Она услышала стук ворот, вскочила. Прильнула лицом к окну.

Витька соскочил с коня, набросил повод на колышек плетня, постучал в дверь.

— Кто там? — мать не на шутку испугалась.

— Я, — сказал Витька.

— Витя!.. Ты чего, сынок? — открыла дверь, обняла второпях сына, потом спохватилась: — Ты чего, сынок? Не с Егором ли чего? Он с тобой?

— Нет, — Витька прошел в избу, дождался, когда мать засветит огонь. Огляделся.

Мать во все глаза смотрела на сына. Какой-то он был... странный.

— Что случилось-то, Витька?!

— Ничего, — Витька присел на краешек кровати, долго молчал.

— Мам... — голос его чуть дрогнул. — Ты... замуж, что ли, выходишь?..

Мать вспыхнула горячим румянцем. Помолчала, потом заговорила торопливо, с усмешечкой, которая должна была скрыть ее растерянность:

— Да ты что?.. Кто тебе сказал-то? Господи... Ты откуда взял-то это?

«Врет», — понял Витька. И встал.

— Пойду коня расседлаю.

Когда он вышел, мать быстро натянула платьишко, покружилась по избе, не зная, что сделать, потом села к столу и заплакала. Плакала и сама не понимала от чего: от радо-

сти ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдет... Так и пройдет.

Когда Витька вошел, она еще плакала.

Витька сел напротив матери. Неловко, осторожно провел рукой по ее волосам.

— Не надо.

— Я ничего, сынок. Я — так. Чаю хочешь?

— Я насовсем приехал, мам.

— Ну и хорошо! Это хорошо, сынок! Я тебе чаю сейчас поставлю.

Рассказы 60-х годов

ДВОЕ НА ТЕЛЕГЕ

Дождь, дождь, дождь... Мелкий, назойливый, с легким шумом сеял день и ночь. Избы, дома, деревья — все намокло. Сквозь ровный шорох дождя слышалось только, как всплескивала, журчала и булькала вода. Порой проглядывало солнышко, освещало падающую сетку дождя и опять закутывалось в лохматые тучи.

...По грязной издавленной дороге двигалась одинокая повозка. Рослая гнедая лошадь устала, глубоко проваливала боками, но время от времени еще трусила рысью. Двое на телеге вымокли до основания и сидели, понурив головы. Старик-возница часто вытирал рукавом фуфайки волосатое лицо и сердито ворчал:

— Погодка, черт тебя надавал... Добрый хозяин собаку из дома не выпустит...

За его спиной, укрывшись легким плащом, тряслась на охапке мокрой травы маленькая девушка с большими серыми глазами. Охватив руками колени, она безразлично смотрела на далекие скирды соломы.

Рано утром эта «сорока», как про себя назвал ее сердитый возница, шумно влетела к нему в избу и подала записку: «Семен Захарович, отвези, пожалуйста, нашего фельдшера в Березовку. Это до крайности необходимо. А машина у нас на ремонте. Квасов». Захарыч прочитал записку, вышел на крыльцо, постоял под дождиком и, войдя в избу, бросил старухе:

— Собери.

Ехать не хотелось, и, наверно, поэтому бойкая девушка не понравилась Захарычу — он сердито не замечал ее. Кроме того, злила хитрость председателя с этим его «пожалуйста». Не будь записки и не будь там этого слова, он ни за что не поехал бы в такую непогодь.

Захарыч долго возился, запрягая Гнедуху, толкал ее кулаком и, думая о записке, громко ворчал:

— Становись, пожалуйста, в оглобли, дура окаянная!

Когда выехали со двора, девушка пробовала заговорить с возницей: спрашивала, не болит ли чего-нибудь у него, много ли снега бывает тут зимой... Захарыч отвечал неохотно. Разговор явно не клеился, и девушка, отвернувшись от него, начала негромко петь, но скоро замолчала и задумалась.

Захарыч, суетливо подергивая вожжи, тихо ругался про себя. Он всю жизнь кого-нибудь ругал. Теперь доставалось председателю и этой «сороке», которой приспичило именно теперь ехать в Березовку.

— Ххе-е... жизнь... Когда уж только смерть придет. Нно-о, журавь!

Они с трудом выехали на гору. Дождь припустил еще сильнее. Телега качалась, скользила, точно плыла по черной жирной реке.

— Ну и погодушка, чтоб тебя черти... — ругался Захарыч и уныло тянул: — Но-о-о, уснула-а-а...

Казалось, этому пути, дождю и ворчанию старика не будет конца. Но вдруг Захарыч беспокойно заерзал и, полуобернувшись к спутнице, весело прокричал:

— Что, хирургия, небось замерзла?

— Да, холодно, — призналась она.

— То-то. Сейчас бы чайку горячего, как думаешь?

— А что, скоро Березовка?

— Скоро Медоухино, — лукаво ответил старик и, почему-то рассмеявшись, погнал лошадь: — Но-о, ядрена Матрена!

Телега свернула с дороги и покатилась под гору, прямо по целине, тарахтя и подпрыгивая. Захарыч молодецки покрикивал, лихо крутил вожжами. Скоро в логу, среди стройных березок, показалась одинокая старая избушка. Над избушкой струился синий дымок, растягиваясь по березняку слоистым голубым туманом. В маленьком окошке светился огонек. Все это очень походило на сказку. Откуда-то выкатились два огромных пса, кинулись под ноги ло-

шади. Захарыч соскочил с телеги, отогнал бичом собак и повел лошадь во двор.

Девушка с любопытством осматривалась и, когда заметила в сторонке между деревьями ряды ульев, догадалась, что это пасека.

— Бежи отогревайся! — крикнул Захарыч и стал распрягать лошадь.

Прыгнув с телеги, девушка тотчас присела от резкой боли в ногах.

— Что? Отсидела?.. Пройдись маленько, они отойдут, — посоветовал Захарыч.

Он бросил Гнедухе охапку травы и первый потрусил в избушку, отряхивая на ходу мокрую шапку.

В избушке пахло медом. Перед камельком стоял на коленях белоголовый старик в черной сатиновой рубахе и подбрасывал дрова. В камельке весело гудело и потрескивало. На полу затейливо трепетали пятна света. В переднем углу мигала семилинейная лампа. В избушке было так тепло и уютно, что девушке даже подумалось: не задремала ли она, сидя в телеге, не снится ли ей все это? Хозяин поднялся навстречу нежданным гостям — он оказался очень высоким и слегка сутулился, — отряхнул колени и, прищурив глаза, сказал глуховато:

— Доброго здоровья, люди добрые.

— Там добрые или нет — не знаю, — ответил Захарыч, пожимая руку старому знакомому, — а вот промокли мы изрядно.

Хозяин помог девушке раздеться, подбросил еще в камелек. Он двигался по избушке не торопясь, делал все спокойно и уверенно.

Захарыч, устроившись у камелька, блаженно кряхтел и приговаривал:

— Ну и благодать же у тебя, Семен. Прямо рай. И чего я пасечником не сделался — ума не приложу.

— По какому же делу едете? — спросил хозяин, поглядывая на девушку.

— А вон с доктором в Березовку едем, — объяснил Захарыч. — Ну, помочил он нас... Хоть выжимай, язви его совсем...

— Доктор, значит, будете? — спросил пасечник.

— Фельдшер, — поправила девушка.

— А-а... Смотри-ка, молодая какая, а уже... Ну, согревайся, согревайся. А мы тем делом сообразим чего-нибудь.

Девушке было так хорошо, что она невольно подумала: «Все-таки правильно, что я сюда поехала. Вот где действительно... жизнь». Ей захотелось сказать старикам что-нибудь приятное.

— Дедушка, а вы весь год здесь живете? — спросила она первое, что пришло в голову.

— Весь год, дочка.

— Не скучаете?

— Хе!.. Какая нам теперь скука. Мы свое спели.

— Ты тут, наверно, всю жизнь насквозь продумал, один-то? Тебе бы сейчас учителем работать, — заметил Захарыч.

Пасечник достал из-под пола берестовый туесок с медовухой и налил всем по кружке. Захарыч даже слюну глотнул, однако кружку принял не торопясь, с достоинством. Девушка застыдилась, стала отказываться, но оба старика настойчиво уговаривали, разъясняя, что «с устатку и с холода это — первейшее дело». Она выпила полкружки.

Вскипел чайник. Сели пить чай с медом. Девушка раскраснелась, в голове у нее приятно зашумело, и на душе стало легко, как в праздник. Старики вспоминали каких-то кумовьев. Пасечник раза два покосился на улыбающуюся девушку и показал на нее глазами Захарычу.

— Тебя, дочка, как звать-то? — спросил он.

— Наташей.

Захарыч отечески похлопал Наташу по плечу и сказал:

— Ведь она, слушай, ни разу не пожаловалась даже, что холодно, мол, дедушка. От другой бы слез не обобрался.

— А вон у ней, видишь, — указал пасечник на комсомольский значок и добавил: — Они молодцы!

Наташе вдруг захотелось рассказать что-нибудь особенное о себе.

— Вы вот, дедушка, ругались давеча, а ведь это я сама попросилась ехать в Березовку.

— Да ну? — изумился Захарыч. — И охота тебе?

— Нужно — значит, охота, — задорно ответила Наташа и покраснела. — Лекарство одно в нашей аптеке кончилось, а оно очень необходимо.

— Хэх ты!.. — Захарыч крутнул головой и решительно заявил: — Только сегодня мы уж никуда не поедем.

Наташа перестала улыбаться. Старики снова принялись за свой разговор. За окном было уже темно. Ветер горстями сыпал в стекло дождь, тоскливо скрипела ставня. Девушка встала из-за стола и присела у печки. Ей вспомнился врач — толстый, угрюмый человек. Провожая ее, он говорил: «Смотрите, Зиновьева... Погода-то больно того. Простудитесь еще. Может, нам кого-нибудь другого послать?». Наташа представила, как доктор, узнав, что она пережидала непогоду на пасеке, посмотрит на нее и подумает: «Я ведь и не ожидал от тебя ничего такого. Молоды вы и слабоваты. Это извинительно», а вслух, наверное, скажет: «Ничего, ничего, Зиновьева». Вспомнилось также, как пасечник посмотрел на ее комсомольский значок... Она резко поднялась и сказала:

— Дедушка, мы все-таки поедем сегодня, — и стала одеваться.

Захарыч обернулся и вопросительно уставился на нее.

— В Березовку за лекарством поедем, — упрямо повторила она. — Вы понимаете, товарищи, мы просто... мы не имеем права сидеть и ждать!.. Там больные люди. Им нужна помощь!..

Старики изумленно смотрели на нее, а девушка, ничего не замечая, продолжала убеждать их. Пальцы ее рук сжались в тугие, острые кулачки. Она стояла перед ними маленькая, счастливая и с необыкновенной любовью и смущением призывала больших, взрослых людей понять, что главное — это не жалеть себя!..

Старики все так же, с удивлением смотрели на нее и, кажется, ждали еще чего-то. Счастливый блеск в глазах девушки постепенно сменился выражением горькой обиды: они совсем не поняли ее! И старики показались ей вдруг не такими уж умными и хорошими. Наташа выбежала из избушки, прислонилась к косяку и заплакала... Было уже темно. По крыше уныло шуршал дождь. На крыльцо с карниза дробно шлепались капли. Перед окном избушки лежал желтый квадрат света. Жирная грязь блестела в этом квадрате, как масло. В углу двора, невидимая, фыркала и хрустела травой лошадь...

Наташа не заметила, как на улицу вышел хозяин.

— Где ты, дочка? — негромко позвал он.

— Здесь.

— Ну-ка, пошли в избу, — пасечник взял ее за руку и повел за собой. Наташа покорно шла, вытирая на ходу слезы. Когда они появились в избушке, Захарыч суетливо копошился в темном углу, отыскивая что-то.

— Эка ты! Шапку куда-то забросил, язви ее, — ворчал он.

А пасечник, подкладывая в печку, тоже несколько смущенный, говорил:

— На нас не надо обижаться, дочка. Нам лучше разъяснить лишний раз... А это ты хорошо делаешь, что о людях заботишься так. Молодец.

Наконец Захарыч нашел шапку. На Наташу вместо пальто надели большой полушубок и брезентовый плащ. Она стояла посреди избы неуклюжая и смешная, поглядывая из-под башлыка мокрыми веселыми глазами и шмыгая носом. А вокруг нее хлопотали виноватые старики, соображая, что бы еще надеть на нее...

Через некоторое время телега снова мягко катилась по дороге, и на ней снова тряслись два человека.

По-прежнему ровно шумел дождь; обочь дороги, в канавках, тихонько булькало и хлюпало.

ЛИДА ПРИЕХАЛА

В купе, в котором ехала Лида, было очень весело.

Каждый день «резались в подкидного».

Шлепали картами по чемодану и громко кричали:

— Ходите! Вам же ходить!.. Тэк... секундочку... опп! Ха-ха!..

Лида играла плохо. Все смеялись над ее промахами. Она сама смеялась — ей нравилось, что она такая неумелая и хорошенькая, «очаровашка».

Этот ее смех так надоел всем в вагоне, что никого уже не раздражал.

Привыкли.

Он напоминал звук рассыпаемой на цементный пол мелочи.

Удивительно, как она не уставала.

А вечерами, когда из купе расходились, Лида стояла в коридоре у окна.

Кто-нибудь подходил.

Беседовали.

— Ой, как хочется скорей уже в Москву, вы себе не представляете! — говорила Лида, закинув за голову полные белые руки. — Милая Москва.

— Гостить куда-нибудь ездили?

— Нет, я с Новых земель.

— В отпуск?

— Совсем, что вы!..

И она, облизывая красивые ярко-красные губы, рассказывала, что это такое — Новые земли.

— Нас привезли в такую глушь, вы себе не представляете. Вот — поселок, да? А вокруг — поля, поля... Кино — раз в неделю. Представляете?

— А вы работали там?

— Да! Знаете, заставили возить на быках этот... — Лида сконфуженно морщилась, — ну, поля удобряют...

— Навоз?

— Да. А быки такие вредины! Им говоришь: «но!», а они стоят, как идиоты. Ребята у нас называли их Му-2. Ха-ха-ха... Я так нервничала (она произносит нервьничала) первое время (перьвое время), вы себе не представляете. Написала папе, а он отвечает: «Что, дуреха, узнала теперь, почем фунт лиха?». Он у нас шутник ужасный. У вас есть сигаретка?

...Встречали Лиду отец, мать и две тетки.

Лида бросилась всех обнимать... Даже всплакнула.

Все понимающе улыбались и наперебой спрашивали:

— Ну как?

Лида вытирала пухлой ладошкой счастливые слезы и несколько раз начинала рассказывать:

— Ой, вы себе не представляете!..

Но ее не слушали — улыбались, говорили сами и снова спрашивали:

— Ну как?

Поехали домой, за город.

...Увидев свой дом, Лида бросила чемодан и, раскинув белые рученьки, побежала вперед.

Сзади понимающе заговорили:

— Вот оно как — на чужой-то сторонушке.

— Да-а, это тебе... гляди-ка: бежит, бежит!

— И ведь ничего не могли поделать: заладила свое: поеду и все. «Другие едут, и я поеду», — рассказывала мать Лиды, сморкаясь в платок. — Ну вот съездила... узнала.

— Молодежь, молодежь, — скрипела тетя с красным лицом.

Потом Лида ходила по комнатам большого дома и громко спрашивала:

— Ой, а это когда купили?

Мать или отец отвечали:

— Этой зимой еще, перед Новым годом. Полторы тыщи стало.

Пришел молодой человек с книжками и с множеством значков на груди — новый квартирант, студент.

Их знакомил сам отец.

— Наша новаторша, — сказал он, глядя на дочь с тонкой снисходительной усмешкой.

Лида ласково и значительно посмотрела на квартиранта.

Тот почему-то смутился, кашлянул в ладонь.

— Вы в каком? — спросила Лида.

— В педагогическом.

— На каком факе?

— На физико-математическом.

— Будущий физик, — пояснил отец и ласково потрепал молодого человека по плечу. — Ну вам небось поговорить хочется... Я пошагал в магазин, — он ушел.

Лида опять значительно посмотрела на квартиранта.

И улыбнулась.

— У вас есть сигаретка?

Квартирант вконец смутился и сказал, что он не курит. И сел с книжками к столу.

Потом сидели родственным кружком, выпивали.

Студент тоже сидел вместе со всеми; он попробовал было отказаться, но на него обиделись самым серьезным образом, и он сел.

Отец Лиды — чернявый человек с большой бородавкой на подбородке и с круглой розовой плешиной на голове, с

красными влажными губами, — прищурившись, смотрел на дочь.

Потом склонялся к квартиранту, жарко дышал ему в ухо, шептал:

— Ну скажите, если уж честно: таких ли хрупких созданиев посылать на эти... на земли? А? Кого они агитируют! Тоже, по-моему, неправильно делают. Ты попробуй меня сагитируй!..

Глаза его маслено блестели.

Он осторожно икал и вытирал губы салфеткой.

— А таких зачем? Это ж... эк... это ж — сосуд, который... эк... надо хранить. А?

Молодой человек краснел и упорно смотрел в свою тарелку.

А Лида болтала ногами под столом, весело смотрела на квартиранта и, капризничая, кричала:

— Ой, ну почему вы мед не кушаете? Мам, ну почему он мед не кушает!

Студент кушал мед.

Все за столом разговаривали очень громко, перебивали друг друга.

Говорили о кровельном железе, о сараях, о том, что какого-то Николая Савельича скоро «сломают», и Николай Савельич получит «восемнадцать метров».

Толстая тетя с красным носом все учила Лиду:

— А теперь, Лидуся... слышишь? Теперь ты должна... как девушка!.. — тетя стучала пальцем по столу. — Теперь ты должна...

Лида плохо слушала, вертелась, тоже очень громко спрашивала:

— Мам, у нас сохранилось то варенье, из крыжовника? Положи ему, — и весело смотрела на квартиранта.

Отец Лиды склонялся к студенту и шептал:

— Заботится... а? — и тихо смеялся.

— Да, — говорил студент и смотрел на дверь. Непонятно было, к чему он говорит это «да».

Под конец отец Лиды залез ему в самое ухо:

— Ты думаешь, он мне легко достался, этот домик... эк... взять хотя бы?.. Сто двенадцать тыщ — как один рупь... эк... на! А откуда они у меня? Я ж не лауреат какой-нибудь. Я ж получаю всего девятьсот восемьдесят на руки. Ну?.. А пото-

му что вот эту штуку на плечах имею, — он похлопал себя по лбу: — А вы с какими-то землями!.. Кто туда едет? Кого приперло. Кто свою жизнь не умеет наладить, да еще вот такие глупышки, вроде дочки моей... Ох, Лидка! Лидка! — отец Лиды слез со студента и вытер губы салфеткой. Потом снова повернулся к студенту: — А сейчас поняла — не нарадуется сидит в родительском доме. Обманывают, вас, молодых...

Студент отодвинул от себя хрустальную вазочку с вареньем, повернулся к хозяину и сказал довольно громко:

— До чего же вы бессовестный! Просто удивительно. Противно смотреть.

Отец Лиды опешил... открыл рот и перестал икать.

— Ты... вы это на полном серьезе?

— Уйду я от вас. Ну и хамье... Как только не стыдно!

Студент встал и пошел в свою комнату.

— Сопляк! — громко сказал ему вслед отец Лиды.

Все молчали.

Лида испуганно и удивленно моргала красивыми голубыми глазами.

— Сопляк!! — еще раз сказал отец и встал и бросил салфетку на стол, в вазочку с вареньем. — Он меня учить будет!

Студент появился в дверях с чемоданом в руках, в плаще... Положил на стол деньги.

— Вот — за полмесяца. Маяковского на вас нет! — и ушел.

— Сопляк!!! — послал ему вслед отец Лиды и сел.

— Папка, ну что ты делаешь?! — чуть не со слезами воскликнула Лида.

— Что «папка»? Папка... Каждая гнида будет учить в своем доме! Ты молчи сиди, прижми хвост. Прокатилась? Нагулялась? Ну и сиди помалкивай. Я все эти ваши штучки знаю! — отец застучал пальцем по столу, обращаясь к жене и к дочери. — Принесите, принесите у меня в подоле... Выгоню обоих! Не побоюсь позора!

Лида встала и пошла в другую комнату.

Стало тихо.

Толстая тетя с красным лицом поднялась из-за стола и, охая, пошла к порогу.

— Итить надо домой... засиделась у вас. Ох, господи, господи, прости нас, грешных.

...В Лидиной комнате тихо забулькал радиоприемник — Лида искала музыку.

Ей было грустно.

СВЕТЛЫЕ ДУШИ

Михайло Беспалов полторы недели не был дома: возили зерно из далеких глубинок.

Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. На машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора.

Въехал, заглушил мотор, открыл капот и залез под него.

Из избы вышла жена Михайлы, Анна, молодая круглолицая баба. Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила:

— Ты б хоть поздороваться зашел.

— Здорово, Нюся! — приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят.

Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью.

Михайло пришел через полчаса.

Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.

— Ты чего? — спросил Михайло.

— Ничего.

— Вроде сердишься?

— Ну что ты! Разве можно на трудящий народ сердиться? — с неумелой насмешкой и горечью возразила Анна.

Михайло неловко потоптался на месте. Сел на скамейку у печки, стал разуваться.

Анна глянула на него и всплеснула руками:

— Мамочка родимая! Грязный-то!..

— Пыль, — объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги.

Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошкой небритые щеки мужа и жадно приль-

нула горячими губами к его потрескавшимся, солоновато-жестким, пропахшим табаком и бензином губам.

— Прямо места живого не найдешь, господи ты мой! — жарко шептала она, близко разглядывая его лицо.

Михайло прижимал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел:

— Замараю ж я тебя всю, дуреха такая!..

— Ну и марай... марай, не думай! Побольше бы так марал!

— Соскучилась небось?

— Соскучишься! Уедет на целый месяц...

— Где же на месяц? Эх ты... акварель!

— Пусти, пойду баню посмотрю. Готовься. Белье вон на ящике, — она ушла.

Михайло, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени, долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки: что-то искал. Потом вышел на крыльцо, крикнул жене: — Ань! Ты, случайно, не видела карбюратор?

— Какой карбюратор?

— Ну такой... с трубочками!

— Не видела я никаких карбюраторов! Началось там опять...

Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать... Карбюратора нигде не было.

Пришла Анна.

— Собрался?

— Тут, понимаешь... штука одна потерялась, — сокрушенно заговорил Михайло. — Куда она, окаянная?

— Господи! — Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез. — Ни стыда ни совести у человека! Побудь ты хозяином в доме! Приедет раз в год и то никак не может расстаться со своими штуками...

Михайло поспешно подошел к жене.

— Чего сделать, Нюся?

— Сядь со мной, — Анна смахнула слезы.

Сели.

— У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое... хоро-о-шенькое! Видел, наверно, она в нем по воскресеньям на базар ездит!

Михайло на всякий случай сказал:

— Ага! Такое, знаешь... — Михайло хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит, вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене.

— Вот. Она это полупальто продает. Просит четыре сотни.

— Так... — Михайло не знал, много это или мало.

— Так вот я думаю: купить бы его? А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно глянется мне, Миша. Я давеча примерила — как влитое сидит!

Михайло тронул ладонью свою выпуклую грудь.

— Взять это полупальто. Чего тут думать?

— Погоди ты! Разлысил лоб... Денег-то нету. А я вот что придумала: давай продадим одну овечку! А себе ягненка возьмем...

— Правильно! — воскликнул Михайло.

— Что правильно?

— Продать овечку.

— Тебе хоть все продать! — Анна даже поморщилась.

Михайло растерянно заморгал добрыми глазами.

— Сама же говорит, елки зеленые!

— Так я говорю, а ты пожалей. А то я — продать, и ты — продать. Ну и распродадим так все на свете!

Михайло открыто залюбовался женой.

— Какая ты у меня... головастая!

Анна покраснела от похвалы.

— Разглядел только...

Из бани возвращались поздно. Уже стемнело.

Михайло по дороге отстал. Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины.

— Миша!

— Аиньки! Сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу.

— Замараешь белье-то!

Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом.

— Миша!

— Одну минуту, Нюся.

— Я говорю, замараешь белье-то!

— Я же не прижимаюсь к ней.

Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце.

Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.

— Ну сделал?

— Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала.

— Ты ее не целуешь, случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней, черт ее надавал, проклятую! — рассердилась Анна.

— Ну вот... При чем она здесь?

— При том. Жизни никакой нету.

В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар.

Михайло прилег на кровать; Анна собирала на стол ужин.

Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туески, кринки и рассказывала последние новости:

— ...Он уж было закрывать собрался магазин свой. А тот — то ли поджидал специально — тут и был! «Здрасти, — говорит, — я ревизор...».

— Хэх! Ну? — Михайло слушал.

— Ну, тот туда-сюда — заегозил. Тыр-пыр — семь дыр, а выскочить некуда. Да. Хворым прикинулся...

— А ревизор что?

— А ревизор свое гнет: «Давайте делать ревизию». Опытный попался.

— Тэк. Влопался, голубчик?

— Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ.

— Сколько дали?

— Еще не судили. Во вторник суд будет, а за ними давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть! А сейчас ноет ходит: «Может, ошибка еще». Ошибка! Ганя ошибется!

Михайло задумался о чем-то.

За окнами стало светло: взошла луна. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.

— Садись, Миша.

Михайло задавил в пальцах окурок, скрипнул кроватью.

— У нас одеяло какое-нибудь старое есть? — спросил он.

— Зачем?

— А в кузов постелить. Зерна много сыплется.

— Что они, не могут вам брезенты выдать?

— Их пока жареный петух не клюнет — не хватятся. Все обещают.

— Завтра найдем чего-нибудь.

Ужинали не торопясь, долго.

Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи — для пробы.

— Ну-ка, оцени.

Михайло одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул:

— Ох... хороша-а!

— К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья... сытые — загляденье! А на тебя смотреть страшно.

— Ничего-о, — гудел Михайло. — Как у вас тут?

— Рожь сортируем. Пылища!.. Бери вон блинцы со сметанкой. Из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько, Миша! Прямо страсть берет. Куда уж его столько!

— Нужно. Весь СССР прокормить — это... одна шестая часть.

— Ешь, ешь! Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то.

Михайло раскраснелся, глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова.

Спать легли совсем поздно.

В окна лился негреющий серебристый свет. На полу, в светлом квадрате, шевелилось темное кружево теней.

Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи ровно, на одной ноте, гудел одинокий трактор.

— Ночь-то! — восторженно прошептал Михайло.

Анна, уже полусонная, пошевелилась.

— А?

— Ночь, говорю...

— Хорошая.

— Сказка просто!

— Перед рассветом под окном пташка какая-то распевает, — невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа. — До того красиво...

— Соловей?

— Какие же сейчас соловьи!

— Да, верно...

Замолчали. Анна, крутившая весь день тяжелую веялку, скоро уснула.

Михайло полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы.

Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор.

Анна негромко окликнула его.

Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих.

Анна, устраиваясь около его бока, выговаривала ему:

— На одну ночь приедет и то норовит убежать! Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину Она дождется у меня!

Михайло ласково похлопал жену по плечу — успокаивал.

Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом:

— Там что, оказывается: ма-аленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же, знаешь, жиклер... там иголка не пролезет.

— Ну, теперь-то все хоть?

— Конечно.

— Бензином опять несет! Ох... господи!..

Михайло хохотнул, но тут же замолчал.

Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно.

Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.

— Ты опять? — спросила Анна.

— Я попить хочу.

— В сенцах в кувшине — квас. Потом закрой его.

Михайло долго возился среди тазов, кадочек, нашел наконец кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный, с кислинкой квас.

— Хо-ох! Елки зеленые! Тебе надо?

— Нет, не хочу.

Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней...

Стояла удивительная ночь — огромная, светлая, тихая... По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка.

Вдыхая всей грудью вольный, настоянный на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко:

— Ты гляди, что делается!.. Ночь-то!..

ПРАВДА

На межрайонном совещании председателей колхозов и директоров совхозов Николай Алексеевич Аксенов, председатель колхоза «Пламя коммунизма», — Аксеныч, как его попросту называли, — выдал такую огневую речь, что сам потом удивился.

Он то гремел с трибуны, подвергая беспощадной критике недостатки в своем колхозе, то, указывая прокуренным пальцем на аудиторию, тихо и строго предупреждал: «Но учтите, дорогие товарищи, мы все это исправим. Исправим». Под конец, правда, он дал маху: забыл в пылу выступления, что кукурузу называют «королевой полей», и назвал ее «русской красавицей». В зале засмеялись и долго хлопали Аксенову.

Сейчас, копаясь в моторе своего «козла», Аксеныч с удовольствием думал: «Могу, язви тя в легкое!».

Сзади кто-то негромко спросил:

— Вы к себе сейчас едете?

Аксенов обернулся: спрашивал невысокий, бритый наголо, с серым лицом, большеротый. Смотрел спокойно, чуть насмешливо. Аксенов узнал: новый директор Березовского совхоза, сосед Аксенова.

— Подбросить, что ли?

— Да.

— Сейчас... — Аксенов опять уткнулся в мотор, — свечи закидало... — он вывернул запальную свечу, подчистил ножом контакты-усики, поскоблил, протер, продул и ввернул опять.

Большеротый все стоял и смотрел ему в спину.

«Как же его фамилия?», — пытался вспомнить Аксеныч. Он еще не был знаком с новым директором, но слышал о нем как о человеке странном. В чем заключалась эта странность, он сейчас не мог вспомнить, так же как и фамилию директора.

Во время совещания прошел хороший дождь, дороги размыло.

Пока выбирались на гравийную дорогу, молчали. Задок «козла» заносило из стороны в сторону. Аксеныч ожесточенно крутил баранку и ворчал:

— Черт-те надавал!.. В районном центре не могут дорогу сделать как следует. Ты гляди!..

Большеротый сидел с ним рядом, курил, безучастно смотрел вперед.

Когда наконец выбрались на гравий и машина пошла ровно, Аксеныч откинулся на спинку сиденья, достал одной рукой папиросы, закурил.

— Слышал, как я выступал? — спросил он, опять с удовольствием вспомнив свое выступление.

— Слышал, — откликнулся большеротый.

Аксеныч подождал, не скажет ли он чего еще, и, не дождавшись, спросил:

— Как, по-твоему?

— Что?

— Выступил-то.

— По-моему, плохо, — большеротый повернул голову к Аксенычу и посмотрел ему прямо в глаза, просто и спокойно.

Аксеныч на секунду-две забыл про штурвал: засмотрелся на чистые, незлые, насмешливые глаза нового соседа. Взгляд этих глаз был тверд.

Директор первый отвернулся, показал глазами на дорогу. Аксеныч круто вывернул руль, сбавил скорость.

«Завидует, лысан! Сам не умеет выступать и завидует другим», — подумал Аксеныч, но не успокоился от этой мысли.

— Почему плохо?

— А вы думаете, хорошо?

— Я ничего не думаю, — обозлился Аксенов, — я просто спрашиваю, почему плохо, и все.

— Плохо потому, что ничего конкретного. Одни возгласы да обещания. Недостатки, положим, были названы, но... и то, я вам скажу, схитрили вы здесь.

— Как это?

— Назвали такие недостатки, за которые головы не снимают, — большеротый повернулся к Аксенову и улыбнулся. — Так ведь?

Аксенов презрительно прищурил глаза.

— Чего так? — он чувствовал себя глупо.

— Клуб не достроили — это полбеды. За это можно бить себя в грудь.

— А еще что? Что я утаил, например?

— А мор свиней в прошлом месяце?.. Это же не стихийное бедствие, это безалаберность. Халатность, — директор выговорил эти два слова твердым, спокойным голосом — он их не выбирал и ни на мгновение не задумался: говорить ли этими или подыскивать другие? — У вас есть акт ветврача об этом. Скрыли.

У Аксенова от злости засосало под ложечкой. Особенно возмутил его этот спокойный, уверенный тон директора. Он некоторое время молчал.

— Что же ты не сказал об этом?

Директор ответил тоже не сразу.

— Скажу. Вот осмотрюсь немного — начну говорить.

— Достанется нам тогда на орехи! — воскликнул Аксеныч. Он хотел еще добавить: «Таким большим ртом можно мно-ого наговорить всякой всячины». Но удержался. С этой минуты он горячо невзлюбил директора и даже забыл подумать, откуда новичку известны такие факты, как припрятанный до поры до времени акт о падеже свиней в колхозе «Пламя коммунизма», в котором есть и эти слова: «безалаберность» и «халатное отношение». — Несдобровать нам тогда! А? — Аксеныч окинул насмешливым взглядом соседа. Он тоже решил казаться насмешливым.

— Не знаю, как насчет сдобровать, но акты из столов... — тут директор несколько замялся, — акты придется вытащить. Они не для того пишутся, чтобы лежать в столах. Правильно? — директор засмеялся и хлопнул Аксенова по плечу: он отчего-то развеселился.

Аксенов резко шевельнул плечом, скидывая руку директора.

— Не лапай, я не баба.

— О!

«Запугать хочет. Как с ребенком разговаривает, стервец. Стреляный воробей, вообще-то говоря, — думал Аксенов. — В секретари метит. Как бы тебя ущемить, черта лысого? Высажу сейчас посреди дороги. Скажу, что в другую сторону надо». Но вместо этого неожиданно для себя Аксеныч покосился на директора и усмехнулся.

— Поглядим, сосед, как ты развернешься. Ой, поглядим!

— Развернемся! — директор улыбнулся бескровными губами. И так хорошо он улыбнулся, что Аксенов почему-то вдруг поверил: этот развернется. Что-то такое было у него припрятано про запас — и чувствуешь, но не понимаешь, что именно. Развернется и будет все такой же насмешливый и спокойный.

— Посмотрим, посмотрим! — еще раз сказал Аксенов, и таким тоном, точно обещал новичку верную каторгу через год-другой.

Но удивительное дело: сам он не поверил в то, в чем хотел убедить нового директора, и почувствовал фальшь в своем самонадеянном, ни на чем не основанном тоне, когда произнес это «посмотрим». «Черт его знает... пугаю к чему-то человека».

Горечь от сознания, что человек, сидящий рядом с ним, имеет смелость быть правдивым и прямо смотреть ему в глаза, прошла у Аксенова; эта горечь сменилась теперь острым желанием и самому заглянуть в глаза новому человеку, послушать его, понять, откуда у него такая уверенность в себе и в своих будущих делах на новом месте. Аксенов вовсе не струсил и не заискивал перед новым соседом — он сам был достаточно силен и крут, чтобы не заискивать, — просто захотел узнать этого человека поближе.

— Откуда сам?

— Из Калуги.

— Инженер?

— Точно.

— К нам... по охоте аль неволей?

— По охоте, почему же неволей! — новичок повернулся к Аксенову, и на его сером квадратном лице изобразилось удивление.

«Значит, инженер так себе. Хорошего не отпустят с завода, — не без ехидства подумал Аксеныч. — Воображаешь ты много, друг милый».

— А все-таки зря ты легко смотришь на свое, так сказать, ближайшее будущее, — не удержался и еще раз сказал Аксенов. — Наше дело сложное, посложней заводского.

— Ничего, — сказал новичок, и Аксенова опять взяла досада: в конце концов не мешало бы новичку прислушаться к словам опытных людей. Едет, как к теще на блины.

Подъехали тем временем к чайной на окраине большого села. Остановились.

— Закусим?

— С удовольствием! — оживился новый директор. — Есть хочется.

Сидели друг против друга за маленьким квадратным столиком, ждали официантку.

Директор, склонив большую полированную голову, изучал синие кружочки на клеенке. Аксенов смотрел на него. И в нем родилась вдруг озорная мысль.

— По сто пятьдесят, что ли, закажем?

Директор поднял голову.

— Не пью.

«Брось ты... Поставить себя хочешь».

— В чайной или вообще?

Директор усмехнулся.

— Вообще. А вот курить не могу бросить, — директор полез за папиросами. — Три раза бросал — не вышло.

— Ты, наверно, думаешь, — начал Аксенов, пошевелившись на стуле, — вот, мол, припугнул председателя актом, он теперь виляет передо мной, выпить предлагает. Так?

— Нет, не так. Акт — это само собой. Между нами, я бы все-таки не полез на твоем месте на трибуну с такой речью. Совесть же надо иметь, елки с палкой! Я, грешным делом, смекнул там, на совещании: может, думаю, у него пересмотрели это дело с падежом, комиссия какая-нибудь была. А в машине понял, что никакой комиссии не было — акт лежит у тебя под сукном.

— Тебе бы следователем работать, — съязвил Аксенов, чувствуя, как к сердцу снизу подмыла едкая волна — стыд. Стыд и злость опять овладели им. — Так вот слушай: акт этот я опротестовал и на самом деле жду комиссию. Чтоб ты

знал, — Аксенов сказал это, в упор глядя на директора, не скрывая злости.

Этот человек бесил его и вместе с тем привлекал. Аксенов знал, что не смог бы сейчас встать и уйти, оставив за спиной эти спокойные, правдивые глаза. Хотелось уж теперь досидеться до той поры, когда самому возможно будет прямо взглянуть в них, в эти глаза, и чувствовать себя при этом спокойным и уверенным. Но как это сделать, он не знал. Насчет комиссии он соврал, то есть не то чтоб соврал — он действительно был не согласен с актом ветврача и действительно хотел пригласить комиссию, но он еще не пригласил и акта официально не опротестовывал. В сущности, Аксенов, конечно, соврал и испытывал сейчас такое чувство, точно его, взрослого человека, застали за мелким воровством, будто кто-то неслышно подошел сзади и спросил: «Ты что здесь делаешь?».

«Сегодня же, сейчас же, как только приеду, вызову комиссию, черт ее задери!» — поклялся себе Аксенов.

Услышав, что Аксенов опротестовал акт и вызвал комиссию, директор внимательно посмотрел на него и сказал коротко, деловито:

— Это другое дело.

У Аксенова слабо зарозовели скулы. Ах, до чего, черт возьми, — до зуда в груди — захотелось быть с этим человеком на равных, захотелось вдруг сказать ему какие-нибудь обыкновенные слова, вроде: «Это не так, директор» или: «Это другое дело!».

«Нет, к чертям собачьим!.. Надо кончать со всякими такими актами». Аксенов на минуту представил себе, каким спокойным, прямо счастливым он чувствовал бы себя сейчас, если бы за душой не было бы этого темного дела с актом, если б был он чист. Он бы сейчас толково и обстоятельно рассказал новичку, как трудно управлять большим, сложным хозяйством, чего не надо делать поначалу и что надо сделать сразу немедля... Он улыбнулся.

— Знаешь, о чем тебя попрошу: как только первый раз где-нибудь словчишь, скажи мне. Только по-честному. Мне охота узнать: проживешь ты без этого или нет?

Директор выслушал, тоже улыбнулся.

— Договорились. Ты думаешь, без этого нельзя?

У Аксенова стало легче на душе.

— Как тебе сказать... Можно, конечно, — Аксеныч опять улыбнулся. — Вообще-то так и надо... Эх!.. Забыл, как твоя фамилия?

— Воловик, Николай.

— Тезки с тобой. Я тебе так скажу, Микола: можно. Мы тут ведь уж подолгу работаем, вросли, так сказать, корнями в дела эти колхозные да совхозные, переплелись друг с другом... Ну и случится иной раз: сказал бы про него, подлеца, правду, да у самого рыло, как говорится, в пуху — смолчишь. Но ты не думай, пожалуйста, что мы тут только и делаем, что скрываем грехи друг от друга.

— Господи!.. Кто же так думает! Дела у вас хорошие, большие, — Воловик говорил серьезно, искренне. — Потому и захотелось попробовать тут свои силенки. Я о том, что обидно, елки с палкой, когда в таких делах случаются...

— Случаются, — перебил Аксеныч и нахмурился, глядя в стол. — Случаются, Микола.

— Вообще совещание мне понравилось. Некоторые очень толково говорили, конкретно.

Аксенов опять покраснел: вспомнил свое выступление.

— У нас есть люди... Первый секретарь — дельный мужик: знает хозяйство... Со вторым нам не повезло малость: суетливый какой-то, шумит много...

Подошла официантка. Заказали два борща, две порции котлет, по кружке пива.

— Борщец тут у нас знатный делают, — похвастал Аксеныч. — В Калуге такого... Хотя ты ж с Украины, наверно?

— Нет, калужанин коренной. Отец украинец был, а жил тоже в Калуге.

— Ты с семьей здесь или один пока?

— Один пока.

— Как устроился-то? Слушай, приезжай сегодня ко мне! Этак к вечерку баньку протопим, с неводишком на речку сбегаем... Небось стосковался без своих-то? Я тебе поподробнее расскажу про все наши дела, введу так сказать, в курс дела... Ты поверишь, нет, я чего-то до смерти рад, что познакомился с тобой. Не подумай, что я насчет этого дурацкого акта боюсь. Я всегда оправдаюсь. Чего-то ты мне поглянулся, честное слово... — давно уж Аксеныч не говорил таких простых, хороших слов, давно уж не испытывал такого горячего, участливого уважения к человеку.

Воловик подумал немного и согласился.

— Только... я, понимаешь, не один приеду; если разрешишь. Ко мне дружок заехал... офицер с Дальнего Востока. Демобилизовался. Тоже дела человек ищет. Я думаю, мы ему вдвоем как-нибудь поможем присмотреться. Мне хочется, чтобы он здесь остался... Толковый парень!

На сердце Аксенова расцвела хорошая, благодарная радость.

— Конечно!.. Господи, да мы его тут враз с делом окрутим. Покажу вам свое хозяйство. У меня хозяйство хорошее, Ми-кола. Ферма!.. Ты знаешь, какая у меня ферма! Вся начисто механизирована! — Аксеныч широко повел правой рукой; в глазах его засветился счастливый огонек. — Ребята-дояры — вот такие! Комсомольцы. Ты правильно сделал, Микола, что приехал сюда. Поможем! Трудно будет первое время — это точно. Поможем. Я не зря говорю...

Директор слушал, кивал большой гладкой головой — соглашался. Смотрел на Аксенова доверчиво.

СТЕНЬКА РАЗИН

Его звали — Васёка. Васёка имел: двадцать четыре года от роду, один восемьдесят пять рост, большой утиный нос... и невозможный характер. Он был очень странный парень — Васёка.

Кем он только не работал после армии! Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васёка приходил в контору и брал расчет.

— Непонятный ты все-таки человек, Васёка. Почему ты так живешь? — интересовались в конторе.

Васёка, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко:

— Потому что я талантливый.

Конторщики, люди вежливые, отворачивались, пряча улыбки. А Васёка, небрежно сунув деньги в карман (он пре-

зирал деньги), уходил. И шагал по переулку с независимым видом.

— Опять? — спрашивали его.

— Что «опять»?

— Уволился?

— Так точно! — Васёка козырял по-военному. — Еще вопросы будут?

— Куклы пошел делать? Хэх...

На эту тему — о куклах — Васёка ни с кем не разговаривал.

Дома Васёка отдавал деньги матери и говорил:

— Все.

— Господи!.. Ну что мне с тобой делать, верста коломенская? Журавь ты такой! А?

Васёка пожимал плечами: он сам пока не знал, что теперь делать — куда пойти еще работать.

Проходила неделя-другая, и дело отыскивалось.

— Поедешь на бухгалтера учиться?

— Можно.

— Только... это очень серьезно!

— К чему эти возгласы?

«Дебет... Кредит... Приход... Расход... Заход... Обход... — И деньги! деньги! деньги!..»

Васёка продержался четыре дня. Потом встал и ушел прямо с урока.

— Смехота, — сказал он. Он решительно ничего не понял в блестящей науке хозяйственного учета.

Последнее время Васёка работал молотобойцем.

И тут, помахав недели две тяжелой кувалдой, Васёка аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу:

— Все!

— Что?

— Пошел.

— Почему?

— Души нету в работе.

— Трепло, — сказал кузнец. — Выйди отсюда.

Васёка с изумлением посмотрел на старика кузнеца.

— Почему ты сразу переходишь на личности?

— Балаболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе? «Души нету»... Даже злость берет.

— А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь.

— Может, попробуешь?

Васёка накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику.

— Прошу.

Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы.

— Иди корову подкуй такой подковой.

Васёка взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже погнуть ее — не тут-то было.

— Что?

— Ничего.

Васёка остался в кузнице.

— Ты, Васёка, парень — ничего, но болтун, — сказал ему кузнец. — Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?

— Это верно: я очень талантливый.

— А где твоя работа сделанная?

— Я ее никому, конечно, не показываю.

— Почему?

— Они не понимают. Один Захарыч понимает.

На другой день Васёка принес в кузницу какую-то штуковину с кулак величиной, завернутую в тряпку.

— Вот.

Кузнец развернул тряпку... и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человечка, под ситцевой рубахой — синей, с белыми горошинами — торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.

Кузнец долго разглядывал его.

— Смолокур, — сказал он.

— Ага, — Васёка глотнул пересохшим горлом.

— Таких нету теперь.

— Я знаю.

— А я помню таких. Это что он?.. Думает, что ли?

— Песню поет.

— Помню таких, — еще раз сказал кузнец. — А ты-то откуда их знаешь?

— Рассказывали.

Кузнец вернул Васёке смолокура.

— Похожий.

— Это что! — воскликнул Васёка, заворачивая смолокура в тряпку. — У меня разве такие есть!

— Все смолокуры?

— Почему?.. Есть солдат, артистка одна есть, тройка... еще солдат, раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.

— А у кого ты учился?

— А сам... ни у кого.

— А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например...

— Я все про людей знаю,— Васёка гордо посмотрел сверху на старика. — Они все ужасно простые.

— Вон как! — воскликнул кузнец и засмеялся.

— Скоро Стеньку сделаю... поглядишь.

— Смеются над тобой люди.

— Это ничего, — Васёка высморкался в платок. — На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.

Кузнец опять рассмеялся.

— Ну и дурень ты, Васёка! Сам про себя говорит, что его любят! Кто же так делает?

— А что?

— Совестно небось так говорить.

— Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.

— А какую он песню поет? — без всякого перехода спросил кузнец.

— Смолокур-то? Про Ермака Тимофеича.

— А артистку ты где видел?

— В кинофильме, — Васёка прихватил щипцами уголек из горна, прикурил. — Я женщин люблю. Красивых, конечно.

— А они тебя?

Васёка слегка покраснел.

— Тут я затрудняюсь тебе сказать.

—Хэ!.. — кузнец стал к наковальне. — Чудной ты парень, Васёка! Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне: какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это ж все-таки кукла.

Васёка ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне.

— Не можешь ответить?

— Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят, — ответил Васёка.

...С работы Васёка шагал всегда быстро. Размахивал руками — длинный, нескладный. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал и в ногу — на манер марша — подпевал:

Пусть говорят, что я ведра починяю,
Эх, пусть говорят, что я дорого беру!
Две копейки — донышко,
Три копейки — бок...

— Здравствуй, Васёка! — приветствовали его.

— Здорово, — отвечал Васёка.

И шел дальше.

Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра: вырезал Стеньку Разина.

О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарович, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васёка, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васёка талантливый. Он приходил к Васёке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Последнее время начал попивать. Васёка глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился — слушал про Стеньку.

— ...Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу... чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу... и прочее. Это ж был человек! Как развернется, как глянет исподлобья — травы никли. А справедливый был!.. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька: один казак совсем уж отощал, сидит у костра, бедный, голову свесил: дошел окончательно, Стенька толкнул его — подает свой кусок мяса. «На, говорит, ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька. Тебе нужнее». — «Бери!» — «Нет». Тогда Стенька как выхватил саблю — она аж свистнула в воздухе: «В три господа душу мать!.. Я кому сказал: бери!». Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек... душа у тебя была.

Васёка, с повлажневшими глазами, слушал.

— А княжну-то он как! — тихонько, шепотом, восклицал он. — В Волгу взял и кинул...

— Княжну!.. — Захарыч, тщедушненький старичок с маленькой сухой головой, кричал: — Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И все.

...Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васёка аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда «делалось», он часами не разгибался над верстаком — строгал и строгал... швыркал носом и приговаривал тихонько:

— Сарынь на кичку.

Спину ломило. В глазах начинало двоиться. Васёка бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге и негромко смеялся.

А когда «не делалось», Васёка сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час, два — смотрел на звезды и думал про Стеньку.

Приходил Захарыч, спрашивал:

— Василий Егорыч дома?

— Иди, Захарыч! — кричал Васёка. Накрывал работу тряпкой и встречал старика.

— Здоровеньки булы! — так здоровался Захарыч — «показацки».

— Здорово, Захарыч.

Захарыч косился на верстак.

— Не кончил еще?

— Нет. Скоро уж.

— Показать можешь?

— Нет.

— Нет? Правильно. Ты, Василий... — Захарыч садился на стул, — ты — мастер. Большой мастер. Только не пей. Это гроб! Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай...

Васёка подавал смолокур,а и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение.

Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка.

— Он не про Ермака поет, — говорил он, — Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен, — и он неожиданно сильным, красивым голосом запел:

О-о-эх, воля, моя воля!
Воля вольная моя.
Воля — сокол в поднебесьи,
Воля — милые края...

У Васёки перехватывало горло от любви и горя.

Он понимал Захарыча. Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать... всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Васёка, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться.

— Захарыч... милый, — шептал Васёка побелевшими губами, и крутил головой, и болезненно морщился. — Не надо, Захарыч... Я не могу больше...

Чаще всего Захарыч засыпал тут же в горнице. А Васёка уходил к Стеньке.

...День этот наступил.

Однажды перед рассветом Васёка разбудил Захарыча.

— Захарыч! Все... иди. Доделал я его.

Захарыч вскочил, подошел к верстаку...

Вот что было на верстаке:

...Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька, в исподнем белье, бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались: он делил с ними радость и горе. Но не с ними хотел разделить атаман последний час свой. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию... но споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки... Завозились. Хрипели. Негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному-другому... Но чем-то ударили по голове тяжелым... Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.

«Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора», — сказал он.

Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам...

Захарыч долго стоял над работой Васёки... не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел из горницы. И тотчас вернулся.

— Хотел пойти выпить, но... не надо.

— Ну как, Захарыч?

— Это... Никак, — Захарыч сел на лавку и заплакал горько и тихо. — Как они его... а! За что же они его?! За что?..

Гады они такие, гады! — слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями.

Васёка мучительно сморщился и заморгал.

— Не надо, Захарыч...

— Что не надо-то? — сердито воскликнул Захарыч и закрутил головой, и замычал. — Они же дух из него вышибают!..

Васёка сел на табуретку и тоже заплакал — зло и обильно.

Сидели и плакали.

— Их же ж... их вдвоем с братом, — бормотал Захарыч. — Забыл я тебе сказать... Но ничего... ничего, паря. Ах, гады!..

— И брата?

— И брата... Фролом звали. Вместе их... Но брат — тот... Ладно. Не буду тебе про брата.

Чуть занималось утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах.

По поселку ударили третьи петухи.

СОЛНЦЕ, СТАРИК И ДЕВУШКА

Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие. Сухая трава шуршала под ногами.

Только вечерами наступала прохлада.

И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик, садился всегда на одно место — у коряги — и смотрел на солнце.

Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное.

Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях — коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая. Под синей ситцевой рубахой торчат острые лопатки.

Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос:

— Здравствуйте, дедушка!

Старик кивнул головой.

С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках.

— Отдыхаете?

Старик опять кивнул головой. Сказал:

— Отдыхаю.

На девушку не посмотрел.

— Можно я вас буду писать? — спросила девушка.

— Как это? — не понял старик.

— Рисовать вас.

Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц.

— Я ж некрасивый теперь, — сказал он.

— Почему? — девушка несколько растерялась. — Нет, вы красивый, дедушка.

— Вдобавок хворый.

Девушка долго смотрела на старика. Потом погладила мягкой ладошкой его сухую коричневую руку и сказала:

— Вы очень красивый, дедушка. Правда.

Старик слабо усмехнулся.

— Рисуй, раз такое дело.

Девушка раскрыла свой чемодан.

Старик покашлял в ладонь.

— Городская, наверно? — спросил он.

— Городская.

— Платют, видно, за это?

— Когда как вообще-то. Хорошо сделаю, заплатят.

— Надо стараться.

— Я стараюсь.

Замолчали.

Старик все смотрел на солнце.

Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку.

— Вы здешний, дедушка?

— Здешный.

— И родились здесь?

— Здесь, здесь.

— Вам сколько сейчас?

— Годков-то? Восемьдесят.

— Ого!

— Много, — согласился старик и опять слабо усмехнулся. — А тебе?

— Двадцать пять.

Опять помолчали.

— Солнце-то какое! — негромко воскликнул старик.

— Какое? — не поняла девушка.

— Большое.

— А-а... Да. Вообще красиво здесь.

— А вода вона, вить, какая... У того берега-то...

— Да, да.

— Ровно крови подбавили.

— Да, — девушка посмотрела на тот берег. — Да.

Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине — между рекой и горами — тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго — тоже тихо угас. А в небе в той стороне пошла полыхать заря.

— Ушло солнышко, — вздохнул старик.

Девушка сложила листы в ящик.

Некоторое время сидели просто так — слушали, как лопочут у берега маленькие торопливые волны.

В долине большими клочьями пополз туман.

В лесочке, неподалеку, робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны.

— Хорошо, — сказал негромко старик.

А девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков. Будет портрет и этого старика. А ее друг, талантливый, настоящий художник, непременно будет сердиться: «Опять морщины!.. А для чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат и люди там много работают. А что дальше? Что?..».

Девушка знала, что она не бог весть как даровита. Но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие руки... Опять морщины!

«Надо работать, работать, работать...»

— Вы завтра придете сюда, дедушка? — спросила она старика.

— Приду, — откликнулся тот.

Девушка поднялась и пошла в деревню.

Старик посидел еще немного и тоже пошел.

Он пришел домой, сел в своем уголочке, возле печки, и тихо сидел — ждал, когда придет с работы сын и сядут ужинать.

Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки выросли и уехали в город. Без них в доме было тоскливо.

Садились ужинать.

Старику крошили в молоко хлеб, он хлебал, сидя с краешку стола. Осторожно звякал ложкой о тарелку — старался не шуметь. Молчали.

Потом укладывались спать.

Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. А о чем говорить? Все слова давно сказаны.

На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу, у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал:

— Жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Побило их на войне много — четырех. Два осталось. Ну вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске. Прорабом на новостройке. Пишет: ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много. Любют меня. По городам все теперь...

Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто стирала.

— Трудно было жить? — невпопад спрашивала она.

— Чего ж трудно? — удивлялся старик. — Я ж тебе рассказываю: хорошо жили.

— Сыновей жалко?

— А как же? — опять удивлялся старик. — Четырех таких положить — шутка нешто?

Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и умиротворенностью.

А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря.

— Ненастье завтра будет, — сказал старик.

Девушка посмотрела на ясное небо.

— Почему?

— Ломает меня всего.

— А небо совсем чистое.

Старик промолчал.

— Вы придете завтра, дедушка?

— Не знаю, — не сразу откликнулся старик. — Ломает чего-то всего.

— Дедушка, как у вас называется вот такой камень? — девушка вынула из кармана жакета белый, с золотистым отливом камешек.

— Какой? — спросил старик, продолжая смотреть на горы.

Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь.

— Такой? — спросил он, мельком глянув на камешек, и повертел его в сухих скрюченных пальцах. — Кремешок это. Это в войну, когда серянок не было, огонь из него добывали.

Девушку поразила странная догадка: ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить, молчала, смотрела сбоку на старика. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел.

— На... камешек-то, — сказал он и протянул девушке камень. — Они еще не такие бывают. Бывают: весь белый, аж просвечивает, а снутри какие-то пятнушки. А бывают: яичко и яичко — не отличишь. Бывают: на сорочье яичко похож — с крапинками по бокам, а бывают, как у скворцов — синенькие, тоже с рябинкой с такой.

Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить: правда ли, что он слепой.

— Вы где живете, дедушка?

— А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом, — старик показал дом на берегу, — дальше — Бедаревы, потом Волокитины, потом Зиновьевы, а там уж, в переулочке, — наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, дак у нас шибко весело было.

— Спасибо.

— Я пошел. Ломает меня.

Старик поднялся и пошел тропинкой в гору.

Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. Шел медленно и смотрел под ноги.

«Нет, не слепой, — поняла девушка. — Просто слабое зрение».

На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике. Что-то было в его жизни, такой простой, такой обычной, что-то непростое, что-то большое, значительное. «Солнце — оно тоже просто встает и просто заходит, — думала девушка. — А разве это просто!». И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно.

Не пришел старик и на третий день, и на четвертый.

Девушка пошла искать его дом.

Нашла.

В ограде большого пятистенного дома под железной крышей, в углу, под навесом, рослый мужик лет пятидесяти обстругивал на верстаке сосновую доску.

— Здравствуйте, — сказала девушка.

Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему лбу, кивнул.

— Здорово.

— Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка...

Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала.

— Жил, — сказал мужик. — Вот домовину ему делаю.

Девушка приоткрыла рот.

— Он умер, да?

— Помер, — мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмотрел на девушку: — А тебе чего надо было?

— Так... я рисовала его.

— А-а, — мужик резко зашаркал рубанком.

— Скажите, он слепой был? — спросила девушка после долгого молчания.

— Слепой.

— И давно?

— Лет десять уж. А что?

— Так...

Девушка пошла из ограды.

На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей.

ЭКЗАМЕН

— Почему опоздали? — строго спросил профессор.

— Знаете... извините, пожалуйста... прямо с работы... срочный заказ был... — студент — рослый парняга с простым хорошим лицом — стоял в дверях аудитории, не решаясь пройти дальше. Глаза у парня правдивые и неглупые.

— Берите билет. Номер?

— Семнадцать.

— Что там?

— «Слово о полку Игореве» — первый вопрос. Второй...

— Хороший билет, — профессору стало немного стыдно за свою строгость. — Готовьтесь.

Студент склонился над бумагой, задумался.

Некоторое время профессор наблюдал за ним. Перед его глазами за его длинную жизнь прошла не одна тысяча таких вот парней; он привык думать о них коротко — студент. А ведь ни один из этой многотысячной армии не походил на другого даже отдаленно. Все разные.

«Все меняется. Древние профессора могли называть себя учителями, ибо имели учеников, А сегодня мы только профессора», — подумал профессор.

— Вопросов ко мне нет?

— Нет. Ничего.

Профессор отошел к окну. Закурил. Хотел додумать эту мысль о древних профессорах, но вместо этого стал внимательно наблюдать за улицей.

Вечерело. Улица жила обычной жизнью — шумела. Проехал трамвай. На повороте с его дуги посыпались красные

искры. Перед семафором скопилось множество автомобилей; семафор подмигнул им, и они все сразу ринулись по улице. По тротуарам шли люди. Торопились. И машины торопились, и люди торопились.

«Люди всегда будут торопиться. Будут перемещаться со сверхзвуковой скоростью, и все равно будут торопиться. Куда все это устремляется?..».

— Кхм... — студент пошевелился.

— Готовы? Давайте, — профессор отвернулся от окна. — Слушаю.

Студент держал в толстых грубых пальцах узкую полоску бумаги — билет; билет мелко дрожал.

«Волнуется, — понял профессор. — Ничего, поволнуйся».

— «Слово о полку Игореве» — это великое произведение, — начал студент. — Это... шедевр... Относится к концу двенадцатого века... кхэ... Автор выразил здесь чаяния...

Глядя на парня, на его крепкое, строгой чеканки лицо, профессор почему-то подумал, что автор «Слова» был юноша... совсем-совсем молодой.

— ...Князья были разобщены, и... В общем, Русь была разобщена, и когда половцы напали на Русь... — студент закусил губу, нахмурился: должно быть, сам понимал, что рассказывает неинтересно, плохо. Он слегка покраснел.

«Не читал, — профессор внимательно и сердито посмотрел в глаза студенту. — Да, не читал. Одно предисловие дурацкое прочитал. Черти полосатые! Вот вам — ягодки заочного обучения!», — профессор был противником заочного обучения. Пробовал в свое время выступить со статьей в газете — не напечатали. Сказали: «Что вы!». «Вот вам — что вы! Вот вам — князья разобщены».

— Читали?

— Посмотрел... кхэ...

— Как вам не стыдно? — с убийственным спокойствием спросил профессор и стал ждать ответа.

Студент побагровел от шеи до лба.

— Не успел, профессор. Работа срочная... заказ срочный...

— Меня меньше всего интересует ваш заказ. Если хотите, меня интересует человек, русский человек, который не удосужился прочитать величайшее национальное произведение. Очень интересует! — профессор чувствовал, что на-

чинает ненавидеть здорового студента. — Вы сами пошли учиться?

Студент поднял на профессора грустные глаза.

— Сам, конечно.

— Как вы себе это представляли?

— Что?

— Учебу. В люди хотел выйти? Да?

Некоторое время они смотрели друг на друга.

— Не надо, — тихонько сказал студент и опустил голову.

— Что не надо?

— Не надо так...

— Нет, это колоссально! — воскликнул профессор, хлопнул себя по колену и поднялся. — Это колоссально. Хорошо, я не буду так. Меня интересует: вам стыдно или нет?

— Стыдно.

— Слава тебе, господи!

С минуту молчали. Профессор ходил около доски, фыркал и качал головой. Он даже как будто помолодел от злости.

Студент сидел неподвижно, смотрел в билет... Минута была глупая и тяжкая.

— Спросите еще что-нибудь. Я же готовился.

— В каком веке создано «Слово»? — профессор, когда сердился, упрямился и капризничал, как ребенок.

— В двенадцатом. В конце.

— Верно. Что случилось с князем Игорем?

— Князь Игорь попал в плен.

— Правильно! Князь Игорь попал в плен. Ах, черт возьми! — профессор скрестил на груди руки и изобразил на лице великую досаду и оттого, что князь Игорь попал в плен, и оттого главным образом, что разговор об этом получился очень уж глупым. Издевательского тона у него не получилось — он действительно злился и досадовал, что вовлек себя и парня в эту школьную игру. Странное дело, но он сочувствовал парню и потому злился на него еще больше.

— Ах, досада какая! Как же это он попал в плен?!

— Ставьте мне, что положено, и не мучайтесь, — студент сказал это резким, решительным тоном. И встал.

На профессора тон этот подействовал успокаивающе. Он сел. Парень ему нравился.

— Давайте говорить о князе Игоре. Как он там себя чувствовал? Сядьте, во-первых.

Студент остался стоять.

— Ставьте мне двойку.

— Как чувствовал себя в плену князь Игорь?! — почти закричал профессор, опять испытывая прилив злости. — Как чувствует себя человек в плену? Неужели даже этого не понимаете?!

Студент, стоя некоторое время, непонятно смотрел на старика ясными серыми глазами.

— Понимаю, — сказал он.

— Так. Что понимаете?

— Я сам в плену был.

— Так... То есть как в плену были? Где?

— У немцев.

— Вы воевали?

— Да.

Профессор внимательно посмотрел на студента, и опять ему почему-то подумалось, что автор «Слова» был юноша с голубыми глазами. Злой и твердый.

— Долго?

— Три месяца.

— Ну и что?

— Что?

Студент смотрел на профессора, профессор — на студента. Оба были сердиты.

— Садитесь, чего вы стоите, — сказал профессор. — Бежали из плена?

— Да, — студент сел. Опять взял билет и стал смотреть в него. Ему хотелось скорей уйти.

— Как бежали? Расскажите.

— Ночью. С этапа.

— Подробней, — приказал профессор. — Учитесь говорить, молодой человек! Ведь это тоже надо. Как бежали? Собственно, мне не техника этого дела интересна, а... психологический момент, что ли. Как чувствовали себя? Это ведь горько — попасть в плен? — профессор даже поморщился... — Вы как попали-то? Ранены были?

— Нет.

Помолчали. Немножко дольше, чем требуется для беседы на такую тему.

— А как же?

— Попали в окружение. Это долго рассказывать, профессор.

— Скажите, пожалуйста, какой он занятой!

— Да не занятой, а...

— Страшно было?

— Страшно.

— Да, да, — профессору почему-то этот ответ очень понравился. Он закурил. — Закуривайте тоже. В аудитории, правда, не разрешается, но... ничего...

— Я не хочу, — студент улыбнулся, но тут же посерьезнел.

— Деревня своя вспоминалась, конечно, мать?.. Вам сколько лет было?

— Восемнадцать.

— Вспоминалась деревня?

— Я из города.

— Ну? Я почему-то подумал — из деревни. Да...

Замолчали. Студент все глядел в злополучный билет; профессор поигрывал янтарным мундштуком, рассматривал студента.

— О чем вы там говорили между собой?

— Где? — студент поднял голову. Ему этот разговор явно становился в тягость.

— В плену.

— Ни о чем. О чем говорить?

— Черт возьми! Это верно! — профессор заволновался. Встал. Переложил мундштук из одной руки в другую. Прошелся около кафедры. — Это верно. Как вас зовут?

— Николай.

— Это верно, понимаете?

— Что верно? — студент вежливо улыбнулся. Положил билет. Разговор принимал совсем странный характер — он не знал, как держать себя.

— Верно, что молчали. О чем же говорить! У врага молчат. Это самое мудрое. Вам в Киеве приходилось бывать?

— Нет.

— Там есть район — Подол называется, — можно стоять и смотреть с большой высоты. Удивительная даль открывается. Всякий раз, когда я стою и смотрю, мне кажется, что я уже бывал там когда-то. Не в своей жизни даже, а дав-

ным-давно. Понимаете? — у профессора на лице отразилось сложное чувство — он как будто нечаянно проговорился о чем-то весьма сокровенном и теперь, во-первых, опасался, что его не поймут, во-вторых, был недоволен, что проговорился. Он смотрел на студента с тревогой, требовательно и заискивающе.

Студент пожал плечами, признался:

— Как-то сложно, знаете.

— Ну, как же! Что тут сложного? — профессор опять стал быстро ходить по аудитории. Он сердился на себя, но замолчать уже не мог. Заговорил отчетливо и громко: — Мне кажется, что я там ходил когда-то. Давно. Во времена Игоря. Если бы мне это казалось только теперь, в последние годы, я бы подумал, что это старческое. Но я и молодым так же чувствовал. Ну?

Повисла неловкая пауза. Два человека смотрели друг на друга и не понимали, что им, собственно, требуется сейчас выяснить.

— Я немного не понимаю, — осторожно заговорил студент, — при чем тут Подол?

— При том, что мне показалось очень точным ваше замечание насчет того, что — молчали. Я в плену не был, даже не воевал никогда, но там, над Подолом, я каким-то образом постигал все, что относится к войне. Я додумался, что в плену — молчат. Не на допросах — я мог об этом много читать, — а между собой. Я многое там узнал и понял. Я, например, много думал над вопросом: как бесшумно снимать часовых? Мне думается, их надо пугать.

Студент удивленно посмотрел на профессора.

— Да. Подползти незаметно и что-нибудь очень тихо спросить. Например: «Сколько сейчас времени, скажите, пожалуйста?». Он в первую секунду ошалеет, и тут бросайся на него.

Студент засмеялся, опустив голову

— Глупости говорю? — профессор заглянул ему в глаза.

Студент поторопился сказать:

— Нет, почему... Мне кажется, я понимаю вас.

«Врет. Не хочет обидеть», — понял профессор. И скис. Но счел необходимым добавить еще:

— Это вот почему: наша страна много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И

даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому.

Долго после этого молчали — отходили. Надо было вернуться к исходному положению: к «Слову о полку Игореве», к тому что это великое произведение постыдно не прочитано студентом. Однако профессор не удержался и задал еще два последних вопроса:

— Один бежал?

— Нет, нас семь человек было.

— Наверно, думаете: вот привязался старый чудак! Так?

— Да что вы! Я совсем так не думаю, — студент покраснел так, как если бы он именно так и подумал. — Правда, профессор. Мне очень интересно.

Сердце старого профессора дрогнуло.

— Это хорошо, солдат. Это хорошо, что вы меня понимаете. «Слово» надо, конечно, прочитать. И не раз. Я вам подарю книжку... у меня как раз есть с собой... — профессор достал из портфеля экземпляр «Слова о полку Игореве», подумал. Посмотрел на студента, улыбнулся. Что-то быстро написал на обложке книги, подал студенту. — Не читайте сейчас. Дома прочитаете. Вы заметили: я суетился сейчас, как неловкий жених, — голос у профессора и выражение лица были грустными. — После этого бывает тяжело.

Студент не нашелся, что на это сказать. Неопределенно пожал плечами.

— Вы все семеро дошли живыми?

— Все.

— Пишете сейчас друг другу?

— Нет, как-то, знаете...

— Ну, конечно, знаю. Конечно. Это все, дорогой мой, очень русские штучки. А вы еще «Слово» не хотите читать. Да ведь это самая русская, самая изумительная русская песня. «Комони ржуть за Сулою; звонить слава въ Кыеве; трубы трубять въ Новеграде; стоять стязи въ Путивле!» А? — профессор поднял кверху палец, как бы вслушиваясь в последний растаявший звук чудной песни. — Давайте зачетку, — он проставил оценку, закрыл зачетку, вернул ее студенту. Сухо сказал: — До свидания.

Студент вышел из аудитории. Вытер вспотевший лоб. Некоторое время стоял, глядя в пустой коридор. Зачетку

держал в руке — боялся посмотреть в нее, боялся, что там стоит «хорошо» или, что еще тяжелее — «отлично». Ему было стыдно.

«Хоть бы «удовлетворительно», и то хватит», — думал он.

Оглянулся на дверь аудитории, быстро раскрыл зачетку... некоторое время тупо смотрел в нее. Потом еще раз оглянулся на дверь аудитории, тихо засмеялся и пошел.газанул

В зачетке стояло: «плохо».

На улице он вспомнил про книгу. Раскрыл, прочитал:

«Учись, солдат. Это тоже нелегкое дело. *Проф. Григорьев.*».

Студент оглянулся на окна института, и ему показалось, что в одном он увидел профессора.

...Профессор действительно стоял у окна. Смотрел на улицу и щелкал ногтями по стеклу. Думал.

СТЁПКИНА ЛЮБОВЬ

Весной, в апреле, Степан Емельянов влюбился. В целинщицу Эллочку. Он видел ее всего два раза. Один раз подвез из города до деревни — ничего. Сидели рядом и молчали. На ухабах полуторку подкидывало. Девушка прислонялась к Степану и всякий раз смущенно смотрела на него, точно хотела сказать: «Вы, конечно, понимаете, что не сама же я хочу этого». И отодвигалась на самый край сиденья. А Степан — ничего, даже не смотрел на девушку. Насвистывал себе «Амурские волны» и думал об аккумуляторе (у него аккумулятор сел).

Подъехали к деревне, девушка полезла в сумочку за деньгами.

Степан слегка зарумянился в скулах.

— Бросьте вы...

— Почему? — девушка вскинула на него зеленоватые, прозрачные глаза. — А что?

— Ничего, — Степан «кинул» скорость, газанул и уехал.

«Бывают же такие красивые!» — подумал он о девушке. И все. И забыл о ней.

Мотался неделями по нелегким алтайским дорогам, ночевал где придется, видел других девушек, и красивых и не очень красивых — всяких. Мало ли девушек на белом свете! Обо всех думать — голова распухнет.

Наступил апрель.

Как-то в субботу заехал Степан домой. Помылся в бане, надел вышитую рубаху, новенькие, мягкого хрома сапоги, выпил ковш крепкой медовухи и пошел в клуб смотреть постановку. Должны были играть свои, деревенские артисты. Степан очень любил, когда играли свои. Интересно. Знаешь человека вот с таких лет, приходишь в клуб, глядь — тот же Гришка Новоселов, скажем, бегает по сцене с бородой по пояс и орет дурным голосом: «Живьем тебя сгною, такой-сякой!..».

Степан всегда хохотал в таких случаях, и на него всегда шикали соседи и говорили, что он не понимает, что к чему.

Сел Степан поближе к сцене и стал смотреть. И видит: выходит на сцену та самая девушка, которую он подвез из города. Такая же красивая, только спокойная и какая-то очень важная: голова чуть откинута назад, русые косы по пояс, в красных сапожках. Ходит медленно, голову поворачивает медленно, а голос родной какой-то. Степан почему-то начал волноваться. Он узнал ее сразу. Только он не думал, что она такая красивая. То есть он знал, что она красивая, но не так.

Потом на сцену вышел один нахальный парень, Васька Семенов, колхозный счетовод. В шляпе, в очках, тоже очень важный. В другое время Степан тут обязательно бы захохотал, но сейчас ему было не до смеха. Он смотрел на девушку и ждал, что у них будет с этим Васькой. Он увидел, как заблестели глаза девушки, как вся она как-то съежилась, как будто испугалась чего. Степану стало жалко ее.

— Зачем ты пришел? — спросила она.

— Я не могу без тебя! — говорил этот дурак громко, на весь зал.

— Уходи, — говорит девушка, но как-то так, что слышится больше: «Не уходи».

— Я не уйду, — говорит Васька и подходит к ней ближе.

Степан вцепился руками в край скамьи. Он знал, что этот Васька так просто не уйдет. И не успел он глазом моргнуть, не успел подумать, чем все это кончится, как счетоводишка

ловко обнял девушку за плечи, чуть завалил на левую руку и поцеловал. Степан видел губы девушки после поцелуя — припухшие, чуточку влажные, приоткрытые. Они вздрагивали в стыдливой, счастливой улыбке. У Степана потемнело в глазах. Он встал и пошел из клуба.

На улице прислонился к столбу и долго не мог прийти в себя. «Как же так!..» — думал он.

Три дня ходил Степан сам не свой (машину он поставил на ремонт). Он узнал, что девушку зовут Элла, что она из города Воронежа, работает учетчицей в тракторной бригаде. И все. Хотел было поговорить с Васькой Семеновым, чтобы тот не особенно наигрывал в постановке, но вовремя одумался: это ж не по правде у них. Люди засмеют.

Как-то вечером Степан начистил до блеска свои хромовые сапоги и направился... к Эллочке. Дошел до ворот (она жила у стариков Куксиных), постоял, повернулся и пошел прочь. Побрел за деревню, к реке. Сел на сырую землю, обхватил руками колени, уронил на них голову и так просидел до утренней зари. Думал.

Он похудел за эти дни; в глазах устоялась серьезная, черная тоска. Ничего не ел почти, курил одну за одной папиросы и думал, думал...

— Чего это ты? — спросил его отец.

— Так... — Степан задавил сапогом окурок и снова полез за папиросами, а сам смотрел в сторону.

Эллочку он не видел ни разу за это время. В клуб больше не ходил.

На четвертый день Степан заявил отцу:

— Хочу жениться.

— Ну? Кого хочешь брать? — поинтересовался Егор Северьяныч, отец Степана.

— Эту... новенькую... учетчицу... — тихо ответил Степан, недовольно глядя мимо отца в окно.

Егор Северьяныч задумался.

— Ты с ней знакомый?

— Та-а... — Степан замялся. — Нет.

— Я сватать не пойду, — твердо заявил Егор.

— Почему?

— Не хочу позора на старости лет. Знаю я такое сватовство: придешь, а девка ни сном ни духом не ведает. Сперва

договорись с ней. Погуляй малость, как все люди делают, тогда пойду сватать. А то... Ты вечно, Степка, наобум Лазаря действуешь. Учил тебя, учил, все без толку.

Этот разговор слышал дед Северьян, отец Егора. Он лежал на печке хворый.

— Скажите, какой прынц выискался: сватать он не пойдет, — сердито сказал Северьян. — Ты забыл, Егор, как я за тебя невесту ходил провожать?

Егор Северьяныч недовольно нахмурился, закурил. Долго молчал. Чего говорить, сам он в молодости был такой же, как Степан: боялся на девку глаза поднять.

— Я могу, конечно, сходить, — заговорил он, — но только... я думаю, не пойдет она за тебя.

— Пойдет! — сказал дед Северьян. — За такого парня любая пойдет.

— Почему ты думаешь, что не пойдет? — спросил Степан, чувствуя, что холодеет изнутри.

— Городская ж она... черт их поймет, чего им надо. Скажет — отсталый.

— Сам ты отсталый, Егор, — опять встрял Северьян. — Сейчас не глядят на это. Сейчас девки умнее пошли. Я старый человек и то это понимаю.

В четверг с утра отец с сыном собирались на сватовство.

Степан опять надел вышитую рубаху; долго приглаживал перед зеркалом прямые, жесткие волосы.

Егор Северьяныч, болезненно сморщившись, ловил негнущимися, темными пальцами маленькую скользкую пуговицу на ширинке новых брюк, с великим трудом вгонял ее в тугую петельку.

— Сошьют же, оглоеды! — ругался он. — Не лезет, хоть ты что. Хоть матушку-репку пой.

Степан пригладил волосы, остановился посреди избы, соображая, что еще сделать над собой.

— Надень галстук, — посоветовал дед Северьян.

— На вышитую рубаху не идет, — пояснил Степан.

Собрались наконец.

Егор Северьяныч тронул огромной ладонью затылок, озадаченно посмотрел на отца.

— А поллитра-то брать с собой или нет? Они ведь теперь по-новому все живут, не поймешь ничего.

Дед Северьян подумал.

— Возьми в карман, — посоветовал он. — Понадобится — она при себе.

Пошли.

День был солнечный, звонкий. Текли ручьи. Небо отражалось в лужах; синие осколки его там и здесь весело сверкали на черной земле. Апрель вовсю бушевал на дорогах.

Шли молча. Старательно обходили лужи, чтобы не замарать сапоги.

У Куксиных огромный домина выстроен.

В первых двух комнатах никого не было. Егор Северьяныч приуныл: он думал, что сейчас разведет лясы со стариком Куксиным и в разговоре как-нибудь вставит: «А мы ведь к вам того, по делу...». Старик обязательно помог бы ему. Теперь же надо проходить прямо в горницу, где жила Элла.

Отец с сыном переглянулись и направились к горнице.

Егор казанком указательного пальца осторожно стукнул в дверь.

— Да! — ответили из горницы.

У Степана больно подпрыгнуло сердце.

Егор Северьяныч приоткрыл половинку двери, с трудом протиснулся внутрь. Степан — за ним. Стали у порога.

Прямо перед ними за столом сидел Васька Семенов, а рядом с ним, близко, — Эллочка.

Чай попивают. Васька без пиджака, в шелковой желтой рубахе, выбритый до легкого сияния. Сидит, как у себя дома, свободно, даже развалился немного. Смотрит на Емельяновых ласково и глупо.

Эллочка легко поднялась с места, подставила гостям стулья.

— Проходите, садитесь, пожалуйста.

Егор Северьяныч, глядя на Ваську, прошел и сел. Потом оглянулся на сына. У Степана во всю щеку полыхал горячий румянец. Он точно прирос к полу.

— Садитесь, что вы стоите! — весело крикнула Эллочка. — Вы что, его никогда не видели?

Степан сел, положил на колени фуражку.

Некоторое время молчали.

Эллочка, готовая рассмеяться, бросала взгляды то на Егора, то на Ваську. Васька тоже ничего не понимал.

— Слушаю, товарищи. А я помню вас, — повернувшись к Степану, весело сказала Элла. — Я однажды ехала с вами из города. Вы тогда очень сердитый были...

Степан мучительно улыбнулся.

А Васька счел необходимым пошутить:

— Левачков, значит, подбрасываем, Степан Егорыч? Нехорошо!..

Егор Северьяныч еще раз глянул на гладкое Васькино лицо, нагнул по-бычьи голову и сказал прямо:

— Мы, девка, сватать тебя пришли.

Эллочка от неожиданности приоткрыла рот.

— Как?..

— Ну как сватают! Сын вон у меня, — Егор кивнул в сторону Степана, — хочет, чтобы ты за него выходила. Если ты согласная, конечно.

Элла взглянула на Степана.

Тот сжал до отеков кулаки, положил на колени и внимательно их рассматривал. На лбу у него мелким бисером выступил пот. Он не вытирал его.

— То есть замуж?.. — спросила Элла и покраснела.

— Куда же еще, — вздохнул Степан. И посмотрел в глаза Ваське.

Васька хохотнул и пошевелился на стуле. И уставился на Эллу. Она стояла около стола, розовая от смущения, старательно снимала белыми пальчиками соринку с платья.

— Поздно хватился, Степа, — громко сказал Васька и опять пошевелился на стуле. — Опоздал.

Степан на этот раз не удостоил его взглядом, смотрел неотступно, требовательно и серьезно на девушку, ждал. Смущение его отчего-то прошло.

Эллочка вдруг резко подняла голову, глянула на Степана зеленовато-чистыми глазами. И стыд, и ласка, и упрек, и одобрение, и что-то еще невыразимо прекрасное, робкое, отчаянное было в ее взгляде. У Степана дрогнуло от радости сердце. Никто бы не смог объяснить, что такое родилось вдруг между ними и почему родилось. Это понимали только они двое. Да и то не понимали. Чувствовали.

И в этот-то момент Васька брякнул:

— Мы скоро поженимся, Степа...

И так это у него глупо вышло, что он даже сам подумал: не надо бы ему так говорить.

Егор Северьяныч встал было и пошел из горницы, но Элла как-то вся вдруг встрепенулась, даже немного излишне поспешно сказала:

— Куда вы? Сват называется! Я-то вам еще ничего не ответила.

Она быстро приходила в себя. Она не смотрела на Степана, но Степан... Степану неважно было, смотрит она на него или нет. Степан весь горел от стыда и радости. Никакие силы не подняли бы его сейчас с места и не заставили уйти.

Егор Северьяныч остановился, Васька сидел красный и растерянный. Он с ужасом тоже начал что-то понимать.

— Садитесь. И давайте чай пить, что ли.

Эллочка сначала растерялась, потом заговорила уже уверенно и с какой-то другой теперь веселостью, чем вначале, — с решительной веселостью.

Все были в ожидании того, что сейчас непременно произойдет.

— Может, мне лучше уйти? — громко спросил Васька, и голос его дрогнул от обиды. Васька погибал, погибал прямо и просто. Он даже не пытался спастись.

— Я считаю, что да, — тоже громко сказал Степан.

Он немного поторопился. Не надо бы так тоже. Но уж тут ничего не сделаешь. Их было двое, и один должен был уйти. Оба действовали грубо. И кого-то одного Эллочка должна была извинить.

Васька на этот раз тоже не удостоил Степана взглядом: он смотрел на Эллу. Элла опять покраснела и глянула на Егора Северьяныча, который все еще стоял посреди горницы и переводил глаза то на одного, то на другого, то на третью. Он совсем не мог сообразить, что тут происходит. Эллочка невесело рассмеялась:

— Вот положение-то, господи! Хоть бы помог кто-нибудь. Ну почему вы стоите-то! Садитесь же!

Она даже ногой слегка пристукнула. Ей было нелегко.

Васька поднялся со стула. Стал надевать пиджак. Он его как-то очень медленно надевал. Все ждали, когда он наконец наденет его.

— Эх, Степа, жалко мне тебя, — сказал Васька.

И пошел из горницы. На пороге еще оглянулся, зло и весело посмотрел на всех и вышел, крепко хлопнув дверью.

Некоторое время в горнице было тихо.

Степан осторожно вытер со лба пот. И улыбнулся.

— Нет, вы как хотите, а я сейчас выпью, — сказал Егор Северьяныч, подходя к столу. — Я даже ослаб от такого сватовства.

ДЕМАГОГИ

Солнце клонилось к закату. На воду набегал ветерок, пригибал на берегу высокую траву, шебаршил в кустарнике. Камнем, грудью вперед, падали на воду чайки, потом взмывали вверх и тоскливо кричали.

Внизу, под обрывистым берегом, плескалась в вымоинах вода. Плескалась с таким звуком, точно кто ладошками пришлепывал по голому телу.

Вдоль берега шли двое: старик и малый лет десяти — Петька. Петька до того белобрыс, что кажется: подуй ветер сильнее, и волосы его облетят, как одуванчик.

Старик нес на плече свернутый сухой невод.

Петька шел впереди, засунув руки в карманы штанов, посматривал на небо. Время от времени сплевывал через зубы.

Разговаривали.

— ...Я ему на это отвечаю, слышь: «Милый, говорю, человек! Ты мне в сыны три раза годишься, а ты со мной так разговариваешь», — старик подкинул на плече невод. Он страдал глухотой, поэтому говорил громко, почти кричал. — «Ты, конечно, начальство!.. Но для меня ты — ноль без палочки. Я охраняю государственное учреждение, и ты на меня не ори, пожалуйста!».

— А он что? — спросил Петька.

— А?

— А он что на это?

— Он? «А я, — говорит, — на тебя вовсе не ору». Тогда я ему на это: «Как же ты на меня не орешь, ежели я все слышу! Когда на меня не орут, я не слышу».

— Ха-ха-ха! — закатился Петька.

Старик прибавил шагу, догнал Петьку и спросил, тоже улыбаясь:

— Чего ты?

— Хитрый ты, деда!

— Я-то? Меня если кто обманет, тот дня не проживет. Я сам кого хошь обману. И я тебе так скажу...

Под обрывом, в затоне, сплавилась большая рыбина; по воде пошли круги.

Петька замер.

— Видал?

Старик тоже остановился.

— Здесь рыбешка имеется, — негромко сказал он. — Только коряг много.

Петька, как зачарованный, смотрел на воду.

— Вот такая, однако! — он показал руками около метра.

— Талмешка... Тут переметом. Или лучить. Неводом тут нельзя — порвешь только, — старик тоже смотрел на воду. Он был длинный, сухой, с благообразным, очень опрятным свежим лицом. Глаза молодые и умные.

Еще сплавилась одна рыбина, опять по воде пошли круги.

— Ох ты! — тихонько воскликнул Петька и глотнул слюну. — Может, попробуем?

— А? Нет, порвем невод, и все. Я тебе точно говорю. Я эти места знаю. Здесь одна девка утонула. Раньше еще, когда я молодой был.

Петька посмотрел на старика.

— Как утонула?

— Как... Нырнула и запуталась волосами в коряге. У нее косы сильно большие были.

Помолчали.

— Деда, а почему так бывает: когда человек утонет, он лежит на дне, а когда пройдет время, он выплывает наверх. Почему это?

— Его раздувает, — пояснил дед.

— Ее нашли потом?

— Кого?

— Девку ту.

— Конечно. Сразу нашли... Вся деревня, помню, смотреть сбежалась, — дед помолчал и добавил задумчиво: — Она красивая была... Марья Малюгина.

Петька глядел на воду, в которой притаилась страшная коряга.

— Она здесь лежала? — Петька показал глазами на берег.

— Где-то здесь. Я уже забыл теперь. Давно это было.

Петька еще некоторое время смотрел на воду.

— Жалко девку, — вздохнул он. — Ныряет в воду, и косы зачем-то распускать. Вот дуреха!

— А?

— Я про Марью.

— Хорошая девка была. Шибко уж красивая.

Шумела река, шелестел в чаще ветер. Вода у берегов порозовела — солнце садилось за далекие горы. Посвежело. Ветер стал дергать по воде сильнее. Река наершилась рябью.

— Пошли, Петра. Ветер подымается. К ночи большой будет: с севера повернул.

Петька, не вынимая рук из карманов, двинулся дальше.

— Северный ветер холодный. Правильно?

— Верно.

— Потому что там Северный Ледовитый океан.

Дед промолчал на это замечание внука.

— Деда, а знаешь, почему наша речка летом разливается? Другие весной — нормально, а наша в середине лета. Знаешь?

— Почему?

— Потому что она берет начало в горах. А снег, сам понимаешь, в горах только летом тает.

— Это вам учительша все рассказывает?

— Ага.

— Она верно понимает. Какие теперь люди пошли! Ей небось и тридцати нету?

— Это я не знаю.

— А?

— Не знаю, говорю!

— Ей, наверно, двадцать так. А она уж столько понимает. Почти с мое.

— Она умная, — Петька поднял камень и кинул в воду. — А я на руках ходить умею! Ты не видел еще?

— Ну-ка...

Петька разбежался, стал на руки и... брякнулся на задницу.

— Погоди! Еще раз!!!

Дед засмеялся.

— Ловко ты!

— Да ты погоди! Глянь!.. — Петька еще раз разбежался и снова упал.

— Ну, будет, будет! — сказал дед. — Я верю, что ты умеешь.

— Надо малость потренироваться. Я же вчера только научился, — Петька отряхнул штаны. — Ну ладно, завтра покажу.

...Подошли к месту, где река делает крутой поворот. Вода здесь несется с бешеной скоростью, кипит в камнях, пенится. Здесь водятся хариусы.

Разделись. Дед развернул невод и первым полез в воду.

Вода была студеная. Дед посинел и покрылся гусиной кожей.

— Ух-ха! — воскликнул он и сел с маху в воду, чтобы сразу притерпеться к холоду.

Петька засмеялся.

— Дерет?

Дед фыркал, крутил головой, одной рукой выжимал бороду, а другой удерживал невод.

— Пошли!

Поставили палки вертикально и побежали, обгоняя течение. Невод выгнулся дугой впереди них и тянул за собой. Петька скользил по камням. Один раз ухнул в ямку, выскочил, закрутил головой и воскликнул, как дед:

— Ух-ха!

— Подбавь! — кричал дед.

Вода доставала ему до бороды; он подпрыгивал и плевался.

Вдруг невод сильно повлекло течением от берега вглубь. Петька прикусил губу, изо всех сил удерживая его.

— Держи, Петра! — кричал дед. Вода заливала ему рот.

Петька напрягал последние силы.

Голова деда исчезла. Невод сильно рвануло. Петька упал, но палку из рук не выпустил. Его нанесло на большой камень, крепко ударило. Петька хотел ухватиться одной рукой за этот камень, но рука соскользнула с его ослизлого бока. Петьку понесло дальше.

Он вытянул вперед ноги и тотчас ударился еще об один камень. На этот раз ему удалось упереться ногами в камень и сдержать невод.

Огляделся — деда не было видно. Только на короткое мгновение голова его показалась над водой. Он успел крикнуть:

— Ноги! Дер... — и опять исчез под водой.

Невод сильно дергало, Петька понял: ноги деда запутались в неводе. Петька согнулся пополам, закусил до крови губу и медленно стал выходить на берег. Упругие волны били в грудь, руки онемели от напряжения. Петька сморщился от боли и страха, но продолжал медленно, шаг за шагом, то и дело срываясь с камней, идти к берегу и тащить невод, на другом конце которого барахтался спутанный по ногам дед.

...Дед был уже без сознания, когда Петька выволок его на берег.

— Деда! А деда!.. — звал Петька и плакал. Потом принялся делать ему искусственное дыхание.

Деда стало рвать водой. Он корчился и слабо стонал.

— Ты живой, деда? — обрадовался Петька.

— А?

Петька погладил деда по лицу.

— Напужался я до смерти, деда.

Дед закрутил головой.

— Звон стоит в голове. Чего ты сказал?

— Ничего.

— Ох-хох, Петра... Я уж думал, каюк мне.

— Напужался?

— А?

— Здорово трухнул?

— Хрен там! Я и напужаться-то не успел.

Петька засмеялся.

— А я-то гляжу, была голова — и нету.

— Нету... Бодался бы я там сейчас с налимами. Ну история. Понос теперь прохватит, это уж точно.

— И напужался ж я, деда! А главное, позвать некого.

— А?

— Ничего, — Петька смотрел на деда и не мог сдержать смех — до того был смешным и растерянным дед.

Дед тоже засмеялся и зябко поежился.

— Замерз? Сейчас костерчик разведем!

Петька принес одежду. Оделись. Затем набрал сухого валежника, поджег. И сразу ночь окружила их со всех сторон высокими черными стенами.

Громко трещал сухой тальник, далеко отскакивали красные угольки. Ветер раздувал пламя костра, и огненные космы его трепались во все стороны.

Сидели, скрестив по-татарски ноги, и глядели на огонь.

— ...А как, значит, повез нас отец сюда, — рассказывал дед, — так я, слышь? — залез на крышу своей избы и горько плакал. Я тогда с тебя был, а может, меньше. Шибко уж неохота было из дома уезжать. Там у нас тоже речка была, она мне потом все снилась.

— Как называется?

— Ока.

— А потом?

— А потом — ничего. Привык. Тут, конечно, лучше. Тут же земли-то какие. Не сравнить с той. Тут земля жирная.

Петька засмеялся.

— Разве земля бывает жирная?

— А как же?

— Земля бывает черноземная и глинистая, — снисходительно пояснил Петька.

— Так это я знаю! Черноземная... Чернозём черноземом, а жирная тоже бывает.

— Что она, с маслом, что ли?

— Пошел ты! — обиделся дед. — Я ее всю жизнь вот этими руками пахал, а он мне будет доказывать. Иная земля, если ты хочешь знать, такая, что весной ты посеял в нее, а осенью получаешь натуральный шиш. А из другой, матушки, стебель в оглоблю прет, потому что она жирная.

— Ты «полоску» не знаешь?

— Какую полоску?

Петька начал читать стихотворение:

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели.
Только не сжата полоска одна, —
Грустную думу...

— Забыл, как дальше.

— Песня? — спросил дед.

— Стихотворение.

— А?

— Не песня, а стихотворение.

— Это все одно: складно, значит, петь можно.

— Здрассте! — воскликнул Петька. — Стихотворение — это особо, а песня — тоже особо.

— Ох! Ох! Поехал! — дед подбросил хворосту в костер. — С тобой ведь говорить-то — надо сперва полбарана умять.

Некоторое время молчали.

— Деда, а как это песни сочиняют? — спросил Петька.

— Песни складывают, а не сочиняют, — пояснил дед. — Это когда у человека большое горе, он складывает песню, чтобы малость полегче стало. «Эх ты, доля, эх ты, доля», например.

— А «Эй, вратарь, готовься к бою»?

— Подожди... я сейчас... — дед поднялся и побежал в кусты. — Какой вратарь? — спросил он.

— Ну, песня такая.

— А кто такой вратарь?

— Ну, на воротах стоит!..

— Не знаю. Это, наверно, шутейная песня. Таких тоже много. Я не люблю такие. Я люблю серьезные.

— Спой какую-нибудь!

Дед вернулся к костру.

— Чего ты говоришь?

— Спой песню!

— Песню? Можно. Старинную только. Я нонешних не знаю.

Но тут из темноты к костру вышла женщина, мать Петьки.

— Ну, что мне прикажете с вами делать?! — воскликнула она. — Я там с ума схожу, а они костры разводят. Марш домой! Сколько раз, папаша, я просила не задерживаться на реке до ночи, Боюсь я, ну как вы не понимаете?

Дед с Петькой молча поднялись и стали сворачивать невод. Мать стояла у костра и наблюдала за ними.

—А где же рыба-то? — спросила она.

— Чего? — не расслышал дед.

— Спрашивает: где рыба? — громко сказал Петька.

— Рыба-то? — дед посмотрел на Петьку — Рыба в воде. Где же ей еще быть.

Мать засмеялась.

— Эх вы, демагоги, — сказала она. — Задержитесь у меня еще раз до ночи... Пожалуюсь отцу, так и знайте. Он с вами иначе поговорит.

Дед ничего не сказал на это. Взвалил на плечо тяжелый невод и пошагал по тропинке первым, мать — за ним. Петька затоптал костер и догнал их.

Шли молча.

Шумела река. В тополях гудел ветер.

ЛЁНЬКА

Лёнька был человек мечтательный. Любил уединение.

Часто, окончив работу, уходил за город, в поле. Подолгу неподвижно стоял — смотрел на горизонт, и у него болела душа: он любил чистое поле, любил смотреть на горизонт, а в городе не было горизонта.

Однажды направлялся он в поле и остановился около товарной станции, где рабочие разгружали вагоны с лесом.

Тихо догорал жаркий июльский день. В теплом воздухе настоялся крепкий запах смолья, шлака и пыли. Вокруг задумчиво и спокойно.

Лёньке вспомнилась родная далекая деревня — там вечерами пахнет полынью и дымом. Он вздохнул.

Недалеко от Лёньки, под откосом, сидела на бревне белокурая девушка с раскрытой книжкой на коленях. Она тоже смотрела на рабочих.

Наблюдать за ними было очень интересно. На платформе орудуют ломами двое крепких парней — спускают бревна по слегам; трое внизу под откосом принимают их и закатывают в штабеля.

— И-их, р-раз! И-ищ-що... оп! — раздается в вечернем воздухе, и слышится торопливо шелестящий шорох сосновой коры и глухой стук дерева по земле. Громадные бревна, устремляясь вниз, прыгают с удивительной, грозной легкостью.

Вдруг одно суковатое бревно скользнуло концом по слегам, развернулось и запрыгало с откоса прямо на девушку. В тишине, наступившей сразу, несколько мгновений лишь слышно было, как бежит по шлаку бревно. С колен девуш-

ки упала книжка, а сама она... сидит. Что-то противное, теплое захлестнуло Лёньке горло... Он увидел недалеко от себя лом. Не помня себя, подскочил к нему, схватил, в два прыжка пересек путь бревну и всадил лом в землю. Уперся ногами в сыпучий шлак, а руками крепко сжал верхний конец лома.

Бревно ударилось о лом. Лёньку отшвырнуло метра на три, он упал. Но и бревно остановилось.

Лом попался граненый — у Лёньки на ладони, между большим и указательным пальцами, лопнула кожа.

К нему подбежали. Первой подбежала девушка.

Лёнька сидел на земле, нелепо выставив раненую руку, и смотрел на девушку. То ли от радости, то ли от пережитого страха — должно быть, от того и от другого — хотелось заплакать.

Девушка разорвала косынку и стала заматывать раненую ладонь, осторожно касаясь ее мягкими теплыми пальцами.

— Какой же вы молодец! Милый... — говорила она и смотрела на Лёньку ласково, точно гладила по лицу ладошкой. Удивительные у нее глаза — большие, темные, до того темные, что даже блестят.

Лёньке сделалось стыдно. Он поднялся. И не знал, что теперь делать.

Рабочие похвалили его за смекалку и стали расходиться.

— Йодом руку-то надо, — посоветовал один.

Девушка взяла Лёньку за локоть.

— Пойдемте к нам.

Лёнька, не раздумывая, пошел.

Шли рядом. Девушка что-то говорила. Лёнька не понимал что. Он не смотрел на нее.

Дома Тамара (так звали девушку) стала громко рассказывать, как все случилось.

Ее мать, очень толстая, еще молодая женщина с красивыми губами и родинкой на левом виске, равнодушно разглядывала Лёньку и устало улыбалась. И говорила:

— Молодец, молодец!

Она как-то неприятно произносила это «молодец» — негромко, в нос, растягивая «е».

У Лёньки отнялся язык (у него очень часто отнимался язык), и он ничего путного за весь вечер не сказал. Он молчал, глупо улыбался и никак не мог посмотреть в глаза ни

матери, ни дочери. И все время старался устроить куда-нибудь свои большие руки. И еще старался не очень опускать голову — чтобы взгляд не получался исподлобья. Он имел привычку опускать голову

Сели пить чай с малиновым вареньем,

Мать стала рассказывать дочери, какие она видела сегодня в магазине джемперы — красные, с голубой полоской. А на груди — белый рисунок.

Тамара слушала и маленькими глотками пила чай из цветастой чашки. Она раскраснелась и была очень красивой в эту минуту.

— А вы откуда сами? — спросила Лёньку мать.

— Из-под Кемерова.

— О-о, — сказала мать и устало улыбнулась.

Тамара посмотрела на Лёньку и сказала:

— Вы похожи на сибиряка.

Лёнька ни с того ни с сего начал путанно и длинно рассказывать про свое село. Он видел, что никому неинтересно, но никак не мог замолчать — стыдно было признаться, что им неинтересно слушать.

— А где вы работаете? — перебила его мать.

— На авторемонтном, слесарем, — Лёнька помолчал и еще добавил: — И учусь в техникуме, вечерами...

— О-о, — произнесла мать.

Тамара опять посмотрела на Лёньку.

— А вот наша Тамарочка никак в институт не может устроиться, — сказала мать, закинув за голову толстые белые руки. Вынула из волос приколку, прихватила ее губами, поправила волосы. — Выдумали какие-то два года!.. Очень неразумное постановление, — взяла изо рта приколку, воткнула в волосы и посмотрела на Лёньку. — Как вы считаете?

Лёнька пожал плечами.

— Не думал об этом.

— Сколько же вы получаете слесарем? — поинтересовалась мать.

— Когда как... Сто, сто двадцать. Бывает восемьдесят...

— Трудно учиться и работать?

Лёнька опять пожал плечами.

— Ничего.

Мать помолчала. Потом зевнула, прикрыв ладошкой рот.

— Надо все-таки написать во Владимир, — обратилась она к дочери. — Отец он тебе или нет!.. Пусть хоть в педагогический устроит. А то опять год потеряем. Завтра же сядь и напиши.

Тамара ничего не ответила.

— Пейте чай-то. Вот печенье берите... — мать пододвинула Лёньке вазочку с печеньем, опять зевнула и поднялась. — Пойду спать. До свиданья.

— До свиданья, — сказал Лёнька.

Мать ушла в другую комнату.

Лёнька нагнул голову и занялся печеньем — этого момента он ждал и боялся.

— Вы стеснительный, — сказала Тамара и ободряюще улыбнулась.

Лёнька поднял голову, серьезно посмотрел ей в глаза.

— Это пройдет, — сказал он и покраснел. — Пойдемте на улицу.

Тамара кивнула и непонятно засмеялась.

Вышли на улицу.

Лёнька незаметно вздохнул: на улице было легче.

Шли куда-то вдоль высокого забора, через который тяжело свисали ветки кленов. Потом где-то сели — кажется, в сквере.

Было уже темно. И сыро. Пал туман.

Лёнька молчал. Он с отчаянием думал, что ей, наверное, неинтересно с ним.

— Дождь будет, — сказал он негромко.

— Ну и что? — Тамара тоже говорила тихо.

Она была совсем близко. Лёнька слышал, как она дышит.

— Неинтересно вам? — спросил он.

Вдруг — Лёнька даже не понял сперва, что она хочет сделать, — вдруг она придвинулась к нему вплотную, взяла его голову в свои мягкие, ласковые руки (она могла взять ее и унести совсем, ибо Лёнька моментально перестал что-либо соображать), наклонила и поцеловала в губы — крепко, больно, точно прижгла каленой железкой. Потом Лёнька услышал удаляющиеся шаги по асфальту и голос из темноты, негромко:

— Приходи.

Лёнька зажмурился и долго сидел так.

К себе в общежитие он шел спокойный. Медленно нес свое огромное счастье. Он все замечал вокруг: у забора под

тусклым светом электрических лампочек вспыхивали холодные огоньки битой посуды... Перебегали через улицу кошки...

Было душно. Собирался дождь.

Они ходили с Тамарой в поле, за город.

Лёнька сидел на теплой траве, смотрел на горизонт и рассказывал, какая у них в Сибири степь весной по вечерам, когда в небе догорает заря. А над землей такая тишина! Такая стоит тишина!.. Кажется, если громко хлопнуть в ладоши, небо вздрогнет и зазвенит. Еще рассказывал про своих земляков. Он любил их, помнил. Они хорошо поют. Они очень добрые.

— А почему ты здесь?

— Я уеду. Окончу техникум и уеду. Мы вместе уедем... — Лёнька краснел и отводил глаза в сторону.

Тамара гладила его прямые мягкие волосы и говорила:

— Ты хороший, — и улыбалась устало, как мать. Она была очень похожа на мать. — Ты мне нравишься, Леня.

Катились светлые, счастливые дни. Кажется, пять дней прошло.

Но однажды — это было в субботу — Лёнька пришел с работы, наутюжил брюки, надел белую рубашку и отправился к Тамаре: они договорились сходить в цирк. Лёнька держал правую руку в кармане и гладил пальцами билеты.

Только что перепал теплый летний дождик, и снова ярко светило солнышко. Город умылся. На улицах было мокро и весело.

Лёнька шагал по тротуару и негромко пел — без слов.

Вдруг он увидел Тамару. Она шла по другой стороне улицы под руку с каким-то парнем. Парень, склонившись к ней, что-то рассказывал. Она громко смеялась, закидывая назад маленькую красивую голову.

В груди у Лёньки похолодело. Он пересек улицу и пошел вслед за ними. Он долго шел так. Шел и смотрел им в спины. На молодом человеке красиво струился белый дорогой плащ. Парень был высокий.

Сердце у Лёньки так сильно колотилось, что он остановился и с минуту ждал, когда оно немного успокоится. Но оно никак не успокаивалось. Тогда Лёнька перешел на дру-

гую сторону улицы, обогнал Тамару и парня, снова пересек улицу и пошел им навстречу Он не понимал, зачем это делает. Во рту у него пересохло. Он шел и смотрел на Тамару. Шел медленно и слышал, как больно колотится сердце.

Тамара все смеялась. Потом увидела Лёньку. Лёнька заметил, как она замедлила шаг и прижалась к парню... и растерянно и быстро посмотрела на него, на парня. А тот рассказывал. Лёнька даже расслышал несколько слов: «Совершенно гениально получилось...».

— Здравствуй...те! — громко сказал Лёнька, останавливаясь перед ними. Правую руку он все еще держал в кармане.

— Здравствуйте, Леня, — ответила Тамара.

Лёнька глотнул пересохшим горлом, улыбнулся.

— А я к тебе шел...

— Я не могу, — сказала Тамара и, взглянув на Лёньку, непонятно, незнакомо прищурилась.

Лёнька сжал в кармане билеты. Он смотрел в глаза девушке. Глаза были совсем чужие.

— Что «не могу»? — спросил он.

— Господи! — негромко воскликнула Тамара, обращаясь к своему спутнику.

Лёнька нагнул голову и пошел прямо на них.

Молодой человек посторонился.

— Нет, погоди... что это за тип? — произнес он, когда Лёнька был уже далеко.

А Лёнька шел и вслух негромко повторял:

— Так, так, так...

Он ни о чем не думал. Ему было очень стыдно.

Две недели жил он невыносимой жизнью. Хотел забыть Тамару — и не мог. Вспоминал ее походку глаза, улыбку... Она снилась ночами: приходила к нему в общежитие, гладила его волосы и говорила: «Ты хороший. Ты мне очень нравишься, Лёня». Лёнька просыпался и до утра сидел около окна — слушал, как перекликаются далекие паровозы. Один раз стало так больно, что он закусил зубами угол подушки и заплакал — тихонько, чтобы не слышали товарищи по комнате.

Он бродил по городу в надежде встретить ее. Бродил каждый день — упорно и безнадежно. Но заставить себя пойти к ней не мог.

И как-то он увидел Тамару. Она шла по улице. Одна. Лёнька чуть не вскрикнул — так больно подпрыгнуло сердце. Он догнал ее.

— Здравствуй, Тамара.

Тамара вскинула голову

Лёнька взял ее за руку, улыбнулся. У него опять высохло в горле.

— Тамара... Не сердись на меня... Измучился я весь... — Лёньке хотелось зажмуриться от радости и страха.

Тамара не отняла руки. Смотрела на Лёньку. Глаза у нее были усталые и виноватые. Они ласково потемнели.

— А я и не сержусь. Что ж ты не приходил? — она засмеялась и отвела взгляд в сторону. Глаза у нее были до странного чужие и жалкие. — Ты обидчивый, оказывается.

Лёньку как будто кто в грудь толкнул. Он отпустил ее руку. Ему стало неловко, тяжело.

— Пойдем в кино? — предложил он.

— Пойдем.

В кино Лёнька опять держал руку Тамары и с удивлением думал: «Что же это такое?.. Как будто ее и нет рядом». Он опустил руку к себе на колено, облокотился на спинку переднего стула и стал смотреть на экран. Тамара взглянула на него и убрала руку с колена. Лёньке стало жалко девушку. Никогда этого не было — чтобы жалко было. Он снова взял ее руку. Тамара покорно отдала. Лёнька долго гладил теплые гладкие пальцы.

Фильм кончился.

— Интересная картина, — сказала Тамара.

— Да, — соврал Лёнька: он не запомнил ни одного кадра. Ему было мучительно жалко Тамару. Особенно когда включили свет и он опять увидел ее глаза — вопросительные, чем-то обеспокоенные, очень жалкие глаза.

Из кино шли молча.

Лёнька был доволен молчанием. Ему не хотелось говорить. Да и идти с Тамарой уже тоже не хотелось. Хотелось остаться одному.

— Ты чего такой скучный? — спросила Тамара.

— Так, — Лёнька высвободил руку и стал закуривать.

Неожиданно Тамара сильно толкнула его в бок и побежала.

— Догони!

Лёнька некоторое время слушал торопливый стук ее туфель, потом побежал тоже. Бежал и думал: «Это уж совсем... Для чего она так?».

Тамара остановилась. Улыбаясь, дышала глубоко и часто.

— Что? Не догнал!

Лёнька увидел ее глаза. Опустил голову.

— Тамара, — сказал он вниз, глухо, — я больше не приду к тебе... Тяжело почему-то. Не сердись.

Тамара долго молчала. Глядела мимо Лёньки на светлый край неба. Глаза у нее были сердитые.

— Ну и не надо, — сказала она наконец холодным голосом. И устало улыбнулась. — Подумаешь... — она посмотрела ему в глаза и нехорошо прищурилась. — Подумаешь, — повернулась и пошла прочь, сухо отщелкивая каблучками по асфальту.

Лёнька закурил и пошел в обратную сторону, в общежитие. В груди было пусто и холодно. Было горько. Было очень горько.

АРТИСТ ФЁДОР ГРАЙ

Сельский кузнец Федор Грай играл в драмкружке «простых» людей.

Когда он выходил на клубную сцену, он заметно бледнел и говорил так тихо, что даже первые ряды плохо слышали. От напряжения у него под рубашкой вспухали тугие бугры мышц. Прежде чем сказать реплику, он долго смотрел на партнера, и была в этом взгляде такая неподдельная вера в происходящее, что зрители смеялись, а иногда даже хлопали ему.

Руководитель драмкружка, суетливый малый, с конопатым неинтересным лицом, на репетициях кричал на Федора, произносил всякие ехидные слова — заставлял говорить

громче. Федор тяжело переносил этот крик, много думал над ролью... А когда выходил на сцену, все повторялось: Федор говорил негромко и смотрел на партнеров исподлобья. Режиссер за кулисами кусал губы и громко шептал:

— Верстак... Наковальня...

Когда Федор, отыграв свое, уходил со сцены, режиссер набрасывался на него и шипел, как разгневанный гусак:

— Где у тебя язык? Ну-ка, покажи язык!.. Ведь он же у тебя...

Федор слушал и смотрел в сторону. Он не любил этого вьюна, но считал, что понимает в искусстве меньше его... И терпел. Только один раз он вышел из себя.

— Где у тебя язык?.. — накинулся, по обыкновению, режиссер.

Федор взял его за грудь и так встряхнул, что у того глаза на лоб полезли.

— Больше не ори на меня, — негромко сказал Федор и отпустил режиссера.

Бледный руководитель не сразу обрел дар речи.

— Во-первых, я не ору, — сказал он, заикаясь. — Во-вторых, если не нравится здесь, можешь уходить. Тоже мне... герой-любовник.

— Еще вякни раз, — Федор смотрел на руководителя, как на партнера по сцене.

Тот не выдержал этого взгляда, пожал плечами и ушел. Больше он не кричал на Федора.

— А погромче, чуть погромче нельзя? — просил он на репетициях и смотрел на кузнеца с почтительным удивлением и интересом.

Федор старался говорить громче.

Отец Федора, Емельян Спиридоныч, один раз пришел в клуб посмотреть сына. Посмотрел и ушел, никому не сказав ни слова. А дома во время ужина ласково взглянул на сына и сказал:

— Хорошо играешь.

Федор слегка покраснел.

— Пьес хороших нету... Можно бы сыграть, — сказал он негромко.

Тяжело было произносить на сцене слова вроде: «сельхознаука», «незамедлительно», «в сущности говоря»... и т.п.

Но еще труднее, просто невыносимо трудно и тошно было говорить всякие «чаво», «куды», «евон», «ейный»... А режиссер требовал, чтобы говорил так, когда речь шла о «простых» людях.

— Ты же простой парень! — взволнованно объяснял он. — А как говорят простые люди?

Еще задолго до того, когда нужно было произносить какое-нибудь «теперича», Федор, на беду свою, чувствовал его впереди, всячески готовился не промямлить, не «съесть» его, но когда подходило время произносить это «теперича», он просто шептал его себе под нос и краснел. Было ужасно стыдно.

— Стоп! — взвизгивал режиссер. — Я не слышал, что было сказано. Нести же надо слово! Еще раз. Активнее!

— Я не могу, — говорил Федор.

— Что не могу?

— Какое-то дурацкое слово... Кто так говорит?

— Да во-от же! Боже ты мой!.. — режиссер вскакивал и совал ему под нос пьесу. — Видишь? Как тут говорят? Наверно, умнее тебя писал человек. «Так не говорят»... Это же художественный образ! Актер!..

Федор переживал неудачи как личное горе: мрачнел, замыкался, днем с ожесточением работал в кузнице, а вечером шел в клуб на репетицию.

...Готовились к межрайонному смотру художественной самодеятельности.

Режиссер крутился волчком, метался по сцене, показывал, как надо играть тот или иной «художественный образ».

— Да не так же!.. Боже ты мой! — кричал он, подлетая к Федору. — Не верю! Вот смотри, — он надвигал на глаза кепку, засовывал руки в карманы и входил развязной походкой в «кабинет председателя колхоза». Лицо у него делалось на редкость тупое.

— «Нам, то есть молодежи нашего села, Иван Петрович, необходимо нужен клуб... Чаво?»

Все вокруг смеялись и смотрели на режиссера с восхищением. Выдает!

А Федора охватывали глухая злоба и отчаяние. То, что делал режиссер, было, конечно, смешно, но совсем неверно, Федор не умел только этого сказать.

А режиссер, очень довольный произведенным эффектом, но всячески скрывая это, говорил деловым тоном:

— Вот так примерно, старик. Можешь делать по-своему. Копировать меня не надо. Но мне важен общий рисунок. Понимаешь?

Режиссер хотел на этом смотре широко доказать, на что он способен. В своем районе его считали очень талантливым.

Федору же за все его режиссерские дешевые выходки хотелось дать ему в лоб, вообще выкинуть его отсюда. Он играл все равно по-своему. Раза два он перехватил взгляд режиссера, когда тот смотрел на других участников, обращая их внимание на игру Федора: он с наигранным страданием закатывал глаза и разводил руками, как бы желая сказать: «Ну, тут даже я бессилен».

Федор скрипел зубами, и терпел, и говорил «чаво?», но никто не смеялся.

В этой пьесе по ходу действия Федор должен был приходить к председателю колхоза, махровому бюрократу и волокитчику, и требовать, чтобы тот начал строительство клуба в деревне. Пьесу написал местный автор и, используя свое «знание жизни», сверх всякой меры нашпиговал ее «народной речью»: «чаво», «туды», «сюды» так и сыпались из уст действующих лиц. Роль Федора сводилась, в сущности, к положению жалкого просителя, который говорил бесцветным, вялым языком и уходил ни с чем. Федор презирал человека, которого играл.

Наступил страшный день смотра.

В клубе было битком набито. В переднем ряду сидела мандатная комиссия.

Режиссер в репетиционной комнате умолял актеров:

— Голубчики, только не волнуйтесь! Все будет хорошо... Вот увидите: все будет отлично.

Федор сидел в сторонке, в углу, курил.

Перед самым началом режиссер подлетел к нему.

— Забудем все наши споры... Умоляю: погромче. Больше ничего не требуется...

— Пошел ты!.. — холодно вскипел Федор. Он уже не мог больше выносить этой бессовестной пустоты и фальши в человеке. Она бесила его.

Режиссер испуганно посмотрел на него и отбежал к другим.

— ...Я уже не могу... — услышал Федор его слова.

Всякий раз, выходя на сцену, Федор чувствовал себя очень плохо: как будто проваливался в большую гулкую яму. Он слушал стук собственного сердца. В груди становилось горячо и больно.

И на этот раз, ожидая за дверью сигнала «пошел», Федор почувствовал, как в груди начинает горячо подмывать.

В самый последний момент он увидел взволнованное лицо режиссера. Тот беззвучно показывал губами: «громче». Это решило все. Федор как-то странно вдруг успокоился, смело и просто ступил на залитую светом сцену.

Перед ним сидел лысый бюрократ-председатель. Первые слова Федора по пьесе были: «Здравствуйте, Иван Петрович. А я все насчет клуба, ххе... Поймите, Иван Петрович, молодежь нашего села...». На что Иван Петрович, бросая телефонную трубку кричал: «Да не до клуба мне сейчас! Посевная срывается!».

Федор прошел к столу председателя, сел на стул.

— Когда клуб будет? — глухо спросил он.

Суфлер в своей будке громко зашептал:

— «Здравствуйте, Иван Петрович! Здравствуйте, Иван Петрович! А я все насчет...»

Федор ухом не повел.

— Когда клуб будет, я спрашиваю? — повторил он свой вопрос, прямо глядя в глаза партнеру; тот растерялся.

— Когда будет, тогда и будет, — буркнул он. — Не до клуба сейчас.

— Как это не до клуба?

— Как, как!.. Так. Чего ты?.. Явился тут — царь Горох! — партнера тоже уже понесло напропалую. — Невелика птица — без клуба поживешь.

Федор положил тяжелую руку на председательские бумажки.

— Будет клуб или нет?!

— Не ори! Я тоже орать умею.

— «Наше комсомольское собрание постановило... Наше комсомольское собрание постановило...» — с отчаянием повторял суфлер.

— Вот что... — Федор встал. — Если вы думаете, что мы по старинке жить будем, то вы сильно ошибаетесь! Не выйдет! — голос Федора зазвучал крепко и чисто. — Зарубите это себе на носу, председатель. Сами можете киснуть на печке с бабой, а нам нужен клуб. Мы его заработали. Нам библиотека тоже нужна! Моду взяли бумажками отбояриваться... Я их видеть не хочу, эти бумажки! И дураком жить тоже не хочу!

Суфлер молчал и с интересом наблюдал за разворачивающейся сценой.

Режиссер корчился за кулисами.

— Чего ты кричишь тут? — пытался остановить председатель Федора, но остановить его было невозможно; он незаметно для себя перешел на «ты» с председателем.

— Сидишь тут, как... ворона, глазами хлопаешь. Давно бы уже все было, если бы не такие вот... Сундук старорежимный! Пуп земли... Ты ноль без палочки — один-то, вот кто. А ломаешься, как дешевый пряник. Душу из тебя вытрясу, если клуб не построишь! — Федор ходил по кабинету — сильный, собранный, резкий. Глаза его сверкали гневом. Он был прекрасен.

В зале стояла тишина.

— Запомни мое слово: не начнешь строить клуб, поеду в район, в край... к черту на рога, но я тебя допеку. Ты у меня худой будешь.

— Выйди отсюда моментально! — взорвался председатель.

— Будет клуб или нет?

Председатель мучительно соображал, как быть. Он понимал, что Федор не выйдет отсюда, пока не добьется своего.

— Я подумаю.

— Завтра подумаешь. Будет клуб?

— Ладно.

— Что ладно?

— Будет вам клуб. Что ты делаешь вообще-то?.. — председатель с тоской огляделся — искал режиссера, хотел что-нибудь понять во всей этой тяжелой истории.

В зале засмеялись.

— Вот это другой разговор. Так всегда и отвечай, — Федор встал и пошел со сцены. — До свиданья. Спасибо за клуб!

В зале дружно захлопали.

Федор, ни на кого не глядя, прошел в актерскую комнату и стал переодеваться.

— Что ты натворил? — печально спросил его режиссер.

— Что? Не по-твоему? Ничего... Переживешь. Выйди отсюда — я штаны переодевать буду. Я стесняюсь тебя.

Федор переоделся и вышел из клуба, крепко хлопнув на прощанье дверью. Он решил порвать с искусством.

Через три дня сообщили результаты смотра: первое место среди участников художественной самодеятельности двадцати районов края завоевал кузнец Федор Грай.

— Кхм... Может, еще какой Федор Грай есть? — усомнился отец Федора.

— Нет. Я один Федор Грай, — тихо сказал Федор и побагровел. — А может, еще есть... Не знаю.

ВОСКРЕСНАЯ ТОСКА

Моя кровать — в углу, его — напротив. Между нами — стол, на столе — рукопись, толстая и глупая. Моя рукопись. Роман. Только что перечитал последнюю главу, и стало грустно: такая тягомотина, что уши вянут.

Теперь лежу и думаю: на каком основании вообще человек садится писать? Я, например. Меня же никто не просит.

Протягиваю руку к столу, вынимаю из пачки «беломорину», прикуриваю. Кто-то хорошо придумал — курить.

...Да, так на каком основании человек бросает все другие дела и садится писать? Почему хочется писать? Почему так сильно — до боли и беспокойства — хочется писать? Вспомнился мой друг Ванька Ермолаев, слесарь. Дожил человек до тридцати лет — не писал. Потом влюбился (судя по всему, крепко) и стал писать стихи.

— Кинь спички, — попросил Серега.

Я положил коробок спичек на стол, на краешек. Серега недовольно крякнул и, не вставая, потянулся за коробком,

— Муки слова, что ли? — спросил он,

Я молчу, продолжаю думать. Итак: хочется писать. А что я такое знаю, чего не знают другие, и что дает мне право рассказывать? Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в ее груди глубоко шевелится огромное сердце. Многое понимаешь в такие минуты, и очень хочется жить. Я это знаю.

— Опять пепел на пол стряхиваешь! — строго заметил Серега.

Я свесился с кровати и сдул пепел под кровать. Серега сел на своего коня. Иногда мне кажется, что я его ненавижу. Во-первых, он очень длинный. Я этого не понимаю в людях. Во-вторых, он правдивый до тошноты и любит хлопать своими длинными ручищами меня по спине. В-третьих, — это главное — он упрям, как напильник. Он полагает, что он очень практичный человек и называет себя не иначе — реалистом. «Мы, реалисты...» — начинает он всегда и смотрит при этом сверху снисходительно и глупо, и массивная нижняя челюсть его подается вперед. В такие минуты я знаю, что ненавижу его.

— Отчего такая тоска бывает, романтик? Не знаешь? — спрашивает Серега безразличным тоном (не очень надеется, что я заговорю с ним). Сейчас он сядет на кровати, переломится пополам и будет тупо смотреть в пол. Надо поговорить с ним.

— Тоска? От глупости в основном. От недоразвитости, — очень хочется как-нибудь уязвить этот телеграфный столб. Нисколько он не практичный и не холодный, и не трезвый. И тоски у него нету. Я все про него знаю.

— Неправда, — сказал Серега, садясь на койке и складываясь пополам. — Я заметил, глупые люди никогда не тоскуют.

— А тебе что, очень тоскливо?

— То есть... на белый свет смотреть тошно.

— Значит, ты — умница.

Пауза.

— Двадцать копеек с меня, — говорит Серега и смотрит на меня серыми правдивыми глазами, в которых ну ни намека на какую-то холодную, расчетливую мудрость. Глаза умные, в них постоянно светится мягкий ровный свет. Может, и правда, что ему сейчас тоскливо, но зато уж и лелеет он ее и киснет как-то подчеркнуто. Смотреть на него сейчас неприятно. Он, наверное, напрашивается на спор, и, если в спор этот ввязаться, он будет до посинения доказывать, что искусство, стихи, особенно балет — все это никому не нужно. Кино — ничего, кино можно оставить, а всю остальную «бодягу» надо запретить, ибо это сбивает людей с толку, «расхолаживает» их. Коммунизм строят! Рассчитывают вот этим местом (постукивание пальцем по лбу) и строят! Мне не хочется сейчас говорить Сереге, что он придумал свою тоску; не хочется спорить с ним. Хочется думать про степь и про свой роман.

— Ох, и тоска же! — опять заныл Серега.

— Перестань, слушай.

— Что?

— Ничего. Противно.

— В твоем романе люди не тоскуют? Нет?

«Не буду спорить. Господи, дай терпени.».

— У тебя, наверно, положительные герои стихами говорят. А по утрам все делают физзарядку. Делают зарядку?

«Не буду ругаться. Не буду».

— Песни, наверно, поют о спутниках, — продолжает Серега, глядя на меня злыми веселыми глазами. — Я бы за эти песенки, между прочим, четвертовал. Моду взяли! «Назначаю я свидание на Луне-е!..» — передразнил он кого-то. — Уже свиданье назначил! О! Да ты попади туда! Кто-то голову ломает — рассчитывает, а он уже там. Кретины!

Я молчу. Между прочим, насчет песенок — это он верно, пожалуй.

Серега тоже замолчал. Малость, наверно, легче стало.

Некоторое время у нас в комнате очень тихо. Я снова настраиваюсь на степь и на зори.

— Дай роман-то свой почитать, — говорит Серега.

— Пошел ты...

— Боишься критики?

— Только не твоей.

— Я ж читатель.

— Ты читатель?! Ты робот, а не читатель. Ты хоть одну художественную книгу дочитал до конца?

— Это ты зря, — обиделся Серега. — Надо писать умнее, тогда и читать будут. А то у вас положительные герои такие уж хорошие, что спиться можно.

— Почему?

— Потому что, никогда таким хорошим не будешь все равно, — Серега поднялся и пошел к выходу. — Пройтись, что ль, малость.

Когда он вышел, я поднялся с койки и подсел к рукописи. Один положительный герой делал-таки у меня по утрам зарядку. Перечитал это место, и опять стало грустно. Плохо я пишу.

Не только с физзарядкой плохо — все плохо. Какие-то бесконечные «шалые ветерки», какие-то жестяные слова про закат, про шелест листьев, про медовый запах с полей... А вчера только пришло на ум красивейшее сравнение, и я его даже записал: «Писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре». Какие уж тут к черту патроны! Пуговицы какие-то, а не слова.

В комнату постучали.

— Да!

В дверь заглянула маленькая опрятная головка. Пара ясных глаз с припухшими со сна веками (еще только десять часов воскресного дня).

— Сережи... Здравствуйте! Сережи нету?

— Сережи нету. Он только что вышел куда-то.

— Извините, пожалуйста.

— Он придет скоро.

— Хорошо.

Сейчас у Сережи начнется праздник. Тоску его липовую как ветром сдует. Он любит эту маленькую опрятную головку; любит тихо, упорно и преданно. И не говорит ей об этом. А она какая-то странная: не понимает этого. Сидят часами вместе, делают расчет какого-нибудь узла двигателя внутреннего сгорания. Сережу седьмой пот прошибает — волнуется, оглобля такая. Не смотрит на девушку— ее зовут Леча, — орет, стучит огромным кулаком по конспекту.

— Какой здесь кпд?!

Леночка испуганно вздрагивает.

— Не кричи, Сережа.

— Как же не кричать?! Как же не кричать, когда тут элементарных вещей не понимают!

— Сережа, не кричи.

Серега будет талантливый инженер. В минуты отчаяния я завидую ему. К сорока годам это будет сильный, толковый командир производства. У него будет хорошая жена, вот эта самая Леночка с опрятной головкой. Я подозреваю, что она давно все понимает и сама тоже любит Серегу. Ей, такой хорошенькой, такой милой и слабенькой, нельзя не любить Серегу. У них будет все в порядке. У меня же... Меня, кажется, эти «шалые низовые ветерки» в гроб загонят раньше времени. Я обязательно проморгаю что-то хорошее в жизни.

Вошел Серега.

— Прошелся малость.

— К тебе эта приходила. Просила, чтоб ты зашел к ней.

— Кто?

— Лена. Кто!

Серега побагровел от шеи до лба.

— Зачем зайти?

— Не знаю.

— Ладно трепаться, — он спокойно (спокойно!) прошел к койке, прилег.

Я тоже спокойно говорю:

— Как хочешь, — и склоняюсь к тетради. Меня душит злость. Все-таки нельзя быть таким безнадежным идиотом. Это уже не застенчивость, а болезнь.

— Дай закурить, — чуть охрипшим голосом просит Серега.

— Идиот!

Стало тихо.

— Вот так же тихо, наверно, стало, когда Иисус сказал своим ученикам: «Братцы, кто-то один из вас меня предал», — когда Сереге нечего говорить, он шутит. Как правило, невпопад и некстати. — Дай закурить все-таки.

— Дождешься ты, Серега: подвернется какой-нибудь вьюн с гитарой — только и видел свою Леночку. Взвоешь потом.

Серега сел, обхватил себя руками. Долго молчал, глядя в пол.

— Ты советуешь сходить к ней? — тихо спросил он.

— Конечно, Серега! — я прямо тронут его беспомощностью. — Конечно, сходить. На закури и иди.

Серега встал, закурил и стал ходить по комнате.

— Со стороны всегда легко советовать...

— Баба! Трус! Ты же пропадешь так, Серега.

— Ничего.

— Иди к ней.

— Сейчас пойду, чего ты привязался! Покурю — и пойду.

— Иди прямо с папироской. Женщинам нравится, когда при них курят. Я же знаю... Я писатель как-никак.

— Не говори со мной, как с дураком. Пусть в твоих романах курят при женщинах. Остряк!

— Иди к ней, дура! Ведь упустишь девку. Сегодня воскресенье... Ничего тут такого нет, если ты зашел к девушке. Зашел и зашел, и все.

— Значит, она не просила, чтобы я зашел?

— Просила.

Серега посмотрел на меня подозрительным тоскливым взглядом.

— Я узнаю зайду.

— Узнай.

Серега вышел.

Я стал смотреть в окно. Хороший парень Серега. И она тоже хорошая. Она, конечно, не талантливый инженер, но... в конце концов надо же кому-то и помогать талантливым инженерам. Оказалась бы она талантливой женщиной, развязала бы ему язык... Я представляю, как войдет сейчас к ним в комнату Серега. Поздоровается... и ляпнет что-нибудь вроде той шутки с Иисусом. Потом они выйдут на улицу и пойдут в сад. Если бы я описывал эту сцену, я бы, конечно, влепил сюда и «шалый ветерок», и шелест листьев. Ничего же этого нет! Есть, конечно, но не в этом дело. Просто идут по аллейке двое: парень и девушка. Парень на редкость длинный и нескладный. Он молчит. Она тоже молчит, потому что он молчит. А он все молчит. Молчит, как проклятый. Молчит, потому что у него отняли его логарифмы, кпд... Молчит, и все.

Потом девушка говорит:

— Пойдем на речку, Сережа.

— Мм, — значит, да.

Пришли к речке, остановились. И опять молчат. Речечка течет себе по песочечку, пташки разные чирикают... Теплынь. В рощице у воды настоялся крепкий тополиный дух. И стоят два счастливейших на земле человека и томятся. Ждут чего-то.

Потом девушка заглянула парню в глаза, в самое сердце, обняла за шею... прильнула...

— Дай же я поцелую тебя! Терпения никакого нет, жердь ты моя бессловесная.

Меня эта картина начинает волновать. Я хожу по комнате, засунув руки в карманы, радуюсь. Я вижу, как Серега от счастья ошалело вытаращил глаза, неумело, неловко прижал к себе худенького, теплого родного человека с опрятной головкой и держит — не верит, что это правда. Радостно за него, за дурака. Эх... пусть простит меня мой любимый роман с «шалыми ветерками», пусть он простит меня! Напишу рассказ про Серегу и про Лену, про двух хороших людей, про их любовь хорошую.

Меня охватывает тупое странное ликование (как мне знакомо это предательское ликование). Я пишу. Время летит незаметно. Пишу! Может, завтра буду горько плакать над этими строками, обнаружив их постыдную беспомощность, но сегодня я счастлив не меньше Сереги.

Когда он приходит вечером, я уже дописываю последнюю страницу рассказа, где «он», счастливый и усталый, возвращается домой.

— Сережа, я про тебя рассказ написал. Хочешь почитаю?

— Хм... Давай!

Мне некогда разглядывать Серегу; я не обращаю внимания на его настроение. Я ставлю точку в своем рассказе и начинаю читать.

Пока я читал, Серега не проронил ни одного слова — сидел на кровати, опустив голову. Смотрел в пол.

Я дочитал рассказ, отложил тетрадь и стал закуривать. Пальцы мои легонько тряслись. Я ждал, что скажет Серега. Я не смотрел на него. Я внимательно смотрел на коробок спичек. Мне рассказ нравился. Я ждал, что скажет Серега. Я ему верю. А он все молчал. Я посмотрел на него и встретился с его веселым задумчивым взглядом.

— Ничего, — сказал он.

У меня отлегло от сердца. Я затараторил:

— Многое не угадал? Вы где были? На речке?

— Мы нигде не были.

— Как?

— Так.

— Ты был у нее?

— Нет.

— О-о! А где ты был?

— А в планетарий прошелся... — Серега, чтобы не видеть моего глупого лица, прилег на подушку, закинул руки за голову. — Ничего рассказ, — еще раз сказал он. — Только не вздумай ей прочитать его.

— Сережа, ты почто не пошел к ней?

— Ну, почто, почто!.. Пото... Дай закурить.

— На! Осел ты, Серега!

Серега закурил, достал из-под подушки журнал «Наука и жизнь» и углубился в чтение — он читает эти журналы, как хороший детективный роман, как «Шерлока Холмса».

— На! Осел ты, Серега!

КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ

В самый разгар уборочной в колхозе «Заря коммунизма» вышли из строя две автомашины — полетели коленчатые валы. Шоферы второпях недосмотрели, залили в картеры грязное масло — шатунные вкладыши поплавились. Остальное доделали головки шатунов.

Запасных коленчатых валов в РТС не было, а ехать в областной сельхозснаб — потерять верных три дня.

Колхозный механик Сеня Громов, сухой маленький человек, налетел на шоферов соколом.

— До-дд-доигрались?! — Сеня заикался. — До-д-допрыга-лись?!

Шоферы молчали. Один, сидя на крыле своей машины, курил с серьезным видом, второй — тоже с серьезным видом — протирал тряпкой побитые шейки коленчатых валов.

— По п-п-п-пятьдесят восьмой пойдете! Обои!.. — кричал Сеня.

— Сеня! — сказал председатель колхоза. — Ну что ты с этими лоботрясами разговариваешь?! Надо доставать валы.

— Гэ-г-где? — Сеня подбоченился и склонил голову набок. — Г-где?

— Это уж я не знаю. Тебе виднее.

— Великолепно. Тэ-т-т-тогда я вам рожу́ их. Дэ-д-двойняшку!

Шофер, который протирал тряпочкой израненный вал, хмыкнул и сочувственно заметил:

— Трудно тебе придется.

— Чего трудно? — повернулся к нему Сеня.

— Рожать-то. Они же гнутые, вон какие...

Сеня нехорошо прищурился и пошел к шоферу.

Тот поспешно встал и заговорил:

— Ты вот кричишь, Сеня, а чья обязанность, скажи, пожалуйста, масло проверить? Не твоя? Откуда я знаю, чего в этом масле?! Стоит масло — я заливаю.

Сеня достал из кармана грязный платок, вытер потное лицо.

Помолчали все четверо.

— Ты думаешь, у Каменного человека нет валов? — спросил председатель Сеню.

«Каменный человек» — это председатель соседнего колхоза Антипов Макар, великий молчун и скряга.

— Я с ним н-н-не хочу иметь ничего общего, — сказал Сеня.

— Хочешь, не хочешь, а надо выходить из положения.

— Вэ-в-выйдешь тут...

— Надо, Семен.

Сеня повернулся и, ничего не сказав, пошел к стану тракторной бригады — там стоял его мотоцикл.

Через пятнадцать минут он подлетел к правлению соседнего колхоза. Прислонил мотоцикл к заборчику; молодцевато взбежал на крыльцо... и встретил в дверях Антипова. Тот собрался куда-то уезжать.

— Привет! — воскликнул Сеня. — А я к тебе... З-з-здорово!

Антипов молча подал руку и подозрительно посмотрел на Сеню.

— Кэ-к-как делишки? Жнем помаленьку? — затараторил Сеня.

— Жнем, — сказал Антипов.

— Мы тоже, понимаешь... фу-у! Дни-то!.. Золотые де-денечки стоят!

— Ты насчет чего? — спросил Антипов.

— Насчет валов. Пэ-п-п-подкинь пару.

— Нету, — Антипов легонько отстранил Сеню и пошел с крыльца.

— Слушай, мэ-м-монумент!.. — Сеня пошел следом за Антиповым. — Мы же к коммунизму п-подходим!.. Я же на общее дело... Дай два вала!!!

— Не ори, — спокойно сказал Антипов.

— Дай пару валов. Я же отдам... Макар!

— Нету.

— Кэ-к-кулак! — сказал Сеня останавливаясь. — Кэ-кко-гда будем переходить в коммунизм, я первый проголосую, чтобы тебя не брать.

— Осторожней, — посоветовал Антипов, залезая в «Победу». — Насчет кулаков — поосторожней.

— А кто же ты?

— Поехали, — сказал Антипов шоферу.

«Победа» плавно тронулась с места и, переваливаясь на кочках, как гусыня, поплыла по улице.

Сеня завел мотоцикл, догнал «Победу», крикнул Антипову:

— Поехал в райком!.. Жаловаться на тебя! Приготовь валы, штук пять! Мне, пэ-п-правда, только два надо, но попрошу пять — охота н-н-наказать тебя!

— Передавай привет в райкоме! — сказал Антипов.

Сеня дал газку и обогнал «Победу».

В приемной райкома партии было людно. Сидели на новеньких стульях с высокими спинками, ждали приема. Курили.

Высокая дверь, обитая черной клеенкой, то и дело открывалась — выходили одни и тотчас, гася на ходу окурки, входили другие.

Сеня сердито посмотрел на всех и сел на стул.

— Слишком много болтаете! — строго заметил он.

Мягко хлопала дверь. Выходили из кабинета то радостные, то мрачные.

Сеня закурил.

С ним рядом сидел какой-то незнакомый мужчина городского вида, лысый, с большим желтым портфелем.

— Вы кэ-к-райний? — спросил его Сеня.

— Э... кажется, да, — как-то угодливо ответил мужчина.

Сеня тотчас обнаглел.

— Я впереди вас п-п-пойду.

— Почему?

— У меня машины стоят. Вот почему.

— Пожалуйста.

К Сене подсел цыганистый мужик с буйной шевелюрой, хлопнул его по колену.

— Здорово, Сеня!

Сеня поморщился, потер колено.

— Что за д-д-дурацкая привычка, слушай, руки распускать!

Курчавый хохотнул, встал, поправил ремень гимнастерки. Посмотрел на дверь кабинета.

— Судьба решается, Сеня.

— Все насчет тех т-т-тракторов?

— Все насчет тех... Я сейчас скажу там несколько слов, — курчавый заметно волновался. — Не было такого указания, чтобы закупку ограничивать.

— А куда вы столько нахватали? Стоят же они у вас.

— Нынче стоят, а завтра пойдут — расширим пашню...

— Н-н-ненормальные вы, — сказал Сеня. — Когда расширите, тогда и покупайте. Что их, солить, что ли!

— Тактика нужна, Сеня, — поучительно сказал курчавый. — Тактика.

Из кабинета вышли.

Курчавый кашлянул в ладонь, еще раз поправил гимнастерку, вошел в кабинет. И тотчас вышел обратно. Достал из кармана блокнот, вырвал из него лист и, склонившись, стал вытирать грязные сапоги.

Сеня хихикнул.

— Ну что?.. Сказал н-н-несколько слов? Или н-н-не успел?

— Ковров понастелили, — проворчал курчавый. Брезгливо взял двумя пальцами черный комочек и бросил в урну.

Лысый гражданин пошевелился на стуле.

— Что, не в духе сегодня? — спросил он курчавого (он имел в виду секретаря райкома).

Курчавый ничего не сказал, вошел снова в кабинет.

— Не в духе, — сказал лысый, обращаясь к Сене. — Точно!

— Я сам не в духе, — ответил Сеня.

Чтобы не быть в кабинете многословным, Сеня заранее заготовил фразу: «Здравствуйте, Иван Васильевич. У нас прорыв: стали две машины. Нет валов. Валы есть у Антипова. Но Антипов не дает».

Секретарь сидел, склонившись над столом, смотрел на людей немигающими усталыми глазами, слушал, кивал головой, говорил прокуренным, густым голосом. Говорил негромко, коротко. Он измотался за уборочную, изнервничался. Скуластое, грубоватой работы лицо его осунулось, приобрело излишнюю жесткость.

— Здравствуйте, Иван Васильевич!

— Здорово. Садись. Что?

— П-п-прорыв... Два наших охламона залили в машины грязное масло... И, главное, у-у-убеждают, что это не их дело — масло п-п-проверить! — Сеня даже руками развел. — А чье же, м-м-милые вы мои? Мое, что ли? У меня их на шее пя-п-пят-надцать...

— Ну а что случилось-то?

— Валы полетели. Стоят две машины. А з-за... это... запасных валов нету.

— У меня тоже нету.

— У Антипова есть. Но он не дает. А в сельхозснаб сейчас ехать — вы ж понимаете...

— Так что ты хочешь-то?

— Позвоните Антипову, пусть он...

— Антипов меня пошлет к черту и будет прав.

— Не пошлет, — серьезно сказал Сеня, — что вы!

— Ну, так я сам не хочу звонить. Что вам Антипов — снабженец? Как можно докатиться до того, чтобы ни одного вала в запасе не было? А? Чем же вы занимаетесь там?

Сеня молчал.

— Вот, — секретарь положил огромную ладонь на стекло стола. — Где хотите, там и доставайте валы. Вечером мне доложите. Если машины будут стоять...

— Понятно. По-по-понял. До свиданья.

— До свиданья.

Сеня быстро вышел из кабинета. В приемной оглянулся на дверь и сердито воскликнул:

— Очень хо-хо-хорошо! — и потер ладони. — П-просто великолепно!

В приемной остался один лысый гражданин. Он сидел, не решаясь входить в кабинет.

— Пятый угол искали? — спросил он Сеню и улыбнулся; во рту его жарко вспыхнуло золото вставленных зубов.

Сеня грозно глянул на золотозубого. И вдруг его осенило: городской вид лысого, его гладкое бабье лицо, золотые зубы, а главное, желтый портфель — все это непонятным образом вызвало в воображении Сени чарующую картину заводского склада... Темные низкие стеллажи, а на них, тускло поблескивая маслом, рядами лежат валы — огромное количество коленчатых валов. В складе тишина, покой, как в церкви. Прохладно и остро пахнет свежим маслом. Раза три за свою жизнь Сеня доставал запчасти помимо сельхозснаба. И всякий раз содействовал этому какой-нибудь вот такой тип — с брюшком и с портфелем. Сеня подошел к золотозубому, хлопнул его грязной рукой по плечу.

— С-с-слушай, друг!.. — Сеня изобразил на лице небрежность и снисходительность. — У тебя на авторемонтном в го-городе никого знакомого нету? Пару валов вот так надо! — Сеня чиркнул себя по горлу ребром маленькой темной ладони. — Литр ставлю.

Лысый снял с плеча Сенину руку.

— Я такими вещами не занимаюсь, товарищ, — строго сказал он. Потом деловито спросил: — Он сильно злой?

— Кто?

— Секретарь-то.

Сеня посмотрел в серые мутновато-наглые глаза лысого и опять увидел стройные ряды коленчатых валов на стеллажах.

— Н-н-не очень. Бывает хуже. Иди, я тебя по-по... это... подожду здесь. Иди, не робей.

Лысый медленно поднялся, поправил галстук. Прошелся около двери, подумал. Быстренько снял галстук и сунул его в карман.

— Тактика нужна, тактика, — пояснил он Сене. — Правильно давеча твой друг говорил, — откашлялся в ладонь, мелко постучал в дверь.

Дверь неожиданно распахнулась — на пороге стоял секретарь.

— Здравствуйте, товарищ первый секретарь, — негромко и торопливо сказал лысый. — Я по поводу алиментов.

Секретарь не разобрал, по какому вопросу пришел лысый.

— Что?

— Насчет алиментов.

— Каких алиментов?..

Лысый снисходительно поморщился.

— Ну, с меня удерживают... Я считаю, несправедливо. Я вот здесь подробно, в письменной форме... — он стал вынимать из желтого портфеля листы бумаги.

— Вот тут на улице, за углом, прокуратура, — показал секретарь, — туда.

Лысый стал вежливо объяснять:

— Не в этом дело, товарищ секретарь. Они не поймут... Я уже был там. Здесь нужен партийный подход... Я считаю, что так как у нас теперь установка на справедливость...

Секретарь устало прислонился спиной к дверному косяку.

— Идите к черту, слушайте!.. Или еще куда! Справедливость! Вот по справедливости и будете платить.

Лысый помолчал и дрожащим от обиды голосом сказал:

— Между прочим, Ленин так не разговаривал с народом, — повернулся и пошел на выход совсем в другую сторону. — Все начисто забыли!

— Не туда, — сказал секретарь. — Вон выход-то!

Лысый вернулся. Проходя мимо секретаря, горько прошептал, ни к кому не обращаясь:

— А кричим: «Коммунизм! Коммунизм!».

Секретарь проводил его взглядом, потом повернулся к Сене.

— Кто это, не знаешь?

Сеня пожал плечами.

— По-моему, это по-по-п-полезный человек.

— А ты чего сидишь тут?

— Я уже пошел, все, — Сеня встал и пошел за лысым.

Лысый шагал серединой улицы — большой, солидный. Круглая большая голова его сияла на солнце.

Сеня догнал его.

— Разволновался? — спросил он.

— А заелся ваш секретарь-то! — сказал лысый, глядя прямо перед собой. — Ох, заелся!

— Он за-за-за... это... зашился, а не заелся. Мы же го-го-го-рим со страшной силой! Нам весной еще т-т-три тыщи гектар подвалили... попробуй тут! Трудно же!

— Всем трудно, — сказал лысый. — У вас чайная далеко?

— Вот, рядом.

— Заелся, заелся ваш секретарь, — еще раз сказал лысый. — Трудно, конечно: такая власть в руках...

— У тебя на авторемонтном в го-го-го... — начал Сеня.

— У меня там приятель работает, — сказал лысый. — Завскладом, — и посмотрел сверху на Сеню.

Сеня даже остановился.

— Ми-ми-милый ты мой, ка-к-к... это... кровинушка ты моя! — он ласково взял лысого за рукав. — Как тебя зовут, я все забываю?

Лысый подал ему руку.

— Евгений Иванович.

— Ев-в-ге-ге... Это... Женя, друг, выручи! Пару валов — хоть плачь!.. А? — Сеня улыбнулся. Глаза его засветились неожиданно мягким, добрым светом. — Д-д-две бутылки ставлю, — Сеня показал два черных пальца.

Лысый важно нахмурился.

— Тебе коленчатых, значит?

— Ко-ко-ко... Ага.

— Пару?

— Парочку, Женя!

— Можно будет.

Сеня зажмурился...

— В-в-в-великолепно! Махнем прямо сейчас? У меня мотоцикл. За час слетаем.

— Нет, сперва надо подкрепиться, — Женя погладил свой живот.

— Ла-ла-лады! — согласился Сеня. — Вот и чайнуха. Пять минут, эх, пять мину-ут!.. — пропел он, торопливо семеня рядом с огромным Женей. Потом спросил: — Ты сам, значит, городской?

— Был городской. Теперь в вашем районе ошиваюсь, в Соусканихе.

— Сразу видно, что го-го-го-городской, — тонко заметил Сеня.

— Почему видно?

— Очень ка-ка-к-красивый. На сцене, наверно, выступаешь? — Сеня погрозил ему пальцем и пощекотал в бок. — Ох, Женька!..

Женя густо хохотнул, потянулся рукой к груди: хотел поправить галстук, но вспомнил, что он в кармане, нахмурился.

— Бюрократ ваш секретарь, — сказал он. — Выступишь с такими...

— А ты где сам работаешь, Женя?

— По торговой.

— Хорошее дело, — похвалил Сеня.

Сели за угловой столик, за фикус.

Сеня обвел повеселевшими глазами пустой зал.

— Ну, кто там!.. Мы торопимся! По борщишку ударим? — спросил он Женю.

Женя выразительно посмотрел на него.

— Я лично устроил бы небольшой забег в ширину... С горя.

Сеня потрогал в раздумье лоб.

— Здесь?

— А где же еще?

— Это... вообще-то тут нельзя...

— Везде нельзя! — громко и обиженно заметил лысый. — Знаешь, есть анекдот...

— Ну ладно, я поговорю пойду...

Сеня встал и пошел к буфету. Долго что-то объяснял буфетчице, махал руками, но говорил вполголоса. Вернулся к лысому, достал из-под полы пиджака бутылку водки.

— Ка-ка-калгановая какая-то. Другой нету.

Женя быстренько налил полный стакан, хряпнул, перекосился...

— Не пошла, сволочь!

Он налил еще полстакана и еще выпил.

— Ого! — сказал Сеня. — Ничего себе!

— От так, — на глазах у лысого выступили светлые слезы. — Выпьешь?

— Нет, мне нельзя.

— Правильно, — одобрил лысый.

Им принесли борщ и котлеты.

Начали есть.

— Борщ, как помои, — сказал лысый.

Сеня с аппетитом хлебал борщ.

— Ничего борщишко, чего ты!

— До чего же мы кричать любим! — продолжал лысый, помешивая ложкой в тарелке. — Это ж медом нас не корми, дай только покричать.

— Насчет чего кричать? — спросил Сеня.

— Насчет всего. Кричим, требуем, а все без толку.

Лысый хлебнул еще две ложки, откинулся на спинку стула. Его как-то сразу развезло.

— Вот ты, например, — начал он издалека, — так называемый Сеня: ну на кой тебе сдались эти валы? Они тебе нужны?

Сеня, не прожевав кусок, воскликнул:

— Я ему битый час т-т-толкую, а он!..

— Я говорю: тебе! Лично тебе!

— Нужны, Женя.

Лысый поморщился, оглянулся кругом, повалился грудью на стол и заговорил негромко:

— Жизни-то никакой нету!.. Никаких условий! Законов понаписали — во! — лысый показал рукой высоко над полом. — А все ж без толку. Пшик.

— Как это п-п-пшик? — Сеня отложил ложку. — Какие законы?

— А всякие. Скажем, про алименты... — лысый полез под стол за бутылкой, но Сеня перехватил ее раньше.

— Хватит, а то ты за-запьянеешь. Мы же за ва-валами поедем.

— Валы!.. — лысого неудержимо вело. — Они небось на «Победах» разъезжают, командывают, а мы вкалываем, валы достаем. Алименты вычитать— это у них есть законы!.. Равенство!.. — лысый говорил уже во весь голос.

Сеня внимательно слушал.

— Ешь! — зло сказал он. — Чего ты развякался-то?

— Не хочу есть, — капризно сказал лысый. — И в никакой коммунизм вообще я не верю. Понял?

— По-по-почему?

— Потому, — лысый посмотрел на Сеню, пододвинул к себе тарелку и стал есть. — Тебе валы-то какие нужны? Коленчатые?

Сеня менялся на глазах — темнел.

— Почему, интересно, в коммунизм не веришь? — переспросил он.

— Ты только не ори, — сказал лысый. — Понял? От... А валы мы достанем.

— Вы-вы-вы... — Сеня показал рукой на дверь. — Выйди отсюда. Слышишь?!

— Чудак, — миролюбиво сказал лысый. — Чего ты разошелся?

Сеня грохнул кулаком по столу; один стакан подпрыгнул, упал на пол и раскололся.

Из кухни вышли повар и официантки.

...Сеня и лысый стояли друг против друга; лысый был на две головы выше Сени; Сеня смотрел на него снизу гневно, в упор.

— Ты не очень тут... понял? — лысый трусливо посмотрел на официанток, усмехнулся. — От дает!..

Сеня толкнул его в мягкий живот.

— Кому сказано: выйди вон!

— Ты не толкайся! Ты не толкайся! А то я... Смотри у меня! — лысый пошел к двери, Сеня — за ним. — Смотри у меня!

— Я тебя насквозь вижу, паразит!

— Дурак ты!

— Я т-т-те по-по-кажу...

Около двери лысый обернулся, ощерился и небольно ткнул пухлым кулаком Сеню в грудь. Прошипел:

— Прислужник несчастный! Обормот!

Сеня отступил на шаг и ринулся головой на жирную громаду.

Дверь с треском распахнулась. Лысый вылетел на крыльцо и стал быстро спускаться по ступенькам. Сеня успел догнать его и пнул в толстый зад.

— Де-де-деятель вшивый!

— Вот тебе, а не валы! — крикнул снизу лысый. — Дурак неотесанный!

Лысый пустился тяжелой рысью по улице, оглянулся на бегу, показал Сене фигу.

Сеня крикнул ему вслед: — Я на тебя в «Крокодил» на-на-напишу, зараза! Пе-пе-пе-режиток! Гад подколодный!

Лысый больше не оглядывался.

Сеня вернулся в чайную, расплатился с официанткой, спросил ее на всякий случай:

— У тебя на авторемонтном в го-го-городе никакого знакомого нету?

— Нет. Чего с лысым-то не поделили? — спросила официантка.

— Я на него в «Крокодил» на-н-напишу, — сказал Сеня, еще не остывший после бурной сцены. — Он в Соусканихе работает... Я его найду, гада!

На короткое мгновение в глазах Сени опять встала сказочная картина заводского склада с холодным мерцанием коленчатых валов на стеллажах — и пропала.

— А ни у кого тут из ваших в го-го-городе на авторемонтном нету знакомых?

— Откуда?!

Сеня завел мотоцикл и поехал к Макару Антипову. Маленькая цепкая фигурка на мотоцикле выражала собой одно несокрушимое стремление — добиться своего.

Антипова он нашел в полеводческой бригаде, в вагончике.

Макар сидел на самодельном, на скорую руку сколоченном стуле, пил чай из термоса.

— Макар!.. — с ходу начал Сеня. — Я здесь по-по-погибну, но без валов не уйду. Ты что, хочешь, чтобы я на тебя в «Крокодил» написал? Ты что...

— Спокойно, — сказал Макар. — Сбавь. В «Крокодил» — это вас надо, а не меня, — он достал из кармана засаленный блокнот, нашел чистый лист, вырвал его и написал крупно:

«ЕГОР, ДАЙ ЕМУ ПАРУ ВАЛОВ, В ДОЛГ, КОНЕЧНО.

Антипов».

Сеня оторопел.

— С-с-пасибо, Макарушка!..

— Только жаловаться умеете, — сердито сказал Антипов. — Хозяева мне!.. Горе луковое!

— А-а! — Сеня сообразил, чья могучая рука вырвала у Макара валы. — Вот так, М-м-макар! А то ломался, по-по-по-нимаешь...

Макар продолжал пить чай из термоса.

Через час Сеня подлетел к двум своим машинам, начал отвязывать от багажника валы.

Оба шофера засуетились около него.

— Сеня!.. Милая ты моя душа! Достал?

— Вечером умоешься — я тебя поцелую...

— Ло-ло-лоботрясы, — сердито сказал Сеня, — в «Крокодил» вот катануть на вас!.. — вытер запыленное лицо фуражкой, сел на стерню, закурил. — Да-да-да... это... давайте живее!

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

«А что, мама? Тряхни стариной — приезжай. Москву поглядишь и вообще. Денег на дорогу вышлю. Только добирайся лучше самолетом — это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь».

Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась.

— Зовет Павел-то к себе, — сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков (Шурка — внук бабки Маланьи, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь (третий раз вышла замуж), бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости).

Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами — поезжай, раз зовет.

— У тебя когда каникулы-то? — спросила бабка строго.

Шурка навострил уши.

— Какие? Зимние?

— Какие же еще, летние, что ль?

— С первого января. А что?

Бабка опять сделала губы трубочкой — задумалась.

А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце.

— А что? — еще раз спросил он.

— Ничего. Учи знай, — бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы.

Шурка подбежал к окну — посмотреть, куда она направилась.

У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать:

— Зовет Павел-то в Москву, погостить. Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. «Приезжай, — говорит, — мама, шибко я по тебе соскучился».

Соседка что-то отвечала. Шурка не слышал что, а бабка ей громко:

— Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только по карточке. Да шибко уж страшно...

Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще... Скоро вокруг бабки Маланьи собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать:

— Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать...

Видно было, что все ей советуют ехать.

Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку — такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе несхожие. Бабка — энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый.

Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала.

— Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет...

— Привет! — сказал Шурка. — Кто же так телеграммы пишет?

— А как надо, по-твоему?

— Приедем. Точка. Или так: приедем после Нового года. Точка. Подпись: мама. Все.

Бабка даже обиделась.

— В шестой класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же умнеть помаленьку!

Шурка тоже обиделся.

— Пожалуйста, — сказал он. — Мы так, знаешь, на сколько напишем? Рублей на двадцать по старым деньгам.

Бабка сделала губы трубочкой, подумала.

— Ну, пиши так: сынок, я тут посоветовалась кое с кем...

Шурка отложил ручку.

— Я не могу так. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте на смех поднимут.

— Пиши, как тебе говорят! — приказала бабка. — Что я, для сына двадцать рублей пожалею?

Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге.

— Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями — все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько...

— На почте все равно переделают, — вставил Шурка.

— Пусть только попробуют!

— Ты и знать не будешь.

— Пиши дальше: мне, конечно, боязно маленько, но уж... ладно. Приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Ничего, послушный парень...

Шурка пропустил эти слова — насчет того, что он стал большой и послушный.

— Мне с ним не так боязно будет. Пока до свиданья, сынок. Я сама об вас шибко...

Шурка написал: «жутко».

— ...соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама.

— Посчитаем, — злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом: — Раз, два, три, четыре...

Бабка стояла за его спиной, ждала.

— Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят! Так? Множим шестьдесят на тридцать — одна тыща восемьсот? Так? Делим на сто — имеем восемнадцать... На двадцать с чем-то рублей! — торжественно объявил Шурка.

Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман.

— Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь, грамотей.

— Пожалуйста. То же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся.

...Часов в одиннадцать к ним пришел Егор Лизунов, сосед, школьный завхоз. Бабка просила его домашних, чтобы,

когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах.

Егор снял полушубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями седеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей.

— Значит, лететь хотите?

Бабка слазила под пол, достала четверть с медовухой.

— Лететь, Егор. Расскажи все по порядку — как и что.

— Так чего тут рассказывать-то? — Егор не жадно, а как-то даже немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. — Доедете до города, там сядете на Бийск — Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до аэропорта ехать...

— Ты погоди! Заладил: можно, можно. Ты говори, как надо, а не как можно. Да помедленней. А то свалил все в кучу, — бабка подставила Егору стакан с пивом, строго посмотрела на него.

Егор потрогал стакан пальцами, погладил.

— Ну, доедете, значит, до Новосибирска и сразу спрашивайте, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка.

— Записывай, Шурка, — велела бабка.

Шурка вырвал из тетради чистый лист и стал записывать.

— Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104 и через пять часов в Москве будете, в столице нашей Родины.

Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тот говорил и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицо.

— В Свердловске, правда, сделаете посадку...

— Зачем?

— Надо. Там нас не спрашивают. Сажают, и все, — Егор решил, что теперь можно и выпить. — Ну?.. За легкую дорогу!

— Держи. Нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтоб посадили, или там всех сажают?

Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы.

— Всех. Хорошее у тебя пиво, Маланья Васильевна. Как ты его делаешь? Научила бы мою бабу...

Бабка налила ему еще один стакан.

— Когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее будет.

— Как это? — не понял Егор.

— Сахару побольше кладите. А то ведь вы все подешевле да посердитей стараетесь. Сахару больше кладите в хмелину-то, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать — это стыдоба.

— Да, — задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку, выпил. — Да-а, — еще раз сказал он. — Так-то оно так, конечно. Но в Новосибирске когда будете, смотрите не оплошайте.

— А что?

— Да так... Все может быть, — Егор достал кисет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма. — Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы. А то во Владивосток тоже можно улететь.

Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан.

Егор сразу его выпил, крякнул и стал развивать свою мысль:

— Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит: «Мне билет». А куда билет — это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону: Так что смотрите.

Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор совсем размяк. Говорил с удовольствием:

— На самолете лететь — это надо нервы да нервы! Вот он поднимется — тебе сразу конфетку дают...

— Конфетку?

— А как же. Мол, забудься, не обращай внимания... А на самом деле это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят: «Привяжись ремнями». «Зачем?» — «Так положено». — Хэх... положено. Скажи прямо: можем навернуться, и все. А то — «положено».

— Господи, господи! — сказала бабка. — Так зачем же и лететь-то на нем, если так...

— Ну, волков бояться — в лес не ходить, — Егор посмотрел на четверть с пивом. — Вообще реактивные, они, конечно, надежнее. Пропеллерный, тот может в любой момент сломаться — и пожалуйста... Потом: горят они часто, эти моторы. Я один раз летел из Владивостока... — Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть. Бабка не пошевелилась. — Летим, значит, я смотрю в окно: горит...

— Свят, свят! — сказала бабка.

Шурка даже рот приоткрыл — слушал.

— Да. Ну я, конечно, закричал. Прибежал летчик... Ну, в общем, ничего — отматерил меня. Чего ты, говорит, панику поднимаешь? Там горит, а ты не волнуйся, сиди... Такие порядки в этой авиации.

Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку, а вместо этого он отругал Егора. Странно.

— Я одного не понимаю, — продолжал Егор, обращаясь к Шурке, — почему пассажирам парашютов не дают?

Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не даются парашюты. Это, конечно, странно, если это так.

Егор ткнул папироску в цветочный горшок, привстал, налил сам из четверти.

— Ну и пиво у тебя, Маланья!

— Ты шибко-то не налегай — захмелеешь.

— Пиво просто... — Егор покачал головой и выпил. — Кху! Но реактивные, те тоже опасные. Тот, если что сломалось, топором летит вниз. Тут уж сразу... И костей потом не соберут. Триста грамм от человека остается. Вместе с одеждой, — Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату, Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло.

— А вообще-то не бойтесь! — громко сказал он. — Садитесь только подальше от кабины — в хвост — и летите. Ну, пойду...

Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку.

— Поклон Павлу Сергеевичу передавайте. Ну, пиво у тебя, Маланья! Просто...

Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел — не поговорили толком.

— Слабый ты какой-то стал, Егор.

— Устал, поэтому, — Егор снял с воротника полушубка соломинку, — говорил нашим деятелям: давайте вывезем летом сено — нет! А сейчас, после этого бурана, дороги все позанесло. Весь день сегодня пластались, насилу к ближним стогам пробились. Да еще пиво у тебя такое... — Егор покачал головой, засмеялся. — Ну, пошел. Ничего, не робейте — летите. Садитесь только подальше от кабины. До свиданья.

— До свиданья, — сказал Шурка.

Егор вышел; слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой и на улице негромко запел:

Раскинулось море широко...

И замолчал.

Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал то, что записал за Егором.

— Страшно, Шурка, — сказала бабка.

— Летают же люди...

— Поедем лучше на поезде?

— На поезде — это как раз все мои каникулы на дорогу уйдут.

— Господи, господи! — вздохнула бабка. — Давай писать Павлу. А телеграмму анулироваем.

Шурка вырвал из тетрадки еще один лист.

— Значит, не полетим?

— Куда же лететь — страсть такая, батюшки мои! Соберут потом триста грамм...

Шурка задумался.

— Пиши: дорогой сынок Паша, посоветовалась я тут со знающими людями...

Шурка склонился к бумаге.

— Порассказали они нам, как летают на этих самолетах... А мы с Шуркой решили так: поедем уж летом на поезде. Оно, знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получаются...

Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать:

«А теперь, дядя Паша, это я пишу, от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, завхоз наш, если вы помните. Он, например, привел такой факт: он выглянул в окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это не страшно, но про меня — что это я вам написал — не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свиннота разная, куры, гуси — она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории, но это, сами

понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот вы ей и скажите: как же это так, мама, сын у вас сам летчик, Герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете! В то время, когда мы уже преодолели звуковой барьер. Напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами. Конечно — заслуженно. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота глянуть на Москву. Ну, пока до свиданья. С приветом — Александр».

А бабка между тем диктовала:

— ...Поближе туда к осени поедем. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенья сварить облепишного. В Москве-то ведь все с купли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все пока, Записал?

— Записал.

Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес:

«Москва, Ленинский проспект, д. 78, кв. 156.
Герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьевичу
От матери его из Сибири».

Адрес она всегда подписывала сама: знала, что так дойдет вернее.

— Вот так. Не тоскуй, Шурка. Летом поедем.

— А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку собирайся: возьмешь да надумаешь лететь.

Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала.

Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то.

Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда.

— Шурк! — позвала бабка.

— А?

— Павла-то, наверно, в Кремль пускают?

— Наверно. А что?

— Побывать бы хоть разок там... посмотреть.

— Туда сейчас всех пускают.

Бабка некоторое время молчала.

— Так и пустили всех, — недоверчиво сказала она.

— Нам Николай Васильевич рассказывал.

Еще с минуту молчали.

— Но ты тоже, бабонька: где там смелая, а тут испугалась чего-то, — сказал Шурка недовольно. — Чего ты испугалась-то?

— Спи знай, — приказала бабка. — Храбрец. Сам первый в штаны наложишь.

— Спорим, что не испугаюсь?

— Спи знай. А то завтра в школу опять не добудишься.

Шурка затих.

ЛЁЛЯ СЕЛЕЗНЁВА С ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ

На реке Катуни, у деревни Талица, порывом ветра сорвало паром. Паром, к счастью, был пустой. Его отнесло до ближайшей отмели и шваркнуло о камни. Он накрепко сел.

Пора была страдная. В первые же три часа на той стороне реки скопилось машин двадцать с зерном. И подъезжали и подъезжали новые. И подстраивались в длинную вереницу ЗИЛов, ГАЗов... В объезд до следующего парома было километров триста верных. Стояли. Ждали.

Председатель Талицкого сельсовета Трофимов Кузьма, надрываясь, орал в телефон:

— А что я-то сделаю?! Ну!.. Да работает же бригада! А? Всех послал, конечно!.. А я-то что могу?! — бросал трубку и горько возмущался: — Нет, до чего интересные люди!

Тут же, в сельсовете, сидела молоденькая девушка из приезжих и что-то строчила в блокнот.

— Я с факультета журналистики, Лёля Селезнева, — представилась она, когда пришла. — А сейчас я к вам из

краевой газеты. Что вы предприняли как председатель сельсовета? Конкретно!

Замученный Трофимов посмотрел на нее, как на телефонный аппарат, закурил и сказал:

— Все предприняли, милая девушка.

Лёля села в уголок, разложила на коленках блокнот и принялась писать. Она была курносая, с красивыми темными глазами, с короткими волосами, в непомерно узкой юбке.

Трофимов все кричал в телефонную трубку, Лёля строчила. Потом Трофимов вконец озверел, бросил трубку, встал, злой и жалкий.

— У меня будет такая просьба, — обратился он к Лёле. — Кто будет звонить, говорите, что я уехал на реку. Когда сделают паром — черт его душу знает.

Лёля села к аппарату и стала ждать звонка. Телефон зазвонил скоро.

— Да, — спокойно сказала Лёля. — Слушаю вас.

— Кто это?

— Это Талицкий сельсовет.

— Трофимова!

— Трофимов ушел на реку.

— Купаться, что ли? — человек на том конце провода не был лишен юмора.

Лёля обиделась.

— Между прочим, момент слишком серьезный, чтобы так дешево острить.

Человек некоторое время молчал.

— Кто это говорит?

— Это Лёля Селезнева с факультета журналистики. С кем имею честь?

Человек на том конце положил трубку. Пока он нес ее от уха до рычажка, Лёля услышала, как он сказал кому-то:

— Там факультет какой-то, а не сельсовет.

У Лёли пропало желание отвечать кому бы то ни было. Она опять села в уголок и продолжала писать статью под названием «У семи нянек дитя без глазу». Еще в районе она узнала, что в Талице сорвало паром и что на той стороне скопилось огромное число машин с хлебом. Узнала она также, что талицкий паром обслуживают три района, и заменить старый трос, которым удерживался паром, новым никто, ни один из районов не догадался.

Опять звонил телефон, Лёля не брала трубку. Она дошла до места в своей статье, где описывала председателя Трофимова. *«...Это один из тех работников первичного звена аппарата, которые при первом же затруднении теряются и «выходят в коридор покурить»*.

Статья была злая. Лёля не жалела ярких красок. Ювеналов бич свистел над головами руководителей трех районов. Зато, когда она дошла до места, где несчастные шоферы, собравшись на той стороне у берега, *«с немой тоской смотрят на неподвижный паром»*, у Лёли на глаза навернулись слезы.

Телефон звонил и звонил.

Лёля писала.

В сельсовет заглянула большая потная голова в очках.

— Где Трофимов?

— Ушел к парому.

— Я сейчас только с парома. Нету его там.

Голова с любопытством разглядывала девушку.

— Я извиняюсь, вы кто будете?

— Лёля Селезнева с факультета журналистики.

— Корреспондентка?

— Да.

— Приятно познакомиться, — в комнату вошел весь человек, большой, толстый, в парусиновом белом костюме, протянул Лёле большую потную руку — Анашкин. Заместитель Трофимова.

— Что с паромом?

— С паромом-то? — Анашкин грузно сел на диван и махнул рукой, причем так, что можно было понять: нашумели только, ничего особенного там не произошло. — Через часок сделают. Канат лопнул. Фу-у!.. Ну как, нравится вам у нас?

— Нравится. Значит, паром скоро сделают?

— Конечно, — Анашкин вопросительно посмотрел на Лёлю. — Вы где остановились-то?

— Нигде пока.

— Так не годится, — категорично заявил Анашкин. — Пойдемте, я вас устрою сначала, а потом уж пишите про нас, грешных. Как вас, Лиля?

— Лёля.

— Лёля... — Анашкин молодо поднялся с дивана. — Хотел дочь свою так назвать... но... жена на дыбошки стала. Красивое имя.

— Я не понимаю...

— Хочу устроить вас пока. Пойдемте ко мне, например... Посмотрите: понравится — живите сколько влезет.

— Я сейчас не могу. Вообще я хотела уехать сегодня же. Если не удастся, я с удовольствием воспользуюсь вашей любезностью. А сейчас мне нужно дописать вот это, — Лёля показала на блокнот.

— Понимаю, — сказал Анашкин. — Жду вас.

— До свиданья.

Анашкин вышел. Он понравился Лёле.

Зазвонил телефон.

Лёля взяла трубку.

— Слушаю вас.

— Я просил Талицу, — сердито сказал густой сильный голос.

— Это и есть Талица. Сельсовет.

— Где председатель ваш?

— Не знаю.

— Кто же знает? — бас явно был не в духе.

Лёле это не понравилось.

— Председатель не обязан сидеть здесь с утра до ночи. Вам понятно?

— Кто это говорит? — пророкотал удивленный бас.

Лёля на одну секундочку замешкалась, потом отчеканила:

— Это Лёля Селезнева с факультета журналистики.

— Что же вы налетаете на старых знакомых, Лёля с факультета? — бас потеплел, и Лёля узнала его: секретарь райкома партии Дорофских Федор Иванович. Это он три часа назад рассказал ей всю историю с паромом.

— Так что же там с паромом-то, Лёля? — поинтересовался секретарь. — Вы там ближе теперь...

Лёле сделалось очень хорошо оттого, что ее совершенно серьезно спрашивают о том, чем обеспокоены сейчас все начальственные головы района и что она ближе всех сейчас к месту происшествия. Лёля даже мимолетно подумала, что надо будет узнать, давно ли Дорофских работает здесь секретарем и стоит ли его вставлять в разгромную статью.

— С паромом следующее: через час он будет готов! — выпалила Лёля. — Там, оказывается, порвался канат...

— Да что вы? — секретарь несказанно обрадовался. — Это серьезно, Лёля? Милая вы моя!.. Вот спасибо-то!

— Не мне спасибо, а бригаде плотников.

— Ну, понятно! Вот напишите о ком! Ведь они почти чудо сотворили!..

— Да, — сказала Лёля и положила трубку. Закрыла блокнот с недописанной статьей и вышла из сельсовета.

Неподдельная радость в голосе секретаря райкома, готовность Анашкина устроить ее немедленно, а главное, что паром скоро сделают, — все это повернуло ей мир другой стороной — светлой.

«Громить легко. Но это еще никогда по-настоящему не действовало на людей», — думала Лёля.

...Бригада плотников, семь человек, работала на пароме уже девять часов подряд.

Когда Лёля переправилась к ним на лодке, у них был перекур.

— Здравствуйте, товарищи! — громко и весело сказала Лёля.

Днище и бок одного баркаса проломлены: паром сидел, круто накренившись. Лёля ступила на покатый настил палубы и смешно взмахнула руками. Кто-то из бригады негромко и необидно засмеялся.

— Поздравляю вас, товарищи! — прибавила Лёля без веселости.

В бригаде некоторое время молчали. Потом бригадир, очень старый человек с крючковатым носом, сухой и жилистый, спросил:

— С чем, дочка?

— С окончанием работы. Я из краевой газеты к вам. Хочу написать о вашем скромном подвиге...

Молодой здоровенный парень, куривший около рулевой будки, бросил окурок в реку и весело сказал:

— Начинается! — и посмотрел на Лёлю так, точно ждал, что она сейчас выгнется колесом и покатится по палубе, как в цирке.

Лёля растерянно смотрела на плотников.

— Нам до окончания-то еще, оё-ёй, сколько! Он еще пока на камушках сидит, — пояснил бригадир. — Его еще за-

шить надо, да выкачать водичку, да оттащить... Много работки.

— Как же... Мне же сказали, что вам тут осталось на час работы.

— Кто сказал?

— Толстый такой... в сельсовете работает...

— Анашкин, — плотники понимающе переглянулись.

Бригадир так же обстоятельно, как объяснял о пароме, ровным, спокойным голосом рассказал про Анашкина:

— Это он хочет свой грех замазать. Он у нас председателем долгое время был, так?.. А денюжки, которые на ремонт парома были отпущены, куда-то сплыли. Теперь он беспокоится: боится — вспомнят. Ему это нежелательно.

Лёля откинула со лба короткие волосы.

— Ему этот факт выйдет боком, — серьезно сказала она. — Сигаретка есть у кого-нибудь?

Здоровенный парень весело посмотрел на своих товарищей.

— Махорки можно, — неуверенно предложил один плотник и оглянулся на старика бригадира, желая, видимо, понять: не глупость ли он делает, что потакает молоденькой девушке в такой слабости?

Но бригадир молчал.

— Могу «Беломорканал» удружить, — сказал здоровенный парень, Митька Воронцов, с готовностью подходя к девушке. Ему хотелось почему-то, чтобы Лёля выкинула что-нибудь совсем невиданное.

— Спасибо, — Лёля так просто взяла у Митьки папироску, так просто прикурила и затем посмотрела на плотников, что ни у кого не повернулся язык сказать что-нибудь.

— Давай, ребята, — негромко сказал бригадир, поднимаясь.

Лёля отошла от борта парома и стала смотреть на ту сторону, где, выстроившись в длинный ряд, стояли грузовики с хлебом.

Шоферы не толпились на берегу и не смотрели с грустью на паром. Они собрались небольшими кучками у машин и разговаривали. Человек шесть наладили удочки и сидели на берегу в неподвижных позах. Кое-кто разложил поодаль от машин костер — пек картошку.

А далеко-далеко, за синим лесом, заходило огромное красное солнце.

Стучали топоры плотников, и стук этот далеко разносился по реке.

Лёле стало грустно. Она вдруг ощутила себя смешной и жалкой в этом огромном и в общем-то простом мире. Есть заведенный порядок жизни, которому подчиняются люди. Если сломался паром и на том берегу скопилось много машин, значит, должно пройти сколько-то часов, прежде чем паром наладят, значит, машины с хлебом — а что сделаешь? — будут стоять и ждать, и шоферы будут собираться группами и рассказывать анекдоты. Значит, начальство будет волноваться, звонить по телефону. Было бы странно, если бы оно тоже собиралось в группы и рассказывало анекдоты. В конце концов все знают, что надо ждать. И смешно и глупо здесь суетиться, писать бойкие статейки. Все понимают, что сломался паром, что машины, которые так нужны, стоят. Паром мог бы не сломаться, но он сломался — вот и все. Жизнь на этом не остановилась. Те же шоферы, которые сейчас кажутся беззаботными, через несколько часов сядут за штурвалы и без сна и отдыха будут гнать и гнать по нелегким дорогам, наверстывая по мере возможности упущенное. И не будут чувствовать себя героями, так же как сейчас не испытывают угрызений совести оттого, что не стоят толпой на берегу и не смотрят с тоскою на паром.

Лёля вспомнила секретаря Дорофских и то, как она ему говорила: «С паромом следующее...», и ее собственная беспомощность стала до того очевидной и угнетающей, что она чуть не заплакала. Она стала мысленно доказывать себе, что люди сами определяют порядок жизни. И все делают люди. А киснуть и хныкать — это легче всего. Это еще ни для кого не представлялось очень трудным. Все делают люди, и надо быть спокойнее и сильнее.

Она поднялась и подошла к старику-плотнику.

— Скажите, пожалуйста, а может быть, вас мало?

— А? — бригадир выпрямился. — Мало? Нет, тут больше не надо, пожалуй... Да и нету у нас их больше-то.

— Но ведь стоят машины-то! — тихо, с отчаянием сказала Лёля. — Что же делать-то?

— Что делать?.. Вот делаем.

— Когда вы думаете закончить?

— Завтра к обеду... — старик прищурился и посмотрел на ту сторону реки.

— Ну нет! — твердо сказала Лёля. — Так не пойдет. Вы что?

— Что? — не понял старик.

— Товарищи! — обратилась Лёля ко всем. — Товарищи, есть предложение: собрать коротенькое собрание! Пятиминутку. Я предлагаю... — продолжала Лёля, — работать ночью. Мне сейчас трудно посчитать, в какие тысячи обходится государству простой этих машин, но сами понимаете — много. Я сейчас схожу в деревню, обойду ваши семьи, скажу, чтобы вам принесли сюда ужин...

— Ну, это уж — привет! — сказал Митька Воронцов.

— Да неужели вы не понимаете! — Лёля даже пристукнула каблучком по палубе. — А как было в войну — по две смены работали!.. Женщины работали! Вы видите, что делается? — Лёля в другое время и при других обстоятельствах поймала бы себя на том, что она слишком театрально показала рукой на тот берег, на машины, и голос ее прозвучал на последних словах, пожалуй, излишне драматично, но сейчас ей показалось, что она сказала сильно. Во всяком случае, все посмотрели туда, куда она показала, — там стояли машины с хлебом.

— У нас на это начальство есть, — суховато сказал бригадир.

— Мы что, двужильные, что ли? — спросил Митька.

Он уже не ждал от девушки «фокусов», он боялся, что она уговорит плотников остаться на ночь. Пятеро других стояли нахмурившись.

— Товарищи!.. — опять начала Лёля.

— Да что «товарищи»! — обозлился Митька. — Тебе ж сказали: не останемся... — Митьке позарез нужно было быть вечером в клубе.

— Эх вы!.. — сказала Лёля и неожиданно для себя заплакала. — Люди стоят, машины стоят... их ждут... а они... — говорила Лёля, слезая с парома. Она вытирала ладошкой слезы, сердилась на себя, не хотела плакать, а слезы все катились: она очень устала сегодня, изнервничалась с этим паромом.

Плотники растерянно смотрели на тоненькую девушку в узкой юбке. Она отвязала лодку и, неумело загребая веслами, поплыла к берегу.

— Ты, Митька, балда все-таки, — сказал бригадир. — Дубина просто.

— Он шибко грамотный стал, — поддакнул один из плотников. — Вымахал с версту, а умишка ни на грош.

Митька насупился, скинул рубаху, штаны и полез молчком в воду — надо было обмерить пролом в боку баркаса, чтобы заготовить щит-заплату. Остальные тоже молча взялись за топоры.

На берегу Лёлю встретил председатель Трофимов.

— Чего они там? — встревожился он, увидев заплаканную Лёлю. — Небось лаяться начали?

— Да нет! — Лёля выпрыгнула из лодки. — Попросила их... В общем, ну их! — Лёля хотела идти в деревню.

Трофимов осторожно взял ее за тоненькую руку, повел обратно к лодке.

— Поедем. Не переживай... Попросила остаться их?

— Да.

— Сейчас поговорим с ними... останутся. Я еще трех плотников нашел. К утру сделаем.

Лёля посмотрела в усталые умные глаза Трофимова, села в лодку, тщательно вытерла коротким рукавом кофты заплаканные глаза.

Трофимов подгреб к парому, первым влез на него, потом подал руку Лёле.

Плотники старательно тесали желтые пахучие брусья. Только бригадир воткнул топор в кругляш и подошел к председателю.

— Ну что тут? — спросил Трофимов.

— Ночь придется прихватить, — сказал старик, сворачивая папироску.

— Я еще троих вам подброшу. К утру надо сделать, черт его... — председатель для чего-то потрогал небритую щеку, протянул руку к кисету бригадира.

Лёля смотрела на бригадира, на плотников, на их запотевшие спины, на загорелые шеи, на узловатые руки. И опять ей захотелось плакать — теперь от любви к людям, к терпеливым, хорошим людям. Она взяла сухую, горячую руку бригадира и погладила ее. Бригадир растерялся, посмотрел на Лёлю, на председателя, сказал:

— Это... Ну, ладно, — и пошел к своему месту.

— Ничего, — сказал Трофимов, внимательно глядя на папироску, которую скручивал.

Митька Воронцов фыркал в воде у баркаса, кряхтел, плевался.

— Ты чего? — спросил бригадир. — Чего не вылезаешь-то. Обмерил?

— Обмерил, — сердито ответил Митька.

— Ну?

— Чего «ну»?

— Вылезай, чего ты!

— Да тут... трусы спали, заразы. Кха!

Кто-то из плотников хихикнул. Все выпрямились и смотрели на Митьку.

— Это тебя бог наказал, Митька.

Митька нырнул, довольно долго был под водой, вынырнул и стал отхаркиваться.

— Нашел?

— Найдешь... кхах...

— Значит, уплыли.

— Вот история-то! — сказал бригадир и оглянулся на Лёлю.

— Я отвернусь, а он пусть вылезает, — предложила Лёля.

— Митька!

— Ну?

— Она отвернется — лезь!

Митька вылез, надел брюки и взялся за топор.

Опять на пароме застучали восемь топоров, и стук их далеко разносился по реке.

К утру паром починили.

Когда огромное веселое солнце выкатилось из-за горы, паром подошел к берегу.

На палубе сидели плотники, курили (бригаде нужно было сплавать разок на сторону, чтобы посмотреть, как ведет себя паром с грузом). Кое-кто отмывался, доставая ведром воду; бригадир, свесив голову через люк, смотрел в баркас, председатель (он оставался всю ночь на пароме) оттирал с колена смолистое пятно. Митька Воронцов спал, вольно раскинув руки и ноги. Лёля сидела с блокнотом у борта, грызла карандашик и смотрела, как всходит солнце.

На той стороне выли стартеры, урчали, кашляли, чихали моторы, переговаривались шоферы. Голоса их были густые со сна, отсыревшие... Они громко зевали.

«Это было грандиозно! — начала писать Лёля. — *Двенадцать человек, вооружившись топорами...»*. Она зачеркнула *«вооружившись»*, подумала и выбросила все начало. Написала так: *«Это была удивительная ночь!Двенадцать человек работали, ни разу не передохнув...»*. Подумала, вырвала лист из блокнота, смяла и бросила в реку. Начала снова: *«Неповторимая, удивительная ночь! На отмели, на камнях, горит огромный костер, освещая трепетным светом большой паром. На пароме двенадцать человек...»*. Леля и этот лист бросила в реку.

Паром тем временем подошел к берегу. Стали въезжать машины. Паромщик орал на шоферов, те бешено крутили рули, то пятились, то двигались вперед.

Лёля стояла, прижавшись к рулевой будке, смотрела на все это и уже не думала об удивительной ночи и о том, как трепетно горел костер. Жизнь — горластая, веселая — катилась дальше. Ночь осталась позади, и никому теперь нет до нее дела. Теперь важно как можно быстрее переправить машины.

Паром отчалил. Стало немного потише.

Лёля вырвала из блокнота лист и написала:

«Федор Иванович! Виноват во всем Анашкин. Когда он был председателем, ему были отпущены деньги на ремонт парома, но денежки эти куда-то сплыли. Я бы на вашем месте наказала Анашкина со всей строгостью.

Лёля Селезнева».

Лёля свернула листок треугольником, подписала: «Секретарю РК КПСС тов. Дорофских Ф.И.» — и отдала треугольник одному из шоферов.

— Вы ведь через райцентр поедете?

— Да.

— Передайте там кому-нибудь, пусть занесут в райком.

— Давай.

Паром подплыл к берегу; стали съезжать машины. Опять гул, рев, крики...

А Лёля поднималась по крутому берегу с плотниками, которые направлялись в деревню, курила Митькин «Беломор» и с удовольствием думала, как она сейчас уснет в какой-нибудь избе, укрывшись шубой.

ГРИНЬКА МАЛЮГИН

Гринька, по общему мнению односельчан, был человек недоразвитый, придурковатый.

Был он здоровенный парень с длинными руками, горбоносый, с вытянутым, как у лошади, лицом. Ходил, раскачиваясь взад-вперед, медленно посматривал вокруг бездумно и ласково. Девки любили его. Это было непонятно. Чья-то умная голова додумалась: жалеют. Гриньке это очень понравилось.

— Меня же все жалеют! — говорил он, когда был подвыпивши, и стучал огромным кулаком себе в грудь, и смотрел при этом так, будто он говорил: «У меня же девять орденов!».

Работал Гринька хорошо, но тоже чудил. Его, например, ни за какие деньги, никакими уговорами нельзя было заставить работать в воскресенье. Хоть ты что делай, хоть гори все вокруг синим огнем — он в воскресенье наденет черные плисовые штаны, куртку с «молниями», намочит русый чуб, уложит его на правый бочок аккуратненькой копной и пойдет по деревне — просто так, «бурлачить».

— Женился бы хоть, телеграф, — советовала ему мать.

— Стукнет тридцать — женюсь, — отвечал Гринька.

Гриньку очень любили как-нибудь называть: «земледав» «бы́ча», «телеграф», «морда»... И все как-то шло Гриньке.

Вот какая история приключилась однажды с Гринькой.

Поехал он в город за горючим для совхоза. Поехал еще затемно. В городе заехал к знакомым, загнал машину в ограду, отоспался на диване, встал часов в девять, плотно позавтрака и поехал на центральное бензохранилище — это километрах в семнадцати от города, за горой.

День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пока доехал до хранилища, порядком умаялся.

Бензохранилище — целый городок, строгий, правильный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектара в два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны — цилиндрические, круглые, квадратные.

Гринька пристроился в длинный ряд автомашин и стал потихоньку двигаться.

Часа через три только ему закатили в кузов бочки с бензином.

Гринька подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы.

И тут — никто потом не мог сказать, как это случилось, почему — низенькую контору озарил вдруг яркий свет.

В конторе было человек шесть шоферов, две девушки за столами и толстый мужчина в очках (тоже сидел за столом). Он и оформлял бумаги.

Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице:

— Пожар!

Шарахнули из конторы.

Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко.

Люди бежали от машин.

Гринька тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек (тот, который оформлял бумаги), отбежав немного, остановился.

— Давайте брезент! Э-э! — заорал он. — Куда вы?! Успеем же!.. Э-э!..

— Бежи, сейчас рванет! Бежи, дура толстая! — крикнул кто-то из шоферов.

Несколько человек остановились. Остановился и Гринька.

— Сча-ас... Ох, и будет! — послышался сзади чей-то голос.

— Добра пропадет сколько! — ответил другой.

Кто-то заматерился. Все ждали.

— Давайте брезент! — непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.

— Уходи! — опять крикнули ему. — Вот ишак... Что тут брезентом сделаешь? Брезент...

Гриньку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. В голове точно молотком били — мягко и больно: «Скорей! Скорей!». Видел, как впереди, над машиной, огромным винтом свивается белое пламя.

Не помнил Гринька, как добежал он до машины, как включил зажигание, дванул стартер, воткнул скорость — человеческий механизм сработал быстро и точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин с горючим.

Река была в полукилометре от хранилища: Гринька правил туда, к реке.

Машина летела по целине, прыгала. Горящие бочки грохотали в кузове. Гринька закусил до крови губы, почти лег на штурвал. Крутой, обрывистый берег приближался угнетающе медленно. На косогорчике, на зеленой мокрой травке, колеса забуксовали. Машина юзом поползла назад. Гринька вспотел. Молниеносно перекинул скорость, дал левее руля, выехал. И опять выжал из мотора всю его мощь.

До берега осталось метров двадцать. Гринька открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, стал левой на подножку. В кузов не глядел — там колотились бочки и тихо шумел огонь.

Спине было жарко.

Теперь обрыв надвигался быстро. Гринька что-то медлил, не прыгал. Прыгнул, когда до берега осталось метров пять. Упал. Слышал, как с лязгом грохотнули бочки. Взвыл мотор... Потом под обрывом сильно рвануло. И оттуда вырос красивый стремительный столб огня. И стало тихо.

Гринька встал и тут же сел — в сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело.

— Мм... ногу сломал, — сказал Гринька самому себе.

К нему подбежали, засуетились. Подбежал толстый человек и заорал:

— Какого черта не прыгал, когда отъехал уже?! Направил бы ее и прыгал! Обязательно надо до инфаркта людей довести!

— Ногу сломал, — сказал Гринька.

— В герои лезут! Молокососы!.. — кричал толстый.

Один из шоферов ткнул его кулаком в пухлую грудь.

— Ты что, спятил, что ли?

Толстый оттолкнул шофера. Снял очки, трубно высморкался. Сказал с нервной дрожью в голосе:

— Лежать теперь. Черти!

Гриньку подняли и понесли.

В палате, кроме Гриньки, было еще четверо мужчин.

Один ходил с «самолетом», остальные лежали, задрав кверху загипсованные ноги. К ногам их были привязаны железяки.

Один здоровенный парень, белобрысый, с глуповатым лицом, просил того, который ходил:

— Слышь!.. Неужели у тя сердца нету?

— Нету, — спокойно отвечал ходячий.

— Эх!..

— Вот те и «эх», — ходячий остановился против койки белобрысого. — Я отвяжу, а кто потом отвечать будет?

— Я.

— Ты... Я же и отвечу. Нужно мне это. Терпи! Мне, ты думаешь, не надоела тоже вот эта штука? Надоела.

— Ты же ходишь!.. Сравнил.

— И ты будешь.

— А чего ты просишь-то? — спросил Гринька белобрысого (Гриньку только что перевели в эту палату).

— Просит, чтоб я ему гири отвязал, — пояснил ходячий. — Дурней себя ищет. Так — ты полежишь и встанешь, а если я отвяжу ты совсем не встанешь. Как дите малое, честное слово.

— Не могу я больше! — заскулил белобрысый. — Я психически заболею: двадцать вторые сутки лежу, как бревно. Я же не бревно, верно? Сейчас орать буду...

— Ори, — спокойно сказал ходячий.

— Ты что, тронулся, что ли? — спросил Гринька парня.

— Няня! — заорал тот.

— Как тебе не стыдно, Степан, — сказал с укоризной один из лежачих. — Ты же не один здесь.

— Я хочу книгу жалоб и предложений.

— Зачем она тебе?

— А чего они!.. Не могли умнее чего-нибудь придумать? Так, наверно, еще при царе лечили. Подвесили, как борова...

— Ты и есть боров, — сказал ходячий.

— Няня!

В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках (с бензохранилища, из конторы).

— Привет! — воскликнул он, увидев Гриньку. — А мне сказали сперва, что ты в каком-то другом корпусе лежишь... Едва нашел. На, еды тебе приволок. Фу-у! — мужчина сел на краешек Гринькиной кровати. Огляделся. — Ну и житье у вас, ребята!.. Лежи себе, плюй в потолок.

— Махнемся? — предложил мрачно белобрысый.

— Завтра махнемся.

— А-а!.. Нечего тогда вякать. А то сильно умные все.

— Ну как? — спросил мужчина Гриньку — Ничего?

— Все в ажуре, — сказал Гринька.

— Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко до реки оставалось?

— А сам не знаю.

— Меня, понимаешь, чуть кондрашка не хватил: сердце стало останавливаться, и все. Нервы у тебя крепкие, наверно.

— Я ж танкистом в армии был, — хвастливо сказал Гринька. — Вот попробуй пощекоти меня — хоть бы что. Попробуй!

— Хэх!.. Чудак! Ну, машину достали. Все, в общем, разворотило... Сколько лежать придется?

— Не знаю. Вон друг двадцать вторые сутки парится. С месяц, наверно.

— Перелом бедренной кости? — спросил белобрысый. — А два месяца не хочешь? «С месяц»... Быстрые все какие!

— Ну, привет тебе от наших ребят, — продолжал толстый. — Хотели прийти сюда — не пускают. Меня как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали... — мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. — Из газеты приходили, расспрашивали про тебя... А мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказано в путевке, что Малюгин, из Суртайки... Сказали, что придут сюда.

— Это ничего, — сказал Гринька самодовольно. — Я им тут речь скажу.

— Речь?.. Хэх!.. Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни — я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай!

— Ничего.

Профорг пожал Гриньке руку, сказал всем «до свиданья» и ушел.

— Ты что, герой, что ли? — спросил Гриньку белобрысый, когда за профоргом закрылась дверь.

Гринька некоторое время молчал.

— А вы разве ничего не слышали? — спросил он серьезно. — Должны же были по радио передавать.

— У меня наушники не работают, — детина щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья.

Гринька еще немного помолчал. И ляпнул:

— Меня же на Луну запускали.

У всех вытянулись лица, белобрысый даже рот приоткрыл.

— Нет, серьезно?

— Конечно. Кха! — Гринька смотрел в потолок с таким видом, как будто он на спор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится, — как будто он нисколько не сомневался в этом.

— Врешь ведь? — негромко сказал белобрысый.

— Не веришь, не верь, — сказал Гринька. — Какой мне смысл врать?

— Ну и как же ты?

— Долетел до половины, и горючего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал — неточно приземлился.

Первым очнулся человек с «самолетом».

— Вот это загнул! У меня ажник дыхание остановилось.

— Трепло! — сказал белобрысый разочарованно. — Я думал, правда.

— Завидки берут, да? — спросил Гринька и стал смотреть журналы. — Между прочим, состояние невесомости я перенес хорошо. Пульс нормальный всю дорогу.

— А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? — спросил белобрысый.

— Затяжным.

— А кто это к тебе приходил сейчас? — спросил человек с «самолетом».

— Приходил-то? — Гринька перелистнул страничку журнала. — Генерал, дважды Герой Советского Союза. Он только не в форме — нельзя.

Человек с «самолетом» громко захохотал.

— Генерал?! Ха-ха-ха!.. Я ж его знаю! Он же ж на бензохранилище работает!

— Да? — спросил Гринька.

— Да!

— Так чего же ты тогда спрашиваешь, если знаешь?

Белобрысый раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Гринька тоже засмеялся. Потом засмеялись все остальные. Лежали и смеялись.

— Ой, мама родимая!.. Ой, кончаюсь!.. — стонал белобрысый.

Гринька закрылся журналом и хохотал беззвучно.

В палату вошел встревоженный доктор.

— В чем дело, больные?

— О-о!.. О-о!.. — белобрысый только показывал на Гриньку — не мог произнести ничего членораздельно. — Гене... ха-ха-ха! Гене... хо-хо-хо!..

Смешливый старичок доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты.

И тотчас в палату вошла девушка лет двадцати трех. В брюках, накрашенная, с желтыми волосами — красивая. Остановилась в дверях, удивленно оглядела больных.

— Здравствуйте, товарищи!

Смех потихоньку стал стихать.

— Здрассте! — сказал Гринька.

— Кто будет товарищ Малюгин?

— Я, — ответил Гринька и попытался привстать.

— Лежите, лежите, что вы! — воскликнула девушка, подходя к Гринькиной койке. — Я вот здесь присяду. Можно?

— Боже мой! — сказал Гринька и опять попытался сдвинуться на койке. Девушка села на краешек белой плоской койки.

— Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.

Белобрысый перестал хохотать, смотрел то на Гриньку, то на девушку.

— Это можно, — сказал Гринька и мельком глянул на белобрысого.

Детина начал теперь икать.

— Как вы себя чувствуете? — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.

— Железно, — сказал Гринька.

Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Гриньку. Гринька тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту.

— Для начала... такие... формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились...

— Значит, так... — начал Гринька, закуривая. — А потом я речь скажу. Ладно?

— Речь?

— Да.

— Ну... хорошо... Я могу потом записать. В другой раз.

— Значит, так: родом я из Суртайки — семьдесят пять километров отсюда. А вы сами откуда?

Девушка весело посмотрела на Гриньку, на других больных; все, притихнув, смотрели на нее и на Гриньку, слушали. Белобрысый икал.

— Я из Ленинграда. А что?

— Видите ли, в чем дело, — заговорил Гринька, — я вам могу сказать следующее...

Белобрысый неудержимо икал.

— Выпей воды! — обозлился Гринька.

— Я только что пил — не помогает, — сказал белобрысый, сконфузившись.

— Значит, так... — продолжал Гринька, затягиваясь папиросой. — О чем мы с вами говорили?

— Где вы учились?

— Я волнуюсь, — сказал Гринька (ему не хотелось говорить, что он окончил только пять классов). — Мне трудно говорить.

— Вот уж никогда бы не подумала! — воскликнула девушка. — Неужели вести горящую машину легче?

— Видите ли... — опять напыщенно заговорил Гринька, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко — так, чтоб другие не слышали, доверчиво спросил: — Вообще-то в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь: вы напишите, а мне стыдно будет потом перед людями. «Вон, скажут, герой пошел!».

Девушка тихо засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Гриньку.

— Нет, это ничего, можно.

Гринька приободрился.

— Вы замужем? — спросил он.

Девушка растерялась.

— Нет... А, собственно, зачем?..

— Можно, я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.

— Что я, виноват, что ли? — сказал белобрысый и опять икнул.

Девушку Гринькино предложение поставило в тупик.

— Понимаете... я должна этот материал сдать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки. Так?

— Так, — Гринька скис.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе.

— Я понимаю.

— Где вы учились?

— В школе.

— Где, в Суртайке же?

— Так точно.

— Сколько классов кончили?

Гринька строго посмотрел на девушку.

— Пять, шестой коридор. Неженатый. Не судился еще. Все?

— Родители...

— Мать.

— Чем она занимается?

— На пенсии.

— Служили?

— Служил. В танковых войсках.

— Что вас заставило броситься к горящей машине?

— Дурость.

Девушка посмотрела на Гриньку.

— Конечно. Я же мог подорваться, — пояснил тот.

Девушка задумалась.

— Хорошо, я завтра приду к вам, — сказала она. — Только я не знаю... завтра приемный день?

— Приемный день в пятницу, — подсказал белобрысый.

— А мы сделаем! — напористо заговорил Гринька. — Тут доктор добрый такой старик, я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворала, он бюллетень выпишет.

— Приду, — девушка улыбнулась. — Обязательно приду. Принести чего-нибудь?

— Ничего не надо!

— Тут хорошо кормят, — опять вставил белобрысый. — Я уж на что — вон какой, и то мне хватает.

— Я какую-нибудь книжку интересную принесу.

— Книжку — это да, это можно. Желательно про любовь.

— Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?

Гринька мучительно задумался.

— Не знаю, — сказал он. И виновато посмотрел на девушку. — Вы сами напишите чего-нибудь, вы же умеете.

Что-нибудь такое... — Гринька покрутил растопыренными пальцами.

— Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше — на цистерны. Да?

— Конечно!

Девушка записала.

— А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты придешь? — спросил вдруг Гринька.

— Я как-нибудь сделаю.

В палату вошел доктор.

— Девушка милая, сколько вы обещали пробыть? — спросил он.

— Все, доктор, ухожу. Еще два вопроса... Вас зовут Григорий?

— Малюгин Григорий Степаныч... — Гринька взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза. — Приди, а?

— Приду, — девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Гриньке и шепнула: — Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?

— Хорошо, — Гринька ласково смотрел на девушку.

— До свиданья. Поправляйтесь. До свиданья, товарищи!

Девушку все проводили добрыми глазами.

Доктор подошел к Гриньке.

— Как дела, герой?

— Лучше всех.

— Дай-ка твою ногу.

— Доктор, пусть она придет завтра, — попросил Гринька.

— Кто? — спросил доктор. — Корреспондентка? Пусть приходит. Влюбился, что ли?

—Не я, а она в меня.

Смешливый доктор опять засмеялся:

— Ну, ну... Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.

Он посмотрел Гринькину ногу и ушел в другую палату.

— Думаешь, она придет? — спросил белобрысый Гриньку.

— Придет, — уверенно сказал Гринька. — За мной не такие бегали.

— Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, — начал рассказывать белобрысый, — так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему три часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне да-

же пол-литра не поставил. «Я, — говорит, — непьющий», то-се, — начал вилять.

Гринька смотрел в потолок, не слушал белобрысого. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.

— Слышь, друг! — окликнул его белобрысый.

— Спит, — сказал человек с «самолетом». — Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.

— Шебутной парень, — похвалил белобрысый. — В армии с такими хорошо.

Гринька долго лежал, слушал разговоры про разные подвиги, потом действительно заснул.

И приснился ему такой сон.

Будто он в какой-то незнакомой избе — нарядный, в хромовых сапогах, в плисовых штанах — вышел на круг, поднял руку и сказал: «Ритмический вальс».

Гринька, когда служил в армии, все три года учился танцевать ритмический вальс и так и не научился — не смог.

И вот будто пошел он по кругу да так здорово пошел — у самого сердце радуется. И он знает, что на него смотрит девушка-корреспондентка. Он не видел ее, а знал, чувствовал, что стоит она в толпе и смотрит на него.

Проснулся он от того, что кто-то негромко позвал его:

— Гриньк...

Гринька открыл глаза — на кровати сидит мать, вытирает концом полушалка слезы.

— Ты как тут? — удивился Гринька.

— Сказали мне... в сельсовете. Как же это получилось-то, сынок?

— Ерунда, не плачь. Срастется.

— И вечно тебя несет куда-то, дурака. Никто небось не побежал...

— Ладно, — негромко перебил Гринька. — Начинается.

Мать полезла в мешочек, который стоял у ее ног.

— Привезла тут тебе... Ешь хоть теперь больше. Господи, господи, что за наказание такое! Что-нибудь да не так. — Потом мать посмотрела на других больных, склонилась к сыну, спросила негромко: — Деньжонок-то нисколько не дали?

Гринька сморщился, тоже мельком глянул на товарищей и тоже негромко сказал:

— Ты чо? Ненормальная какая-то...

— Лежи, лежи... нормальный! — обиделась мать. И опять полезла в торбочку и стала вынимать оттуда шанежки и пирожки. — Изба-то завалится скоро... Нормальный!..

— Все, на эту тему больше не реагирую, — отрезал Гринька.

На другой день Гриньке принесли газету, где была небольшая заметка о нем. В ней рассказывалось, как он, Гринька, рискуя жизнью, спас государственное имущество. Называлась заметка «Мужественный поступок» Подпись: «А.Сильченко».

Гринька прочитал заметку и спрятал газету под подушку.

— Не в этом же дело, — проворчал он.

А.Сильченко не пришла. Гринька ждал ее два дня, потом понял: не придет.

— Не уважаю стиляг, — сказал он белобрысому.

Тот поддакнул:

— Я их вообще не перевариваю.

Гринька вынул из тумбочки лист бумаги и спросил детину:

— Стихи любишь?

— Нет, — признался тот.

— Надо любить, — посоветовал Гринька, — вот слушай:

Мечтал ли в жизни я когда
Стать стихотворцем и поэтом;
Двадцать пять лет из-под пера не шла строка,
А вот сейчас пишу куплеты.

Белобрысый слушал нахмурившись.

— Ну как? — спросил Гринька.

— Ничего, — похвалил детина. — Это кому ты?

Гринька промолчал на это. Положил лист на тумбочку, взял карандаш и стал смотреть в потолок.

— Поэму буду сочинять, — сказал он. — Про свою жизнь. Все равно делать нечего.

КЛАССНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Весной, в начале сева, в Быстрянке появился новый парень — шофер Пашка Холманский. Сухой, жилистый, легкий на ногу. С круглыми изжелта-серыми смелыми глазами, с прямым тонким носом, рябоватый, с крутой ломаной бровью, не то очень злой, не то красивый. Смахивал на какую-то птицу.

Пашка был родом из кержаков, откуда-то с верхних сел по Катуни, но решительно ничего не усвоил из старомодного неповоротливого кержацкого уклада.

В Быстрянку он попал так.

Местный председатель колхоза Прохоров Ермолай возвращался из города на колхозном «газике». Посреди дороги у них лопнула рессора. Прохоров, всласть наругавшись с шофером, стал голосовать попутным машинам. Две не остановились, а третья, полуторка, притормозила. Шофер откинул дверцу

— Куда?

— До Быстрянки.

— А Салтон — это дальше или ближе?

— Малость ближе. А что?

— Садись до Салтона. Дорогу покажешь.

— Поехали.

Шофер сидел, откинувшись на спинку сиденья; правая рука — на штурвале, левая — локтем — на дверце кабины. Смотрел вперед, на дорогу, задумчиво щурился.

Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одной встречной машиной разминулись так близко, что у председателя дух захватило. Он посмотрел на шофера: тот сидел как ни в чем не бывало, щурился.

— Ты еще головы никогда не ломал? — спросил Прохоров.

— А?.. Ничего. Не трусь, дядя. Главное в авиации что? — улыбнулся шофер. Улыбка простецкая, добрая.

— Главное в авиации — не трепаться, по-моему.

— Нет, не то, — парень совсем отпустил штурвал и полез в карман за папиросами. Его, видно, забавляло, что пассажир трусит.

Прохоров стиснул зубы и отвернулся.

В этот момент полуторку основательно подкинуло. Прохоров инстинктивно схватился за дверцу. Свирепо посмотрел на шофера.

— Ты!.. Авиатор!

Парень опять улыбнулся.

— Уважаю скорость, — признался он.

Прохоров внимательно посмотрел в глаза парню: парень чем-то нравился ему.

— Ты в Салтон зачем едешь?

— В командировку.

— На сев, что ли?

— Да... помочь мужичкам надо.

Хитрый Прохоров некоторое время молчал. Закурил тоже. Он решил переманить шофера в свой колхоз.

— В сам Салтон или в район?

— В район. Деревня Листвянка... Хорошие места тут у вас.

— Тебя как зовут-то?

— Меня-то? Павлом. Павел Егорыч.

— Тезки с тобой, — сказал Прохоров. — Я тоже по батьке Егорыч. Поехали ко мне, Егорыч?

— То есть как?

— Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — это дыра, я тебе должен сказать. А у нас деревня...

— Что-то не понимаю: у меня же в командировке сказано...

— Да какая тебе разница?! Я тебе дам такой же документ... что ты отработал на посевной — все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. А?

— Клуб есть? — спросил Пашка.

— Клуб? Ну как же!

— Сфотографировано.

— Что?

— Согласен, говорю! Пирамидон.

Прохоров заискивающе посмеялся.

— Шутник ты... (один лишний шофер да еще с машиной на посевной — это пирамидон, да еще какой!). Шутник ты, Егорыч.

— Стараюсь. Значит, клубишко имеется?

— Имеется, Паша. Вот такой клуб — бывшая церковь!

— Помолимся, — сказал Пашка.

Оба — Прохоров и Пашка — засмеялись.

Так попал Павел Егорыч в Быстрянку.

Жил Пашка у Прохорова. Быстро сдружился с хозяйкой, женой Прохорова, охотно беседовал с ней вечерами.

— Жена должна чувствовать! — утверждал Пашка, с удовольствием уписывая жирную лапшу с гусятиной.

— Правильно, Егорыч, — поддакивал Ермолай, согнувшись пополам, стаскивая с ноги тесный сапог. — Что это за жена, которая не чувствует?

— Если я прихожу домой, — продолжал Пашка, — так? — усталый, грязный — то, се, я должен первым делом видеть энергичную жену. Я ей, например: «Здорово, Маруся!». Она мне весело: «Здорово, Павлик! Ты устал?».

— А если она сама, бедная, наработается за день, то откуда же у нее веселье возьмется? — замечала хозяйка.

— Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю: пирамидон. И меня потянет к другим. Верно, Егорыч?

— Абсолютно! — поддакивал Прохоров.

Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками.

В клубе Пашка появился на второй день после своего приезда. Сдержанно веселый, яркий: в бордовой рубахе с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой русой хмелиной завивался чуб.

— Как здесь население... ничего? — равнодушно спросил он у одного парня, а сам ненароком обшаривал глазами танцующих: хотел знать, какое он произвел впечатление на «местное население».

— Ничего, — ответил парень.

— А ты, например, чего такой кислый?

— А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? — обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился:

— Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

— Смотри, как бы тебе самому не навели тут.

— Ничего, — Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят в зале. Его тоже рассматривали.

Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое, недружелюбное поначалу волновало его. Больше всего, конечно, интересовали девки.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

— Что за дивчина? — спросил Пашка у того же парня; он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не захотел с ним разговаривать, отошел.

Заиграли вальс.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился ей и громко сказал:

— Предлагаю на тур вальса!

Все подивились изысканности Пашки; на него стали смотреть с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо; Пашка, не мигая, ласково смотрел на девушку.

Закружились.

Настя была несколько тяжела в движениях, ленива. Зато Пашка с ходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать — смотрели на него. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился... Но окончательно он доконал публику, когда, отойдя несколько от Насти, но не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом.

Все так и ахнули. А Пашка смотрел куда-то выше «местного населения» с таким видом, точно хотел сказать: «Это еще не все. Будет когда-нибудь настроение — покажу коечто. Умел когда-то».

Настя раскраснелась, ходила все так же медленно, плавно.

— Ну и трепач ты! — весело сказала она, глядя в глаза Пашке.

Пашка ухом не повел.

— Откуда ты такой?

— Из Москвы, — небрежно бросил Пашка.

— Все у вас там такие?

— Какие?

— Такие... воображалы.

— Ваша серость меня удивляет, — сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась.

Пашка был серьезен.

— Вы мне нравитесь, — сказал он. — Я такой идеал давно искал.

— Быстрый ты, — Настя в упор посмотрела на Пашку.

— Я на полном серьезе!

— Ну и что?

— Я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахаля. Договорились?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Пашка не обратил на это никакого внимания.

Вальс кончился.

Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе.

Парни косились на него. Пашка знал, что так бывает всегда.

— Тут поблизости забегаловки нигде нету? — спросил он, подходя к группе курящих.

Парни молчали, смотрели на Пашку насмешливо.

— Вы что, языки проглотили?

— Тебе не кажется, что ты здесь слишком бурную деятельность развил? — спросил тот самый парень, с которым Пашка говорил до танца.

— Нет, не кажется.

— А мне кажется.

— Крестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

— Выйдем на пару минут... потолкуем?

Пашка отрицательно качнул головой.

— Не могу.

— Почему?

— Накостыляете сейчас ни за что... Потом когда-нибудь потолкуем. Вообще-то чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому еще на мозоль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились.

Пока разговаривали, заиграло танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок.

Тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что, кажется, у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок, прищурился.

— Посмотрим, кто кого сфотографирует, — сказал он и поправил фуражку. — Где он?

— Кто?

— Инженеришка.

— Его нету сегодня.

— Я интеллигентов одной левой делаю.

Танго кончилось.

Пашка прошел к Насте.

— Вы мне не ответили на один вопрос.

— На какой вопрос?

— Я вас провожаю сегодня до хаты?

— Я одна дойду. Спасибо.

Пашка сел рядом с девушкой. Круглые кошачьи глаза его опять смотрели серьезно.

— Поговорим, как жельтмены.

— Боже мой, — вздохнула Настя, поднялась и пошла в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него сочувственно посмеивались. Он не чувствовал позора. Только стало больно под ложечкой. Горячо и больно. Он тоже встал и пошел из клуба.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего: попросил у Прохорова вышитую рубаху, перепоясал ее синим шелковым пояском с кистями, надел свои диагоналевые синие галифе, бостоновый пиджак — и появился в здешней библиотеке (Настя работала библиотекарем, о чем Пашка заблаговременно узнал).

— Здравствуйте! — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой и избой-читальней одновременно.

В библиотеке была только Настя, и у стола сидел молодой человек, смотрел «Огонек».

Настя поздоровалась с Пашкой и улыбнулась ему, как старому знакомому.

Пашка подошел к ее столу и начал спокойно рассматривать книги — на Настю ноль внимания. Он сообразил,

что парень с «Огоньком» и есть тот самый инженер, жених Насти.

— Почитать что-нибудь? — спросила Настя, несколько удивленная тем, что Пашка не узнал ее.

— Да, надо, знаете...

— Что хотите? — Настя невольно перешла на «вы».

— «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал.

Парень отложил «Огонек» и посмотрел на Пашку.

Настя хотела засмеяться, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержала смех.

— Как ваша фамилия?

— Холманский Павел Егорыч. Год рождения тысяча девятьсот тридцать пятый, водитель-механик второго класса.

Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом оглянулся. Инженер наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка растерялся и... подмигнул ему.

— Кроссвордами занимаемся?

Инженер не сразу нашелся что ответить.

— Да... А вы, я смотрю, глубже берете.

— Между прочим, Гена, он тоже из Москвы, — сказала Настя.

— Ну?! — Гена искренне обрадовался. — Вы давно оттуда? Расскажите хоть, что там нового.

Пашка излишне долго расписывался в карточке. Молчал.

— Спасибо, — сказал он Насте. Подошел к столу, швырнул толстый том, протянул Гене руку — Павел Егорыч.

— Гена. Очень рад!

— Москва-то? — переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. — Шумит Москва, шумит... — и сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил: — Люблю смешные журналы! Особенно про алкоголиков — так разрисуют всегда...

— Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?

— Из Москвы-то? — Пашка перелистнул страничку журнала. — А я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала.

— Вы же мне вчера в клубе сами говорили! — изумилась Настя.

Пашка глянул на нее.

— Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена — на Пашку.

Пашка разглядывал картинки.

— Странно, — сказала Настя. — Значит, мне приснилось.

— Бывает, — согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал. — Вот пожалуйста — очковтиратель, — сказал он, подавая журнал Гене. — Кошмар!

Гена улыбнулся.

— Вы на посевную к нам?

— Так точно, — Пашка оглянулся на Настю: та с интересом разглядывала его. Пашка отметил это. — Сыграем в пешки? — предложил он инженеру.

— В пешки? — удивился инженер. — Может, в шахматы?

— В шахматы скучно, — сказал Пашка (он не умел в шахматы). — Думать надо. А в пешечки раз, два — и готово.

— Можно и в пешки, — согласился Гена и посмотрел на Настю.

Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним.

— За фук берем? — спросил Пашка.

— Как это?

— За то, что человек прозевает, когда ему надо рубить, берут пешку, — пояснила Настя.

— А-а... Можно брать. Берем.

Пашка быстренько расставил шашки на доске. Взял две, спрятал за спиной.

— В какой?

— В левой.

— Ваша не пляшет, — ходил первым Пашка.

— Сделаем так, — начал он, устроившись удобнее на стуле: выражение его лица было довольное и хитрое. — Здесь курить, конечно, нельзя? — спросил он Настю.

— Нет, конечно.

— По — что? — нятно! — Пашка пошел второй. — Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.

Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал против этого.

— Погоди! Ну так же нельзя, слушай... зачем же подсказывать?

— Ты же неверно ходишь!

— Ну и что! Играю-то я.

— Учиться надо.

Пашка улыбался. Он ходил уверенно, быстро.

— Вон той, Гена, крайней, — опять не стерпела Настя.

— Нет, я не могу так! — возмутился Гена. — Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально.

— А чего ты волнуешься-то? Вот чудак!

— Как же мне не волноваться?

— Волноваться вредно, — встрял Пашка и подмигнул незаметно Насте.

Настя покраснела.

— Ну и проиграешь сейчас! Принципиально.

— Нет, зачем?.. Тут еще полно шансов сфотографировать меня, — снисходительно сказал Пашка. — Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.

— Теперь проиграл, — с досадой сказала Настя.

— Занимайся своим делом! — обиделся Гена. — Нельзя же так в самом деле. Отойди!

— А еще инженер, — Настя встала и пошла к своему месту.

— Это уже... не остроумно. При чем тут инженер-то?

— Боюсь ему понравиться-а, — запела Настя и ушла в глубь библиотеки.

— Женский пол, — к чему-то сказал Пашка.

Инженер спутал на доске шашки, сказал чуть охрипшим голосом:

— Я проиграл.

— Выйдем покурим? — предложил Пашка.

— Пойдем.

В сенях, закуривая, инженер признался:

— Не понимаю: что за натура? Во все обязательно вмешивается.

— Ничего, — неопределенно сказал Пашка. — Давно здесь?

— Что?

— Я, мол, давно здесь живешь-то?

— Живу-то? Второй месяц.

— Жениться хочешь?

Инженер с удивлением глянул на Пашку.

— На ней? Да. А что?

— Ничего. Хорошая девушка. Она любит тебя?

Инженер вконец растерялся.

— Любит?.. По-моему, да.

Помолчали. Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик сигареты. Инженер хмыкнул и спросил:

— Ты «Капитал» действительно читаешь?

— Нет, конечно, — Пашка небрежно прихватил губами сигаретку — в уголок рта, сощурился, заложил ладони за поясок, коротким, быстрым движением расправил рубаху. — Может, в кинишко сходим?

— А что сегодня?

— Говорят, комедия какая-то.

— Можно.

— Только это... пригласи ее... — Пашка кивнул на дверь библиотеки, нахмурился участливо.

— Ну а как же! — тоже серьезно сказал инженер. — Я сейчас зайду к ней... поговорю...

— Давай, давай!

Инженер ушел, а Пашка вышел на крыльцо, облокотился о перила и стал смотреть на улицу.

...В кино сидели вместе все трое. Настя — между инженером и Пашкой.

Едва только погасили свет, Пашка придвинулся ближе к Насте и взял ее за руку. Настя молча отняла руку и отодвинулась. Пашка как ни в чем не бывало стал смотреть на экран. Посмотрел минут десять и опять стал осторожно искать руку Насти. Настя вдруг придвинулась к нему и едва слышно шепнула на ухо:

— Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка моментально убрал руку.

Посидел еще минут пять. Потом наклонился к Насте и тоже шепотом сказал:

— У меня сердце разрывается, как осколочная граната.

Настя тихонько засмеялась. Пашка опять начал искать ее руку Настя обратилась к Гене:

— Дай я пересяду на твое место.

— Загораживают, да? Эй, товарищ, убери свою голову! — распорядился Пашка.

Впереди сидящий товарищ «убрал» голову.

— Теперь ничего?

— Ничего, — сказала Настя.

В зале было шумно. То и дело громко смеялись.

Пашка согнулся в три погибели, закурил и стал торопливо глотать сладкий дым. В светлых лучах отчетливо закучерявились синие облачка, Настя толкнула его в бок:

— Ты что?

Пашка погасил папироску... Нашел Настину руку, с силой пожал ее и, пригибаясь, пошел к выходу. Сказал на ходу Гене:

— Пусть эту комедию тигры смотрят.

На улице Пашка расстегнул ворот рубахи, закурил. Медленно пошел домой.

Дома, не раздеваясь, прилег на кровать.

— Ты чего такой грустный? — спросил Ермолай.

— Да так... — сказал Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил: — Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

— Как это? — не понял Ермолай.

— Ну как раньше... Раньше ведь воровали?

— А-а! Черт его знает! А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады без воровства.

— Это конечно. Я так просто, — согласился Пашка. Еще немного помолчал. — И статьи, конечно, за это никакой нет?

— Наверно. Я не знаю, Павел.

Пашка встал с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал.

— В жизни раз бывает восемна-адцать лет, — запел он вдруг. — Егорыч, на — рубаху. Сэнк-ю!

— Чего вдруг!

— Так, — Пашка скинул вышитую рубаху Прохорова, надел свою. Постоял посреди комнаты, еще подумал. — Сфотографировано, Егорыч!

— Ты что, девку какую-нибудь надумал украсть? — спросил Ермолай.

Пашка засмеялся, ничего не сказал, вышел на улицу. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки. Тарахтел где-то движок.

Пашка вошел в РТС, где стояла его машина.

Во дворе РТС его окликнули.

— Свои, — сказал Пашка.

— Кто свои?

— Холманский.

— Командировочный, что ль?

— Ну.

В круг света вышел дедун сторож, в тулупе, с берданкой.

— Ехать, что ль?

— Ехать.

— Закурить имеется?

— Есть.

Закурили.

— Дождь, однако, ишо будет, — сказал дед и зевнул. — Спать клонит в дождь.

— А ты спи, — посоветовал Пашка.

— Нельзя. Я тут давеча соснул было, дак заехал этот...

Пашка прервал словоохотливого старика:

— Ладно, батя, я тороплюсь.

— Давай, давай, — старик опять зевнул.

Пашка завел свою полуторку и выехал со двора РТС.

Он знал, где живет Настя — у самой реки над обрывом.

Днем разговорились с Прохоровым, и он показал Пашке этот дом. Пашка запомнил, что окна горницы выходят в сад.

Сейчас Пашку волновал один вопрос: есть у Платоновых собака или нет?

На улицах в деревне никого не было. Даже парочки попрятались. Пашка ехал на малой скорости, опасаясь влететь куда-нибудь.

Подъезжая к Настиному дому, он совсем почти сбросил газ, вылез из кабины. Мотор не заглушил.

— Так, — негромко сказал он и потер ладонью грудь: он волновался.

Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Сердце Пашки громко заколотилось.

«Только бы собаки не было».

Он кашлянул, осторожно потряс забор — во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши.

«Ну, Пашка... или сейчас в лоб получишь, или...»

Он тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал сзади приглушенное ворчание своей верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Весна исходила соком. Пахло погребом.

Пашка, пока шел по саду, мысленно пел песню про восемнадцать лет, одну и ту же фразу: «В жизни раз бывает восемнадцать лет». Он весь день сегодня пел эту песню.

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке. Перевел дух.

«Одна она тут спит или нет?» — возник новый вопрос.

Он вынул фонарик, включил и направил в окно. Желтое пятно света поползло по стенкам, вырывая из тьмы отдельные предметы: печка-голландка, дверь, кровать... Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову — Настя. Не испугалась. Легко вскочила и пошла к окну в одной ночной рубашке. Пашка выключил фонарик.

Настя откинула крючки и раскрыла окно.

Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

— Ты что? — спросила она негромко. Голос ее насторожил Пашку — какой-то отчужденный.

«Неужели узнала?» — испугался он. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал.

Настя отошла от окна. Пашка включил фонарик. Настя прошла к двери, закрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь.

«Не узнала. Иначе не разгуливала бы в одной рубахе».

Пашка услышал запах ее волос. В голову ударил горячий туман. Он отстранил ее и полез в окно.

— Додумался? — сказала Настя слегка потеплевшим голосом.

«Додумался, додумался, — думал Пашка. — Сейчас будет цирк».

— Ноги-то вытри, — сказала Настя, когда Пашка влез в горницу и очутился с ней рядом.

Пашка продолжал молчать. Обнял ее, теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесемка.

— Ох, — глубоко вздохнула Настя, — что ж ты делаешь? Шальной!..

Пашка начал ее целовать. И тут что-то случилось с Настей: она вдруг вывернулась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

«Все. Конец». Пашка приготовился к самому худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. Он отошел на всякий случай к окну.

Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком почти нагая.

Пашка ласково улыбнулся ей.

— Испугалась?

Настя схватила со стула юбку и стала надевать. Надела, подошла к Пашке. Не успел он подумать о чем-либо, как

ощутил на левой щеке сухую горячую пощечину. И тотчас такую же — на правой.

Потом некоторое время стояли друг против друга, смотрели... У Насти от гнева расцвел на щеках яркий румянец. Она была поразительно красива в эту минуту.

«Везет инженеру», — невольно подумал Пашка.

— Сейчас же убирайся отсюда! — негромко приказала Настя.

Пашка понял, что она не будет кричать — не из таких.

— Побеседуем, как жельтмены, — заговорил Пашка, закуривая. — Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость, — он бросил спичку в окно и продолжал развивать свою мысль несколько торопливо, ибо опасался, что Настя возьмет в руки какой-нибудь тяжелый предмет и снова предложит убираться. От волнения Пашка стал прохаживаться по горнице — от окна к столу и обратно. — Я влюблен, так. Это факт, а не реклама. И я одного только не понимаю: чем я хуже этого инженера? Если на то пошло, я могу легко стать Героем Социалистического Труда. Надо только сказать мне об этом. И все. Зачем же тут аплодисменты устраивать? Собирайся и поедем со мной. Будем жить в городе, — Пашка остановился. Смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее, любил, как никого никогда в жизни еще не любил.

Она поняла это.

— Какой же ты дурак, парень, — грустно и просто сказала она. — Чего ты мелешь тут? — она села на стул. — Натворил делов и еще философствует, ходит. Он любит!.. — Настя странно как-то заморгала, отвернулась. Пашка понял: заплакала. — Ты любишь, а я, по-твоему, не люблю? — Настя резко повернулась к нему — в глазах слезы.

Она была на редкость, на удивление красива. И тут Пашка понял: никогда в жизни ему не отвоевать ее. Всегда у него так: как что чуть посерьезнее, поглубже — так не его.

— Чего ты плачешь?

— Да потому, что вы только о себе думаете... эгоисты несчастные! Он любит! — она вытерла слезы. — Любишь, так уважай хоть немного, а не так...

— Что же я такого сделал? В окно залез — подумаешь! Ко всем лазят...

— Не в окне дело. Дураки вы все, вот что. Тот дурак тоже... весь высох от ревности. Приревновал ведь он к тебе. Уезжать собрался.

— Как уезжать? Куда? — Пашка понял, кто этот дурак.

— Куда... Спроси его!

Пашка нахмурился.

— На полном серьезе?

Настя опять вытерла ладошкой слезы, ничего не сказала.

Пашке стало до того жалко ее, что под сердцем заныло.

— Собирайся! — приказал он.

Настя вскинула на него удивленные глаза.

— Поедем к нему. Я объясню этим московским фраерам, что такое любовь человеческая.

— Сиди уж... не трепись!

— Послушайте, вы!.. Молодая, интересная... — Пашка приосанился. — Мне можно съездить по физиономии, так? Но слова вот эти дурацкие я не перевариваю. Что значит — не трепись?

— Куда ты поедешь сейчас? Ночь глубокая...

— Наплевать. Одевайся. На — кофту!

Пашка снял со спинки стула кофту, бросил Насте. Настя поймала ее, поднялась в нерешительности.

Пашка опять заходил по горнице.

— Из-за чего же это он приревновал? — спросил он не без самодовольства.

— Танцевали... ему сказал кто-то. Потом в кино шептались. Он же дурак набитый.

— Что же ты не могла ему объяснить?

— Нужно мне объяснять! Никуда я не поеду.

Пашка остановился.

— Считаю до трех: раз, два... А то целоваться полезу!

— Я те полезу! Что ты ему скажешь?

— Я знаю что!

— А я к чему там?

— Надо.

— Да зачем?

— Я не знаю, где он живет. Вообще надо ехать. Точка.

Настя надела кофту, туфли.

— Лезь. Я за тобой. Видел бы кто-нибудь сейчас...

Пашка вылез в сад, помог Насте. Вышли на дорогу.

Полуторка ворчала на хозяина.

— Садись, ревушка-коровушка!.. Возись тут с вами по ночам.

Пашке эта новая нежданная роль нравилась.

Настя залезла в кабину.

— Меня, что ли, хотел увозить? На машине-то?

— Где уж тут!.. С вами вперед прокиснешь, чем...

— Ну до чего ты, Павел...

— Что? — строго спросил Пашка.

— Ничего.

— То-то, — Пашка со скрежетом всадил скорость и поехал.

...Инженер не спал, когда Пашка постучал ему в окно.

— Кто это?

— Я.

— Кто я?

— Пашка. Павел Егорыч.

Инженер открыл дверь, впустил Пашку. Не скрывая удивления, уставился на него.

Пашка кивнул на стол, заваленный бумагами.

— Грустные стихи сочиняешь?

— Я не понимаю, слушай...

— Поймешь, — Пашка сел к столу, отодвинул локтем бумаги. — Любишь Настю?

— Слушай!..—инженер начал краснеть.

— Любишь. Значит, так: иди веди ее сюда — она в машине сидит.

— Где? В какой машине?

— На улице. Ко мне зря приревновал: мне с хорошими бабами не везет.

Инженер быстро вышел на улицу, а Пашка, Павел Егорыч, опустил голову на руки и закрыл глаза. Он как-то сразу устал. Опять некстати вспомнились надоевшие слова: «В жизни раз бывает...». В груди противно заболело.

Вошли инженер с Настей.

Пашка поднялся. Некоторое время смотрел на них, как будто собирался сказать напутственное слово.

— Все? — спросил он.

— Все, — ответил инженер.

Настя улыбнулась.

— Вот так, — сердито сказал Пашка. — Будьте здоровы, — он пошел к выходу.

— Куда ты? Погоди!.. — запротестовал инженер. Пашка, не оглянувшись, вышел.

Уезжал Пашка из этой деревни. Уезжал в Салтон, Прохорову он подсунул под дверь записку с адресом автобазы, куда просил прислать справку о том, что он отработал честно три дня на посевной. Представив себе, как будет огорчен Прохоров его отъездом, Пашка дописал в конце: «Прости меня, но я не виноват».

Пашке было грустно. Он беспрерывно курил.

Пошел мелкий дождь.

У Игренева, последней деревни перед Салтоном, на дороге впереди выросли две человеческие фигуры. Замахали руками, Пашка остановился.

Подбежали молоденький офицер с девушкой.

— До Салтона подбрось, пожалуйста! — офицер был чем-то очень доволен.

— Садись!

Девушка залезла в кабину и стала вертеться, отряхиваться. Лейтенант запрыгнул в кузов. Начали переговариваться, хохотали.

Пашка искоса разглядывал девушку — хорошенькая, белозубая, губки бантиком — прямо куколка! Но до Насти ей далеко.

— Куда это на ночь глядя? — спросил Пашка.

— В гости, — охотно откликнулась девушка. И высунулась из кабины — опять говорить со своим дружком. — Саша? Саш!.. Как ты там?!

— В ажуре! — кричал из кузова лейтенант.

— Что, дня не хватает? — опять спросил Пашка.

— Что? — девушка мельком глянула на него и опять: — Саша? Саш!..

— Все начисто повлюблялись, — проворчал Пашка. — С ума все посходили, — он вспомнил опять Настю: совсем недавно она сидела с ним рядом — чужая. И эта чужая.

— Саша! Саш!..

«Саша! Саш! — съехидничал про себя Пашка. — Твой Саша и так сам себя не помнит от радости. Пусти сейчас — вперед машины побежит».

— Я представляю, что там сейчас будет! — кричал из кузова Саша.

Девушка так и покатилась со смеху.

«Нет, люди все-таки ненормальными становятся в это время», — сердито думал Пашка.

Дождь припустил сильнее.

— Саша! Как ты там?!

— Порядок! На борту порядок!

— Скажи ему — там под баллоном брезент есть — пусть накроется, — сказал Пашка.

Девушка чуть не вывалилась из кабины,

— Саша! Саш!.. под баллоном какой-то брезент!.. Накройся!

— Хорошо! Спасибо!

— На здоровье, — сказал Пашка, закурил и задумался, всматриваясь прищуренными глазами в дорогу.

ИГНАХА ПРИЕХАЛ

В начале августа в погожий день к Байкаловым приехал сын Игнатий. Большой, красивый, в черном костюме из польского крепа. Пинком распахнул ворота — в руках по чемодану, — остановился, оглядел родительский двор и гаркнул весело:

— Здорово, родня!

Молодая яркая женщина, стоявшая за ним, сказала с упреком:

— Неужели нельзя потише?.. Что за манера!

— Ничего-о, — загудел Игнатий, — сейчас увидишь, как обрадуются.

Из дому вышел квадратный старик с огромными руками. Тихо засмеялся и вытер рукавом глаза.

— Игнашка!.. — сказал он и пошел навстречу Игнатию.

Игнатий бросил чемоданы. Облапали друг друга, трижды — крест-накрест — поцеловались. Старик опять вытер глаза.

— Как надумал-то?

— Надумал.

— Сколько уж не был? Лет пять, однако. Мать у нас захворала, знаешь... В спину что-то вступило...

Отец и сын глядели друг на друга, не могли наглядеться.

О женщине совсем забыли. Она улыбалась и с интересом рассматривала старика.

— А это жена, что ли? — спросил наконец старик.

— Жена, — спохватился Игнатий. — Познакомься. Женщина подала старику руку. Тот осторожно пожал ее.

— Люся.

— Ничего, — сказал старик, окинув оценивающим взглядом Люсю.

— А?!—с дурашливой гордостью воскликнул Игнатий.

— Пошли в дом, чего мы стоим тут! — старик первым двинулся к дому.

— Как мне называть его? — тихо спросила Люся мужа.

Игнатий захохотал.

— Слышь, тять!.. Не знает, как называть тебя!

Старик тоже засмеялся.

— Отцом вроде довожусь... — он молодо взошел на крыльцо, заорал в сенях: — Мать, кто к нам приехал-то!

В избе на кровати лежала горбоносая старуха, загорелая и жилистая. Увидела Игнатия — заплакала.

— Игнаша, сынок... приехал...

Сын наскоро поцеловал мать и полез в чемоданы. Гулкий сильный голос его сразу заполнил всю избу.

— Шаль тебе привез... пуховую. А тебе, тять, сапоги. А Маруське — во!.. А это Ваське... Все тут живы-здоровы?

Отец с матерью, для приличия снисходительно улыбаясь, с интересом наблюдали за движениями сына — он все доставал и доставал из чемоданов.

— Все здоровы. Мать вон только... — отец протянул длинную руку к сапогам, бережно взял один и стал щупать, мять, поглаживать добротный хром. — Н 1чего товар... Васька износит. Мне уж теперь ни к чему такие.

— Сам будешь носить. Вот Маруське еще на платье, — Игнатий выложил все, присел на табурет. Табурет жалобно скрипнул под ним. — Ну, рассказывайте, как живете? Соскучился без вас.

— Соскучился, так раньше бы приехал

— Дела, тятя.

— Дела... — отец почему-то недовольно посмотрел на молодую жену сына. — Какие уж там дела-то!..

— Ладно тебе, отец, — сказала мать. — Приехал — и то слава богу.

Игнатию не терпелось рассказать о себе, и он воспользовался случаем возразить отцу, который, судя по всему, не очень высоко ставил его городские дела. Игнатий был борцом в цирке. В городе у него была хорошая квартира, были друзья, деньги, красивая жена...

— Ты говоришь: «Какие там дела!» — заговорил Игнатий, положив ногу на ногу и ласково глядя на отца. — Как тебе объяснить? Вот мы, русские, крепкий ведь народишка! Посмотришь на другого — черт его знает!.. — Игнатий встал, прошелся по комнате. — В плечах сажень, грудь как у жеребца породистого, — силен! Но чтобы научиться владеть этой силой, освоить технику, выступить где-то на соревнованиях — это боже упаси! Он будет лучше в одиночку на медведя ходить. Дикости еще много в нашем народе. О культуре тела никакого представления. Физкультуры боится, как черт ладана. Я же помню, как мы в школе профанировали ее, — с последними словами Игнатий обратился к жене.

Как-то однажды Игнатий набрел на эту мысль — о преступном нежелании русского народа заниматься физкультурой, кому-то высказал ее, его поддержали. С тех пор он так часто распространялся об этом, что, когда сейчас заговорил и все о том же, жена его заскучала и стала смотреть в окно.

— ...Поэтому, тятя, как ты хоть думай, но дело у меня важное. Может, поважнее Васькиного.

— Ладно, — согласился отец. Он слушал невнимательно. — Мать, где там у нас?.. В лавку пойду.

— Погоди, — остановил его Игнатий. — Зачем в лавку?

Вкусив от сладостного плода поучений, он хотел было еще поговорить о том, что надо и эту привычку бросать русским людям: чуть что — сразу в лавку. Зачем, спрашивается? Но отец так глянул на него, что он сразу отступился, махнул рукой, вытащил из кармана толстый бумажник, шлепнул на стол:

— На деньги!

Отец обиженно приподнял косматые брови.

— Ты брось тут, Игнаха!.. Приехал в гости — значит, сиди помалкивай. Что, у нас своих денег нету?

Игнатий засмеялся.

— Ладно, понял. Ты все такой же, отец.

...Сидели за столом, выпивали.

Старик Байкалов размяк, облапал узловатыми ладонями голову, запел было:

Зачем сидишь до полуночи
У растворенного окна,
Ох, зачем сидишь...

Но замолчал. Некоторое время сидел, опустив на руки голову. Потом сказал с неподдельной грустью:

— Кончается моя жизнь, Игнаха. Кончается! — он ругнулся.

Жена Игнатия покраснела и отвернулась к окну. Игнатий сказал с укором:

— Тятя!

— А ты, Игнат, другой стал, — продолжал отец, не обратив никакого внимания на упрек сына. — Ты, конечно, не замечаешь этого, а мне сразу видно.

Игнатий смотрел трезвыми глазами на отца, внимательно слушал его странные речи.

— Ты давеча вытащил мне сапоги... Спасибо, сынок! Хорошие сапоги...

— Не то говоришь, отец, — сказал Игнатий. — При чем тут сапоги?

— Не обессудь, если не так сказал, — я старый человек. Ладно, ничего. Васька скоро придет, брат твой... Здоровый он стал! Он тебя враз сомнет, хоть ты и про физкультуру толкуешь. Ты жидковат против Васьки. Куда там!..

Игнатий засмеялся; к нему вернулась его необидная веселая снисходительность.

— Посмотрим, посмотрим, тятя.

— Давай еще по маленькой? — предложил отец.

— Нет, — твердо сказал Игнатий.

— А! Вот муж какой у тебя! — не без гордости заметил старик, обращаясь к жене Игнатия. — Наша порода — Байкаловы. Сказал «нет» — значит все. Гроб! Я такой же был. Вот еще Васька придет. А еще у нас Маруська есть. Та покрасивше тебя будет, хотя она, конечно, не расфуфыренная...

— Ты, отец, разговорился что-то, — урезонила жена старика. — Совсем уж из ума стал выживать. Черт-те чего мелет. Не слушайте вы его, брехуна.

— Ты лежи, мать, — беззлобно огрызнулся старик. — Лежи себе, хворай. Я тут с людьми разговариваю, а ты нас перебиваешь.

Люся поднялась из-за стола, подошла к комоду, стала разглядывать патефонные пластинки. Ей, видно, было неловко.

Игнатий тоже встал. Завели патефон. Поставили «Грушицу».

Молчали. Слушали.

Старший Байкалов смотрел в окно, о чем-то невесело думал.

Вечерело. Горели розовым нежарким огнем стекла домов. По улице, поднимая пыль, с ревом прошло стадо. Корова Байкаловых подошла к воротам, попробовала поддеть их рогом — не получилось. Она стояла и мычала. Старик смотрел на нее и не двигался. Праздника почему-то не получилось. А он давненько поджидал этого дня — думал, будет большой праздник. А сейчас сидел и не понимал: почему же не вышло праздника? Сын приехал какой-то не такой. В чем не такой? Сын как сын, подарки привез. И все-таки что-то не то.

Пришла Марья — рослая девушка, очень похожая на Игнатия. Увидев брата, просияла радостной сдержанной улыбкой.

— Ну, здравствуй, здравствуй, красавица! — забасил Игнатий, несколько бесцеремонно разглядывая взрослую сестру. — Ведь ты же невеста уже!

— Будет тебе, — степенно сказала Марья и пошла знакомиться с Люсей.

Старик Байкалов смотрел на все это, грустно сощурившись.

— Сейчас Васька придет, — сказал он. Он ждал Ваську. Зачем ему нужно было, чтобы скорей пришел его младший сын, он не знал.

Молодые ушли в горницу и унесли с собой патефон. Игнатий прихватил туда же бутылку красного вина и закуску.

— Выпью с сестренкой, была не была!

— Давай, сынок, это ничего. Это полезно, — миролюбиво сказал отец.

Начали приходить бывшие друзья и товарищи Игнатия. Тут-то бы и начаться празднику, а праздник все не наступал. Приходили, здоровались со стариком и проходили в горницу, заранее улыбаясь. Скоро там стало шумно. Гудел могучий бас Игнатия, смеялись женщины, дребезжал патефон. Двое дружков Игнатия сбегали в лавку и вернулись с бутылками и кульками.

«Сейчас Васька придет», — ждал старик. Не было у него на душе праздника — и все тут.

Пришел наконец Васька — огромный парень с открытым крепким лицом, загорелый, грязный. Васька походил на отца, смотрел так же — вроде угрюмо, а глаза добрые.

— Игнашка приехал, — встретил его отец.

— Я уж слышал, — сказал Васька, улыбнулся и тряхнул русыми спутанными волосами. Сложил в угол какие-то железяки, выпрямился.

Старик поднялся из-за стола, хотел идти в горницу, но сын остановил его:

— Погоди, тять, дай я хоть маленько ополоснусь. А то неудобно даже.

— Ну, давай, — согласился отец. — А то верно — он нарядный весь, как этот... как артист.

И тут из горницы вышел Игнатий с женой.

— Брательник! — заревел Игнатий, растопырив руки. — Васька! — и пошел на него.

Васька покраснел, как девица, засмеялся, переступил с ноги на ногу.

Игнатий обнял его.

— Замараю, слушай, — Васька пытался высвободиться из объятий брата, но тот не отпускал.

— Ничего-о!.. Это трудовая грязь, братка. Дай поцелую тебя, окаянная душа! Соскучился без вас.

Братья поцеловались.

Отец смотрел на сыновей, и по щекам его катились слезы. Он вытер их и громко высморкался.

— Он тебе подарки привез, Васька, — громко сказал отец, направляясь к чемоданам.

— Брось, тятя, какие подарки! Ну, давай, что ты должен делать-то? Умываться? Умывайся скорей. Выпьем сейчас с тобой. Вот! Видела Байкаловых? — Игнатий легонько подтолкнул жену к брату. — Знакомьтесь.

Васька покраснел пуще прежнего — не знал: подавать яркой женщине грязную руку или нет. Люся сама взяла его руку и крепко пожала.

— Он у нас стеснительный, — пояснил отец.

Васька осторожно кашлянул в кулак, негромко, коротко засмеялся; он готов был провалиться сквозь землю от таких объяснений отца.

— Тятя... скажет тоже.

— Иди умывайся, — сказал отец.

— Да, пойду маленько... того...

Васька пошел в сени.

Игнатий двинулся за ним.

— Пойдем, полью тебе по старой памяти!

Отец тоже вышел на улицу.

Умываться решили идти на Катунь — она протекала под боком, за огородами.

— Искупаемся? — предложил Игнатий и похлопал себя ладонями по могучей груди.

Шли огородами по извилистой, едва приметной тропке в буйной картофельной ботве.

— Ну как живете-то? — басил Игнатий, шагая вразвалку между отцом и братом.

Васька опять коротко засмеялся. Он как-то странно смеялся: не то смеялся, не то покашливал смущенно. Он был очень рад брату.

— Ничего.

— Хорошо живем! — воскликнул отец. — Не хуже городских.

— Ну и слава богу! — с чувством сказал Игнатий. — Василий, ты, говорят, нагулял тут силенку?

Василий опять засмеялся.

— Какая силенка!.. Скажешь тоже. Как ты-то живешь?

— Я хорошо, братцы! Я совсем хорошо. Как жена моя вам? Тять?

— Ничего. Я в них не шибко понимаю, сынок. Вроде ничего.

— Хорошая баба, — похвалил Игнатий. — Человек хороший.

— Шибко нарядная только. Зачем так?

Игнатий оглушительно захохотал.

— Обыкновенно одета! По-городскому, конечно. Поотстали вы в этом смысле.

— Чего-то ты много хохочешь, Игнат, — заметил старик. — Как дурак какой.

— Рад, поэтому смеюсь.

— Рад... Мы тоже рады, да не ржем, как ты. Васька вон не рад, что ли?

— Ты когда жениться-то будешь, Васька? — спросил Игнатий.

— Он сперва в армию сходит, — сказал отец.

— Ты это... когда пойдешь в армию, сразу записывайся в секцию, — посоветовал старший брат. — Я же так начал. Тренер толковый попадется — можешь вылезти.

Васька слушал, неопределенно улыбался.

Пришли к реке.

Игнатий первый скинул одежду, обнажив свое красивое тренированное тело, попробовал ногой воду, тихонько охнул.

— Мать честная! Вот это водичка.

— Что? — Васька тоже разделся. — Холодная?

— Ну-ка, ну-ка? — заинтересовался Игнатий. Подошел к Ваське и стал его похлопывать и осматривать со всех сторон, как жеребца.

Васька терпеливо стоял, смотрел в сторону, беспрерывно поправляя трусы, посмеивался.

— Есть, — заключил Игнатий. — Давай попробуем?

— Да ну! — Васька недовольно тряхнул волосами.

— А чего, Васька? Поборись! — отец с упреком смотрел на младшего.

— Бросьте вы, на самом деле, — упрямо и серьезно сказал Васька. — Чего ради сгребемся тут? На смех людям?

— Тьфу! — рассердился отец. — Ты втолкуй ему, Игнат, ради Христа! Он какой-то телок у нас — всего стесняется.

— А чего тут стесняться-то? Если бы мы какие-нибудь дохлые были, тогда действительно стыдно.

— Объясни вот ему!

Васька нахмурился и пошел к воде. Сразу окунулся и поплыл, сильно загребая огромными руками; вода вскипала под ним.

— Силен! — с восхищением сказал Игнатий.

— Я ж тебе говорю!

Помолчали, глядя на Ваську.

— Он бы тебя уложил.

— Не знаю, — не сразу ответил Игнатий. — Силы у него больше — это ясно.

Отец сердито высморкался на песок.

Игнатий постоял еще немного и тоже полез в воду.

А отец пошел ниже по реке, куда выплывал Васька.

Когда Васька вышел на берег, они о чем-то негромко и горячо заговорили. Отец доказывал свое, даже прижимал к груди руки, Васька бубнил свое. Когда Игнатий доплыл к ним, они замолчали.

Игнатий вылез из воды и задумчиво стал смотреть на далекие синие горы, на многочисленные острова.

— Катунь-матушка, — негромко сказал он.

Васька и отец тоже посмотрели на реку.

На той стороне, на берегу сидела на корточках баба с высоко задранной юбкой, колотила вальком по белью, ослепительно белели ее тупые круглые коленки.

— Юбку-то спусти маленько, эй! — крикнул старик.

Баба подняла голову, посмотрела на Байкаловых и продолжала колотить вальком по белью.

— Вот халда! — с восхищением сказал старик. — Хоть бы хны ей.

Братья стали одеваться.

Хмель у Игнатия прошел. Ему что-то грустно стало.

— Чего ты такой? — спросил Васька, у которого, наоборот, было очень хорошее настроение.

— Не знаю. Так просто.

— Не допил, поэтому, — пояснил старик. — Ни два, ни полтора получилось.

— Черт его знает! Не обращайте внимания. Давайте посидим, покурим...

Сели на теплые камни. Долго молчали, глядя на быстротекущие волны. Они лопотали у берега что-то свое, торопились.

Солнце село на той стороне, за островами. Было тихо. Только всплескивали волны, кипела река да удары валька по мокрому белью — гулкие, смачные — разносились над рекой.

Трое смотрели на родную реку, думали каждый свое.

Игнатий присмирел. Перестал хохотать, не басил.

— Что, Вася? — негромко спросил он.

— Ничего, — Васька бросил камешек в воду.

— Все пашешь?

— Пашем.

Игнатий тоже бросил в воду камень. Помолчали.

— Жена у тебя хорошая, — сказал Васька. — Красивая.

— Да? — Игнатий оживился, с любопытством, весело посмотрел на брата. Сказал неопределенно: — Ничего. Тяте вон не нравится.

— Я не сказал, что не нравится, чего ты зря? — старик неодобрительно посмотрел на Игнатия. — Хорошая женщина. Только, я считаю, шибко фартовая.

Игнатий захохотал.

— А ты знаешь, что такое фартовая-то?

Отец отвернулся к реке, долго молчал — обиделся. Потом повернулся к Ваське и сказал сердито:

— Зря ты не поборолся с ним.

— Вот привязался! — удивился Васька. — Ты что?

— Заело что-то тятю, — сказал Игнатий, — что-то не нравится ему.

— Что мне не нравится? — повернулся к нему отец.

— Не знаю. На душе у тебя что-то не так, я же вижу.

— Ну и видь! Ты шибко умный стал, прямо спасу нет. Все ты видишь, все понимаешь!

— Будет вам! — сказал Васька. — Чего взялись? Нашли время.

— Да ну его! — отец засморкался и полез за кисетом. — Приехал, расхвастался тут, подарков навез... подумаешь!

— Тять, да ты что в самом деле?!

Игнатий даже привстал от удивления. Васька незаметно толкнул его в бок — не лезь. Игнатий сел и вопросительно посмотрел на Ваську. Тот поднялся, отряхнул песок со штанов, посмотрел на отца.

— Пошли? Тять...

— У тебя деньги есть? — спросил тот.

— Есть. Пошли...

Старик поднялся и, не оглядываясь, пошел первым по тропе, ведущей к огородам.

— Чего он? — Игнатия не на шутку встревожило настроение отца.

— Так... Ждал тебя долго. Сейчас пройдет. Песню спой с ним какую-нибудь, — Васька улыбнулся.

— Какую песню? Я их перезабыл все. А ты поешь с ним песни?

— Да я ж шутейно. Я сам не знаю, чего он... Пройдет.

Опять шли по огородам друг за другом, молчали. Игнатий шел за отцом, смотрел на его сутулую спину и думал почему-то о том, что правое плечо у отца ниже левого, — раньше он не замечал этого.

ОДНИ

Шорник Антип Калачиков уважал в людях душевную чуткость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме устанавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене:

— Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая.

— Эт почему же?

— А потому... Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил? А у меня тоже душа есть. Ей тоже попрыгать, побаловаться охота, душе-то.

— Плевать мне на твою душу.

— Эх-х...

— Чего «эх»? Чего «эх»?

— Так... Вспомнил твоего папашу кулака, царство ему небесное.

Марфа, грозная, большая Марфа, подбоченившись, строго смотрела сверху на Антипа. Сухой маленький Антип стойко выдерживал ее взгляд.

— Ты папашу моего не трожь... Понял?

— Ага, понял, — кротко отвечал Антип.

— То-то.

— Шибко уж ты строгая, Марфынька. Нельзя так, милая: надсадишь сердечушко свое и помрешь.

Марфа за сорок лет совместной жизни с Антипом так и не научилась понимать: когда он говорит серьезно, а когда шутит.

— Вопчем, шей.

— Шью, матушка, шью.

В доме Калачиковых жил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вара и дегтя. Дом был большой, светлый.

Когда-то он оглашался детским смехом, потом, позже, бывали здесь и свадьбы, бывали и скорбные ночные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешено и слабый свет восковой свечи — бледный и немощный — чуть-чуть высвечивает глубокую тайну смерти. Много всякого было. Антип Калачиков со своей могучей половиной вывел к жизни двенадцать человек детей. А всего у них было восемнадцать.

Облик дома менялся с годами, но всегда неизменным оставался рабочий уголок Антипа — справа от печки, за перегородкой. Там Антип шил сбруи, уздечки, седелки, делал хомуты. И там же, на стене, висела его заветная балалайка. Это была страсть Антипа, это была его бессловесная глубокая любовь всей жизни — балалайка. Антип мог часами играть на ней, склонив набочок голову, — и непонятно было: то ли она ему рассказывает что-то очень дорогое, давно забытое им, то ли он передает ей свои неторопливые стариковские думы. Он мог сидеть так целый день, и сидел бы, если бы не бдительная Марфа. Марфе действительно нужно было, чтобы он целыми днями только шил и шил: страсть как любила деньги, тряслась над копейкой. Она всю жизнь воевала с Антиповой балалайкой. Один раз дошло до того, что она в гневе кинула ее в огонь, в печку. Побледневший Антип стоял и смотрел, как она горит. Балалайка вспыхнула сразу, точно берестинка. Ее стало коробить... Трижды простонала она почти человеческим стоном — лопнули струны — и умерла. Антип пошел во двор, взял топор и изрубил на мелкие кусочки все заготовки хомутов, все сбруи, седла и уздечки. Рубил молча, аккуратно. На скамейке. Перетрусившая Марфа не сказала ни слова. После этого Антип пил неделю, не заявляясь домой. Потом пришел, повесил на стену новую балалайку и сел за работу. Больше Марфа никогда не касалась балалайки. Но за Антипом следила внимательно: не засиживалась у соседей подолгу, вообще старалась не отлучаться из дома. Знала: только она за порог, Антип снимает балалайку и играет — не работает.

Как-то раз, осенним вечером, сидели они — Антип в своем уголке, Марфа — у стола с вязаньем.

Молчали.

Во дворе слякотно, дождик идет. В доме тепло и уютно. Антип молоточком заколачивает в хомут медные гвоздички: тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук...

Отложила Марфа вязанье, о чем-то задумалась, глядя в окно. Тук-тук, тук-тук — постукивает Антип. И еще тикают ходики, причем как-то так, что кажется, что они вот-вот остановятся. А они не останавливаются.

В окна мягко и глуховато сыплет горстями дождь.

— Чего пригорюнилась, Марфынька? — спросил Антип. — Все думаешь, как деньжат побольше скопить?

Марфа молчит, смотрит задумчиво в окно. Антип глянул на нее.

— Помирать скоро будем, так что думай не думай. Думай не думай — сто рублей не деньги, — Антип любил поговорить, когда работал. — Я вот всю жизнь думал и выдумал себе геморрой. Работал! А спроси: чего хорошего видел? Да ничего. Люди хоть сражались, восстания разные поднимали, в гражданской участвовали, в Отечественной... Хоть уж погибали, так героически. А тут как сел с тринадцати годков, так и сижу — скоро семисит будет. Вот какой терпеливый! Теперь: за что я, спрашивается, работал? Насчет денег никогда не жадничал, мне наплевать на них. В большие люди тоже не вышел. И специальность моя скоро отойдет даже: не нужны будут шорники. Для чего же, спрашивается, мне жизнь была дадена?

— Для детей, — серьезно сказала Марфа.

Антип не ждал, что она поддержит разговор. Обычно она обрывала его болтовню каким-нибудь обидным замечанием.

— Для детей? — Антип оживился. — С одной стороны, правильно, конечно, а с другой — нет, неправильно.

— С какой стороны неправильно?

— С той, что не только для детей надо жить. Надо и самим для себя немножко.

— А чего бы ты для себя-то делал?

Антип не сразу нашелся, что ответить на это.

— Как это «чего»? Нашел бы чего... А, может, в музыканты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок. А самородок — это кусок золота — редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник, а был бы, может...

— Перестань уж!.. — Марфа махнула рукой. — Завел — противно слушать.

— Значит, не понимаешь, — вздохнул Антип.

Некоторое время молчали.

Марфа вдруг всплакнула... Вытерла платочком слезы и сказала:

— Разлетелись наши детушки по всему белому свету.

— Что же им, около тебя сидеть всю жизнь? — заметил Антип.

— Хватит стучать-то! — сказала вдруг Марфа. — Давай посидим, поговорим про детей.

Антип усмехнулся, отложил молоток.

— Сдаешь, Марфа, — весело сказал он. — А хочешь, я тебе сыграю, развею тоску твою?

— Сыграй, — разрешила Марфа.

Антип вымыл руки, лицо, причесался.

— Дай новую рубашенцию.

Марфа достала из ящика новую рубаху. Антип надел ее, подпоясался ремешком. Снял со стены балалайку, сел в красный угол, посмотрел на Марфу...

— Начинаем наш концерт!

— Ты не трепись только, — посоветовала Марфа.

— Сейчас вспомним всю нашу молодость, — хвастливо сказал Антип, настраивая балалайку. — Помнишь, как тогда на лужках хороводы водили?

— Помню, чего же мне не помнить. Я как-нибудь помоложе тебя.

— На сколько? На три недели с гаком?

— Не на три недели, а на два года. Я тогда еще совсем молоденькая была, а ты уж выкобенивался.

Антип миролюбиво засмеялся.

— Я мировой все-таки парень был! Помнишь, как ты за мной приударяла?

— Кто? Я, что ли? Господи!.. А на кого это тятя-покойничек кобелей спускал? Штанину-то кто у нас в ограде оставил?

— Штанина, допустим, была моя...

Антип подкрутил последний колочек, склонил маленькую голову на плечо, ударил по струнам... Заиграл. И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая светлая музыка далеких дней молодости. И припомнились другие вечера, и хорошо и грустно сделалось, и подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное.

Не шей ты мне, ма-амынька,
Красный сарафа-ан, —

запел тихонечко Антип и кивнул Марфе. Та поддержала:

Не входи, родимая,
Попусту в изъян...

Пели не так чтобы очень уж стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые картины. То степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепотливая тополиная рощица припоминалась, темная и немножко жуткая... И было что-то сладко волнующее во всем этом. Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов...

Потом Антип заиграл веселую. И пошел по избе мелким бесом, игриво виляя костлявыми бедрами.

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои,
Походите, погуляйте.
Па-ба-лу́й-тися!

Антип был трогательно смешон в своем веселье. Он стал подпрыгивать... Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась. — Хоть бы уж не выдрючивался, господи!.. Ведь смотреть не на что, а туда же.

Антип сиял. Маленькие умные глазки его светились озорным блеском.

Ох, Марфа моя, ох, Марфынька,
Укоряешь ты меня за напраслинку!

— А помнишь, Антип, как ты меня в город на ярманку возил?

Антип кивнул головой.

Ох, помню, моя,
Помню, Марфынька,
Ох, хаханечки-ха-ха,
Чечевика с викою!

— Дурак же ты, Антип! — ласково сказала Марфа. — Плетешь черт-те чего.

Ох, Марфушечка моя, —
Радость всенародная...

Марфа так и покатилась.

— Ну не дурак ли ты, Антип!

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои!

— Сядь, споем какую-нибудь, — сказала Марфа, вытирая слезы.

Антип слегка запыхался... Улыбаясь, смотрел на Марфу.

— А? А ты говоришь: Антип у тебя плохой!

— Не плохой, а придурковатый, — поправила Марфа.

— Значит, не понимаешь, — сказал Антип, нисколько не обидевшись за такое уточнение. Сел. — Мы могли бы с тобой знаешь как прожить! Душа в душу. Но тебя замучили окаянные деньги. Не сердись, конечно.

— Не деньги меня замучили, а нету их — вот что мучает-то.

— Хватило бы... брось, пожалуйста. Но не будем. Какую желаете, мадемуазель-фрау?

— Про Володю-молодца.

— Она тяжелая, ну ее!

— Ничего. Я поплачу хоть маленько.

Ох, не вейти-ися, чайки, над морем, —

запел Антип, —

Вам некуда, бедненьким, сесть.
Слетайте в Сибирь, край далекий,
Снесите печальну-я весть.

Антип пел задушевно, задумчиво. Точно рассказывал.

Ох, в двенадцать часов темной но-очий
Убили Володю-молодца-а.
Наутро отец с младшим сыном...

Марфа захлюпала.

— Антип, а Антип!.. Прости ты меня, если я чем-нибудь тебя обижаю, — проговорила она сквозь слезы.

— Ерунда, — сказал Антип. — Ты меня тоже прости, если я виноватый.

— Играть тебе не даю...

— Ерунда, — опять сказал Антип. — Мне дай волю — я день и ночь согласен играть. Так тоже нельзя. Я понимаю.

— Хочешь, читушечку тебе возьмем?

— Можно, — согласился Антип.

Марфа вытерла слезы, встала.

— Иди пока в магазин, а я ужин соберу.

Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждал, когда Марфа достанет из глубины огромного сундука, из-под тряпья разного, деньги. Стоял и смотрел на ее широкую спину.

— Вот еще какое дело, — небрежно начал он, — она уж старенькая стала... надо бы новую. А в магазин вчера только привезли. Хорошие! Давай — заодно куплю.

— Кого? — Марфина спина перестала двигаться.

— Балалайку-то.

Марфа опять задвигалась. Достала деньги, села на сундук и стала медленно и трудно отсчитывать. Шевелила губами и хмурилась.

— Она же у тебя играет еще, — сказала она.

— Там треснула досочка одна... дребезжит.

— А ты заклей. Возьми да варом аккуратненько...

— Разве можно инструмент варом? Ты что, бог с тобой!

Марфа замолчала. Снова стала считать деньги. Вид у нее был строгий и озабоченный.

— На, — она протянула Антипу деньги. В глаза ему не смотрела.

— На четвертинку только? — у Антипа отвисла нижняя губа. — Да-а...

— Ничего, она еще у тебя поиграет. Вон как хорошо сегодня играла!

— Эх, Марфа!.. — Антип тяжело вздохнул.

— Что «эх»? Что «эх»?

— Так... проехало, — Антип повернулся и пошел к двери.

— А сколько она стоит-то? — спросила вдруг Марфа сурово.

— Да она стоит-то копейки! — Антип остановился у порога. — Рублей шесть по новым ценам.

— На, — Марфа сердито протянула ему шесть рублей.

Антип подошел к жене скорым шагом, взял деньги и молча вышел: разговаривать или медлить было опасно — Марфа легко могла раздумать.

КРИТИКИ

Деду было семьдесят три, Петьке, внуку, — тринадцать. Дед был сухой и нервный и страдал глухотой. Петька, не по возрасту самостоятельный и длинный, был стыдлив и упрям. Они дружили.

Больше всего на свете они любили кино. Половина дедовой пенсии уходила на билеты. Обычно, подсчитав к концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке:

— Ухайдакали мы с тобой пять рубликов.

Петька для приличия делал удивленное лицо.

— Ничего, прокормют, — говорил дед (имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьке доводился по отцу). — А нам с тобой это для пользы.

Садились всегда в первый ряд: дешевле, и потом там дед лучше слышал. Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердито шипел:

— Ты чего? Как дурак...

— А как он тут сказал? — спрашивал дед.

Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо:

— Не снижая темпов.

— Хе-хе-хе, — негромко смеялся дед уже над собой. — А мне не так показалось.

Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невинного.

— Эх вы... люди! — горько шептал он и сморкался в платок. Вообще он любил высказаться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, он усмехался и шептал:

— От черти!.. Ты гляди, гляди... Хэх!

Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой (в молодости, говорят, он охотник был подраться. И умел).

— Нет, вон тот не... это... слабый. А этот ничего, верткий.

Впрочем, фальшь чуял.

— Ну-у, — обиженно говорил он, — это они понарошке.

— Так кровь же идет, — возражал Петька.

— Та-а... кровь. Ну и что? Нос, он же слабый: дай потихоньку, и то кровь пойдет. Это не в том дело.

— Ничего себе не в том!

— Конечно, не в том.

На них шикали сзади, и они умолкали.

Спор основной начинался, когда выходили из клуба. Особенно в отношении деревенских фильмов дед был категоричен до жестокости.

— Хреновина, — заявлял он. — Так не бывает.

— Почему не бывает?

— А что, тебе разве этот парень глянется?

— Какой парень?

— С гармошкой-то. Который в окно-то лазил.

— Он не лазил в окно, — поправлял Петька; он точно помнил все, что происходило в фильме, а дед путал, и это раздражало Петьку. — Он только к окну лез, чтобы спеть песню.

— Ну лез. Я вон один раз, помню, полез было...

— А что, он тебе не глянется?

— Кто?

— Кто-кто!.. Ну парень-то, который лез-то. Сам же заговорил про него.

— Ни вот на столько, — дед показывал кончик мизинца. — Ваня-дурачок какой-то. Поет и поет ходит... У нас Ваня-дурачок такой был — все пел ходил.

— Так он же любит! — начинал нервничать Петька.

— Ну и что, что любит?

— Ну и поет.

— А?

— Ну и поет, говорю!

— Да его бы давно на смех подняли, такого! Ему бы проходу не было. Он любит... Когда любют, то стыдятся. А этот трезвонит ходит по всей деревне... Какая же дура пойдет за него! Он же несурьезный парень. Мы вон, помню: поглянется девка, так ты ее за две улицы обходишь — потому что совестно. Любит... Ну и люби на здоровье, но зачем же...

— Чего — зачем?

— Зачем же людей-то смешить? Мы вон, помню...

— Опять «мы, мы». Сейчас же люди-то другие стали!

— Чего это они другие-то стали? Всегда люди одинаковые. Ты у нас много видел таких дурачков?

— Это же кино все-таки. Нельзя же сравнивать.

— Я и не сравниваю. Я говорю, что парень непохожий, вот и все, — стоял на своем дед.

— Так всем же глянется! Смеялись же! Я даже и то смеялся.

— Ты маленький ишо, поэтому тебе все смешно. Я вот небось не засмеюсь где попало.

Со взрослыми дед редко спорил об искусстве — не умел. Начинал сразу нервничать, обзывался.

Один раз только крепко схлестнулся он со взрослыми, и этот-то единственный раз и навлек на его голову беду.

Дело было так.

Посмотрели они с Петькой картину — комедию, вышли из клуба и дружно разложили ее по косточкам.

— И ведь что обидно: сами ржут, черти (актеры), а тут сидишь — хоть бы хны, даже усмешки нету! — горько возмущался дед. — У тебя была усмешка?

— Нет, — признался Петька. — Один раз только, когда они с машиной перевернулись.

— Ну вот! А ведь мы же деньги заплатили — два рубля по-старому! А они сами посмеялись, и все.

— Главное, пишут: «Комедия».

— Комедия!.. По зубам за такую комедию надавать.

Пришли домой злые.

А дома в это время смотрели по телевизору какую-то деревенскую картину. К ним в гости приехала Петькина тетя, сестра матери Петьки. С мужем. Из города. И вот все сидят и смотрят телевизор (дед и Петька «не переваривали» телевизор. «Это я, когда еще холостым был, а брат Микита женился, так вот я любил к ним в горницу через щелочку подглядывать. Так и телевизор ихний: все вроде как подглядываешь», — сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи).

Вот, значит, сидят все, смотрят.

Петька сразу ушел в прихожую учить уроки, а дед остановился за всеми, посмотрел минут пять на телевизорную мельтешню и заявил:

— Хреновина. Так не бывает.

Отец Петьки обиделся:

— Помолчи, тять, не мешай.

— Нет, это любопытно, — сказал городской вежливый мужчина. — Почему так не бывает, дедушка? Как не бывает?

— А?

— Он недослышит у нас, — пояснил Петькин отец.

— Я спросил: почему так не бывает?! А как бывает?! — громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь.

Дед презрительно посмотрел на него.

— Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он, правда, плотник, а я, когда глянул, сразу вижу: никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет.

— Они у нас критики с Петькой, — сказал Петькин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон.

— Любопытно, — опять заговорил городской. — А почему вы решили, что он топор неправильно держит?

— Да потому, что я сам всю жизнь плотничал. «Почему решили?»

— Дедушка, — встряла в разговор Петькина тетя, — а разве в этом дело?

— В чем?

— А мне вот гораздо интереснее сам человек. Понимаете? Я знаю, что это не настоящий плотник, — это актер, но мне инте... мне гораздо интереснее...

— Вот такие и пишут на студии, — опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети. Они были очень умные и все знали — Петькина тетя и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом. Деда это обозлило.

— Тебе не важно, а мне важно, — отрезал он. — Тебя им надуть — пара пустяков, а меня не надуют.

— Ха-ха-ха, — засмеялся городской человек. — Получила? Петькина тетя тоже усмехнулась.

Петькиному отцу и Петькиной матери было очень неудобно за деда.

— Тебе ведь трудно угодить, тять, — сказал Петькин отец. — Иди лучше к Петьке, помоги ему, — склонился к городскому человеку и негромко пояснил: — Помогает моему сыну уроки учить, а сам — ни в зуб ногой. Спорят друг с другом. Умора!

— Любопытный старик, — согласился городской человек.

Все опять стали смотреть картину, про деда забыли. Он стоял сзади, как оплеванный. Постоял еще немного и пошел к Петьке.

— Смеются, — сказал он Петьке.

— Кто?

— Вон... — дед кивнул в сторону горницы. — Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен. А они понимают!

— Не обращай внимания, — посоветовал Петька.

Дед присел к столу, помолчал. Потом опять заговорил:

— Ты, говорят, дурак, из ума выжил...

— Что, так и сказали?

— А?

— Так и сказали на тебя — дурак?

— Усмехаются сидят. Они шибко много понимают! — дед постепенно «заводился», как выражался Петька.

— Не обращай внимания, — опять посоветовал Петька.

— Приехали... Грамотеи! — дед встал, покопался у себя в сундуке, взял деньги и ушел.

Пришел через час пьяный.

— О-о! — удивился Петька (дед редко пил). — Ты чего это?

— Смотрют? — спросил дед.

— Смотрют. Не ходи к ним. Давай я тебя раздену. Зачем напился-то?

Дед грузно опустился на лавку.

— Они понимают, а мы с тобой не понимаем! — громко заговорил он. — Ты, говорят, дурак, дедушка! Ты ничего в жизни не понимаешь. А они понимают! Денег много?! — дед уже кричал. — Если и много, то не подымай нос! А я честно всю жизнь горбатился!.. И я же теперь сиди, помалкивай. А ты сроду топора в руках не держал! — дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор.

Петька растерялся.

— Не надо, деда, не надо, — успокаивал он деда. — Давай я тебя разую. Ну их!..

— Нет, постой, я ему скажу... — дед хотел встать, но Петька удержал его.

— Не надо, деда!

— Финтифлюшки городские, — дед как будто успокоился, притих.

Петька снял с него один сапог.

Но тут дед опять чего-то вскинул голову.

— Ты мне усмешечки строишь? — опять глаза его безрассудно заблестели. — А я тебе одно слово могу сказать!.. — взял сапог и пошел в горницу. Петька не сумел удержать его.

Вошел дед в горницу, размахнулся и запустил сапогом в телевизор.

— Вот вам!.. И плотникам вашим!

Экран — вдребезги.

Все повскакали с мест. Петькина тетя даже взвизгнула.

— Усмешечки строить! — закричал дед. — А ты когда-нибудь топор держал в руках?!

Отец Петькин хотел взять деда в охапку, но тот оказал сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетя опять взвизгнула и вылетела на улицу.

Петькин отец все-таки одолел деда, заломил ему руки назад и стал связывать полотенцем.

— Удосужил ты меня, удосужил, родитель, — зло говорил он, накрепко стягивая руки деда. — Спасибо тебе.

Петька перепугался насмерть, смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла.

— Удосужил ты меня... — все приговаривал отец Петьки и нехорошо скалился.

Дед лежал на полу вниз лицом, терся бородой о крашеную половицу и кричал:

— Ты мне усмешечки, а я тебе — одно слово!.. Слово скажу тебе, и ты замолкнешь. Если я дурак, как ты говоришь...

— Да разве я так говорил? — спросил городской мужчина.

— Не говорите вы с ним, — сказала мать Петьки. — Он сейчас совсем оглох. Бессовестный.

— Вы меня с собой за стол сажать не хочете — ладно! Но ты мне... Это — ладно, пускай! — кричал дед. — Но ты мне тогда скажи: ты хоть один сруб срубил за свою жизнь? А-а!.. А ты мне же говоришь, что я в плотниках не понимаю! А я половину этой деревни своими руками построил!..

— Удосужил, родимчик тебя возьми, удосужил, — приговаривал отец Петьки.

И тут вошли Петькина тетя и милиционер, здешний мужик, Ермолай Кибяков.

— Ого-го! — воскликнул Ермолай, широко улыбаясь. — Ты чего это, дядя Тимофей? А?

— Удосужил меня на радостях-то, — сказал отец Петьки, поднимаясь.

Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал:

— Надо. Пусть там переночует.

Ермолай снял фуражку, аккуратно повесил ее на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу.

Дед притих.

Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай пригладил заскорузлой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол и наклонив голову влево.

«Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, одна тысяча...»

— Он с какого года рождения?

— С девяностого.

«Одна тысяча девяностого года рождения, плотник в бывшем, сейчас сидит на пенсии. Особых примет нету... Вышеуказанный Тимофей двадцать пятого сентября сего года заявился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья смотрела телевизор. И гости еще были».

— Как кинофильм назывался?

— Не знаю. Мы включили, когда там уже шло, — пояснил отец. — Про колхоз.

«...Заглавие фильма не помнят. Знают одно: про колхоз. Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал: «Таких плотников не бывает». Все попросили Тимофея оправиться. Но он продолжал возбужденное состояние. Опять сказал, что таких плотников не бывает, вранье, дескать. «Руки, говорит, у плотников совсем не такие». И стал совать свои руки. Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог (размер 43—45, яловый) и произвел удар по телевизору. Само собой, вышиб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно.

Старший сержант милиции Кибяков».

Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятал в планшет.

— Пошли, дядя Тимофей!

Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся защищать его.

— Куда вы его?! Деда, куда они тебя!.. Не надо, тять, не давай!..

Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся.

— Жалко дедушку-то? Сча-ас мы его в тюрьму посадим. Сча-ас...

Петька заплакал еще громче. Мать увела его в уголок и стала уговаривать.

— Ничего не будет с ним, что ты плачешь-то? Переночует там ночь и придет. А завтра стыдно будет. Не плачь, сынок.

Деда обули и повели из избы. Петька заплакал навзрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать Петьку.

— Что ты, Петенька? В отрезвитель ведь его повели-то, в отрезвитель! Он же придет скоро. У нас в Москве, знаешь, сколько водят в отрезвитель!..

Петька вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера, грубо оттолкнул ее от себя, залез на печку и там долго еще горько плакал, уткнувшись лицом в подушку.

ЗМЕИНЫЙ ЯД

Максиму Волокитину пришло в общежитие письмо. От матери. *«Сынок, хвораю. Разломило всю спинушку и ногу к затылку подводит— радикулит, гад такой. Посоветовали мне тут змеиным ядом, а у нас нету Походи, сынок, по аптекам, поспро-шай, может, у вас есть. Криком кричу — больно. Походи, сынок, не поленись...»*.

Максим склонился головой на руки, задумался. Заболело сердце — жалко стало мать. Он подумал, что зря он так редко писал матери, вообще почувствовал свою вину перед

ней. Все реже и реже думалось о матери последнее время, она перестала сниться ночами... И вот оттуда, где была мать, замаячила черная беда.

«Дождался».

Было воскресенье. Максим надел выходной костюм и пошел в ближайшую аптеку.

«Наверно, как-нибудь называется этот яд, узнать бы, чтоб посолидней спрашивать».

Но узнать не у кого, и он пошел так.

В аптеке было мало народа. Максим заметил за прилавком хорошенькую девушку, подошел к ней.

— У вас змеиный яд есть?

Девушка считала какие-то порошки. Приостановилась на секунду, еще раз шепотом повторила последнее число, чтоб не сбиться, мельком глянула на Максима, сказала «нет» и снова принялась считать. Максим постоял немного, хотел спросить, как называется змеиный яд по-научному, но не спросил — девушка была очень занята.

В следующей аптеке произошел такой разговор:

— У вас змеиный яд есть?

— Нет.

— А бывает?

— Бывает, но редко.

— А может, вы знаете, где его можно достать?

— Нет, не знаю, где его можно достать.

Отвечала сухопарая женщина лет сорока, с острым носом, с низеньким лбом. Кожа на лбу была до того тонкая и белая, что, кажется, сквозь нее просвечивала кость. Максиму подумалось, что женщине доставляет удовольствие отвечать «нет», «не знаю». Он уставился на нее.

— Что? — спросила она.

— А где же он бывает-то? Неужели в целом городе нет?!

— Не знаю, — опять с каким-то странным удовольствием сказала женщина.

Максим не двигался с места.

— Еще что? — спросила женщина. Они были в стороне от других, разговора их никто не слышал.

— А отчего вы такая худая? — спросил Максим. Он сам не знал, что так спросит, и не знал, зачем спросил, — вылетело. Очень уж недобрая была женщина.

Женщина от неожиданности заморгала глазами.

Максим повернулся и пошел из аптеки.

«Что же делать?» — думал он.

Аптека следовала за аптекой, разные люди отвечали одинаково: «нет», «нету».

В одной аптеке Максим увидел за стеклянным прилавком парня.

— Нет, — сказал парень.

— Слушай, а как он называется по-научному? — спросил Максим. Парень решил почему-то, что и ему пришла пора показать себя «шибко ученым» — застоялся, наверно, на одном месте.

— По-научному-то? — спросил он, улыбаясь. — А как в рецепте написано? Как написано, так и называется.

— У меня нет рецепта.

— А что ж вы тогда спрашиваете? Так ведь живую воду можно спрашивать.

— А что, не дадут без рецепта? — негромко спросил Максим, чувствуя, что его начинает слегка трясти.

— Нет, молодой человек, не дадут.

Это снисходительное «молодой человек» доконало Максима.

— До чего ж ты умница! — тихо воскликнул он. — Это ж надо такому уродиться!..

Максим вышел на улицу, закурил.

Напротив, через улицу, было отделение связи. Максим докурил вчастую сигарету, зашел в отделение и дал матери телеграмму: *«Змеиный яд выслал. Максим».*

«Весь город переверну — добуду», — думал он, шагая по улице. Казалось теперь: будет змеиный яд — мать будет здорова.

В одной очень большой аптеке Максим решительно направился к пышной красивой женщине. Она выглядела приветливее других.

— Мне нужен змеиный яд, — сказал он.

— Нету, — ответствовала женщина.

— Тогда позовите вашего начальника.

Женщина удивленно посмотрела на него.

— Зачем?

— Я с ним потолкую.

— Не буду я его звать — незачем. Он вам не сможет помочь. Нет у нас такого лекарства.

Максиму захотелось обидеть женщину, сказать в лицо ей какую-нибудь грубость. И не то вконец обозлило Максима, что яда опять нет, а то, с какой легкостью, отвратительно просто все они отвечают это свое «нет».

— Позовите начальника! — потребовал Максим. И вдруг добавил жалобным голосом: — У меня мать болеет, — аж самому противно сделалось.

Женщина оставила официальный тон.

— Ну нет у нас сейчас змеиного яда, я серьезно говорю. Я могу вам дать пчелиный. У нее что, радикулит?

— Ага.

— Возьмите пчелиный. Змеиный не всегда и нужен.

— Давайте, — Максиму было стыдно за свой жалобный тон. — Он тоже помогает?

— У вас рецепт есть?

— Нету.

— А как же?..

— Что?

— Без рецепта нельзя, не могу.

У Максима упало сердце.

— Это такой ма-ленький рецептик, да? Бумажечка такая...

Женщина невольно улыбнулась.

— Да, да. Рецепт выписывает врач, а мы...

— Дайте мне так, а... А я завтра принесу вам рецепт. Дайте, а?!

— Не могу, молодой человек, не могу.

На улице Максим долго соображал, что делать. Даже если он и наткнется где-нибудь на змеиный яд, то без рецепта все равно не дадут. Это ясно. Надо сперва добыть рецепт.

По дороге домой опять зашел на почту и дал матери еще одну телеграмму: *«А пчелиный яд надо? Максим»*.

На другой день в девять часов утра он пошел на стройку, отпросился с работы и направился в поликлинику.

В белой стеклянной стенке — окошечко, за окошечком — белая девушка. Она долго «заводила» на Максима карточку потом подала ему талончик, Максим посмотрел — четырнадцатая очередь на тринадцать тридцать.

— А поближе нетv?

— Нет.

— Девушка, милая... — Максим почувствовал, что опять начинает говорить жалостливым тоном, но остановиться не мог. — Девушка, дайте мне поближе, а? Мне шибко надо. Пожалуйста.

Девушка, не глядя на него, порылась в талончиках, выбрала один, подала Максиму. И тогда только посмотрела на него. Максиму показалось, что она усмехнулась.

«Милая ты моя, — думал растроганный Максим. — Смейся, смейся — талончик-то вот он». Его очередь была шестой, на одиннадцать часов.

У кабинета врача сидело человек десять больных. Максим присел рядом с пожилым мужчиной, у которого была такая застойная тоска в глазах, что, глядя на него, невольно думалось: «Все равно все помрем».

«Прижало мужика», — подумал Максим. И опять вспомнил о матери, и стал с нетерпением ждать доктора.

Доктор пришел. Мужчина, еще молодой.

Вышла из кабинета женщина и спросила:

— У кого первая очередь?

Никто не встал.

— У меня, — сказал Максим и почувствовал, как его подняла какая-то сила и повела в кабинет.

— У вас первая очередь? — спросил его мужчина.

— Да, — твердо сказал Максим и вошел в кабинет совсем веселым и, как ему казалось, очень ловким парнем.

— Что? — спросил доктор, не глядя на него.

— Рецепт, — сказал Максим, присаживаясь к столу. Доктор чего-то хмурился, не хотел подымать глаза. «Выпил, наверно, вчера крепко», — сообразил Максим.

— Какой рецепт? — доктор все перебирал какие-то бумажки.

— На змеиный яд.

— А что болит-то? — доктор поднял глаза.

— Не у меня. У меня мать болеет, у нее радикулит. Ей врачи посоветовали змеиным ядом.

— Ну, так?..

— Ну, а рецепта нету. А без рецепта, сами понимаете, никто не дает, — Максиму казалось, что он очень толково все объясняет. — Поэтому я прошу: дайте мне рецепт.

Доктора что-то заинтересовало в Максиме.

— А где мать живет?

— В Красноярском крае. В деревне.

— Ну?.. И нужен, значит, рецепт!

— Нужен, — Максиму было легко с доктором: доктор нравился ему.

Доктор посмотрел на сестру.

— Раз нужен, — значит, дадим. А, Клавдия Николаевна?

— Надо дать, конечно.

Доктор выписал рецепт.

— Он ведь редко бывает, — сказал он. — Съезди в двадцать седьмую. Знаешь где? Против кинотеатра «Прибой». Там может быть.

— Спасибо, — Максим пожал руку доктора и чуть не вылетел на крыльях из кабинета — так легко и радостно сделалось.

В двадцать седьмой яда не было.

Максим подал рецепт и, затаив дыхание, смотрел на аптекаря.

— Нет, — сказал тот и качнул седой головой.

— Как нет?

— Так, нет.

— Так у меня же рецепт... Вот же он, рецепт-то!

— Я вижу.

— Да ты что, батя? — с тихим отчаянием сказал Максим. — Мне нужен этот яд.

— Так нет же его, нет — где же я его возьму? Вы же можете соображать — нет змеиного яда.

Максим вышел на улицу прислонился спиной к стене, бессмысленно стал смотреть в лица прохожих. Прохожие все шли и шли нескончаемым потоком... А Максим все смотрел и смотрел на них и никак о них не думал.

Потом одна мысль пришла в голову Максиму. Он резко качнулся от стены и направился к центру города. В цирк.

Вахтер в цирке поднялся навстречу Максиму.

— Вам к кому?

— К Байкалову Игнату.

— У них репетиция идет.

— Ну и что?

— Репетиция!.. Как что? — вахтер вознамерился не пускать.

— Да пошли вы! — обозлился Максим, легко отстранил старика и прошел внутрь.

Прошел пустым, гулким залом.

На арене посредине стоял здоровенный дядя, а на нем — одна на другой — изящные, как куколки, молодые женщины.

Максим подошел к человеку, который бросал в стороны тарелки.

— Как бы мнѐ Байкалова тут найти?

Человек поймал все тарелки.

— Что?

— Мне Байкалова надо найти.

— На втором этаже. А зачем?

— Так... Он земляк мой.

— Вон по той лестнице — вверх, — человек снова запустил тарелки в воздух.

Игнатий боролся с каким-то монголом. Монгол был устрашающих размеров.

— Игнат! — позвал Максим.

Игнатий слез с монгола.

— Максим!.. Здорово, — Игнатий был потный, разгоряченный борьбой. — Ты как здесь? — он погладил рукой бок.

— Намял он тебе?

— Вот именно — намял. Здоровый буйвол, а бороться не умеет.

— Неужели ты его одолеешь?

— Хошь, покажу.

— Не надо. Я к тебе по делу, Игнат. У меня мать захворала — письмо получил. Надо змеиного яда достать... Весь город обошел — нигде нету Может, у тебя какие знакомые есть?.. Может, врач какой-нибудь...

Игнатий задумался.

— Черт его знает... трудно сейчас сказать. Если бы раньше пришел. Я ж завтра уезжаю. Домой ведь еду!

— Домой?

— Но!

— В отпуск, что ли?

— Но.

Максим с тоскливой завистью посмотрел на земляка.

— Хорошо.

— Я попробую сегодня спросить у одних. Раньше бы надо...

— Раньше-то он не нужен был.

— Я понимаю. В общем, я схожу туда сегодня, спрошу. Но не обещаю, Максим.

Максим кивнул головой.

— Ладно, работай. Пойду еще куда-нибудь.

Игнатию стало отчего-то неловко.

— Я схожу, Максим. Может, достану...

— Ты надолго домой?

— На пару педель. А потом — в Гагры.

— Зайди там к матери... Скажи: пришлю лекарство. Зайди.

— Конечно! Ты не унывай особо-то. Может, достанем сегодня.

— Ничего. Привет своим передавай. Сколько не был?

— Лет пять уже.

— А я два года. Изменилось, наверно, там все...

— Да.

— Ну, работай.

Максим вышел из цирка и так же решительно, как шел от двадцать седьмой аптеки, пошел снова туда.

Подошел к старичку-аптекарю.

— Я к вашему начальнику пройду.

— Пожалуйста, — любезно сказал аптекарь. — Вон в ту дверь. Он как раз там.

Максим пошел к начальнику.

В кабинете заведующего никого не было. Была еще одна дверь, Максим толкнулся в нее и ударил кого-то по спине.

— Сейчас, — сказали за дверью.

Максим сел на стул и решил без змеиного яда не уходить.

Вошел низенький человек с усами, с гладко выбритыми — до сияния — жирненькими щеками, опрятный, полненький, лет сорока.

— Что у вас?

— Вот, — Максим протянул ему рецепт. Сердце вдруг так заколотилось, что стало больно в груди.

Заведующий повертел в руках рецепт.

— Не понимаю...

— Мне такое лекарство надо, — Максим поморщился — сердце выбрыкивало нешуточным образом.

— У нас его нет.

— А мне надо. У меня мать помирает, — Максим смотрел на заведующего не мигая: чувствовал, как глаза наполняются слезами.

— Но если нет, что же я могу сделать?

— А мне надо. Я не уйду отсюда, понял? Я вас всех ненавижу, гадов!

Заведующий улыбнулся.

— Это уже серьезнее. Придется найти, — он сел к телефону и, набирая номер, с любопытством поглядывал на Максима. Максим успел вытереть глаза и смотрел в окно. Ему стало стыдно, он жалел, что сказал последнюю фразу.

— Алле! — заговорил заведующий. — Петрович? Здоров. Я это, да. Слушай, у тебя нет... — тут он сказал какое-то непонятное слово. — Нет?

У Максима сдавило сердце.

— Да нужно тут... пареньку одному... Посмотри, посмотри... Славный парень, хочется помочь.

Максим впился глазами в лицо заведующего. Заведующий беспечно вытянул губы трубочкой — ждал.

— Да? Хорошо, тогда я подошлю его... Как дела-то? Мгм... Слушай, а что ты скажешь... А? Да что ты? Да ну?..

Пошел какой-то непонятный треп: кто-то заворовался, кого-то сняли и хотят судить. Максим смотрел в пол, чувствовал, что плачет, и ничего не мог сделать — плакал. Он очень устал за эти два дня. Он молил бога, чтобы заведующий подольше говорил, — может, к тому времени он перестанет плакать, а то хоть сквозь землю проваливайся со стыда. А если сейчас вытереть глаза, — значит, надо пошевелиться, и тогда заведующий глянет на него и увидит, что он плачет.

«Вот морда!» — ругал он себя. Он любил сейчас заведующего, как никого никогда, наверно, не любил.

Заведующий положил трубку, посмотрел на Максима. Максим нахмурился, шаркнул рукавом бостонового пиджака по глазам и полез в карман за сигаретой. Заведующий ничего не сказал, написал записку, встал... Максим тоже встал.

— Вот по этому адресу... спросите Вадима Петровича. Не отчаивайтесь, поправится ваша мама.

— Спасибо, — сказал Максим. Горло заложило, и получилось, что Максим пискнул это «спасибо». Он нагнул голову и пошел из кабинета, даже руки не подал начальнику.

«Вот же ж морда!» — поносил он себя. Ему было очень стыдно.

На другой день рано утром к Максиму забежал Игнатий. Внес с собой шум и прохладу политых асфальтов.

— Максим!.. Я поехал! Вот яд-то — достал.

Максим вскочил с кровати.

— Куда поехал?

— Домой! Вот яд...

— Так я тоже достал вчера. Флакон.

— Ну — два будет. Пригодится.

— Ты сейчас прямо едешь?

— Но. Будь здоров! Зайду попроведаю мать...

— Погоди, Игнат, я провожу тебя.

— Меня такси ждет...

— Я скоро.

— Давай. Только — одна нога здесь, другая — там! — орал Игнатий. — Пятнадцать минут осталось. Жена сейчас икру мечет в вагоне.

— Она уже там? — Максим прыгал по комнате на одной ноге, стараясь попасть в штанину.

— Там.

— Сейчас... мигом. Мы в магазин не успеем заскочить? Хотел гостинцев матери...

— Да ты что! — взревел Игнатий. — Я что, по шпалам жену догонять буду?!

— Ладно, ладно...

Побежали вниз, в такси.

— Друг, — взмолился Игнатий. — Десять минут до поезда... Жми на всю железку. Плачу в трехкратном размере.

Машина рванула с места.

Жена ждала Игнатия у вагона. Оставалось полторы минуты.

— Игнатий, это... это черт знает что такое, — встретила она мужа со слезами на глазах. — Я хотела чемоданы выносить.

— Порядок! — весело гудел Игнатий. — Максим, пока! Крошка, цыпонька, в вагон.

Поезд тронулся.

— Будь здоров, Максим!

Максим пошел за вагоном.

— Игнат, передай матери: я, может, тоже скоро приеду. Не забудь, Игнат!

— Не-ет!

Максим остановился.

Поезд набирал ходу.

Максим опять догнал вагон Игнатия и еще раз крикнул:

— Не забудь, Игнат!

— Передам!

Уже расходились с перрона люди.

А Максим все стоял и смотрел вслед поезду.

...Уже никого почти не осталось на перроне, а Максим все стоял. Смотрел в ту сторону, куда уехал Игнатий.

И РАЗЫГРАЛИСЬ ЖЕ КОНИ В ПОЛЕ

И разыгрались же кони в поле,
Поископытили всю зарю.
Что они делают?
Чью они долю
Мыкают по полю?
Уж не мою ль?

Тихо в поле.
Устали кони...
Тихо в поле —
Зови, не зови.
В сонном озере, как в иконе, —
Красный оклад зари.

Минька учился в Москве на артиста.

Было начало лета. Сдали экзамен по мастерству. Минька шел в общежитие, перебирал в памяти сегодняшний день. Показался он хорошо, даже отлично. На душе было легко. Мерещилась черт знает какая судьба — красивая. Силу он в себе чуял большую.

«Прочитаю за лето двадцать книг по искусству, — думал он, — измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни — вот тогда поглядим».

В общежитии его ждал отец, Кондрат Лютаев.

Кондрат ездил на курорт и по пути завернул к сыну. И теперь сидел на его кровати — большой, загоревший, в бостоновом костюме, — ждал. От нечего делать смотрел какой-то иностранный журнал с картинками. Слюнявил губой толстый прокуренный палец и перелистывал гладкие тоненькие страницы. Когда попадались голые женщины, он внимательно разглядывал их, поднимал массивную голову и смотрел на одного из Минькиных товарищей, который лежал на своей кровати и читал. Подолгу смотрел, пристально. Глаза у Кондрата неожиданно голубые — как будто не с этого лица. Он точно хотел спросить что-то, но не спрашивал. Опять слюнявил палец и осторожно переворачивал страницу.

Кондрат Лютаев лет семь уж был председателем большущего колхоза в степном Алтае. Дело поставил крепко, его хвалили, чем Кондрат в душе сильно гордился. В прошлом году, когда Минька, окончив десятилетку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста, они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно пытался понять. «Да ты спроси у меня-а! — орал тогда Кондрат и стучал себя в грудь огромным, как чайник, кулаком, — Ты у меня спроси: я их видел-перевидел, этих артистов! Они к нам на фронте каждую неделю приезжали. Все — алкоголики. Даже бабы. И трепачи». Минька уперся на своем, и они разошлись.

Минька удивился, увидев отца.

Кондрат криво усмехнулся, отложил в сторону журнал.

Поздоровались за руку. Обоим было малость неловко.

— Ну, как ты здесь? — спросил Кондрат.

— Нормально.

Некоторое время молчали.

— Тут у вас выпить-то хоть можно? — спросил Кондрат, оглядываясь на другого студента.

Тот понял это по-своему:

— Сейчас займем где-нибудь... Завтра стипуха.

Кондрат даже покраснел.

— Вы что, сдурели! Я ж не в том смысле! Я, мол, не попадет вам, если мы тут малость выпьем?

— Вообще-то не положено, — сказал Минька и улыбнулся. Странно было видеть отца растерянным и в новом шикарном костюме. — В исключительных случаях только...

— Ну и пошли! — Кондрат поднялся. — Скажете потом, что был исключительный случай.

Пошли в магазин.

Кондрат чего-то растрогался, начал брать все подряд: колбасу дорогую, коньяк, шпроты... Рублей на сорок всего. Минька пытался остановить его, но тот только говорил сердито: «Ладно, не твое дело».

А когда шли из магазина, разговорились. Неловкость помаленьку проходила. Кондрат обрел обычный свой — снисходительный — тон.

— Не забывай, когда знаменитым станешь, артист... Забудешь небось?

— Что за глупости! Кого забуду?..

— Брось... Не ты первый, не ты последний. Надо, правда, сперва знаменитым стать... А?

— Конечно.

Выпили вчетвером — пришел еще один товарищ Миньки.

Кондрат раскраснелся, снял свой бостоновый пиджак и сразу как-то раздался в ширину — под тонкой рубашкой угадывалось крупное, могучее еще тело.

— Туго приходится? — расспрашивал он ребят.

— Ничего...

— Вижу, как ничего... Выпить даже нельзя, когда захочешь. Тоскливо небось так жить? Другой раз с девкой бы прошелся, а тут — книжки читать надо. А?

Ребята смеялись; им стало хорошо от коньяка. Минька радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты алкоголики, и что не пустое это дело, как он думал.

— А я считаю — правильно! — басил Кондрат. — Раз приехали учиться, учитесь. Девки от вас никуда не уйдут. И пить тоже еще рано — сопли еще по колена... Я на Миньку в прошлом году обиделся... Я снимаю свой упрек, Митрий. Учитесь. А если, скажем, у вас после окончания не будет получаться насчет работы, приезжайте ко мне, будете работать в клубе. Минька знает, какой у меня клуб — со столбами. Чем в Москве-то сшиваться...

— Тять...

— Не то говорю? Ну ладно, ладно... Вы же ученые, я забыл. А хозяйство у меня!.. Вон Минька знает...

Потом Кондрат и Минька пошли на выставку — ВДНХ.

Минька вспомнил свой экзамен, и ему стало вдвойне хорошо.

— Вот ты, например, человек, — заговорил он, слегка пошатываясь. — И мне сказали, что тебя надо сыграть. Но ведь ты — это же не я, верно? Понимаешь?

— Понимаю, — Кондрат шел ровно, не шатался. — Тут дурак поймет.

— Значит, я должен тебя изучить: характер твой, повадки, походку.. Все выходки твои, как у нас говорят.

— А то ты не знаешь?

— Я к примеру говорю.

— Ну-ка, попробуй мою походку, — заинтересовался Кондрат.

— Господи! — воскликнул Минька. — Это ж пустяк! — он вышел вперед и пошел, как отец, — засунув руки в карманы брюк, чуть раскачиваясь, неторопливо, крепко чувствуя под ногой землю.

Кондрат оглушительно захохотал.

— Похоже! — заорал он.

Прохожие оглянулись на них.

— Похоже ведь! — обратился к ним Кондрат, показывая на Миньку. — Меня показывает — как я хожу.

Миньке стало неудобно.

— Молодец, — серьезно похвалил Кондрат. — Учись — дело будет.

— Да это что!.. Это не главное, — Минька был счастлив. — Главное: донести твой характер, душу... А это, что я сейчас делал, — это обезьянничанье. За это нас долбают.

— Пошто долбают?

— Потому что это не искусство. Искусство в том, чтобы... Вот я тебя играю, так?

— Ну.

— И надо, чтобы в том человеке, который в конце концов получится, были и я и ты. Понял? Тогда я — художник...

— Счас пойдем глянем одного жеребца, — заговорил вдруг Кондрат серьезно. — Жеребец на выставке стоит образцовый!.. — он зло сплюнул, покачал головой. — Буяна помнишь?

— Помню.

— Приезжала нынче комиссия смотреть — я его хотел на выставку. Забраковали, паразиты! А седни прихожу на ВДНХ, смотрю: стоит образцовый жеребец... Мне даже нехорошо сделалось. Какой же это образцовый жеребец, мать

бы их в душеньку! Это ж кролик против моего Буяна. Я б его кулаком с одного раза на коленки уронил, такого образцового.

Минька представил Буяна, гордого вороного жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко заныло сердце. Увидел он, как далеко-далеко, в степи, растрепав по ветру космату́ю гриву, носится в косяке полудикий красавец конь. А заря на западе — в полнеба, как догорающий соломенный пожар, и чертят ее — кругами, кругами — черные стремительные тени, и не слышно топота коней — тихо.

— Буяна помню, как же, — негромко сказал Минька. — Хороший конь.

Кондрат долго молчал. Сощурил синие глаза и смотрел вперед нехорошо — зло.

— Я его последнее время сам выхаживал, — заговорил он. — Фикус ему в конюшню поставил — у него там как у невесты в горнице стало. Как дите родное, изучил его. Заржет черт-те где, а я уж слышу. Забраковали!.. — Кондрат замолчал. Ему было горько.

Минька тоже молчал. Расхотелось говорить об искусстве, не думалось о славной, нарядной судьбе артиста... Охота стало домой. Захотелось хлебнуть грудью степного полынного ветра... Притихнуть бы на теплом косогоре и задуматься. А в глазах опять встала картина: несется в степи вольный табун лошадей, и впереди, гордо выгнув тонкую шею, летит Буян. Но удивительно тихо в степи.

— Да, — сказал он.

— Со всего края приезжали смотреть...

— Да ладно, чего уж теперь.

Образцовый жеребец стоял в образцовой конюшне, за невысокой оградкой. Косил на людей большим нежно-фиолетовым глазом, настороженно вскидывал маленькую голову, стриг ухом.

Остановились около него.

— Этот?

— Но, — Кондрат смотрел на жеребца, как на недоброго человека, ехидные повадки которого хорошо изучил. — Он самый.

— Орловский.

— По блату выставили.

— Красивый.

— «Красивый», — передразнил сына Кондрат. — Ты уж... лучше походки изучай, раз не понимаешь.

— Чего ты? — обиделся Минька.

— Ты сядь на него да пробежи верст пятьдесят — тогда посмотри, что от этой красоты останется.

— Но нельзя же сказать, что он некрасивый!

— Вот за эту красоту он и попал сюда. У нас ведь все так... Конечно, полюбоваться можно, особенно кто не понимает ни шиша. А ты глянь! — Кондрат перешагнул оградку и пошел к жеребцу. Тот обеспокоился, засучил ногами. — Трр, стой! — прикрикнул Кондрат. — Гляди сюда — это грудь? Это воробьиное колено, а не грудь. Он на двадцатой версте захрипит...

Тут к ним подошел служитель в синем комбинезоне.

— Гражданин, вы зачем зашли туда?

— На коняку вашего любуюсь.

— Смотреть отсюда можно. Выйдите.

— А если я хочу ближе?

— Я же вам русским языком сказал: выйдите. Нельзя туда.

Кондрат выразительно посмотрел на сына, вышел из оградки.

— Понял? Издаля только можно. Потому что знающие люди враз раскусят. Чистая работа!

Служитель не понимал, о чем идет речь.

Кондрат хотел уже уйти, но вдруг повернулся к служителю и спросил совершенно серьезно:

— Вопрос можно задать?

— Пожалуйста, — служитель важно склонил голову набок.

— Этот конь — он кто: жеребец или кобыла?

Служитель взялся за живот... Он хохотал от души, как, наверно, не хохотал давно.

Кондрат внимательно, с грустью смотрел на него, ждал.

— Так ты, значит... Ха-ха-ха!.. Ой, мама родная! Так ты за этим и ходил туда? Узнать? Ха-ха-ха!..

— Смотри не надсадись, — сказал Кондрат.

Служитель вытер глаза.

— Жеребец, жеребец это, дорогой товарищ.

— Но?

— Что «но» ?

— Неужели жеребец?

— Конечно, жеребец.

— Значит, я Василиса Прекрасная.

— При чем тут Василиса?

— При том, что это не жеребец. Это — ишак.

Служитель рассердился.

— Заложил, наверно, вчера крепко? Иди похмелись.

— Иди сам похмелись! А не то— съезди вон на своем жеребце. На нем только в кабак и ездить.

Служитель нашел это замечание чрезвычайно оскорбительным.

— Выйдите отсюда! Давайте, давайте... А то сейчас милицию позову, — он тронул Кондрата за руку.

Кондрат зашагал от конюшни. Минька — за ним.

— Видел жеребца? — Кондрат закурил, несколько раз глубоко затянулся. — Приеду, пойду к той комиссии... Я им скажу пару ласковых. Ты тут спиши все данные про этого жеребца и пришли мне в письме. Я на них высплюсь там, на этих членах комиссии... Черти.

Минька тоже закурил.

— Куда сейчас?

— На вокзал. В девять пятнадцать поезд.

У Миньки защемило сердце. Он только сейчас осознал, как легко ему с отцом, как радостно и легко.

— Как вы там? — спросил он.

— Ничего, живы-здоровы. Мать без тебя тоскует. Соскочила один раз ночью — вроде ее кто-то в окно позвал. Я вышел — никого нету. Тоскует, вот и кажется.

Минька нахмурился.

— Чего она?..

— Так ить наше дело теперь не молодое... «Чего»!

— А в деревне как?

— Что в деревне?

— Ничего не изменилось?

— Все так же. Отсеялись нынче рано. Ту луговину за солонцом помнишь? Гречиху вечно сеяли...

— Но.

— Всю ее под сады пустил. Не знаю, что получится. Старики говорят, зря.

Минька не знал, что еще спрашивать. Не спросишь же: «А что, по вечерам гуляют с гармошками?». Несерьезно. Да и спрашивать нечего — гуляют. Как все это далеко! Туда поедет отец. Там — мать, ребята-дружки...

— Через трое суток дома будешь.

— Ты-то не приедешь летом?

— Не знаю. Кружок тут один веду... Не знаю, может, приеду.

— На будущий год он здесь будет, — твердо сказал Кондрат. — Я своего добьюсь.

— Кто?

— Буян. Я уж спланировал, как его по железной дороге везти. Не на того нарвались, я их сам забракую.

— А хорошо там у нас сейчас, да? Ночами хорошо?..

— Тоскуешь здесь?

— Да нет, что ты! Тут тоже хорошо. Пойдешь, например, в Парк культуры Горького — там весело.

— Москва, — раздумчиво сказал Кондрат. — На то она и столица. Мы как сейчас поедем-то?

— Можно на метро, можно на троллейбусе. Лучше, конечно, на метро — одна пересадка, и все.

Кондрат посмотрел на сына.

— Ты уж освоился тут.

— Не совсем, но...

— Москва, — еще раз сказал Кондрат. — Я в войну бывал тут. Но тогда она, конечно, не такая была.

На вокзале Миньку охватило сильное чувство, похожее на боль. Тяжело вдруг стало.

Отец взял чемоданы из камеры хранения. Пошли в вагон. Пока шли через зал и по перрону, молчали. Вошли в вагон. Отец долго устраивал чемоданы на верхнюю полку, потом присел к столику, напротив сына. И опять молчали, глядели в окно.

По перрону шли и шли люди. Одни торопились, другие, много ездившие, шли спокойно.

«И все они сейчас поедут», — думал Минька.

В купе пахло чем-то свежим — не то краской, не то кожей.

Потом по радио объявили, чтобы провожающие вышли из вагонов и чтобы они не забыли передать билеты отъезжающим.

Минька вышел из вагона и подошел к окну, за которым сидел отец.

Смотрели друг на друга. Кондрат смотрел внимательно и серьезно.

«Что он так? Как в последний раз», — подумал Минька.

Поезд все не трогался.

Наконец тронулся.

Минька долго шел рядом с окном, смотрел на отца. Он тоже смотрел на него. Он сидел, навалившись на маленький столик, не шевелился. Был он седой, хмурый и смотрел все так же — внимательно и строго.

Минька остановился. В последний раз увидел, как отец привстал и прислонился к стеклу... И все. Поезд прогудел густым басом и стал набирать ходу.

Минька пошел домой.

Шел до самого общежития пешком. Шел бездумно, нарочно сворачивал в какие-то переулки — чтоб устать и прийти, и сразу уснуть.

В комнате никого не было. На столе осталась всевозможная закуска, и стояла недопитая бутылка дорогого коньяка.

Минька разобрал постель... Долго сидел, не раздеваясь. Потом разделся и лег.

Взошла луна. В комнате стало светло. Минька представил, как грохочет сейчас по степи поезд, в котором отец... Отец смотрит, наверно, в окно. А по земле идет светлая ночь, расстилает по косогорам белые простыни...

Минька перевернулся на живот, уткнулся в подушку. И опять, в который раз, увидел: степь,и табун лошадей несется по степи...

С этим и аснул Минька. И слышал, как в соседней комнате играет радиола. И ему снилось, что тот самый служитель с выставки стоит над ним и хохочет — громко и глупо.

СТЁПКА

И пришла весна — добрая и бестолковая, как недозрелая девка.

В переулках на селе — грязь по колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из «Заготскота», то и останется он у него в руках, ибо дяди из «Заготскота» все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов лаются на чем свет стоит.

— Тебе, паразит, жалко сапоги замарать, а я долж́он каждую весну плетень починять?!

— Взял бы да накидал камней, если плетень жалко.

— А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай...

— А, тогда не лайся, если такой умный.

И ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега.

А в тополях, у речки, что-то звонко лопается с тихим ликующим звуком: «Пи-у».

Лед прошел по реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву, а на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше — умирать.

Сырой ветерок кружится и кружит голову. Остро пахнет навозом.

Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют.

Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с похлебкой. Пляшут веселые огоньки, потрескивает волглый хворост. Задумчиво в теплом воздухе... Прожит день. Вполсилы ведутся неторопливые, необязательные разговоры — завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о чем: что, может, жизнь — судьба эта самая — могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше?.. А в общем-то и так ничего — сойдет.

В такой-то-задумчивый хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Степан Воеводин.

Пришел с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, вздохнул. И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Долго сидел так, смотрел.

Потом встал и пошел в деревню.

Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне — тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай щурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился.

...И тут на пороге, в дверях, вырос сын его — Степан.

— Здорово, тять.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына... Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

— Степка, что ли?

— Но... Ты чо, не узнал?

— Хот!.. Язви тя... Я уж думал: почудилось.

Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу. Обнялись, чмокнулись.

— Пришел?

— Пришел.

— Чо-то раньше? Мы осенью ждали.

— Отработал... отпустили пораньше.

— Хот... Язви тя!.. — отец был рад сыну, рад был видеть его. Только не знал, что делать. — А Борзя-то живой ишо, — сказал.

— Но? — удивился Степан. Он тоже не знал, что делать. Тоже рад был видеть отца. — А где он?

— А шалается где-нибудь. Этта в субботу вывесили бабы бельишко сушить — все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и давай трепать...

— Шалавый дурак.

— Хотел уж пристрелить его, да подумал: придешь — обидишься...

Присели на верстак, закурили.

— Наши здоровы? — спросил Степан.

— Ничо, здоровы. Как сиделось-то?

— Ничо, хорошо. Работали.

— В шахтах небось?

— Нет, зачем — лес валили.

— Ну да, — Ермолай кивнул головой. — Дурь-то вся вышла?

— Та-а... — Степан поморщился. — Не в этом дело, тять.

— Ты вот, Степка... — Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем. — Понял теперь: не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться... Тут без этого...

— Не в этом дело, — опять сказал Степан.

В сарайчике быстро темнело. И все так же волнующе пахло стружкой и махрой.

Степан встал с верстака, затоптал окурок... Поднял свой хилый вещмешок.

— Пошли в дом, покажемся.

— Немая-то наша, — заговорил отец, поднимаясь, — чуток замуж не вышла. — ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову.

— Но? — удивился Степан.

— И смех и грех...

Пока шли от завозни, отец рассказывал:

— Приходит один раз из клуба и маячит мне: жениха, мол, приведу. Я, говорю, те счас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь.

— Может, зря?

— Чо зря? Зря... Обмануть надумал какой-то — и выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая. Я, говорю, такого те жениха приведу..

— Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда...

А в это время на крыльцо вышла и сама «невеста» — крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрела она до слез доверчиво.

— М-эмм, мм, — мычала она и ждала, когда брат подойдет, и глядела на него сверху, с крыльца... И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы.

— Вот те и «мэ», — сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. — Ждала все, крестики на стене ставила — сколько дней осталось, — пояснил он Степану. — Любит всех, как дура.

Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал ее по спине... А она вцепилась в него, целовала в щеки, в лоб, в губы.

— Ладно тебе, — сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко ему было, что его так нацеловывают, и рад был тоже, и не мог оттолкнуть сестру.

— Ты гляди, — смущенно бормотал он. — Ну хватит, хватит... Ну, все...

— Да пусть уж, — сказал отец и опять вытер глаза. — Вишь, соскучилась.

Степан высвободился наконец из объятий сестры, весело оглядел ее.

— Ну как живешь-то? — спросил.

Сестра показала руками — «хорошо».

— У ей всегда хорошо, — сказал отец, поднимаясь на крыльцо. — Пошли, мать обрадуем.

Мать заплакала, запричитала:

— Господи-батюшки, отец небесный, услыхал ты мои молитвы, долетели они до тебя...

Всем стало как-то не по себе.

— Ты, мать, и радуисся, и горюешь — все одинаково, — строго заметил Ермолай. — Чо захлюпала-то? Ну, пришел теперь, радоваться надо.

— Дак я и радуюсь, не радуюсь, что ли...

— Ну и не реви.

— Здоровый ли, сынок? — спросила мать. — Может, по хвори какой раньше-то отпустили?

— Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили.

Стали приходить соседи, родные.

Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая гладкая баба с круглым добрым лицом. Еще в сенях заговорила излишне радостно и заполошно:

— А я гляжу из окошка-то: осподи-батюшки, да ить эт Степан пришел?! И правда — Степан...

Степан улыбнулся ей.

— Здорово, Нюра.

Нюра обвила горячими руками красивого соседа, прильнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам...

— От тебя, как от печки, пышет, — сказал Степан. — Замуж-то не вышла?

— А где они тут, женихи-то? Два с половиной мужика на всю деревню.

— А тебе что, пять надо?

— Я, может, тебя ждала? — Нюра засмеялась.

— Пошла к дьяволу, Нюрка! — возревновала мать. — Не крутись тут — дай другим поговорить. Шибко чижало было, сынок?

— Да нет, — стал рассказывать Степан. — Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там — в неделю два раза. А хошь — иди в красный уголок, там тебе лекцию прочитают: «О чести и совести советского человека» или «О положении рабочего класса в странах капитала».

— Что же, вас туда собрали кино смотреть? — спросила Нюра весело.

— Почему?.. Не только, конечно, кино...

— Воспитывают, — встрял в разговор отец. — Мозги дуракам вправляют.

— Людей интересных много, — продолжал Степан. — Есть такие орлы!.. А есть образованные. У нас в бригаде два инженера было...

— А эти за что?

— Один — за какую-то аварию на фабрике, другой — за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове...

— Может, врет, что инженер? — усомнился отец.

— Там не соврешь. Там все про всех знают.

— А кормили-то ничего? — спросила мать.

— Хорошо, всегда почти хватало. Ничего.

Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке Воеводиных. Степан снова и снова принимался рассказывать:

— Да нет, там, в общем-то, хорошо! Вы здесь кино часто смотрите? А мы — в неделю два раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало... А один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой...

Степана слушали с интересом, немножко удивлялись, говорили «хм», «ты гляди!», пытались сами тоже что-то расска-

зать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним.

— А насчет охраны строго?

— Ерунда! Нас последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались.

— А бегут?

— Мало. Смысла нет.

— А вот говорят: если провинился человек, то его сажают в каменный мешок...

— В карцер. Это редко, это если сильно проштрафился... И то уркаганов, а нас редко.

— Вот жуликов-то, наверно, где! — воскликнул один простодушный парень. — Друг у дружки воруют, наверно?..

Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана.

— Там у нас строго за это, — пояснил Степан. — Там, если кого заметют, враз решку наведут...

Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку; отец сбегал в лавочку... Кто принес сальца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца-медовухи в туеске — праздник случился нечаянно, хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно.

И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу; перебивали друг друга, смеялись... Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться... И чтоб им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл:

Прости мне, ма-ать,
За все мои поступки,
Что я порой не слушалась тебя-а!..

На минуту притихли было; Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.

Х, я думала-а, что тюрьма д это шутка,
И этой шуткой сгубила д я себя-а! —

пел Степан.

Песня не понравилась — не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их...

— Блатная! — с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме — сплошное жулье. — Тихо вы!

— Чо же, сынок, баб-то много сидят? — спросила мать с другого конца стола.

— Хватает.

И возник оживленный разговор о том, что, наверно, бабам-то там несладко.

— И вить дети небось пооставались.

— Детей — в приюты...

— А я бы баб не сажал! — сурово сказал один изрядно подвыпивший мужичок. —Я бы им подолы на голову — и ремнем!

— Не поможет, — заспорил с ним Ермолай. — Если ты ее выпорол — так? — она только злей станет. Я свою смолоду поучил раза два вожжами — она мне со зла немую девку принесла.

Кто-то поднял песню. Свою. Родную.

Оте-ец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с им...

Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравниваться.

...Три дня, три ноченьки старался —
Сестру из плена выруча-ал...

Увлеклись песней — пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой.

Злодей пустил злодейку пулю,
Уби-ил красавицу сестру-у.
Взошел я на гору крутую,
Село-о родное посмотреть;
Гори-ит, горит село родное,
Гори-ит вся родина-а моя-а!..

Степан крепко припечатал кулак в столешницу.

— Ты меня не любишь, не жалеешь! — сказал он громко. — Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, всхлипнула гармонь — кто-то предусмотрительный смотался за гармонистом. Взревели... Песня погибла. Вылезали из-за стола и норовили сразу попасть в ритм «подгорной». Старались покрепче дать ногой в половицу.

Бабы образовали круг и пошли, и пошли с припевом. И немая пошла и помахивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись... И она тоже смеялась — она была счастлива.

— Верка! Ве-ерк! — кричал изрядно подпивший мужичок. — Ты уж тогда спой, ты спой, чо же так ходить-то! — никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке — просто закатывался.

Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:

— Кэ-эк она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насилу-насилу вот так голову-то приподняла да спрашиваю: «К худу или к добру?». А она мне в самое ухо дунула: «К добру!».

Пожилая баба покачала головой.

— К добру?

— К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.

— Упредила.

— Упредила, упредила. А я ищо подумай вечером-то: «К какому добру думаю, мне суседка-то предсказала?». Только так подумала, а дверь-то открывается — и он вот он, на пороге.

— Господи, господи, — прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. — Надо же!

Бабы втащили на круг Ермолая. Ермолай, недолго думая, пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал... И приговаривал: «Оп-па, ат-та, оп-па, ат-та». И вколачивал и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала.

— Давай, Ермил! — кричали Ермолаю. — У тя седня радость большая — шевелись!

— Ат-та, оп-па, — приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, ссутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась, и так он и плясал — слегка сгорбатившись,

и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести — долго ждал этого дня, без малого пять лет.

В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь.

— Давай, тять...

— Давай — батька с сыном! Шевелитесь!

— А Степка-то не изработался — взбрыкивает.

— Он же говорит: им там хорошо было. Жрать давали...

— Там дадут — догонют да еще дадут.

— Ат-та, оп-па!.. — приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну.

Плясать оба не умели, но работали ладно — старались. Людям это нравилось; смотрели на них с удовольствием.

Так гуляли.

Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять: решили, что так надо, надо, наверно, явиться Степану в сельсовет — оформить всякие там бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормошить отца. Тот спьяну отмахнулся:

— Отстань, ну тя! Пляши вон.

Вышли за ворота. Остановились.

— Ты что, сдурел, парень? — спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана.

Степан прислонился спиной к воротному столбу, усмехнулся.

— Чудно? Ничего...

— Тебе же три месяца сидеть осталось!

— Знаю не хуже тебя... Дай закурить.

Участковый дал ему папиросу, закурил сам.

— Пошли.

— Пошли.

— Может, скажешь дома-то?.. А то хватятся...

— Сегодня не надо — пусть погуляют. Завтра скажешь.

— Три месяца не досидеть и сбежать!.. — опять изумился милиционер. — Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?

Степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла... Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался.

— А?

— Чего?

— Зачем ты это сделал-то?

— Сбежал-то? А вот — пройтись разок... Соскучился.

— Так ведь три месяца осталось! — почти закричал участковый. — А теперь еще пару лет накинут.

— Ничего... Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили — каждую ночь деревня снится... Хорошо у нас весной, верно?

— Н-да... — раздумчиво сказал участковый.

Долго шли молча, почти до самого сельсовета.

— И ведь удалось сбежать!.. Один бежал?

— Трое.

— А те где?

— Не знаю. Мы сразу по одному разошлись.

— И сколько же ты добирался?

— Две недели.

— Тьфу!.. Ну, черт с тобой, сиди.

В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. Хмель прошел.

— Оружия нет? — спросил участковый, отвлекаясь от протокола.

— Сроду никакой гадости не таскал с собой.

— Чем же ты питался в дороге?

— Они запаслись — те двое-то...

— А им по сколько оставалось?

— По многу..

— Но им-то хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул?

— Ладно, надоело! — обозлился Степан. — Делай свое дело, я ж тебе не мешаю.

Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал:

— А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю: ошибка какая-нибудь — не может быть, чтоб на свете были такие придурки. Оказывается, правда.

Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал.

— Небось смеялись над тобой те двое-то? — не вытерпел и еще спросил словоохотливый милиционер.

Степан не слышал его.

Милиционер долго с любопытством смотрел на него. Сказал:

— А по лицу не скажешь, что дурак, — и продолжал сочинять протокол.

В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата...

— Мэ-мм? — спросила брата.

Степан растерялся.

— Ты зачем сюда?

— Мэ-мм?! — замычала сестра, показывая на милиционера.

— Это сестра, что ли? — спросил тот.

— Но...

Немая подошла к столу, тронула участкового за плечо и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос: «Ты зачем увел его?!».

Участковый понял.

— Он... он, — показал на Степана, — сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!.. — участковый показал на окно и показал, как сбегают. — Нормальные люди в дверь выходят, в дверь, а он в окно — раз, и ушел. И теперь ему будет... — милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана. — Теперь ему опять вот эта штука будет! Два! — растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. — Два года еще!

Немая стала понимать... И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер — тоже смотрел на сестру.

— Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди...

Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее...

— Убери ее, — хрипло попросил Степан. — Убери!

— Как я ее уберу?..

— Убери, гад! — заорал Степан не своим голосом. — Уведи ее, а то я тебе расколю голову табуреткой!

Милиционер вскочил, оттащил немую от брата... А она рвалась к нему и мычала. И трясла головой.

— Скажи, что ты обманул, пошутил... Убери ее!

— Черт вас!.. Возись тут с вами, — ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. — Он придет сейчас, я ему дам проститься с вами! — пытался он втолковать ей. — Счас он придет!.. — ему удалось наконец подтащить ее к двери и вытолкнуть. — Ну, здорова́!.. — он закрыл дверь на крючок. — Фу-у.. Вот каких ты делов натворил — любуйся теперь.

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку.

Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону.

— Вызываю машину — поедем в район, ну вас к черту... Ненормальные какие-то.

А по деревне серединой улицы шла, спотыкаясь, немая и горько плакала.

КОСМОС, НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ШМАТ САЛА

Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал.

Раз в месяц — с пенсии — Евстигнеич аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лежку. Матерился в бога.

— Как черти копытьями толкут, в господа мать. Кончаюсь...

За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеича, учил уроки.

— Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!..

— Не надо было напиваться.

— Молодой ишо рассуждать про это.

Пауза. Юрка поскрипывает пером.

Старику охота поговорить — все малость полегче.

—А чо же мне делать, если не напиться? Должен я хоть раз в месяц отметиться...

— Зачем?

— Што я не человек, што ли?

— Хм... Рассуждения, как при крепостном праве, — Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина. — Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

— А ты откуда знаешь про крепостное время-то? — старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит. — Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.

— Проходили.

— Учителя, што ли, рассказывали?

— Но.

— А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.

— Они учились. В книгах написано...

— В книгах... А они, случайно, не знают, отчего человек с похмелья хворает?

— Отравление организма: сивушное масло.

— Где масло? В водке?

— Но.

Евстигнеичу хоть тошно, но он невольно усмехается:

— Доучились.

— Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу.. — Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову.

— О-о... опять накатило! Все, мать-перемать...

— Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет — сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди... Кадки, кадушки, туески, бочонки — целый склад. В кладовке — полтора куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде — яма картошки, тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, возится по хозяйству. Часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти драные. Тут ли счас не жить!» — думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город.

У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери, кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский.

Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него пять рублей в месяц. А варят — старик себе отдельно, Юрка — себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухомятку ест хлеб. Потом спрашивает:

— Все вышло?

— Ага.

— Я дам... Апосля привезешь.

— Давай.

Старик отвешивает на безмене килограмм-два пшена, и Юрка варит себе кашу.

По утрам беседуют у печки.

— Все же охота доучиться?

— Охота. Хирургом буду.

— Сколько ишо?

— Восемь. Потому что в медицинском — шесть, а не пять, как в остальных.

— Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет сэстоль?

— На стипендию. Учатся ребята... У нас из деревни двое так учатся.

Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей.

— Чо эт вас так шибко в город-то тянет?

— Учиться... «Что тянет». А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.

— Што, они много шибко получают, што ль?

— Кто? Хирурги?

— Но.

— Наоборот, им мало платят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно...

— Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди на шофера выучись да работай. Они вон по скольку зашибают! Да ишо где лесишко кому подкинет, где сена

привезет совхозного — деньги. И матери бы помог. У ей вить ишо трое на руках.

Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери... Накипает раздражение против старика.

— Проживем, — резко говорит он. — Никому до этого не касается.

— Знамо дело́, — соглашается старик. — Сбили вас с толку этим ученьем — вот и мотаетесь по белому свету как... — он не подберет подходящего слова — как кто. — Жили раньше без всякого ученья — ничо, бог миловал: без хлебушка не сидели.

— У вас только одно на уме: раньше!

— А то... ирапланов понаделали — дерьма-то!

— А тебе больше глянется на телеге? Или на печке лежать?

— А чем плохо на телеге? Я еслив поехал, так знаю: худо-бедно — доеду. А ты навернесся с этого свово ираплана — костей не соберут.

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться — он потом целый день молчит; Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение оттого, что вступается за Новое — за аэропланы, учение, город, книги, кино...

Странно, но старик в бога тоже не верит.

— Делать нечего — и начинают заполошничать, кликуши, — говорит он про верующих. — Ро́бить надо, вот и благодать настанет.

Но работать — это значит на своей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку — кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах.

— У тебя какой-то кулацкий уклон, дед, — сказал однажды Юрка в сердцах.

Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно:

— Ставай, проклятый заклеменный!.. — и высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: — Ты ба, наверно, комиссаром у них был. Тогда молодые были комиссарами.

Юрке это польстило.

— Не проклятый, а — проклятьем, — поправил он.

— Насчет уклона-то... смотри не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть.

— Нужно мне.

Частенько возвращались к теме о боге:

— Чо у вас говорят про его?

— Про кого?

— Про бога.

— Да ничего не говорят — нету его.

— А почему тогда столько людей молются?

— А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь...

— Сравнил! Я — матерюсь.

— Все равно — в бога.

Старик в затруднении.

— Я, што ли, один так лаюсь? Раз его все споминают, стало быть, и мне можно.

— Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.

— ...Отлегло малость, в креста мать, — говорит старик. — Прямо в голове все помутнело.

Юрка не хочет больше разговаривать — надо выучить уроки.

— Про кого счас проходишь?

— Астрономию, — коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.

— Это про кого?

— Космос. Куда наши космонавты летают.

— Гагарин-то?

— Не один Гагарин... Много уж.

— А чего они туда летают? Зачем?

— Привет! — воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. — Ну, ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать?

— Что ты привязался с этой печкой? — обиделся старик. — Доживи до моих годов, тогда вякай.

— Я не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? — это я тебе скажу..

— Ну и растолкуй. Для чего же тебя учут? Чтоб ты на стариков злился?

— Ну, во-первых: освоение космоса — это... надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время — доле-

тят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них?..

— Они такие же, как мы?

— Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая — больше давит.

— Ишо драться кинутся.

— За что?

— Ну, скажут: зачем прилетели? — старик заинтересован рассказом. — Непрошеный гость, говорят, хуже татарина.

— Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее — может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим... — Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе. — Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу.. И получится такое... мировое человечество. Все будем одинаковые.

— Жениться, што ли, друг на дружке будете?

— Я говорю — в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство божие, которое религия называет — рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки — пожалуйста: включил видеоприемник, настроился на определенную волну — они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить — лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет — и через какое-то время икс ты у дочери... А внук... ему сколько?

— Восьмой, однако.

— Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до ста, ста двадцати лет жить.

— Ну, это уж ты... приврал.

— Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет — это нормальный срок считается, Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по Галактике.

— А сами-то не можете — чтоб сто двадцать?

— Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики. И возможно, там этот процесс уже решен: открыто какое-нибудь лекарство...

— Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

— Ты не захочешь, а другие — с радостью. Будет такое средство...

— «Средство»... Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство — и то ладно. А то башка, как этот... как бочонок из-под самогона.

— Не надо пить.

— Пошел ты!..

Замолчали.

Юрка сел за учебники.

— У вас только одно на языке: будет! будет!.. — опять начал старик. — Трепачи. Ты вот — шешнадцать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, чо ты ему сделаешь?

— Вырежу чего-нибудь.

— Дак если ему срок подошел помирать, чо ты ему вырежешь?

— Я на такие... дремучие вопросы не отвечаю.

— Нечего отвечать, вот и не отвечаете.

— Нечего?.. А вот эти люди!.. — сгреб кучу книг и показал. — Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

— Там читать нечего — вранье одно.

— Ладно! — Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. — Чума раньше была?

— Холера?

— Ну, холера.

— Была. У нас в двадцать...

— Где она сейчас? Есть?

— Не приведи господи! Может, будет ишо...

— В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?

— Сбесился бы.

— И помер. А сейчас — сорок уколов, и все, человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас, пожалуйста:

полгода — и человек, как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! «Вранье»... Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

— Так. Допустим. Собака — это ладно. А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет — и как рукой сымет. А вить она институтов не кончала.

— Укус был не смертельный. Вот и все.

— Иди подставь: пусть она разок чикнет куда-нибудь...

— Пожалуйста! Я до этого укол сделаю и пусть кусает, сколько влезет — я только улыбнусь.

— Хвастунишка.

— Да вот же они, во-от! — Юрка опять показал книги. — Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.

— Как это?

— Так. «Вот, говорит, сейчас, у меня холодеют ноги — записывайте». Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».

— Они пишут?

— Пишут. Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали, — у Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

— Ну?..

— И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими с вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили... «Раньше было! Раньше было!..». Вот так было раньше?! — Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица. — Где она? Ее же нет здесь!

— Кого?

— Этой... кто поет-то.

— Дак это по проводам...

— Это — радиоволны! «По проводам». По проводам — это у нас здесь, в деревне только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет — что, туда провода протянуты?

— Провода. Я в прошлом годе ездил к Ваньке, видал: вдоль железной дороги провода висят. На столбах.

Юрка махнул рукой.

— Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить. Все.

— Ну и учи.

— А ты меня отрываешь, — Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать.

Долго в избе было тихо.

— Он есть на карточке? — спросил старик.

— Кто?

— Тот ученый, помирал-то который.

— Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.

— Старенький уж был.

— Он был до старости лет бодрый и не напивался, как... некоторые, — Юрка отнял книгу, — и не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать!.. Нервная система — это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?

— С похмелья, я без Павлова знаю.

— С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она... распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно поллитра. Ты уже не можешь без этого, — Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал. — Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте? Пошел домой... И ноги у тебя сами поворачивают в сельмаг. А ты возьми пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.

— Я хуже маяться буду.

— Раз помаешься, два, три — потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.

Старик привстал, свернул трясущимися пальцами цигар ку прикурил. Затянулся и закашлялся.

— Ох, мать твою... Кхох!.. Аж выворачивает всего. Это ж надо так!

Юрка сел опять за учебники.

Старик кряхтя слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы.

«Куда это он?» — подумал Юрка.

Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной.

— Хлеб-то есть? — спросил он строго.

— Есть. А что?

— На, поешь с салом, а то загнесся загодя со своими академиками... пока их изучишь всех.

Юрка даже растерялся.

— Мне же нечем отдавать будет — у нас нету..

— Ешь. Там чайник в печке — ишо горячий, наверно... Поешь.

Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку.

— Как сало-то?

— Вери вел! Первый сорт.

— Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сдуру начинают ее напичкивать осенью — получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот — маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют: ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следовает, потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать... Вот оно тогда будет слоями; слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь...

Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.

— Ох, здорово! Спасибо.

— Наелся?

— Ага, — Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Сало еще осталось. — А это куда?

— Вынеси в сени, на кадушку. Вечером ишо поешь.

Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело:

— Теперь голова лучше будет соображать... А то... это... сидишь — маленько кружится.

— Ну вот, — сказал довольный дед, укладываясь опять на спину. — Ох, мать твою в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

— Может, я пойду куплю четвертинку! — предложил Юрка.

Дед помолчал.

— Ладно... пройдет так. Потом, попозже, курям посыпешь да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь.

— Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? География, Сейчас мы ее... галопом, — Юрке сделалось весело: поел хорошо, уроки почти готовы — вечером можно на лыжах покататься.

— А у его чо же, родных-то никого, что ли, не было? — спросил вдруг старик.

— У кого? — не понял Юрка.

— У того академика-то. Одни студенты стояли?

— У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

— Дети-то были, поди?

— Наверно. Завтра узнаю.

— Были, конечно. Никого если бы не было родных-то, не много надиктуешь. Одному-то плохо.

Юрка не стал возражать. Можно было сказать: а студенты-то! Но он не стал говорить.

— Конечно, — согласился он. — Одному плохо.

НЕЧАЯННЫЙ ВЫСТРЕЛ

Нога была мертвая. Сразу была такой, с рожденья: тонкая, искривленная... висела, как высохшая плеть. Только чуть шевелилась.

До поры до времени Колька не придавал этому значения. Когда другие учились ходить на двух ногах, он научился на трех — и все. Костыли не мешали. Он рос вместе с другими ребятами, лазил по чужим огородам, играл в бабки — и как играл! — отставит один костыль, обопрется на него левой рукой, нацелится — бац! — полдюжины бабок как век не было на кону.

Но шли годы. Колька вырастал в красивого крепкого парня. Костыли стали мешать. Его одногодки провожали

уже девчонок из клуба, а он шагал по переулку один, поскрипывая двумя своими постылыми спутниками.

Внимательные умные глаза Кольки стали задумчивыми.

Соседских ребят каждый год провожали в армию: то одного, то другого, то сразу нескольких... Провожали шумно. Колька обычно стоял в сенях своего дома и смотрел в щелочку. Ему тоже хотелось в армию.

Один раз отец Кольки, Андрей Воронцов, колхозный механик, застал сына за таким занятием... Хотел незаметно пройти в дом, но Колька услышал шаги, обернулся.

— Ты чего тут? — как бы мимоходом спросил отец.

Колька покраснел.

— Так, — сказал он. И пошел к своему верстачку (он чинил односельчанам часы — выучился у одного заезжего человека).

А время шло.

И случилось то, что случается со всеми: Колька полюбил.

Через дорогу от них, в небольшом домике с писаными ставнями, жила горластая девушка Глашка. Колька видел ее из окна каждый день. С утра до вечера носилась быстроногая Глашка по двору: то в погреб пробежит, то гусей из ограды выгоняет, то ругается с соседкой из-за свиньи, которая забралась в огород и попортила грядки... Весь день только ее и слышно по всей окраинке.

Однажды Колька смотрел на нее и ни с того ни с сего подумал: «Вот... была бы не такая красивая... жениться бы на ней, и все». И с того времени думал о Глашке каждый день. Это стало мучить. Какая-то сила поднимала его из-за верстачка и выводила на крыльцо.

— Глашка! — кричал он девушке. — Когда замуж-то выйдешь, телка такая?! Хоть бы гульнуть на твоей свадьбе!

— Не берет никто, Коля! — отвечала словоохотливая Глашка. — Я уж давно собралась!

«Ишь ты... какая», — думал Колька, и у него ласково темнели задумчивые серые глаза.

А над деревней синим огнем горело июльское небо. В горячих струях воздуха мерещилась сказка и радость. В воды рек опрокидывались зори и тихо гасли. И тишина стояла ночами... И сладко и больно сжимала грудь эта тишина.

Летом Колька спал в сарайчике, одна стена которого выходила на улицу.

Однажды к этой стене прислонилась парочка. Кольку ткнуло в сердце — он сразу почему-то узнал Глашку, хотя те, за стеной, долго сперва молчали. Потом он лежал и слушал их бессмысленный шепот и хихиканье. Он проклял в эту ночь свои костыли. Он плакал, уткнувшись в подушку. Он не мог больше так жить!

Когда совсем рассвело, он пошел к фельдшеру на дом. Он знал его — не один раз охотились и рыбачили вместе.

— Ты чего ни свет ни заря поднялся? — спросил фельдшер.

Колька сел на крыльцо, потыкал концом костыля в землю...

— Капсюлей нету лишних? У меня все кончились,

— Капсюлей? Надо посмотреть, — фельдшер ушел в дом и через минуту вынес горстку капсюлей. — На.

Колька ссыпал капсюли в карман, закурил... Как-то странно внимательно, с кривой усмешкой посмотрел на фельдшера. Поднялся.

— Спасибо за капсюли.

— На здоровье. Сам бы поохотничал сейчас... — вздохнул фельдшер и почесал лысину. — Но... но отпуск только в августе.

Колька вышел за ворота, остановился. Долго стоял, глядя вдоль улицы.

Повернулся и пошел обратно.

— На капсюли-то, — сказал он фельдшеру. — У меня своих хоть отбавляй.

Фельдшер сделал брови «домиком»:

— Что-то непонятно.

Колька нахмурился.

— Посмотри ногу... хочу протез попробовать. Надоело так.

— А-а, — фельдшер глянул Кольке в глаза... и сам смутился. — Давай ее сюда.

Вместе долго рассматривали ногу.

— Здесь чувствуешь?

— Чувствую.

— А здесь?

— Ну-ка еще... Чувствую.

— Пошевели. Еще. А теперь — вбок. Подвигай, подвигай. Так, — фельдшер выпрямился. — Вообще-то... я тебе так скажу: попробуй. Я затрудняюсь сейчас точно сказать, но попробовать можно. Ее придется отнять вот по этих пор. Понимаешь?

— Понимаю.

— Попробуй. Сразу, может, конечно, не получится. Придется поработать. Понимаешь?

Колька пришел домой и стал собираться в дорогу — в город, в больницу Матери не сказал, зачем едет, а отца вызвал на улицу и объяснил:

— Поеду ногу отрублю.

— То есть как? — Андрей вытаращил глаза.

— Протез хочу попробовать.

Через неделю Кольке отпилили ногу. Осталась култышка в двадцать семь сантиметров.

Когда рана малость поджила, он начал шевелить култышкой под одеялом — тренировал.

Приехал отец попроведать. Долго сидел около койки... Не смотрел на обрубок: какая-никакая, все-таки была нога. Теперь вовсе никакой.

Потом Колька, не заезжая домой, отправился в Н-ск.

Домой явился через полмесяца... С какой-то длинной штукой в мешке.

Мать так и ахнула, увидев Кольку «без ноги». Колька засмеялся...

Развязал мешок и брякнул на пол сверкающий лаком протез.

— Вот... нога. Ноженция.

Все с интересом стали разглядывать протез. А Колька стоял в сторонке и улыбался: он уже насмотрелся на него дорогой.

— Блестит весь... Господи! — сказала мать.

Отец как механик забрал протез в руки и стал детально изучать.

— Добрая штука, — заключил он. — Не то что у деда Кузьмы — деревяшка.

Всем очень понравился протез. Все верили — и Колька верил, — что на таком-то протезе дурак пойдет. Уж очень добротно, точно, крепко, изящно он был сработан: весь так и сверкал лаком и всяческими пристежками и винтами.

— Когда попробуешь? — спросил отец, взвешивая протез на руке.

— Поджившет нога хорошенько — попробую. Не велели торопиться.

Стояла темная ночь. Далеко-далеко мерцали зарницы.

Колька рано ушел в свой сарай. Лег и стал ждать.

Стихло во всей деревне.

Колька подождал еще немного, зажег лампу и стал надевать протез. Надел. Закурил... Курил и смотрел на протез.

— Ничего себе... ноженька. Хэх! — улыбнулся.

Старательно погасил окурок. Встал. Его шатнуло в сторону, как пьяного. Он удержался руками за спинку кровати. Постоял, шагнул здоровой ногой. А левую, с протезом, не мог сдвинуть. Стал падать. Опять схватился за кровать... подтянул протезную ногу. Сердце сильно колотилось.

— Ничего. Придется, конечно, поработать, — сказал сам себе.

Еще одна попытка — нет. Левая нога не шагала. Тогда Колька далеко шагнул правой и что было силы рванулся всем телом вперед, подтягивая левую. Упал. Долго лежал, вцепившись руками в землю. Левая нога не шагала. Нисколько. Даже на полшажка.

— Ну ничего... Паразитка. С непривычки... — поднялся. Еще попытка. И еще. Нет.

Колька устал.

— Перекурим это дело, — он говорил зло. Он уже не верил в успех, но признаться в этом было страшно. Просто невозможно. Нет! Как же?..

Покурил и снова с остервенением стал пытаться пройти на протезе. И снова — нет. Нет и нет.

Колька матерно выругался и лег на кровать. Ему бросилось в глаза ружье, висевшее на стенке, над кроватью... Он поднялся... И снова стал пробовать двигать левой ногой.

— Пойдешь, милая. Ну-ка... Оп-п! Паразитка! — тихо ругался он.

Натруженная култышка горела огнем, как сплошной нарыв. Колька отстегнул протез и стал дуть на култышку. Потом, превозмогая боль, снова пристегнул протез.

— А сейчас?.. Ну-ка!.. Опять нет?

Светало.

— Гадина, — сказал Колька и лег на кровать. И закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Чья-то сальная, безобразная морда склонилась над ним и улыбнулась поганым ртом. Колька открыл глаза... — Ах ты гадство, — тихо повторил он. И снял со стенки ружье...

Отец узнал о несчастье на другой день, к вечеру (он ездил в район насчет запасных частей). Ему сказали, когда он подъезжал к дому. Он развернул коня и погнал в больницу.

— Сейчас лучше бы не надо, — пояснил приезжий доктор. — Сейчас он...

Отец отстранил доктора и пошел в палату.

Колька лежал на спине весь забинтованный... Бледный, незнакомый какой-то — как чужой. Он был совсем безнадежный на вид. В палате пахло йодом.

Отец вспотел от горя.

— Попросил бы меня — я бы попал, куда надо... Чтоб сразу уж... — голос отца подсекся... Он вытер со лба пот, сел на табуретку рядом с кроватью,

Колька скосил на него глаза... Пошевелил губами...

— Болит? — спросил отец.

Колька прикрыл глаза: болит.

— Ээ... — отец поднялся и пошел из палаты.

— Вот как обстоит дело: все зависит от того, как сильно захочет жить он сам. Понимаете? Сам организм должен...

Отец обезумел от горя: взял доктора за грудки:

— А ты для чего здесь? Организм!..

— Не нужно так. Отпустите. Мы сделаем все, что можно будет сделать.

Отец отпустил доктора, хотел еще раз войти в палату, но перед самой дверью остановился, постоял... и пошел из больницы. Он уже далеко отошел, потом вспомнил, что приехал сюда на лошади. Вернулся, сел на дрожки, подстегнул коня...

Мать Кольки лежала в постели — захворала с горя.

— Как он там? — слабым голосом спросила она мужа, когда тот вошел в избу.

— Если помрет, тебе тоже несдобровать. Убью. Возьму топор и зарублю, — Андрей был бледный и страшный в своем отчаянии.

Мать заплакала.

— Господи, господи...

— Господи, господи!.. Только и знаешь своего господа! Одного ребенка не могла родить как следует... с двумя ногами! Я этому твоему господу шею сейчас сверну, — Андрей снял с божницы икону Николая-угодника и трахнул ее об пол. — Вот ему!.. Гад такой!

— Андрюша!.. Господи... Это из-за Глашки он. Полюбилась она ему, змея подколодная... Был парень как парень, а тут как иглу съел.

Андрей некоторое время тупо смотрел на жену.

— Какую Глашку?

— Какую Глашку!.. Одна у нас Глашка.

Андрей повернулся и побежал к Глашке.

— Дядя Андрей, миленький!.. Да неужели из-за меня это он? А что делать-то теперь?

— Он поправится, — Андрей шаркнул ладонью по щеке. — Если бы ему сказать... кхе... он бы поправился. И за такого, мол, пойду... Врач говорит: сам захочет если... Соври ему. А?

Глашка заплакала.

— Не могу я. Мне его до смерти самой жалко, а не могу. Другому сказала уж...

Андрей поднялся:

— Ты только не реви... Моду взяли: чуть чего, так реветь сразу. Не можешь — значит, не можешь. Чего плакать-то? Не говори никому, что я был у тебя, — Андрей снова пошел в больницу.

Колька лежал в том же положении, смотрел в потолок, вытянув вдоль тела руки.

— Был сейчас дома... — Андрей погладил жесткой ладонью тугой сгиб колена... поправил голенище сапога. — К Глашке зашел по пути...

Колька повел на отца удивленные глаза.

— Плачет она. Что же, говорит, он, дурак такой, не сказал мне ничего. Я бы, говорит, с радостью пошла за него...

Колька слабо зарумянился в скулах... закрыл глаза и больше не открывал их.

Отец сидел и ждал, долго ждал: не понимал, почему сын не хочет слушать.

— Сынок, — позвал он.

— Не надо, — одними губами сказал Колька. Глаз не открыл. — Не ври, тятя... а то и так стыдно.

Андрей поднялся и пошел из палаты, сгорбившись.

Недалеко от больницы повстречал Глашку. Та бежала ему навстречу.

— Скажу я ему, дядя Андрей... пусть! Скажу, что согласная, — пусть поправляется.

— Не надо, — сказал Андрей. Хмуро посмотрел себе под ноги. — Он так поправится. Врать будем — хуже.

Колька поправился.

Через пару недель он уже сидел в кровати и ковырялся пинцетом в часах — сосед по палате попросил посмотреть.

В окна палаты в упор било яркое солнце. Августовский полдень вызванивал за окнами светлую тихую музыку жизни. Пахло мятой и крашеной жестью, догоряча нагретой солнцем. В больничном дворе то и дело горланил одуревший от жары петух.

— Не зря он так орет, — сказал кто-то. — Курица ему изменила. Я сам видел: подошел красный петух, взял ее под крылышко и увел.

— А этот куда смотрел, который орет сейчас?

— Этот?.. Он в командировке был — в соседней ограде.

Колька тихонько хохотал, уткнувшись в подушку.

Когда его кто-нибудь спрашивал, как это с ним получилось, Колька густо краснел и отвечал неохотно:

— Нечаянно,— и склонялся к часам.

Отец каждый день приходил в больницу... Подолгу сидел на табуретке, около кровати. Смотрел, как сын ковыряется в часах.

— Как там, дома? — спрашивал Колька.

— Ничего. В порядке. Потеряешь колесико-то... — отец с трудом ловил на одеяле крошечное колесико и подавал сыну.

— Это маятник называется.

— До чего же махонькое! Как только ухитряются делать такие?

— Делают. На заводе все делают.

— Меня, например, хоть убей, ни в жизнь не сделал бы такое.

Колька улыбался:

— То ты. А там умеют.

Андрей тоже улыбался... гладил ладонью колено и говорил:

— Да... там — конечно... Там умеют. Там все умеют.

ОХОТА ЖИТЬ

Поляна на взгорке, на поляне — избушка. Избушка — так себе, амбар рядов в тринадцать-четырнадцать, в одно оконце, без сеней, а то и без крыши. Кто их издревле рубит по тайге?.. Приходят по весне какие-то люди, валят сосняк поровней, ошкуривают... А ближе к осени погожими днями за какую-нибудь неделю в три-четыре топора срубят. Найдутся и глина поблизости, и камни — собьют камелек, трубу на крышу выведут, и нары сколотят — живи не хочу!

Зайдешь в такую избушку зимой — жилым духом не пахнет. На стенах, в пазах, куржак в ладонь толщиной, промозглый запах застоялого дыма.

Но вот затрещали в камельке поленья... Потянуло густым волглым запахом оттаивающей глины; со стен каплет. Угарно. Лучше набить полный камелек и выйти пока на улицу, нарубить загодя дровишек. Через полчаса в избушке теплее и не тяжко. Можно скинуть полушубок и наторкать в камелек еще дополна. Стены слегка парят, от камелька пышет жаром. И охватывает человека некое тихое блаженство, радость. «А-а!.. — хочется сказать. — Вот так-то». Теперь уж везде почти сухо, но доски нар еще холодные. Ничего — скоро. Можно пока кинуть на них полушубок, под голову мешок с харчами, ноги — к камельку. И дремота охватит — сил нет. Лень встать и подкинуть еще в камелек. А надо.

В камельке целая огненно-рыжая горка углей. Поленья сразу вспыхивают, как береста. Тут же, перед камельком, чурбачок. Можно сесть на него, закурить и — думать. Одному хорошо думается. Темно. Только из щелей камелька светится; свет этот играет на полу, на стенах, на потолке. И вспоминается бог знает что! Вспомнится вдруг, как первый раз провожал девку. Давно было, интересно... И сам не заметишь, что сидишь и ухмыляешься. Черт ее знает — хорошо!

Совсем тепло. Можно чайку заварить. Кирпичного, зеленого. Он травой пахнет, лето вспоминается.

Так в сумерки сидел перед камельком старик Никитич, посасывал трубочку.

В избушке было жарко. А на улице — морозно. На душе у Никитича легко. С малых лет таскался он по тайге — промышлял. Белковал, а случалось, медведя-шатуна укладывал. Для этого в левом кармане полушубка постоянно носил пять-шесть патронов с картечным зарядом. Любил тайгу. Особенно зимой. Тишина такая, что маленько давит. Но одиночество не гнетет, свободно делается; Никитич, прищурившись, оглядывался кругом — знал: он один безраздельный хозяин этого большого белого царства.

...Сидел Никитич, курил.

Прошаркали на улице лыжи, потом стихло. В оконце вроде кто-то заглянул. Потом опять скрипуче шаркнули лыжи — к крыльцу. В дверь стукнули два раза палкой.

— Есть кто-нибудь?

Голос молодой, осипший от мороза и долгого молчания, не умеет человек сам с собой разговаривать.

«Не охотник», — понял Никитич, охотник не станет спрашивать — зайдет, и все.

— Есть!

Тот, за дверью, отстегнул лыжи, приставил их к стене, скрипнул ступенькой крыльца... Дверь приоткрылась, и в белом облаке пара Никитич едва разглядел высокого парня в подпоясанной стеганке, в ватных штанах, в старой солдатской шапке.

— Кто тут?

— Человек, — Никитич поджег лучину, поднял над головой.

Некоторое время молча смотрели друг на друга.

— Один, что ли? — спросил пришелец.

— Один. Проходи, чего в дверях расшиперился!

Парень прошел к камельку, снял рукавицы, взял их под мышку, протянул руки к плите.

— Мороз, черт его...

— Мороз, — тут только заметил Никитич, что парень без ружья. Нет, не охотник. Не похож. Ни лицом, ни одежкой. — Март — он ишо свое возьмет.

— Какой март? Апрель ведь.

— Это по-новому. А по-старому — март. У нас говорят: марток — надевай двое порток. Легко одетый, — что ружья нет, старик промолчал.

— Ничего, — сказал парень. — Один здесь?

— Один. Ты уже спрашивал.

Парень ничего не сказал на это.

— Садись. Чайку щас поставим.

— Отогреюсь малость... — выговор у парня не здешний, «расейский». Старика разбирало любопытство, но вековой обычай — не лезть сразу с расспросами — был сильнее любопытства.

Парень отогрел руки, закурил папироску.

— Хорошо у тебя. Тепло.

Когда он прикуривал, Никитич лучше разглядел его красивое бледное лицо с пушистыми ресницами. С жадностью затянулся, приоткрыл рот — сверкнули два передних золотых зуба. Оброс. Бородка аккуратная, чуть кучерявится на скулах... Исхудал... Перехватил взгляд старика, приподнял догорающую спичку внимательно посмотрел на него. Бросил спичку. Взгляд Никитичу запомнился: прямой, смелый... И какой-то «стылый» — так определил Никитич.

— Садись, чего стоять-то?

Парень улыбнулся.

— Так не говорят, отец. Говорят — присаживайся.

— Ну — присаживайся. А пошто не говорят? У нас говорят.

— Присесть можно. Никто не придет еще?

— Теперь кто? Поздно. А придет, места хватит, — Никитич подвинулся на пеньке, парень присел рядом, опять протянул руки к огню. Руки — не рабочие. Но парень, видно, здоровый. И улыбка его понравилась Никитичу — не «охальная», простецкая, сдержанная. Да еще эти зубы золотые...

Красивый парень. Сбрей ему сейчас бородку, надень костюмчик — учитель. Никитич очень любил учителей.

— Иолог какой-нибудь? — спросил он.

— Кто? — не понял парень.

— Ну... эти, по тайге-то ищут...

— А-а... Да.

— Как же без ружьишка-то? Рыск.

— Отстал от своих, — неохотно сказал парень. — Деревня твоя далеко?

— Верст полтораста.

Парень кивнул головой, прикрыл глаза, некоторое время сидел так, наслаждаясь теплом, потом встряхнулся, вздохнул.

— Устал.

— Долго один-то идешь?

— Долго. У тебя выпить нету?

— Найдется.

Парень оживился.

— Хорошо! А то аж душа трясется. Замерзнуть, к черту, можно. Апрель называется...

Никитич вышел на улицу, принес мешочек с салом. Засветил фонарь под потолком.

— Вас бы хошь учили маленько, как быть в тайге одному... А то посылают, а вы откуда знаете! Я вон лони́сь* нашел одного — вытаял весной. Молодой тоже. Тоже с бородкой. В одеяло завернулся — и все, и окочурился, — Никитич нарезал сало на краешке нар. — А меня пусти одного, я всю зиму проживу, не охну. Только бы заряды были. Да спички.

— В избушку-то все равно лезешь.

— Дак а раз она есть, чего же мне на снегу-то валяться? Я не лиходей себе.

Парень распоясался, снял фуфайку... Прошелся по избушке. Широкоплечий, статный. Отогрелся, взгляд потеплел — рад, видно, до смерти, что набрел на тепло, нашел живую душу. Еще закурил одну. Папиросами хорошо пахло. Никитич любил поговорить с городскими людьми. Он презирал их за беспомощность в тайге; случалось, подрабатывал, провожая какую-нибудь поисковую партию, в душе подсмеивался над ними, но любил слушать их разговоры и

---

* В прошлом году.

охотно сам беседовал. Его умиляло, что они разговаривают с ним ласково, снисходительно похохатывают, а сами, оставь их одних, пропадут, как сосунки слепые. Еще интересней, когда в партии — две-три девки. Терпят, не жалуются. И все вроде они такие же и никак не хотят, чтоб им помогали. Спят все в куче. И ничего — не безобразничают. Доведись до деревенских — греха не оберешься. А эти — ничего. А ведь бывают — одно загляденье: штаны узкие наденет, кофту какую-нибудь тесную, косынкой от мошки закутается, вся кругленькая — кукла и кукла. А ребята — ничего, как так и надо.

— Кого ищете-то?

— Где?

— Ну, ходите-то.

Парень усмехнулся себе.

— Долю.

— Доля... Она, брат, как налим, склизкая: вроде ухватил ее, вроде — вот она, в руках, а не тут-то было, — Никитич настроился было поговорить, как обычно с городскими — позаковыристей, когда внимательно слушают, когда слушают и переглядываются меж собой, а какой-нибудь возьмет да еще в тетрадку карандашиком чего-нибудь запишет. А Никитич может рассуждать таким манером хоть всю ночь — только развесь уши. Свои бы, деревенские, бо́талом обозвали, а эти слушают. Приятно. И сам иногда подумает о себе: складно выходит, язви тя. Такие турусы разведет, что тебе поп раньше. И ле́сины-то у него с душой: не тронь ее, не секи топором зазря, а то засохнет, а засохнет, сам засохнешь — тоска навалится и засохнешь, и не догадаешься, отчего тоска такая. — Или вот: понаедут из города с ружьями и давай направо-налево: трах-бах! — кого попало: самку — самку, самца — самца, лишь бы убить. За такие дела надо руки выдергивать. Убил ты ее, медведицу, а у ей двое маленьких. Подохнут. Поганое дело — душу на зверье тешить. Вот те и доля — ты говоришь, — продолжал Никитич.

Только парню не хотелось слушать. Подошел к окну долго всматривался в темень. Сказал, как очнулся:

— Все равно весна скоро.

— Придет, никуда не денется. Садись. Закусим, чем бог послал.

Натаяли в котелке снегу, разбавили спирт, выпили. Закусили мерзлым салом. Совсем на душе хорошо сделалось. Никитич подкинул в камелек. А парня опять потянуло к окну. Отогрел дыханием кружок на стекле и все смотрел и смотрел в ночь.

— Кого ты щас там увидишь? — удивился Никитич. Ему хотелось поговорить.

— Воля, — сказал парень. И вздохнул. Но не грустно вздохнул. И про волю сказал — крепко, зло и напористо. Откачнулся от окна.

— Дай еще выпить, отец, — расстегнул ворот черной сатиновой рубахи, гулко хлопнул себя по груди широкой ладонью, погладил. — Душа просит.

— Поел бы, а то с голодухи-то развезет.

— Не развезет. Меня не развезет, — и ласково, и крепко приобнял старика за шею. И пропел:

А в камере смертной,
Сырой и холодной,
Седой появился старик...

И улыбнулся ласково. Глаза у парня горели ясным, радостным блеском.

— Выпьем, добрый человек!

— Наскучал один-то, — Никитич тоже улыбнулся. Парень все больше и больше нравился ему. Молодой, сильный, красивый. А мог пропасть. — Так, парень, пропасть можно. Без ружьишка в тайге — поганое дело.

— Не пропадем, отец. Еще поживем!

И опять сказал это крепко, и на миг глаза его заглянули куда-то далеко-далеко, и опять «остыли». И непонятно было, о чем он подумал, как будто что-то вспомнил. Но вспоминать ему это «что-то» не хотелось. Запрокинул стакан, одним глотком осушил до дна. Крякнул. Крутнул головой. Пожевал сала. Закурил. Встал — не сиделось. Прошелся широким шагом по избушке, остановился посредине, подбоченился и опять куда-то далеко засмотрелся.

— Охота жить, отец.

— Жить всем охота. Мне, думаешь, неохота? А уж мне скоро...

Охота жить! — упрямо, с веселой злостью повторил большой красивый парень, не слушая старика. — Ты ее не зна-

ешь, жизнь. Она... — подумал, стиснул зубы: — Она — дорогуша. Роднуля моя.

Захмелевший Никитич хихикнул:

— Ты про жись, как все одно про бабу.

— Бабы — дешевки, — парня накаляло какое-то упрямое, дерзкое, радостное чувство. Он не слушал старика, говорил сам, а тому теперь хотелось его слушать. Властная сила парня стала и его подмывать.

— Бабы, они... конечно. Но без них тоже...

— Возьмем мы ее, дорогушу, — парень выкинул вперед руки, сжал кулаки, — возьмем, милую, за горлышко... Помнишь Колю? Забыла? — парень с кем-то разговаривал и очень удивился, что его «забыли». — Колю-то!.. А Коля помнит тебя. Коля тебя не забыл, — он не то радовался, не то собирался кому-то зло мстить. — А я— вот он. Прошу, мадам, на пару ласковых. Я не обижу: но ты мне отдашь все. Все! Возьму!..

— Правда, што ли, баба так раскипятила? — спросил удивленный Никитич.

Парень тряхнул головой.

— Эту бабу зовут — воля. Ты тоже не знаешь ее, отец. Ты — зверь, тебе здесь хорошо. Но ты не знаешь, как горят огни в большом городе. Они манят. Там милые, хорошие люди, у них тепло, мягко, играет музыка. Они вежливые и очень боятся смерти. А я иду по городу, и он весь мой. Почему же они там, а я здесь? Понимаешь?

— Не навечно же ты здесь...

— Не понимаешь, — парень говорил серьезно, строго. — Я должен быть там, потому что я никого не боюсь. Я не боюсь смерти. Значит, жизнь — моя.

Старик качнул головой.

— Не пойму, паря, к чему ты?

Парень подошел к нарам, налил в стаканы. Он как будто сразу устал.

— Из тюрьмы бегу, отец, — сказал без всякого выражения. — Давай?

Никитич машинально звякнул своим стаканом о стакан парня. Парень выпил. Посмотрел на старика... Тот все еще держал стакан в руке. Глядел снизу на парня.

— Что?

— Как же это?

— Пей, — велел парень. Хотел еще закурить, но пачка оказалась пустой. — Дай твоего.

— У меня листовуха.

— Черт с ней.

Закурили. Парень присел на чурбак, ближе к огню.

Долго молчали.

— Поймают вить, — сказал Никитич. Ему не то что жаль стало парня, а он представил вдруг, как ведут его, крупного, красивого, под ружьем. И жаль стало его молодость, и красоту, и силу. Сцапают — и все, все псу под хвост: никому от его красоты ни жарко ни холодно. Зачем же она была? — Зря, — сказал он трезво.

— Чего?

— Бежишь-то. Теперь не ранешное время — поймают.

Парень промолчал. Задумчиво смотрел на огонь. Склонился. Подкинул в камелек полено.

— Надо бы досидеть... Зря.

— Перестань! — резко оборвал парень. Он тоже как-то странно отрезвел. — У меня своя башка на плечах.

— Знамо дело, — согласился Никитич. — Далеко идти-то?

— Помолчи пока.

«Мать с отцом есть, наверно, — подумал Никитич, глядя в затылок парню. — Придет — обрадует, сукин сын».

Минут пять молчали. Старик выколотил золу из трубочки и набил снова. Парень все смотрел на огонь.

— Деревня твоя — райцентр или нет? — спросил он, не оборачиваясь.

— Какой райцентр! До району от нас еще девяносто верст. Пропадешь ты. Зимнее дело — по тайге...

— Дня три поживу у тебя — наберусь силенок, — не попросил, просто сказал.

— Живи, мне што. Много, видно, оставалось — не утерпел?

— Много.

— А за што давали?

— Такие вопросы никому никогда не задавай, отец.

Никитич попыхтел угасающей трубочкой, раскурил, затянулся и закашлялся. Сказал, кашляя:

— Мне што!.. Жалко только. Поймают...

— Бог не выдаст — свинья не съест. Дешево меня не возьмешь. Давай спать.

— Ложись. Я подожду, пока дровишки прогорят, — трубу закрыть. А то замерзнем к утру.

Парень расстелил на нарах фуфайку, поискал глазами, что положить под голову. Увидел на стене ружье Никитича. Подошел, снял, осмотрел, повесил.

— Старенькое.

— Ничо, служит пока. Вон там в углу кошма лежит, ты ее под себя, а куфайку-то под голову сверни. А ноги вот сюда протяни, к камельку. К утру все одно выстынет.

Парень расстелил кошму, вытянулся, шумно вздохнул.

— Маленький Ташкент, — к чему-то сказал он. — Не боишься меня, отец?

— Тебя-то? — изумился старик. — А чего тебя бояться?

— Ну... я ж лагерник. Может, за убийство сидел.

— За убивство тебя бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от его не уйдешь.

— Ты верующий, что ли? Кержак, наверно?

— Кержак!.. Стал бы кержак с тобой водку пить.

— Это верно. А насчет боженек ты мне мозги не... Меня тошнит от них, — парень говорил с ленцой, чуть осевшим голосом. — Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему с ходу кишки выпустил.

— За што?

— За што?.. За то, что сказки рассказывал, врал. Добрых людей нет! А он — добренький, терпеть учил. Паскуда! — голос парня снова стал обретать недавнюю крепость и злость. Только веселости в голосе уже не было. — Кто добрый?! Я? Ты?

— Я, к примеру, за свою жись никому никакого худа не сделал...

— А зверей бьешь! Разве он учил?

— Сравнил хрен с пальцем. То — человек, а то — зверь.

— Живое существо — сами же трепетесь, сволочи.

Лица парня Никитич не видел, но оно стояло у него в глазах — бледное, с бородкой; дико и нелепо звучал в теплой тишине избушки свирепый голос безнадежно избитого судьбой человека с таким хорошим, с таким прекрасным лицом.

— Ты чего рассерчал-то на меня?

— Не врите! Не обманывайте людей, святоши. Учили вас терпеть? Терпите! А то не успеет помолиться и тут же штаны спускает — за бабу хляет, гадина. Я бы сейчас нового Христа выдумал: чтоб он по морде учил бить. Врешь? Получай, погань!

— Не поганься! — строго сказал Никитич. — Пустили тебя, как доброго человека, а ты лаяться начал. Обиделся — посадили! Значит, было за што. Кто тебе виноват?!

— М-м, — парень скрипнул зубами. Промолчал.

— Я не поп, и здесь тебе не церква, чтобы злобой своей харкать. Здесь — тайга: все одинаковые. Помни это. А то и до воли своей не добежишь — сломишь голову. Знаешь, говорят: молодец — против овец, а спроть молодца — сам овца. Найдется и на тебя лихой человек. Обидишь вот так вот — ни за што ни про што, он тебе покажет, где волю искать.

— Не сердись, отец, — примирительно сказал парень. — Ненавижу, когда жить учат. Душа кипит! Суют в нос слякоть всякую, глистов: вот хорошие, вот как жить надо. Ненавижу! — почти крикнул. — Не буду так жить. Врут! Мертвечиной пахнет! Нету на земле святых! Я их не видел. Зачем их выдумывать?! — парень привстал на локоть; смутно — пятном — белело в сумраке, в углу, его лицо, зло и жутковато сверкали глаза.

— Поостынешь маленько, поймешь: не было бы добрых людей, жись ба давно остановилась. Сожрали бы друг друга или перерезались. Это никакой меня не Христос учил, сам так щитаю. А святых — это верно: нету. Я сам вроде ничо? — никто не скажет: плохой или злой там. А молодой был... Недалеко тут кержацкий скит стоял, за согрой, семья жила: старик со старухой да дочь ихняя годов двадцати. Они, может, не такие уж старые были, старики-то, а мне казалось тогда — старые. Они потом ушли куда-то. Ну дак вот: была у их дочь. Все божественные, спасу нет: от людей ушли, от греха, дескать, подальше. А я эту дочь-то заманил раз в березник и... это... лала с ей. Хорошая девка была, здоровая. До ребенка дело дошло. А уж я женатый был...

— А говоришь, худого ничего не делал?

— Вот и выходит, што я не святой. Я не насильничал, правда, лаской донял, а все одно... дитя-то пустил по свету. Спомнишь — жалко. Большой уж теперь, материт, поди.

— Жизнь дал человеку — не убил. И ее, может, спас. Может, она после этого рванула от них. А так довели бы они ее своими молитвами: повесилась бы на суку где-нибудь, и все. И мужика бы ни разу не узнала. Хорошее дело сделал, не переживай.

— Хорошее или плохое, а было так. Хорошего-то мало, конешно.

— Там еще осталось?

— Спиртяги? Есть маленько. Пей, я не хочу больше.

Парень выпил. Опять крякнул. Не стал закусывать.

— Много пьешь-то?

— Нет, это... просто перемерз. Пить надо не так, отец. Надо красиво пить. Музыка... Хорошие сигареты, шампанское... Женщины. Чтоб тихо, культурно, — парень опять размечтался, лег, закинул руки за голову. — Бардаки презираю. Это не люди — скот. М-м, как можно красиво жить! Если я за одну ночь семь раз заигрывал с курносой — так? — если она меня гладила костлявой рукой и хотела поцеловать в лоб, — я устаю. Я потом отдыхаю. Я наслаждаюсь и люблю жизнь больше всех прокуроров, вместе взятых. Ты говоришь — риск? А я говорю — да. Пусть обмирает душа, пусть она дрожит, как овечий хвост, — я иду прямо, я не споткнусь и не поверну назад.

— Ты кем работал до этого? — поинтересовался Никитич.

— Я? Агентом по снабжению. По культурным связям с зарубежными странами. Вообще я был ученый, Я был доцентом на тему: «Что такое колорадский жук и как с ним бороться», — парень замолчал, а через минуту сонным голосом сказал: — Все, отец... Я ушел.

— Спи.

Никитич пошуровал короткой клюкой в камельке, набил трубочку и стал думать про парня. Вот тебе и жизнь — все дадено человеку: красивый, здоровый, башка вроде недурная... А что? Дальше что? По лесам бегать? Нет, это город их доводит до ручки. Они там свихнулись все. Внуки Никитича — трое — тоже живут в большом городе. Двое учатся, один работает, женат. Они не хвастают, как этот, но их тянет в город. Когда они приезжают летом, им скучно. Никитич достает ружья, водит в тайгу и ждет, что они просветлеют, отдохнут душой и проветрят мозги от ученья. Они при-

творяются, что им хорошо, а Никитичу становится неловко: у него больше ничего нет, чем порадовать внуков. Ему тяжело становится, как будто он обманул их. У них на уме город. И этот, на нарах, без ума в город рвется. На его месте надо уйти подальше, вырыть землянку и лет пять не показываться, если уж сидеть невмоготу стало. А он снова туда, где на каждом шагу могут за шкирку взять. И ведь знает, что возьмут, а идет. Что за сила такая в этом городе! Ну ладно, я — старик, я бывал там три раза всего, я не понимаю... Согласен. Там весело и огней много. Но раз я не понимаю, так я и не хаю. Охота — там? На здоровье. А мне здесь хорошо. Но так получается, что они приходят оттуда и нос воротят: скучно, тоска. Да присмотрись хорошенько! Ты же увидеть-то ничего не успел, а уж давай молоть про свой город. Да ты возьми приглядись для интереса! А потом подумай: много ты про жизнь знаешь или нет? Вы мне — сказки про город?.. А если я начну рассказывать, сколько я знаю! Но меня не слушают, а на вас глаза пялят — городской. А мне хрен с тобой, что ты городской, что ты штиблетами по тротуару чиркаешь — форсите. Доформился вот: отвалили лет пятнадцать, наверно, за красивую-то жизнь. Магазин, наверно, подломил, не иначе. Шиканул разок — и загремел. И опять на рога лезет. Сам! Это уж, значит, не может без города. Опять на какой-нибудь магазин нацелился. «Шампанское...» А откуда оно, шампанское-то, возьмется? Дурачье... Сожрет он вас, город, с костями вместе. И жалко дураков, и ничего сделать нельзя. Не докажешь.

Дрова в камельке догорели. Никитич дождался, когда последние искорки умерли в золе, закрыл трубу, погасил фонарь, лег рядом с парнем. Тот глубоко и ровно дышал, неловко подвернув под себя руку. Даже не шевельнулся, когда Никитич поправил его руку.

«Намаялся, — подумал Никитич. — Дурило... А кто заставляет? Эх, вы!»

...За полночь на улице, около избушки, зашумели. Послышались голоса трех мужчин.

Парень рывком привстал — как не спал. Никитич тоже приподнял голову.

— Кто это? — быстро спросил парень.

— Шут их знает.

Парень рванулся с нар — к двери, послушал, зашарил руками по стене — искал ружье. Никитич догадался.

— Ну-ка, не дури! — прикрикнул негромко. — Хуже беды наделаешь.

— Кто это? — опять спросил парень.

— Не знаю, тебе говорят.

— Не пускай, закройся.

— Дурак. Кто в избушке закрывается. Нечем закрывать-то. Ложись и не шевелися.

— Ну, дед!..

Парень не успел досказать. Кто-то поднялся на крыльцо, искал рукой скобку. Парень ужом скользнул на нары, успел шепнуть:

— Отец, клянусь богом, чертом, дьяволом: продашь... Умоляю, старик. Век...

— Лежи, — велел Никитич.

Дверь распахнулась.

— Ага! — весело сказал густой бас. — Я же говорил: кто-то есть. Тепло! Входите!

— Закрывай дверь-то! — сердито сказал Никитич, слезая с нар. — Обрадовался — тепло! Раскорячься пошире — совсем жарко будет.

— Все в порядке, — сказал бас. — И тепло, и хозяин приветливый.

Никитич засветил фонарь.

Вошли еще двое. Одного Никитич знал: начальник районной милиции. Его все охотники знали: мучил охотничьими билетами и заставлял платить взносы.

— Емельянов? — спросил начальник, высокий упитанный мужчина лет под пятьдесят. — Так?

— Так, товарищ Протокин.

— Ну вот!.. Принимай гостей.

Трое стали раздеваться.

— Пострелять? — не без иронии спросил Никитич. Он не любил этих наезжающих стрелков: только пошумят и уедут.

— Надо размяться маленько. А это кто? — начальник увидел парня на нарах.

— Иолог, — нехотя пояснил Никитич. — От партии отстал.

— Заблудился, что ли?

— Но.

— У нас что-то неизвестно. Куда шли, он говорил?

— Кого он наговорит! — едва рот разевал: замерзал. Спиртом напоил его — щас спит как мертвый.

Начальник зажег спичку, поднес близко к лицу парня. У того не дрогнул ни один мускул. Ровно дышал.

— Накачал ты его, — спичка начальника погасла. — Что же у нас-то ничего не известно?

— Может, не успели еще сообщить? — сказал один из пришедших.

— Да нет, видно, долго бродит уже. Не говорил он, сколько один ходит?

— Нет, — ответствовал Никитич. — Отстал, говорит. И все.

— Пусть проспится. Завтра выясним. Ну что, товарищи: спать?

— Спать, — согласились двое. — Уместимся?

— Уместимся, — уверенно сказал начальник. — Мы прошлый раз тоже впятером были. Чуть не загнулись к утру: протопили, да мало. А мороз стоял — под пятьдесят.

Разделись, улеглись на нарах. Никитич лег опять рядом с парнем.

Пришлые поговорили еще немного о своих районных делах и замолчали.

Скоро все спали.

...Никитич проснулся, едва только обозначилось в стене оконце. Парня рядом не было. Никитич осторожно слез с нар, нашарил в карманах спички. Еще ни о чем худом не успел подумать. Чиркнул спичкой... Ни парня нигде, ни фуфайки его, ни ружья Никитича не было. Неприятно сжало под сердцем.

«Ушел. И ружье взял».

Неслышно оделся, взял одно ружье из трех, составленных в углу, пощупал в кармане патроны с картечью. Тихо открыл дверь и вышел.

Только-только занимался рассвет. За ночь потеплело. Туманная хмарь зáстила слабую краску зари. В пяти шагах еще ничего не было видно. Пахло весной.

Никитич надел свои лыжи и пошел по свежей лыжне, четко обозначенной в побуревшем снегу.

— Сукин ты сын, варнак окаянный, — вслух негромко ругался он. — Уходи, пес с тобой, а ружье-то зачем брать? Што

я тут без ружья делать стану, ты подумал своей башкой? Што я, тыщи, што ли, большие получаю — напасаться на вас на всех ружьями? Ведь ты же его, поганец, все равно бросишь где-нибудь. Тебе лишь бы из тайги выйти. А я сиди тут, сложа ручки, без ружья. Ни стыда у людей, ни совести.

Помаленьку отбеливало. День обещал быть пасмурным и теплым.

Лыжня вела не в сторону деревни.

— Боишься людей-то? Эх, вы... «Красивая жись». А последнее ружьишко у старика взять — это ничего, можно. Но от меня ты не уйде-ешь, голубчик. Я вас таких семерых замотаю, хоть вы и молодые.

Зла большого у старика не было. Обидно было: пригрел человека, а он взял и унес ружье. Ну не подлец после этого!

Никитич прошел уже километра три. Стало совсем почти светло; лыжня далеко была видна впереди.

— Рано поднялся. И ведь как тихо сумел!

В одном месте парень останавливался закурить: сбочь лыжни ямка — палки втыкал. На снегу крошки листовухи и обгоревшая спичка.

— И кисет прихватил! — Никитич зло плюнул. — Вот поганец так поганец! — прибавил шагу.

Парня Никитич увидел далеко в ложбине, внизу.

Шел парень дельным ровным шагом, не торопился, но податливо. За спиной — ружье.

— Ходить умеет, — не мог не отметить Никитич. Свернул с лыжни и побежал в обход парню, стараясь, чтоб его скрывала от него вершина длинного отлогого бугра. Он знал, где встретит парня: будет на пути у того неширокая просека. Он пройдет ее, войдет снова в чащу... И тут его встретит Никитич.

— Щас я на тебя посмотрю, — не без злорадства приговаривал Никитич, налегая вовсю на палки. Странно, но ему очень хотелось еще раз увидеть прекрасное лицо парня. Что-то было до страсти привлекательное в этом лице. «Может, так и надо, что он рвется к своей красивой жизни. Что ему тут делать, если подумать? Засохнет. Жизнь, язви ее, иди разберись».

У просеки Никитич осторожно выглянул из чащи: лыжни на просеке еще не было — обогнал. Быстро перемахнул просеку, выбрал место, где примерно выйдет парень, при-

сел в кусты, проверил заряд и стал ждать. Невольно, опытным охотничьим глазом осмотрел ружье: новенькая тулка, блестит и резко пахнет ружейным маслом. «На охоту собирались, а не подумали: не надо, чтоб ружье так пахло. На охоте надо и про табачок забыть, и рот чаем прополоскать, чтобы от тебя не разило за версту, и одежду лучше всего другую надеть, которая на улице висела, чтоб жильем не пахло. Охотники — горе луковое».

Парень вышел на край просеки, остановился. Глянул по сторонам. Постоял немного и скоро-скоро побежал через просеку. И тут навстречу ему поднялся Никитич.

— Стой! Руки вверьх! — громко скомандовал он, чтоб совсем ошарашить парня. Тот вскинул голову, и в глазах его отразился ужас. Он дернулся было руками вверх, но узнал Никитича. — Говоришь: не боюсь никого, — сказал Никитич, — а в штаны сразу наклал.

Парень скоро оправился от страха, улыбнулся обаятельной своей улыбкой немножко насильственно.

— Ну, отец... ты даешь. Как в кино... твою в душу мать. Так можно разрыв сердца получить.

— Теперь, значит, так, — деловым тоном распорядился Никитич, — ружье не сымай, а достань сзади руками, переломи и выкинь из казенника патроны. И из кармана все выбрось. У меня их шешнадцать штук оставалось. Все брось на снег, а сам отойди в сторону. Если задумаешь шутки шутить, стреляю. Сурьезно говорю.

— Дошло, батя. Шутить мне сейчас что-то не хочется.

— Бесстыдник, ворюга.

— Сам же говорил: погано в лесу без ружья.

— А мне что тут без его делать?

— Ты дома.

— Ну, давай, давай. Дома. Што у меня дома-то — завод, што ли?

Парень выгреб из карманов патроны — четырнадцать: Никитич считал. Потом заломил руки за спину; прикусив нижнюю губу, прищурившись, внимательно глядел на старика. Тот тоже не сводил с него глаз: ружье со взведенными курками держал в руках, стволами на уровне груди парня.

— Чего мешкаешь?

— Не могу вытащить...

— Ногтями зацепи... Или постучи кулаком по прикладу.

Выпал сперва один патрон, потом второй.

— Вот. Теперь отойди вон туда.

Парень повиновался.

Никитич собрал патроны, поклал в карманы полушубка.

— Кидай мне ружье, а сам не двигайся.

Парень снял ружье, бросил старику.

— Теперь садись, где стоишь, покурим. Кисет мне тоже кинь. И кисет спер...

— Курить-то охота мне.

— Ты вот все — мне да мне. А про меня, черт полосатый, не подумал! А чего мне-то курить?

Парень закурил.

— Можно я себе малость отсыплю?

— Отсыпь. Спички-то есть?

— Есть.

Парень отсыпал себе листовухи, бросил кисет старику. Тот закурил тоже.

Сидели шагах в десяти друг от друга.

— Ушли эти?.. Ночные-то.

— Спят. Они спать здоровы. Не охотничают, а дурочку валяют. Погулять охота, а в районе у себя не шибко разгуляешься — на виду. Вот они и идут с глаз долой.

— А кто они?

— Начальство... Заряды зря переводют.

— М-да...

— Ты што же думал: не догоню я тебя?

— Ничего я не думал. А одного-то ты знаешь. Кто это? По фамилии называл... Протокин-то.

— В собесе работает. Пенсию старухе хлопотал, видел его там...

Парень пытливо посмотрел на старика,

— Это там, где путевки на курорт выписывают?

— Ага.

— Темнишь, старичок. Неужели посадить хочешь? Из-за ружья...

— На кой ты мне хрен нужен — сажать? — искренне сказал Никитич.

— Продай ружье? У меня деньги есть.

— Нет, — твердо сказал Никитич. — Спросил бы с вечера по добру, может, продал бы. А раз ты так по-свински сделал — не продам.

— Не мог же я ждать, когда они проснутся.

— На улицу бы меня ночью вызвал: так и так, мол, отец: мне шибко неохота с этими людьми разговаривать. Продай, мол, ружье — я уйду. А ты... украл. За воровство у нас руки отрубают.

Парень положил локти на колени, склонился головой на руки. Сказал глуховато:

— Спасибо, что не выдал вчера.

— Не дойдешь ты до своей воли все одно.

Парень вскинул голову.

— Почему?

— Через всю Сибирь идти — шутка в деле!

— Мне только до железной дороги, а там поезд. Документы есть. А вот здесь без ружья... здесь худо. Продай, а?

— Нет, даже не упрашивай.

— Я бы теперь новую жизнь начал... Выручил бы ты меня, отец.

— А документы-то где взял? Ухлопал, поди, кого-нибудь?

— Документы тоже люди делают.

— Фальшивые. Думаешь, не поймают с фальшивыми?

— Ты обо мне... прямо как родная мать заботишься. Заладил, как попугай: поймают, поймают. А я тебе говорю: не поймают.

— А шампанскуя-то на какие шиши будешь распивать? Если честно-то робить пойдешь...

— Сдуру я вчера натрепался, не обращай внимания. Захмелел.

— Эх, вы... — старик сплюнул желтую едкую слюну на снег. — Жить бы да жить вам, молодым... а вас... как этих... как угорелых по свету носит, места себе не можете найти. Голод тебя великий воровать толкнул? С жиру беситесь, окаянные. Петух жареный в зад не клевал...

— Как сказать, отец...

— Кто же тебе виноватый?

— Хватит об этом, — попросил парень. — Слушай... — он встревоженно посмотрел на старика. — Они ж сейчас проснутся, а ружья нет. И нас с тобой нет... Искать кинутся?

— Они до солнышка не проснутся.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. Они сами вчера с похмелья были. В избушке теплынь: разморит — до обеда проспят. Им торопиться некуда.

— М-да... — грустно сказал парень. — Дела-делишки.

Повалил вдруг снег большими густыми хлопьями — теплый, тяжелый.

— На руку тебе, — Никитич посмотрел вверх.

— Что?— парень тоже посмотрел вверх.

— Снег-то... Заметет все следы.

Парень подставил снегу ладонь, долго держал. Снежинки таяли на ладони.

— Весна скоро... — вздохнул он.

Никитич посмотрел на него, точно хотел напоследок покрепче запомнить такого редкостного здесь человека. Представил, как идет он один, ночью... без ружья.

— Как ночуешь-то?

— У огня покемарю... Какой сон.

— Хоть бы уж летом бегали-то. Все легше.

— Там заявок не принимают — когда бежать легче. Со жратвой плохо. Пока дойдешь от деревни до деревни, кишки к спине прирастают. Ну ладно. Спасибо за хлеб-соль, — парень поднялся. — Иди, а то проснутся эти твои...

Старик медлил.

— Знаешь... есть один выход из положения, — медленно заговорил он. — Дам тебе ружье. Ты завтра часам к двум, к трем ночи дойдешь до деревни, где я живу...

— Ну?

— Не понужай. Дойдешь. Постучишь в какую-нибудь крайнюю избу: мол, ружье нашел... или... нет, как бы придумать?.. Чтоб ты ружье-то оставил. А там, от нашей деревни прямая дорога на станцию — двадцать верст. Там уж не страшно. Машины ездют. К свету будешь на станции. Только там заимка одна попадется, от нее, от заимки-то, ишо одна дорога влево пойдет, ты не ходи по ей — это в район. Прямо иди.

— Отец...

— Погоди! Как с ружьем-то быть? Скажешь: нашел — перепужаются, искать пойдут. А совсем ружье отдавать жалко. Мне за него, хоть оно старенькое, три вот таких не надо, — Никитич показал на новую переломку.

Парень благодарно смотрел на старика и еще старался, наверно, чтобы благодарности в глазах было больше.

— Спасибо, отец.

— Чего спасибо! Как я ружье-то получу?

Парень встал, подошел к старику, присел рядом.

— Сейчас придумаем... Я его спрячу где-нибудь, а ты возьмешь потом.

— Где спрячешь?

— В стогу каком-нибудь, недалеко от деревни.

Никитич задумался.

— Чего ты там разглядишь ночью?.. Вот што: постучишь в крайнюю избу, спросишь, где Мазаев Ефим живет. Тебе покажут. Это кум мой. Ефиму придешь и скажешь: стретил, мол, Никитича в тайге, он повел иологов в Змеиную согру. Патроны, мол, у него кончились, а чтоб с ружьем зря не таскаться, он упросил меня занести его тебе. И чтоб ждали меня к послезавтрему! А што я повел иологов, пусть он никому не говорит. Заработает, мол, придет — выпьете вместе, а то старуха все деньги отберет сразу. Запомнил? Щас мне давай на литровку — а то от Ефима потом не отвяжешься — и с богом. Патронов даю тебе... шесть штук. И два картечных — на всякий случай. Не истратишь, возле деревни закинь в снег подальше. Ефиму не отдавай, он хитрый, зачует неладное. Все запомнил?

— Запомнил. Век тебя не забуду, отец.

— Ладно... На деревню держись так: солнышко выйдет — ты его все одно увидишь — пусть оно сперва будет от тебя слева. Солнышко выше, а ты его все слева держи. А к закату поворачивай, чтоб оно у тебя за спиной очутилось, чуток с правого уха. А там — прямо. Ну, закурим на дорожку...

Закурили.

Сразу как-то не о чем стало говорить. Посидели немного, поднялись.

— До свиданья, отец, спасибо.

— Давай.

И уж пошли было в разные стороны, но Никитич остановился, крикнул парню:

— Слышь!.. А вить ты, парень, чуток не вляпался: Протокин-то этот — начальник милиции. Хорошо, не разбудил вчерась... А то бы не отвертеться тебе от него — дошлый, черт. И счас, должно, прилипнет. — Скажет: «Куда ушел?». То, се...

Парень ничего не говорил, смотрел на старика.

— А вчерась никакие бы документы не помогли.

Парень молчал.

— Ну, шагай, — Никитич подкинул на плече чужое ружье и пошел через просеку назад, к избушке. Он уж почти прошел ее всю, просеку... И услышал: как будто над самым ухом оглушительно треснул сук. И в то же мгновение сзади, в спину и в затылок, как в несколько кулаков, сильно толканули вперед. Он упал лицом в снег. И ничего больше не слышал и не чувствовал. Не слышал, как с него сняли ружье и закидали снегом. И сказали: «Так лучше, отец. Надежней».

...Когда солнышко вышло, парень был уже далеко от просеки. Он не видел солнца, шел, не оглядываясь, спиной к нему.

Он смотрел вперед.

Тихо шуршал в воздухе сырой снег.

Тайга просыпалась. Весенний густой запах леса чуть дурманил и кружил голову.

КАПРОНОВАЯ ЁЛОЧКА

Двое стояли на тракте, ждали попутную машину. А машин не было. Час назад проехали две груженые — не остановились. И больше не было. А через восемь часов — Новый год.

Двое, отвернувшись от ветра, топтались на месте, хлопали рукавицами... Было морозно.

— Кхах!.. Не могу больше, — сказал один. — Айда греться, ну ее к черту все. Что теперь, подыхать, что ли?

Метрах в двухстах была чайная, туда они и направились.

Впереди, припадая на одну ногу, шагал тот, который предложил идти греться. При своей хромоте он шел как-то очень аккуратно, ловко, ладно. Следом, заложив руки за спину, вышагивал мужик метра в два с лишним. Шагавший впереди то и дело оглядывался на тракт; второй сосредоточенно смотрел себе под ноги. Оба были из одной деревни, из Буланова, оба утром приехали в город по своим делам и договорились вместе уехать. Тот, что пониже, работал кладовщиком в Булановской РТС, другой — кузнецом в той же

РТС. Кладовщика звали Павлом. Большого мужика — Федором.

— Я думаю, их совсем седня не будет, — сказал Павел. — Под Новый год ни один дурак никуда не поедет.

Федор промолчал.

В чайной было тепло и пусто.

Павел прошел к стойке. Федор для приличия обмахнул рукавицей валенки и тоже прошел к стойке.

— Налей по сто пятьдесят, — сказал Павел.

— Все еще не уехали? — без всякого интереса спросила буфетчица (они уже разок приходили греться).

— Не уехали. Новый год с тобой встречать будем. Согласная? — поинтересовался Павел.

Молодая толстая буфетчица налила два по сто пятьдесят, отрезала два куска хлеба и только после этого ответила:

— Много таких желающих найдется.

Павел сдвинул шапку на затылок, весело посмотрел на буфетчицу, сказал неопределенно:

— Да-а...

Выпили. Присели к столику, молча ели хлеб, макая его в солонку.

Вошел еще один посетитель, представительный мужчина в козлиной дохе, в новых негнущихся валенках, в папахе. Сказал громко:

— С приближающимся! — у него, видно, было хорошее настроение.

Никто ему не ответил.

Мужчина подошел к стойке, расстегнул доху.

— Сто грамм, голубушка, и чего-нибудь... — вытянул шею, разглядывая полки. — Чего-нибудь на зубок.

Павел толкнул коленом Федора, показал глазами на представительного мужчину. Федор кивнул. Этого человека они знали. Жила в их деревне одинокая вдова Нюра Чалова, добрая, приветливая баба. И вот этот самый человек ездил к ней из города по праздникам и в выходные дни. В городе у него были семья, дети, двое, кажется. Нюра знала это, но почему-то отказать не могла — принимала. Все жалели Нюру, а этого гуся осуждали.

Мужчина выпил водку, смачно крякнул и подсел с бутербродом к столику.

— Тоже ехать?

— Мгм.

— Нету машин?

— Мгм, — односложно отвечал Павел, в упор разглядывая мужчину.

— А что делать?

— ???

— Черт... Мне надо срочно в Буланово добраться. Что же делать-то?

Павел, продолжая нескромно разглядывать ухажера, спросил:

— Что, живешь там?

— Да нет... — мужчине стало жарко, он приспустил с плеч доху. Павел увидел у него во внутренних карманах две бутылки водки. — В гости еду.

— Понятно, — значительно сказал Павел.

— Как же добираться-то будем? — сокрушался мужчина. — А вам не в Буланово?

— Пешком, — решительно сказал Павел, отвлекаясь от ухажера. — Я думаю, надо идти, Федор. А то прокукуем тут... А?

Федор задумчиво жевал.

— Вы тоже в Буланово? — еще раз спросил мужчина.

Опять ему не ответили.

— Пойдем, бором, часа через четыре дома будем. Дорогу я знаю.

— Сколько километров? — все пытался влезть в разговор мужчина. И опять на него не обратили внимания.

— Как, Федор?

— Пошли, — Федор поднялся.

— Так вы тоже в Буланово? Или куда?

— В Буланово, — сердито ответил Павел.

— Черт возьми совсем! — мужчина потрогал в раздумье гладко выбритый, круглый, как пятка, подбородок. — Что же делать-то? Совсем не идут машины?

— Попробуй подожди, может, тебе повезет.

Павел с Федором пошли из чайной. Мужчина смотрел им вслед тоскливым взглядом.

— К Нюрке опять собрался, — сказал Павел, когда вышли на улицу. — Водка в карманах... Гад.

Федор сплюнул на снег, надвинул поглубже шапку.

— Всыпать разок хорошенько — перестанет ходить, — сказал он. Помолчал и добавил: — Нюрку только жалко.

— Она тоже хороша!.. Знает же, что у него семья, дети!..

— Та-а... чо ты ее осуждаешь? Ихное дело... слабые они. А он, видно, приласкал.

Отошли от чайной далеко уже, когда услышали сзади возглас:

— Э-э!

Их догонял ухажер.

— Ты глянь! — изумился Павел. — Идти хочет.

Федор ничего не сказал и не сбавил шага.

— Пошли!.. Иду с вами! — объявил ухажер таким тоном, точно он кого-то очень обрадовал этим своим решением.

Пошли втроем.

Окраина городка точно вымерла. Злой ветер загнал все живое под крыши, к камелькам. Под ногами путников громко взыкала мерзлая дорога.

— Я седня на заводе разговор слыхал: в девятьсот восьмом году не метеор в тайгу упал, а люди какие-то к нам прилетали. С другой планеты, — заговорил Павел, обращаясь к Федору.

— Ерунда все это, — авторитетно заявил ухажер. — Фантазия.

— Что-то у них испортилось, и произошел взрыв — малость не долетели, — продолжал Павел, не обращая внимания на замечания ухажера. — Как считаешь, Федор?

— А я откуда знаю?

— По-моему, люди были, — сам с собой стал рассуждать Павел. — Что-нибудь не рассчитали... Могло горючего не хватить.

— Сказки, — уверенно сказал ухажер. — Народу лишь бы поболтать, выдумывают всякие теории.

Павел обернулся к нему.

— Есть поумнее нас с тобой. Понял?

Ухажер не понял.

— Ну и что?

— А то, что не надо зря вякать. «Сказки»...

Ухажер, глядя сверху на Павла, снисходительно усмехнулся.

— Верь, верь, мне-то что.

— Каждый из себя ученого корчит... — Павел сердито высморкался. — Расплодилось ученых: в собаку кинь — в ученого попадешь.

Ухажер опять усмехнулся и посмотрел на Федора. И ничего не сказал. Замолчали. Под ногами тонко пела дорога: взык-взык, взык-взык... Ветер маленько пооcлаб.

Вышли за город. Остановились закурить.

— Теперь так: этот лесок пройдем, спустимся в лог, пройдем логом — ферма Светлоозерская будет. От той фермы дорога повернет вправо, к реке... Там пасека попадется. А там километров шесть — и Буланово, — объяснил Павел.

Пошли.

— А ты чего в городе делаешь? — спросил вдруг Федор, оглянувшись на ухажера.

— Как?

— Где работаешь-то?

— А? По снабжению, — ухажер расправил плечи, весело посмотрел вперед. Положительно у него были хороши дела. Он радовался предстоящей встрече.

— Воруешь? — поинтересовался Павел.

— Зачем? — снабженец не обиделся. — Кто ворует, тот в тюрьме сидит. А я, как видишь, вольный человек.

— Значит, умеешь.

— А к кому в гости идешь? — опять спросил Федор.

Снабженец ответил не сразу и неохотно.

— Так... к знакомым.

— Сколько ты, интересно, получаешь в месяц? — Павла взволновал вопрос: ворует этот человек или нет?

— Девятьсот восемьдесят. По-старому, конечно.

— А семья какая?

— Четверо со мной.

— Жена работает?

— Нет.

— Давай считать, — зловеще сказал Павел. — Двое ребятешек — обуть, одеть: пару сот уходит в месяц? Уходит. Жена... тоже небось принарядиться любит: клади две сотни, а то и три. Пятьсот? Себе одеться — двести. Семьсот?.. А то и все девятьсот: выпить тоже, как видно, не за ворот льешь. Так? На пропитанье клади пять-шесть сот — сколько выхо-

дит? А ты одет-то вон как — одна доха небось тыщи две с половиной...

— Две семьсот, — не без гордости поправил снабженец.

— Вот!

— Уметь надо жить, дорогой товарищ. А это последнее дело: увидел, что человек хорошо живет, — значит, ворует. Легче всего так рассуждать.

— А где же ты берешь-то?!

— Уметь надо, я говорю. И без воровства умные люди крепко живут. Голову надо иметь на плечах.

Павел махнул рукой. И замолчал.

Прошли лесок. Остановились еще закурить.

— Половинку прошли, — сказал довольный Павел и похлопал себя руками по бокам. — Счас там пельмешки заворачивают!.. Водочка в сенцах стоит, зараза. С морозца-то так оно это дело пойдет! Люблю праздднички, грешная душа.

— А чего ты без жены в гости поехал? — спросил Федор, глядя на снабженца спокойно и презрительно.

Тот нехорошо прищурился, окинул громадного Федора оценивающим взглядом, сказал резко:

— А твое-то какое дело? — он, видно, стал догадываться, куда клонит Федор. — Что тебе до моей жены?

Федор и Павел удивленно посмотрели на своего попутчика: как-то он очень уж просто и глупо разозлился. Павел качнул головой.

— Не глянется.

— Мне до твоей жены нету, конечно, дела, — вяло согласился Федор. — Интересно просто.

Пошли дальше.

Прошли еще километра три-четыре, прошли лог, свернули вправо.

Стало быстро темнеть. И вместе с темнотой неожиданно потеплело. Небо заволоклось низкими тучами. Подозрительно тихо сделалось.

— Чувствуете, товарищи? — встревоженно сказал снабженец.

— Чувствуем! — насмешливо откликнулся Павел; они с Федором шли впереди.

Еще прошли немного.

Федор остановился, выплюнул на снег окурок, спокойно, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Счас дунет.

— Твою мать-то, — заругался снабженец и оглянулся кругом — было совсем темно. И все та же зловещая давила тишина.

— Успеем, — сказал Павел. — Поднажмем малость.

Федор двинулся вперед. За ним — Павел и снабженец.

— А если не успеем? — спросил снабженец. — А?

— Отстань, ну тя! — обозлился Павел. — Трухнул уже?

Пошел снег. Поначалу сыпал сухой и мелкий, потом повалил густо, хлопьями. Все пространство от земли до неба наполнилось тихим шорохом.

Так продолжалось недолго. Стал дергать нехолодный ветер, и с каждым разом порывы его крепчали.

Через десять минут вверху загудело.

— Так, — сказал снабженец, останавливаясь. Но оба его спутника молча продолжали идти вперед. Снабженец догнал их.

Ветер сперва кружил: то в спину толкал, то с боков. Потом наладился встречный — в лоб. В ушах засвистело, в лицо полетели тысячи маленьких холодных пуль.

Дорогу перемело; ноги то и дело вязли в сугробе.

Павел раза три отбегал в сторону, пропадая во тьме. Появлялся и кричал бодро:

— Верно идем!

А идти становилось все труднее. Ветер ревел, бил людей холодными мокрыми ладонями, пытался свалить с ног. Вверху нечто безобразно огромное, сорвавшееся с цепей, бесновалось, рыдало, выло...

Снабженец путался в длинной дохе, падал. Один раз упал и потерял рукавицу.

— Э-э! — заорал он, ползая в снегу: — Подождите!

К нему подошел Федор. Долго вместе искали рукавицу. Нашли. Федор помог снабженцу подняться.

Павел топтался на снегу кругами — хотел понять: на дороге они или сбились.

— Где же пасека-то твоя?! — не скрывая раздражения, крикнул снабженец.

— Будет и пасека! Все будет... — ответил Павел. — Терпение! — он надолго пропал в темноте.

Федор и снабженец стояли рядом, спинами к ветру.

— Трепач он, — сказал снабженец.

Федор повернул к нему голову.

— Я говорю, сбился он! — повторил снабженец.

Федор промолчал. Он знал это.

Неожиданно рядом появился Павел.

— Так, братики!.. — он коротко и невесело хохотнул. — Маленько того... заблудились!

— Как? — спросил снабженец.

— Но я направление примерно знаю. Надо идти.

— Как заблудились?! — опять спросил снабженец.

— «Как! Как!» — озверел Павел. — Пасека должна быть а ее нету, вот как! Заладил, блохастый!

— Ты что, смеешься, что ли?

— Пошли! — скомандовал Павел. — Главное, идти, не стоять. Я направление знаю: на ветер надо идти.

Федор послушно двинулся вперед — на ветер.

— Да куда идти?! Куда идти?! — перекрывая вой ветра, заорал снабженец. — Вы что, маленькие, что ли?!

Ему не ответили. Двое удалялись от него. Он догнал их, схватился за полушубок Федора, быстро заговорил:

— Надо счас в снег зарыться, переждать!.. Я слышал, так делают. Мы же пропадем иначе. Выбьемся из сил и пропадем! Он же не знает, куда идти!..

Федор, не оборачиваясь, крикнул:

— Ничо, шагай!

С полчаса медленно, с отчаянным злым упорством шли навстречу ветру, проваливаясь по колена в снег.

Ветер неистовствовал.

Павел остановился наконец, долго соображал, бессмысленно вглядываясь в ревущую тьму.

— Ну?! — крикнул Федор.

— Придется выходить на тракт. На деревню можем не попасть — ни черта не видно! Сворачиваем! — распорядился он.

— Сволочь! — громко сказал снабженец.

Это услышали; Павел повернулся и пошел было к нему, но Федор подтолкнул его вперед.

— Дерьмо собачье, — проворчал Павел.

Опять трое, перегнувшись пополам, медленно побрели по целику. Ветер теперь бил слева.

Еще прошло какое-то время.

— Я больше не могу! — заявил снабженец. — Все!

Остановились.

— Как это не можешь? — спросил Павел.

— Не могу! Ясно?.. — снабженец глотнул ветра, закашлялся. — Надо же... кха-кха-кха!.. Надо ж понимать, идиоты! Никуда нам не выйти! — он сел на снег и согнулся в новом приступе кашля. — Я зароюсь в снег и пережду.

К нему подошел Павел. Склонился.

— Идти надо, чего ты слюни-то распустил! Куда зароешься, дура сырая?.. Замерзнешь тут, как кочерыжка, и все. Он на сутки зарядил, не меньше. Идти надо!

— Уйди от меня, трепач! — взвизгнул снабженец и заматерился.

Павел облапил его, стал поднимать.

— Пойде-ешь!.. Как Исусик, пойдешь у меня, ухажер сучий. Я те зароюсь...

Снабженец отчаянно упирался, хрипло, всхлипами дышал... Плюнул в лицо Павлу.

— Гад! Завел!..

Павел развернулся и навесил снабженцу в челюсть. Тот упал в снег. Федор, стоявший до этого в сторонке, подошел к ним, оттолкнул Павла. Взяв снабженца за грудки, поднял.

— Кому сказано: идти! А то, если я разок вмажу, от тебя одна доха останется. Шагай!

Снабженец покорно пошел.

— Погоди, — сказал Федор. — Давай твою доху, а сам надевай мой полушубок — легче будет.

Снабженец молча снял доху, надел легкий, удобный в ходьбе полушубок.

Павел вышел вперед... И опять пошли.

Часа в четыре ночи Павел остановился, расстегнул полушубок, вытряхнул из-за пазухи снег, сказал без особой радости:

— Буланово — собак слышно, — он устал смертельно.

Постучались в крайнюю избу.

Их спросили из-за двери, кто они, откуда... Павел назвал себя, Федора. Им сказали, что не знают таких. Павел заорал:

— Вы что, с ума там посходили?! Люди подыхают, а они допрос учинили!

— Вышибай дверь, — робко и устало посоветовал снабженец.

Их впустили.

В избе выяснилось: это не Буланово, а зверосовхоз «Маяк».

Павел аж присвистнул.

— Какого кругаля дали!

Снабженец осторожно отряхивался у порога. Федор снял доху, повесил на стену. Снабженец снял ее, вынес в сенцы и там долго отряхивал с нее снег.

— Водки теперь, конечно, не достать? — спросил Павел.

— Какая водка! — воскликнул хозяин, зевая и кутаясь в одеяло — в избе выстыло. Из-за его спины выглядывала недовольная заспанная жена. — Я б счас сам с удовольствием похмелился.

— Ну нет, так нет. На нет, говорят, и спроса нет, — грустно согласился Павел.

Снабженец долго устраивал доху на вешалку, потом присел на припечье.

— Давай спать, Федор, — сказал Павел. — Небось не простынем.

Они расстелили на полу полушубки, легли, не раздеваясь. Хозяин дал им укрыться свой тулуп.

Снабженец залез на печку.

Погасили свет.

— Стретили Новый год, — вздохнул Павел. — Язви тя в душу.

Буран колотил по крыше дома. В печной трубе тоскливо завывало. Во дворе, под окнами, скулила собака. Громко хлопали ворота — когда входили, забыли их закрыть.

— Ворота-то... черти вы такие, — сказал хозяин. — Расхлещет теперь.

Пришельцы промолчали — никому не хотелось идти закрывать ворота.

Минут десять лежали тихо.

— Слышь, на печке! — строго сказал Павел. — У тебя есть водка. В карманах, в дохе. Я видел вчера. Мы же отдадим тебе...

— Была, — откликнулся негромко снабженец. — Потерял я ее. Выронил.

Павел повернулся на бок и затих.

С печки послышалось ровное посапывание. Павел неслышно поднялся, подошел к дохе снабженца и стал шарить по карманам — искал водку. Водки действительно не было. В одном кармане он наткнулся на какой-то странный колючий предмет. Павел вытащил его, зажег спичку — то была маленькая капроновая елочка, увешанная крошечными игрушечками. Елочка была мокрая и изрядно помятая у основания. У крестовинки прикреплена бумажка, и на ней написано печатными буковками: «Нюсе, моей голубушке. От Мити».

— Положь на место, — сказал вдруг снабженец с печки.

Павел положил елочку в карман дохи, лег.

— К Нюрке опять пошел? — спросил он.

— Не твое дело.

— «Митя», — передразнил Павел. — Какой же ты Митя? Ты уж, слава те господи, целый Митька.

— Огурцов Укроп Помидорыч, — зачем-то сказал Федор. И хмыкнул.

— До чего ушлый народ! — возмутился Павел. — Залезет вот такой гад в душу с разными словами — и все, и полный хозяин там...

— Пошли вы к черту! — громко сказал снабженец. — Чего вы злитесь-то, как собаки?

— Да хватит вам, — заворчал хозяин. — Нашли время разговаривать. Дайте доспать нормально.

Замолчали.

Хозяин через три минуты захрапел.

— А то злятся все, как собаки, — сказал снабженец с печки. — Не глянется, что лучше вас живу?

Павел и Федор не сразу нашлись, что на это ответить.

— Закрой варежку, — сказал наконец Павел. — Ворюга.

— Ты меня поймал, чтоб так говорить? — повысил голос снабженец.

Чувствовалось, что он привстал.

— Я тебя по походке вижу.

— Нет, ты поймал меня?

— Сдался ты мне — ловить тебя. А от Нюрки тебя, поганца, отвадим, заранее говорю. Придешь седня, мы там поговорим.

— Да какое ваше дело?! — почти закричал снабженец.

Проснулся хозяин.

— Ну, ребята, — сердито заговорил он, — пустил вас, как добрых людей, так вы теперь соснуть не даете. Чего вы орете-то? Что, дня не хватает для разговоров ваших дурацких?

Замолчали.

Долго лежали так.

— Как собаки, накинутся... — шепотом сказал снабженец.

— Гад, — тоже шепотом сказал Павел. — «Милой голубушке...». Голубчик нашелся. Я тя седня в деревне приголублю.

Федор хохотнул в рукав.

— Мужики, у вас совесть есть или нету? — совсем зло сказала хозяйка. — Вы что?!

— Все, спим, — серьезно сказал Павел. — Давай спать, Федор.

Скоро все заснули.

К утру буран улегся.

Павел с Федором проспали; снабженца в избе уже не было.

— Ушел, — сказал хозяин.

Выпили с хозяином две бутылки водки и пошли навеселе в Буланово.

Двенадцать километров отшагали незаметно.

В Буланове завернули еще в чайную, еще подкрепились... Совсем хорошо стало на душе.

— Пошли к Нюрке зайдем? — предложил Павел. — Поглядим на их...

— Пошли, — согласился Федор.

— Мне все же охота поговорить с им, — не терпелось Павлу. — Доху надел... Сука! А я полушубок не мог взять: по шестьдесят восемь рублей привозили, не мог занять ни у кого. А что я, хуже его работаю?! — Павел кричал и размахивал руками. — Что я, хуже его?!

Федор молчал.

Нюра ждала гостей... Только не этих. Сидела в прибранной избе — нарядная, хорошая. Стол был застелен камчат-

ной скатертью: на нем стоял начищенный самовар — и все пока, больше ничего. В избе было празднично.

— А где он? — сразу спросил Павел.

— Кто?

— Этот гусь... В дохе-то?

Нюра покраснела.

— Никого здесь нету. Вы чего?

— Не пошел, — сказал Федор. — Он обратно в город уехал.

— А-а... струсил! — Павел был доволен. Стал рассказывать Нюре: — Шли ночью с твоим... ухажером. Елочку тебе нес, гад такой. И главное, написал: «От голубчика Мити». Я говорю: если, говорю, я тебя еще раз увижу у Нюрки, ноги повыдергаю. Ты, говорю, недостойный ее! Ты же так ездишь — лишь бы время провести, а ей мужа надо. Да не такого мозгляка, а хорошего мужика! — не замечал Павел, как меняется в лице Нюра, слушая его. — А ты гони его, если он еще придет! Гони метлой поганой! Митя мне, понимаешь...

Федор смотрел на Нюру. Молчал.

— Спасибо, Павел, — сказала Нюра.

— Ты мне скажи, когда он придет...

— Спасибо тебе. Позаботился. А то сидишь одна — и никому-то до тебя нету дела. А ты вот пришел... позаботился... — Нюра отвернулась к окну, кашлянула.

— А чего? — не понял Павел.

— Ничего. Спасибо... — голос Нюры задрожал. Она вытерла уголком платка слезы.

— Пошли, — сказал Федор.

— А ты чего, Нюр?— все хотел понять Павел.

— Пошли, — опять сказал Федор. И подтолкнул Павла к двери. Вышли.

— А чего она?

— Зря, — сказал Федор. — Не надо было.

— Чего она, обиделась, что ли?

Федор не ответил.

— Ей же, понимаешь, делаешь лучше, она — в слезы. Бабье!

— Трепесся много, — сказал Федор. — Как сорока на колу. У вас все в роду трепачи были. Балаболки.

— А ты-то чо? — Павел приостановился от неожиданности.

Федор как шагал, так продолжал шагать.

— Федор! — крикнул Павел. — Пошли, у меня пара бутылок дома есть. Пошли?

Федор свернул в свой переулок — не оглянулся.

Павел постоял еще немного в раздумье. Плюнул в сердцах и тоже пошел домой.

«Пошли вы все!.. Им же, понимаешь, лучше делаешь, а они... строют из себя. Я же виноват, понимаешь. Народ!»

ВАНЯ, ТЫ КАК ЗДЕСЬ?!

У Проньки Лагутина в городе Н-ске училась сестра. Раз в месяц Пронька ездил к ней, отвозил харчи и платил за квартиру. Любил поболтать с девушками-студентками, подругами сестры, покупал им пару бутылок красного вина и учил:

— Вы, главное, тут... смотрите. Тут народ разный. Если он к тебе: «Вы, мол, мне глянетесь, то-се, разрешите вас под ручку», — вы его по руке: «Не лезь! Мне, мол, сперва выучиться надо, а потом уж разные там дела. У меня, мол, пока одна учеба на уме».

В один из таких приездов Пронька, проводив утром девушек в институт, решил побродить до поезда по городу. Поезд уходил вечером.

Походил, поглазел, попил воды из автомата... И присел отдохнуть на скамейку в парке. Только присел, слышит:

— Молодой человек, простите, пожалуйста, — подошла красивая молодая женщина с портфелем. — Разрешите, я займу минутку вашего времени?

— Зачем? — спросил Пронька.

Женщина присела на скамейку.

— Мы в этом городе находимся в киноэкспедиции...

— Кино фотографируете?

— Да. И нам для эпизода нужен человек. Вот такого... вашего типа.

— А какой у меня тип?

— Ну... простой... Понимаете, нам нужен простой сельский парень, который в первый раз приезжает в город.

— Так, понимаю.

— Вы где работаете?

— Я приезжий, к сестре приезжал...

— А когда уезжаете?

— Сегодня.

— Мм... тогда, к сожалению, ничего не выйдет. А у себя... в селе, да?..

— Но.

— У себя в селе где работаете?

— Трактористом.

— Нам нужно, чтоб вы по крайней мере неделю побыли здесь. Это нельзя?

— Трудно. Сейчас самое такое время.

— Понимаю. Жаль, Извините, пожалуйста, — женщина пошла было, но вернулась. — А знаете, у вас есть сейчас минут двадцать времени?

— Есть.

— Я хочу показать вас режиссеру... для... как вам попроще: чтобы убедиться, в том ли мы направлении ищем? Вы не возражаете? Это рядом, в гостинице.

— Пошли.

По дороге Пронька узнал, как будет называться кино, какие знаменитые артисты будут играть, сколько им платят...

— А этот тип зачем приезжает в город?

— Ну, знаете, искать свою судьбу. Это, знаете, из тех, которые за длинным рублем гоняются.

— Интересно, — сказал Пронька, — Между прочим, мне бы сейчас длинный рубль не помешал: домишко к осени хочу перебрать. Жениться надо, а в избе тесно. Пойдут ребятишки — повернуться негде будет. У вас всем хорошо платят?

Женщина засмеялась.

— Вы несколько рановато об этом. А вы могли бы с неделю пожить здесь?

— Неделю, думаю, мог бы. Я дам телеграмму, что...

— Нет, пока ничего не нужно. Ведь вы можете еще не подойти...

— Вы же сказали, что я как раз тот самый тип!

— Это решает режиссер.

Режиссер, худощавый мужчина лет за пятьдесят, с живыми умными глазами, очень приветливо встретил Проньку. Пристально, быстро оглядел его, усадил в кресло.

Милая женщина коротко рассказала, что сама узнала от Проньки.

— Добре, — молвил режиссер. — Если дело пойдет, мы все уладим. А теперь оставьте нас, пожалуйста, мы попробуем... поиграть немного.

Женщина вышла.

— Как вас зовут, я забыл?

— Прокопий, — Пронька встал.

— Сидите, сидите. Я тоже сяду, — режиссер сел напротив. Весело смотрел на Проньку. — Тракторист?

— Ага.

— Любите кино?

— Ничего. Редко, правда, бывать приходится.

— Что так?

— Да ведь... летом почесть все время в бригаде, а зимой на кубы уезжаем...

— Что это такое?

— На лесозаготовки. Женатые-то дома, на ремонте, а холостежь — вроде меня — на кубы.

— Так, так... Вот какое дело, Прокопий. Есть у нас в фильме эпизод: в город из деревни приезжает парень. Приезжает в поисках лучшей судьбы. Находит знакомых. А знакомство такое... шапочное: городская семья выезжала летом отдохнуть в деревню, жила в его доме. Это понятно?

— Понятно.

— Отлично. Дальше: городская семья недовольна приездом парня — лишняя волокита, неудобства... и так далее. Парень неглупый, догадывается об этом и вообще начинает понимать, что городская судьба — дело нелегкое. Это его, так сказать, первые шаги. Ясно?

— А как же так: сами жили — ничего, а как к ним приехали — не ндравится.

— Ну... бывает. Кстати, они не так уж и показывают, что недовольны его приездом. Тут все сложнее, — режиссер помолчал, глядя на Проньку. — Это непонятно?

— Понятно. Темнят.

— Темнят, да. Попробуем?.. Слова на ходу придумаем. А?

— А как?

— Входите в дверь — перед вами буду не я, а те ваши городские знакомые, хозяин. Дальше — посмотрим. Ведите себя, как бог на душу положит. Помните только, что вы не Прокопий, Пронька, а тот самый деревенский парень. Назовем его — Иван. Давайте!

Пронька вышел из номера... и вошел снова.

— Здравствуйте.

— Надо постучаться, — поправил режиссер. — Еще раз.

Пронька вышел и постучал в дверь.

— Да!

Пронька вошел. Остановился у порога. Долго молчали, глядя друг на друга.

— А где «здравствуйте»?

— Я же здоровался,

— Мы же снова начали.

— Снова, да?

Пронька вышел и постучался.

— Да!

— Здравствуйте!

— О, Иван! Входите, входите, — «обрадовался» режиссер. — Проходите же! Каким ветром?

Пронька заулыбался.

— Привет! — подошел, обнял режиссера, похлопал его по спине. — Как житуха?

— А чего ты радуешься? — спросил режиссер.

— Тебя увидел... Ты же тоже обрадовался.

— Да, но разве ты не чувствуешь, что я притворно обрадовался? Дошло?

— А чего тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить у вас. Может, я только на часок.

Режиссер наморщил лоб, внимательно посмотрел в глаза Проньке.

— Пожалуй, — сказал он. — Давай еще раз. Я поторопился, верно.

Пронька опять вышел и постучался.

Все повторилось.

— Ну, как житуха? — спросил Пронька, улыбаясь.

— Да так себе... А ты что, по делам в город?

— Нет, совсем.

— Как совсем?

— Хочу артистом стать.

Режиссер захохотал.

Пронька выбился из игры.

— Опять снова?

— Нет, продолжай. Только — серьезно. Не артистом, а... ну, в общем, работать на трикотажную фабрику. Так ты, значит, совсем в город?

— Ага.

— Ну и как?

— Что?

— А где жить будешь?

— У тебя. Вы же у меня жили, теперь я у вас поживу.

Режиссер в раздумье походил по номеру.

— Что-то не выходит у нас... Сразу быка за рога взяли, так не годится, — сказал он. — Тоньше надо. Хитрее. Давай оба притворяться: я недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован; ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду — тоже радуешься. Попробуем?

— Попробуем. Мне глянется такая работа, честное слово. Если меня увидят в кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу, его просто разнесут по бревнышку.

— Почему разнесут?

— От удивления. Меня же на руках вынесут!..

— М-да... Ну, давайте пробовать. А то, как бы меня потом тоже не вынесли из одного дома. От удивления.

Пронька вышел в коридор, постучался, вошел, поздоровался. Все это проделал уверенно, с удовольствием.

— Ваня! Ты как здесь?! — воскликнул режиссер.

— А тебя зовут?

— Ну, допустим... Николай Петрович.

— Давай снова, — скомандовал Пронька. — Говори: «Ваня, ты как здесь?!».

— Ваня, ты как здесь?!

— Нет, ты вот так хлопни себя руками и скажи: «Ваня, ты как здесь?!» — Пронька показал, как надо сделать. — Вот так.

Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласился.

— Хорошо. Ваня, ты как здесь?! — хлопнул руками.

Пронька сиял.

— Здорово, Петрович! Как житуха?

— Стоп! Я не вижу, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же недоволен! Хотя... Ну хорошо. Пойдем

дальше. Ты все-таки следи за мной внимательней. Ваня, ты как здесь?!

— Хочу перебраться в город.

— Совсем?

— Ага. Хочу попробовать на фабрику устроиться...

— А жить где будешь? — сполз с «радостного» тона Николай Петрович.

— У тебя, — Проньку не покидала радость. — Телевизор будем вместе смотреть.

— Да, но у меня тесновато, Иван...

— Проживем! В тесноте — не в обиде.

— Но я же уже недоволен, Иван... то есть, Проня! — вышел из терпения режиссер. — Разве не видишь? Я уже мрачнее тучи, а ты все улыбаешься.

— Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не случится, если я поживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу, переберусь в общагу.

— Но тогда надо другой фильм делать! Понимаешь?

— Давай другой делать. Вот я приезжаю, так?

— Ты родом откуда? — перебил режиссер.

— Из Колунды.

— А хотел бы действительно в городе остаться?

— Черт ее... — Пронька помолчал. — Не думал про это. Вообще-то нет. Мне у нас больше глянется. Не подхожу я к этому парню-то?

— Как тебе сказать... — режиссеру не хотелось огорчать Проньку. — У нас другой парень написан. Вот есть сценарий... — он хотел взять со стола сценарий, шагнул уже, но вдруг повернулся. — А как бы ты сделал? Ну, вот приехал ты в город...

— Да нет, если уж написано, то зачем же? Вы же не будете из-за меня переписывать.

— Ну а если бы?

— Что?

— Приехал ты к знакомым...

— Ну, приехал... «Здрасте!» — «Здрасте!». — «Вот и я пожаловал» — «Зачем?» — «Хочу на фабрику устроиться...».

— Ну?

— Все.

— А они недовольны, что тебе придется некоторое время у них жить.

— А что тут такого, я никак не пойму? Ну, пожил бы пару недель...

— Нет, вот они такие люди, что недовольны. Прямо не говорят, а недовольны, видно. Как тут быть?

— Я бы спросил: «Вам што, не глянется, што я пока поживу у вас?».

— А они: «Да нет, Иван, что ты! Пожалуйста, располагайся!». А сами недовольны, ты это прекрасно понимаешь. Как быть?

— Не знаю. А как там написано? — Пронька кивнул на сценарий.

— Да тут... иначе. Ну а притвориться бы ты смог? Ну-ка давай попробуем? Они плохие люди, черт с ними, но тебе действительно негде жить. Не ехать же обратно в деревню. Давай с самого начала. Помни только...

Зазвонил телефон. Режиссер взял трубку.

— Ну... ну... Да почему?! Я же говорил!.. Я показывал, какие! А, черт!.. Сейчас спущусь. Иду Проня, подожди пять минут. Там у нас путаница вышла...

— Не слушаются? — поинтересовался Пронька.

— Кого? Меня?

— Но.

Режиссер засмеялся.

— Да нет, ничего... Я скоро, — режиссер вышел.

Пронька закурил.

Вбежала красивая женщина с портфелем. На ходу спросила:

— Ну, как у вас?

— Никак.

— Что?

— Не выходит. Там другой написан.

— Режиссер просил подождать?

— Ага.

— Значит, подождите, — женщина порылась в стопке сценариев, взяла один... — Может, вам сценарий пока дать почитать? Почитайте пока. Вот тут закладочка — ваш эпизод.

Она сунула Проньке сценарий, а сама с другим убежала. И никакого у нее интереса к Проньке больше не было. И вообще Проньке стало почему-то тоскливо. Представилось, как приедет завтра утром к станции битком набитый поезд,

как побегут все через площадь — занимать места в автобусах... А его не будет там, и он не заорет весело на бегу: «Давай, бабка, кочегарь, а то на буфере поедешь!». И не мелькнут потом среди деревьев первые избы его деревни. Не пахнет кизячным дымом... Не встретит мать на пороге привычным: «Приехал. Как она там?». И не ответит он, как привык отвечать: «Все в порядке». — «Ну, слава богу».

Он положил сценарий на стол, взял толстый цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал:

«Не выйдет у нас.

Лагутин Прокопий».

И ушел.

ЗАРЕВОЙ ДОЖДЬ

Был конец апреля. С карнизов домов срывались крупные капли, теплый ветер сдувал их, они мягко шлепались в стекла окон и медленно сползали.

Ефим Бедарев лежал в районной больнице, в маленькой палате, на плоской койке. Он почернел от болезни. Устал.

Часто заходил врач, молодой парень.

— Ну, как дела?

— Как сажа бела, — с трудом отвечал Ефим; в темных глазах его на миг вспыхивала странная веселость. — Подвожу баланс.

— Бросьте вы!..

— Я шутейно, — успокаивал Ефим. Ему нравился доктор: он был до смешного молодой и застенчивый — этот доктор.

— Лекарство пили?

— А как же! Лучше стало — чую.

Доктор пытливо смотрел на больного. Тот спокойно выдерживал его взгляд.

— Не веришь? Хэх, доктор!.. До чего же ты молодой еще. Прямо завидки берут.

Доктор краснел.

— Как это не верю! Зачем вы так?..

Ефим легонько хлопал его по руке.

— Все в порядке, сынок: я понимаю. Я не жалуюсь... Мне бы только дочь...

— Ей послали телеграмму.

— Вот хорошо! — Ефим хотел увидеть единственную дочь Нину. — Это хорошо.

В полдень, когда в палате никого не было, в открытое окно, с улицы, заглянул человек в белом полушубке. Оглядел палату, снял с огромной головы мерлушковую шапку и лег грудью на подоконник. В палате запахло талой землей и овчиной.

— Здорово, Ефим.

Больной повернул голову и от удивления округлил глаза. Пошевелился — хотел приподняться, но человек в полушубке замахал рукой:

— Лежи!

Ефим внимательно смотрел на пришельца.

— Зашел попроведать, — заговорил тот, глядя раскосыми глазами не то на больного, не то мимо. — Как делишки, Ефим?

Ефим усмехнулся.

— Хорошо.

Большеголовый понимающе кивнул. Вылез из окна, высморкался на землю и снова влез и лег на подоконник.

Некоторое время смотрели друг на друга.

— Значит, как я понимаю, плохо дело, — сказал большеголовый и опять понимающе кивнул.

— Ты для чего приполз сюда? — спросил Ефим.

— А приехал в гости к зятю, — охотно заговорил большеголовый, — ну, узнал, что ты, значит, прихворнул. Ага. Ну, сидел на крылечке, и так меня разморило. Вот, думаю, весна, хорошо, солнышко светит. Да-а... А помирать все одно надо, — он полез в карман полушубка за кисетом. — И опять же так подумал: вот живем мы, живем — вроде так и надо. О смертыньке-то и не думаем. А она — раз! — тут как тут. Здрасте, говорит, забыли про меня? — большеголовый посмотрел прямо на Ефима. — Взять хоть тебя, Ефим... — он долго слюнявил край газетной самокрутки.

— Ну?

— Ну, жил, думаю, человек... активничал там, раскулачивал... э-э... и все такое, — большеголовый прикурил, заботливо отмахнул от окна белое облачко дыма. — Крест с церкви тогда своротил. Помнишь?

— Помню, как же.

— Во-от. Я к чему это: там есть бог или нету — это ладно. Не про то счас. Я хочу узнать: как вобче-то?

— Что?

— Мучаешься?

— Хочешь знать: мучает меня совесть, что я вас раскулачивал? Это, што ли?

— Ага, вот это самое.

— Нет, Кирилл, не мучает. Нисколько. А бога ты зря приплел. Ты ж сам не веришь. Хоть бы сейчас-то не вилял душой.

Кирилл усмехнулся.

— Богу не верю — это правда. Ему, как я понимаю, никто не верит, притворяются только.

— Молодец. Хоть на старости лет за ум взялся.

— Не радуйся шибко-то, — большеголовый назидательно посерьезнел. — Я тебя не пужаю, Ефим, но хочу сказать: кто в жизни обижал людей, тот легко не умирает.

— Ой, как я испугался, прямо трясусь весь. Дурак ты, Кирька, и всегда дураком был. Хэх, блаженненький явился...

— Это ты передо мной веселишься, — продолжал Кирька. — А самому страшно.

— А я не помру. Откуда ты взял, что я помираю?

— Ничего, ничего, — значительно сказал Кирька и затянулся трескучим самосадом.

Вошел доктор.

— Это еще что такое? — нахмурился он, увидев Кирьку.

— Это... сосед мой, — сказал Ефим. — Пусть постоит.

— Бросьте курить-то! И лучше бы уйти...

— Нет, — запротестовал Ефим, — пусть побудет.

Кирька сполз с подоконника, старательно затоптал окурок.

Врач заставил Ефима выпить лекарство, посидел немного рядом с ним и ушел.

Кирька снова лег на подоконник.

— Хороший уход здесь, — сказал он.

— «Хороший уход здесь», — передразнил его Ефим, неожиданно почему-то рассердившись. — Оглоеды.

— Не шуми. Это тебе не сельсовет, а больница.

Помолчали.

— Гляжу я на тебя, Ефим, — заговорил вдруг Кирька задумчиво и негромко, — и не могу понять: ведь сколько ты мне вреда сделал! Хозяйство отобрал, по тайге гонял, как зверя какого, сослал вон куда — к черту на кулички... Так? А зла у меня на тебя нету большого. Не то, что совсем нету: подвернись тогда в тайге, я ба, конечно, хлопнул. Но такого, чтоб света белого не видеть, такого нету. Один раз, помню, караулил у твоей избы чуть не до рассвета. Сидел ты с бумажками прямо наспроть окна. Раз десять прицеливался и не мог. Не поверишь, наверно? В тайге мог ба, а дома нет. Сижу, ругаю себя последними словами, а стрельнуть не могу.

Ефим скатил по подушке голову в сторону Кирьки, с любопытством слушал.

— Ты какой-то все-таки ненормальный был, Ефим. Не серчай — не по злобе говорю. Я не лаяться пришел. Мне понять охота: почему ты таким винтом жил — каждой бочке затычка? Ну, прятал я хлеб, допустим. А почему у тебя-то душа болела? Он ведь мой, хлеб-то.

— Дурак, — сказал Ефим.

— Опять — дурак! — обозлился Кирька. — Ты пойми — я ж сурьезно с тобой разговариваю. Чего нам с тобой теперь делить-то? Насобачились на свой век, хватит.

— Чего тебе понять охота?

— Охота понять: чего ты добивался в жизни? — терпеливо пытал Кирька. — Каждый человек чего-то добивается в жизни. Я, к примеру, богатым хотел быть. А ты?

— Чтоб дураков было меньше. Вот чего я добивался.

— Тьфу!.. — Кирька полез за кисетом. — Я ему одно, он — другое.

— Богатым он хотел быть!.. За счет кого? Дурак, дурак, а хитрый.

— Сам ты дурак. Трепач. Новая жись!.. Сам не жил как следует и другим не давал. Ошибся ты в жизни, Ефим.

Ефим закашлялся. Высохшее тело его долго содрогалось и корчилось от удушающих приступов. Он смотрел на Кирьку опаляющим взглядом, пытался что-то сказать.

Вошел доктор и бросился к больному.

Кирька слез с окна и пошел из ограды.

К вечеру, когда больничные окна неярко пламенели в лучах уходящего солнца, Ефиму Бедареву стало хуже.

Он лежал на спине, закинув руки назад. Время от времени тихо стонал, сжимал непослушными пальцами тонкие прутья кровати, напрягался — хотел встать. Но болезнь не выпускала его из своих цепких объятий, жгла губительным огнем: жаром дышала в лицо, жарко, мучительно жарко было под одеялом, в жарком тумане качались стены и потолок...

Над Ефимом стояли врач и дочь Нина, женщина лет тридцати, только что приехавшая из города.

— Что сейчас?.. Ночь? — спрашивал Ефим, очнувшись.

— Вечер, солнце заходит.

— Закурить бы...

— Нельзя, что вы!

— Ну, пару раз курнуть, я думаю, можно?

— Да нельзя, нельзя! Как же можно, папа?!

Ефим обиженно умолкал... И снова терял сознание, и снова хотел встать — упорно и безнадежно. Один раз в беспамятстве ему удалось сесть в кровати. Дочь и доктор хотели уложить его обратно, но он уперся рукой в подушку, а другой торопливо рвал ворот рубашки и тихонько, горячо, со свистом в горле шептал:

— Да к чему же?.. К чему?.. Я же знаю! Я все знаю!.. — в сухих воспаленных глазах его мерцал беспокойный трепетный свет горькой какой-то мысли.

Кое-как уложили его... Дочь припала к отцу на грудь, затряслась в рыданиях.

— Папа! Папочка мой хороший!.. Папа!..

Доктор увел женщину из палаты и остался с больным один.

Ефим притих.

Врач сидел на кровати, смотрел на него.

— Кирька! — позвал Ефим, не открывая глаз.

— Чего? — откликнулся чей-то голос.

Врач вздрогнул и обернулся — у окна стоял Кирька и глядел на Ефима. Он давно уж наблюдал за непосильной борьбой человека со смертью.

— Вы что тут?

— Смотрю...

— Это кто? Кирька? — спросил Ефим.

— Я.

— Пришел?

— Ага.

— Ничего, Кирька... — Ефим жадно дышал. — Я потом с тобой потолкую... Конечно, жалко малость...

— Ничего. Лежи, Ефим.

Врач ничего не понял из этого странного разговора. Он решил, что Ефим опять бредит, и сделал знак Кирьке, чтобы тот ушел; больной волновался.

Кирькина голова исчезла.

Ночь кончалась. Заревая сторона неба нахмурилась тучами. Повеяло затхлым теплом болотистых низин — собирался дождь.

Где-то прогудела машина; несколько кобелей-цепняков простуженно забухали в рассветную тишину.

Над Ефимом склонились врач и дочь.

— Все? — спросил Ефим одними губами.

У женщины запрыгал подбородок. Врач воскликнул:

— Что это вы, Ефим Назарыч! Глупости какие...

— Открой окно.

— Оно открыто.

— Тяжко... Нина, дочка... ребятешек... м-м... — Ефим повел потускневший взгляд в сторону, потянулся под одеялом... Лицо покрылось мучнистой бледностью. Он закашлялся... Изо рта на подушку протянулся тонкий ручеек сукровицы. Последним усилием рванулся он с койки... сел. Доктор и дочь подхватили его.

В горле у Ефима кипело. Он хотел что-то сказать, но только мычал. Он плохо держал голову... пачкал белый халат дочери теплой кровью и мычал — хотел что-то сказать.

— Что, Ефим, плохо? — с искренней участливостью спросил вдруг посторонний голос — это Кирька опять стоял у окна. Ему никто не ответил. Его даже, наверно, не услышали.

Ефим сразу отяжелел в руках дочери, обвис... Его бережно положили на койку. Стало тихо.

Женщина окаменела у койки. Смотрела на отца большими глазами. В стекла окон сыпанули первые крупные капли

дождя; деревья в больничном саду встрепенулись, закачали ветвями, зашумели.

Порывом ветра в окно палаты закинуло клочок бумаги; он упал к ногам женщины, тихо шаркнув по полу. Она вздрогнула, опустилась перед отцом на колени...

Кирька медленно пошел прочь от больницы. Шапку забыл надеть — нес в руках.

Теплый обильный дождь полоскал голову, стекал по лицу, по шее, за ворот, барабанил по полушубку. Это был желанный дождь — первый в этом году.

Шел Кирька и грустно смотрел в землю. Жалко было Ефима Бедарева. Сейчас он даже не хотел понять: почему жалко? Грустно было и жалко, и все.

Дождь шумел, отплясывал на дороге тысячью длинных сверкающих ножек. Кипело, булькало в канавках и в лужицах... Хлюпало.

ОПЕРАЦИЯ ЕФИМА ПЬЯНЫХ

Ефим Пьяных понял это ночью. Толкнул жену.

— Чего? — недовольно откликнулась та.

— Это... осколок, однако, начал выходить. Вот он — колется, змей. С вечера чуял...

— Где?

— Ну, где?.. Куда ранило-то, не знаешь, что ли?

— Там? — изумилась Соня.

— Но.

— Чо же ты, двадцать лет сидел на ем и не чуял? Как так?

— Так и не чуял! Как... Да большой! — Ефим горько прицокнул языком. — Замучает, паразит.

Соня засмеялась.

— Как теперь сидеть-то будешь? Боком, что ли?

— Смешно! Тебе бы счас... не веселилась бы.

Помолчали.

— Что делать теперь, ума не приложу.

Соня не выдержала и опять засмеялась, уткнувшись лицом в подушку.

— Смешинка в рот попала? — сердито спросил Ефим. — Как дура...

— Не сердись, Ефим. Шибко на интересном месте он у тебя... — Соня повозилась, вытирая слезы уголком наволочки. — А чего уж так испугался-то? Не рожать ведь. Ну, выйдет. Они сами, что ли, выходют?

— Пока он выйдет, на самом деле родить можно. Вырезают их. Было у ребят в госпитале...

— Ну и вырежи.

Ефим промолчал на это. Он и сам подумал: «Придется вырезать». Но вспомнил, что у них в больнице нет ни одного врача-мужчины. Мало того, хирург — совсем молодая женщина. Двадцать лет назад, в госпитале, он, не раздумывая, улегся бы спиной кверху перед кем угодно — тогда не совестно было. А сейчас при одной мысли коробит.

— Посмотрим, — сказал он. — Спи.

А сам долго еще думал, как теперь быть.

Весь следующий день он старался быть на ногах — не сиделось. Больно. В кабинете (он был председателем колхоза), принимая народ, ходил около стола, нервничал... Материл про себя «того урода», который всыпал ему под Курском горсть железных конфет ниже пояса. Рана, в общем-то, некрасивая. В госпитале долго ржали. Но тогда — что! А сейчас ему, председателю преуспевающего колхоза, солидному человеку, придется штаны снимать перед молодыми бабенками. А те, конечно, начнут подмигивать друг другу... Еще какая-нибудь скажет: «Вот, Ефим Степаныч, теперь снова можете в президиуме заседать».

Домой пришел рано. Мрачный. Сообщил:

— Назревает.

— Да иди ты в больницу, господи! — воскликнула Соня. — Чего ты носишься с ним, как... не знаю кто.

— В больницу!.. — Ефим закурил и стал ходить по комнате. — У нас не больница, а монастырь какой-то! Откуда их понагнало, черт их знает, — одно бабье!

— Чего они тебе?

— Ничего! Чего... Зарабатывал, зарабатывал авторитет, да пойду теперь растелешусь перед кем попало... Одним махом все перечеркнуть.

— Тьфу! — Соня даже рассердилась на такую глупость. — Да что же ты ей, что ль, авторитет-то зарабатывал?! Какая же она у тебя такая, что ее и показывать нельзя?

— Никакая. Не вякай, раз не понимаешь. Сразу вся деревня узнает, начнут потом языки чесать, черти. Не знаю я их! Им после — одно, а у них на уме — другое. Зубоскалы, черти, — Ефим злился, понимал, что это глупо, а злился. Он действительно не знал, что делать. В город ехать — чуть не сто верст. А приедешь, скажут, у вас своя больница есть. Не примут. Да и как ехать, стоя, что ли?

Ночью стало совсем плохо. Ефим скрипел зубами, стонал.

— Дурак, вот дурак-то, — выговаривала Соня. — Ну чего мучается? Авторитет он боится потерять! Скажи кому — засмеют. Мало мужиков лежат?..

— Лежат! Лучше рак какой-нибудь, чем эта зараза. Был бы я какой-нибудь простой человек — одно дело: позубоскалил вместе бы со всеми да ушел. Взятки гладки. А тут пальцем начнут все показывать...

— Не подставлял бы ее тогда, раз такое дело.

— Я бы хотел на тебя посмотреть, там... Хоть одним глазком. Что бы ты, интересно, подставила?

— Ну и не переживала бы сейчас, как дура.

— Дура и есть.

Боль сводила спину и ногу. Временами казалось, что осколок выходит. Ефим, стиснув зубы, подолгу оглаживал нарыв, но под пальцами ничего острого или твердого не чувствовал. Нарыв сделался мокрым.

— Врачи, мать их!.. все вытаскали, а один надо обязательно оставить!

К утру понял Ефим, что в больницу придется идти. За ночь не сомкнул глаз, измучился.

Собирался, как на муку — тянул время.

— Если придут из конторы: скажешь — в район уехал. Не проболтайся, смотри.

— Да иди ты, иди, ради бога.

...Чем ближе подходил Ефим к больнице, тем больше беспокоился и трусил. Ясно представлял себе, как сейчас войдет в больницу, подойдет к кабинету принимающего

врача... Там, конечно, старушки сидят. С утра пораньше. Увидят его, закивают головками...

— Тоже, Степаныч? Чем занедужил, родной?

«Старух надо почаще гонять из больницы, — только место занимают. Молодому колхознику день приходится тратить, чтобы пробиться к врачу».

...ну, допустим, его пропустили без очереди.

Врач. Молодая важная женщина.

— Что с вами?

— Осколок.

— Где?

— Там.

— Где «там»?

— Ну, там... — может, здесь посмеяться надо для блезира? — Хе-хе-хе... Да в самом, знаете, интересном месте, как сострила моя жена.

— Покажите.

«Господи! За что мне наказание такое?! Не мог он, подлец, еще-то лет десять пролежать там!».

Во дворе больницы Ефим пошел совсем тихо.

«Мужиков в такую рань здесь никого, конечно, нет, — мучился он. — Хоть бы покурить с кем, отвести душу перед тем, как... штаны снимать в кабинете».

Мужиков действительно никого не было в коридоре. Зато полно баб. Сидят на белых скамейках, на диване — все несчастные и немножко торжественные. Тихо переговариваются между собой, вздыхают. Есть и молодые. Одна молодая рассказывает другой, постарше:

— Как вступит, вступит, ну, думаю, конец пришел. Прямо сюда — как вступит, вступит...

Пожилая, понимающе, чуть принахмурившись и строго глядя в окно, кивает головой.

А еще две шептались. Одна тихонько ахает, а другая трогает ее за колено и торопится досказать:

— ...Я грю, да ты чо же, змей подколодный, делаешь-то?.. У тебя, грю, чо, кулак-то ватный, ли чо ли?..

Увидев Ефима Степаныча, перестали жужжать, с любопытством уставились на него.

«Несдобровать, — с отчаянием подумал Ефим. — Мигом разузнают — к обеду вся деревня хаханьки будет разводить».

Подошел к очереди, насмешливо оглядел страждущих.

— Многонько вас! А вот в праздники-то, когда они бывают, никого ведь нету тут. Не хвораете, что ль, в праздники? — спросил и сам не понял — зачем?

— У нас по праздникам, Ефим Степаныч, без того хлопот много, — откликнулась одна.

— Вот то-то и гляжу: много хворых. Где у них тут главный сидит?

— Главврач?

— Но.

— А вон кабинет. Во-он, клеенкой-то обшитый.

Ефим пошел в указанный кабинет, стараясь не хромать.

Главного еще не было. В кабинете сидела красивая полная женщина с родинкой на щеке.

— Главного нет. А вы что хотели? — вежливо спросила женщина.

— Я председатель здешний. Она насчет дров обращалась...

— Да, да, да, я в курсе дела. Дрова очень нужны — зима скоро.

«А то я сам не знаю, скоро зима или не скоро», — съехидничал про себя Ефим.

— Можете брать. Но транспорта у меня нету.

— А на чем же мы?

— Это уж я не знаю. В сельсовет обратитесь. Мое дело — дрова.

Из больницы Ефим шел злой. «Шестьдесят кубометров — как псу под хвост. Черт дернул с дровами-то вылететь!.. Неужели нельзя было какое-нибудь другое заделье найти».

Дрова все равно пришлось бы доставить в больницу, но так вот: прийти и самому навялить — это анекдот, так никакой, самый захудалый председателишко не сделает.

«Совсем сдурел».

А сзади болело так, что каждый шаг отдавался аж в затылке.

«Пойду сам сделаю операцию», — решил Ефим.

Соня встретила восклицанием:

— Ну, вон как скоро! А ты боялся...

— Не шуми. Сейчас будем сами резать. Вскипяти воду, положи туда ножик... В общем, я буду подсказывать.

— Да ты чо, Ефим!.. — заговорила было Соня, но Ефим так глянул на нее, что та осеклась на полуслове.

— Хватит! Надоело мне с ним нянчиться. Ребятишки в школе?

— В школе.

— Запирайся на крючок и... устроим полевой лазарет.

— Я не буду, Ефим. Я боюсь.

— Чего боишься?

— Резать боюсь. Ты чо, сдурел?

— Да чо тут бояться-то?!

— Не буду,— уперлась Соня. — Мы же заражение сделаем.

— Прокипятим как следует — никакого заражения не будет. Как в войну резали!.. — прямо в окопах.

— У врача-то не был?

— Не пойду я к врачу. Все. Давай сами. Сейчас за милую душу операцию сварганим.

— Не дури, Ефим. Хошь, я сама схожу в больницу и приведу кого-нибудь — прямо здесь вырежут. И никто не узнает...

— Опять за свое?! — взорвался Ефим. — Говорят дуре такой — не могу, дак нет — свое! Кипяти воду!

Соня тоже была упрямая баба.

— Не дурачься — не дурней тебя. Черт недорезанный... Заражение сделаем, — куда потом одна с ребятишками-то денусь? Только о себе думает! Вон какие люди хворают, да и то к врачам ходют, а он, видите, не может свой зад показать. Кому он нужен к черту!.. там глядеть-то не на что...

Ефим как-то непонятно спокойно посмотрел на жену. Сказал:

— Выйди на пять минут за дверь. Мне надо ее обследовать перед зеркалом.

Соня, в свою очередь, подозрительно взглянула на мужа.

— Чего затеял?

— Выйди, я ее смотреть буду! Что, шибко охота глянуть?

— Тьфу! — Соня вышла.

Ефим достал из сундука чистую простынь, расстелил на полу, приспустил штаны... Постоял, подумал... Отошел немножко, разбежался и сел с маху на простынь. И еще проехался маленько...

Соня в сенях услышала глухой, сквозь стиснутые зубы, вскрик мужа, бросилась в избу.

Ефим лежал на боку, держал в руках штаны и тихонько матерился.

— Все, теперь выйдет... Без ножа обойдемся.

КУКУШКИНЫ СЛЁЗКИ

Ехали краем леса.

Телега катилась по пыльной дороге, подскакивала на корневищах; в передке телеги звякала какая-то железка.

Солнце клонилось к закату, а было жарко. Было душно. Пахло смольем, пылью и земляникой.

В телеге двое: мужчина и женщина. Примерно одних лет — под тридцать.

Женщина сидит впереди, у грядушки, правит. Мужчина лежит за ее спиной на охапке зеленой травы, смотрит вверх, в безоблачное небо, курит.

Молчат.

Женщина, склонив голову, постегивает концом вожжей по своему сапогу. Думает о чем-то.

Ехали со станции уже часа два. Поговорили о здешних краях, о том о сем... И замолчали.

Рослый гнедой мерин бежит ровной, неторопкой рысью. Фыркает, звякает удилами... Женщина время от времени поднимает голову, дергает вожжами и говорит лениво:

— Но-о!.. Уснул?

Гнедко косит назад фиолетовым глазом, навостряет ухо, но рыси не прибавляет. Женщина опять склоняет голову и похлестывает по голенищу сапога скрученным концом вожжей. Когда телега наклоняется в ее сторону, она упирается руками сбочь себя и подвигается немного в глубь телеги. При этом белая кофточка плотно облегает ее спину. Мужчина поворачивает голову и подолгу напряженно смотрит на женщину, на красивую шею ее, на маленькие завитушки русых волос около ушей. Потом опять курит и глядит вверх.

С неба льются мелко витые серебристые трели жаворонков. В горячем воздухе висит несмолкаемый сухой стрекот кузнечиков. Вокруг — в лесу, в поле — покой. Покой и горячая истома на всем.

Мужчина сел, бросил окурок на дорогу, закурил новую.

— О чем думаете? — спросил он.

— Так. Ни о чем, — негромко ответила женщина, продолжая постегивать вожжами по сапогу.

Мужчина откинул с высокого красивого лба льняную прядь волос, сел рядом с женщиной. Она посмотрела на него. Глаза у нее серые, ясные.

— А жаркий денек. Я не предполагал, что у вас такая жара бывает. Сибирь все-таки.

— Бывает, — отозвалась женщина и дернула вожжи.

Мужчина глубоко затянулся... Над головой его колыхнулось тонкое синее облачко и растаяло.

— А вы что, специально встречать на вокзал ездите?

— Нет, мы врачиху свою ждали, а она чего-то не приехала, — женщина опять повернулась к попутчику.

Тот поспешно отвел от нее глаза... Потянулся, сказал с чувством:

— А вообще хорошо тут у вас! Благодать!

— Хорошо, — просто согласилась женщина и посмотрела далеко в поле.

— Только скучно, наверно? А? — мужчина улыбнулся.

— Кому как. Нам не скучно. Чего скучать?

— Так уж не скучно? — мужчина все улыбался.

Женщина шевельнула покатыми плечами.

— Нет.

— Ну, как же нет!

Женщина посмотрела на него, непонятно усмехнулась и снова принялась было постегивать вожжами по сапогу.

— У вас муж-то есть? — спросил вдруг мужчина.

Женщина оглянулась.

— Нету. А что?

— Да так. Я почему-то так и подумал.

Женщина прищурила в усмешке ясные глаза — они стали хитрые. Яркие, по-девичьи сочные, губы ее чуть приоткрылись, чуть приспустились уголками книзу.

— Почему же?

— Не знаю. Угадал, и все. Разошлись?

— Ну, допустим.

— Из-за чего?

Женщина отвернулась. Ей не хотелось говорить об этом.

— Так, — сказала она. — Из-за дела.

— М-да... — мужчина опять поправил волосы. — Бывает.

Некоторое время молчали.

— Ну и как же теперь? — спросил мужчина.

— Что?

— Как... жизнь-то вообще?

Женщина, не оборачиваясь к нему, усмехнулась.

— Ничего.

Ничего — это, знаете, пустое место, — мужчина засмеялся. — Ничего — это ничего.

— Господи!.. — женщина качнула головой и посмотрела в глаза мужчине.

Тот перестал смеяться... Какое-то время смотрели друг на друга — один пытливо, другая с дурашливым удивлением. И вдруг засмеялись. У женщины в серых глазах заискрились крохотные, горячие огоньки.

— Чего вы смеетесь, а?.. Нет, вы скажите!.. Чего вы?.. — показывая на женщину пальцем, спрашивал мужчина, и сам радостно смеялся.

— Смешинка в рот попала, — женщина отвернулась и вытерла платком глаза. И уже серьезно спросила: — Вы зачем к нам? Уполномоченный, что ли?

Мужчине жалко было, что они перестали смеяться. Он бы посмеялся еще.

— Художник я, — сказал он. — На натуру еду. Рисовать.

Женщина с интересом посмотрела на него.

— Что? — спросил художник.

— Ничего. У нас в клубе тоже художник есть.

— Да?.. — художник не нашел, что сказать о том художнике, который у них в клубе, кивнул головой. — Художников много.

— А вы кого рисуете?

— А все. Тебя... вас могу. Хотите?

Женщина улыбнулась.

— Ну, меня-то... чего меня? А вот у нас виды шибко хорошие есть. На реке. Иной раз придешь по воду утром и глаз не отведешь — до того красиво! Сама думала: вот бы нарисовать.

— Не пробовала?

— Да уж... Вы, правда, посмотрите те места. Только рано надо. А скажите: рисовать учат, что ли, или это уж с рожденья в человеке заложено?

— И с рожденья, и учат... Учиться долго надо... — художнику не хотелось говорить об этом. — Ты вот расскажи лучше, как ты живешь? — он вдруг спрыгнул с телеги, пошел рядом. Улыбался, смотрел на женщину. — А? Как ты живешь вот в этом раю?! — он раскинул руки, оглянулся кругом.

Женщина улыбалась тоже.

— Хорошо живу.

Мужчина вздохнул всей грудью... Отбежал в сторону, сорвал несколько пыльных теплых цветков, догнал телегу, подал цветы женщине. Та приняла их с благодарной улыбкой.

— Кукушкины слезки называются, — сказала она, бережно складывая цветы в букетик. — Нету ей своего гнездышка, она плачет. Где слезинка упадет, там цветок вырастет.

— Нравятся? — художник прыгнул на телегу. Прыгая, задел рукой сгиб колена женщины, метнул в ее сторону быстрый взгляд...

Женщина поправила юбку и продолжала складывать букетик. На короткое мгновение в глазах художника встала картина: здоровая, красивая, спокойная женщина бережно складывает маленький букет из нежно-голубых скорбных цветов — кукушкины слезки. Но властное сильное чувство, как горячая волна, окатило его с головой... Картина пропала. Все в мире, вокруг, представилось вдруг ярким, скоропреходящим, смертным.

— Вообще что жизнь? — громко заговорил он. — Все кончится — и все! — он глядел на женщину — ждал, что она поймет его. — Ну, сделаем мы какое-то свое дело, то есть будем стараться!.. — художник досадливо поморщился — слова были глупые, мелкие. — Черт возьми!.. Ты понимаешь? Ну, сделаем — ну и что? А всю жизнь будем себя за горло держать! Такие уж... невозможно хорошие мы, такие уж... А посмотри — лес, степь, небо... Все истомилось! Красотища! Любить надо, и все! Любить, и все! Все остальное — муть, — он как будто спорил с кем, доказывал — говорил запальчиво, взмахивал рукой... И смотрел на женщину. Ждал.

Она внимательно слушала. Она хотела понять. Мужчина тронул ее за руку.

— Ну, что смотришь? Не понимаешь меня? — положил руку на ее мягкое плечо, хотел привлечь к себе.

Женщина резко вывернула плечо, в упор, до обидного спокойно, просто — как по лицу ударила — глянула на него. Сказала чужим резким голосом:

— Понимаю, — и отвернулась.

Художник отдернул руку — точно обжегся... Растерянно улыбнулся.

— О!.. О, какие мы! — помолчал, глядя на женщину, потом сердито сказал: — Поживем... и нас не будет. И все. Вообще, к черту все! — устало, с тихой злобой добавил он. Поднял ноги на телегу, лег и уткнулся лицом в пахучую траву.

Долго ехали так.

Звякала в передке телеги железка. Фыркал Гнедко. В лесу, пронизанном низким солнцем, звенели хоры птиц. Нечто огромное, светлое, мягко ступая по травам, шагало по земле.

Женщина раза два оборачивалась назад, смотрела на своего попутчика. Тот не шевелился. На узкой спине его, под дорогой шелковой рубашкой, торчали острые лопатки. Около уха, на виске, трепетно пульсировала голубая жилка.

— Сколько времени сейчас? — спросила женщина.

Мужчина сел, глядя вперед, на дорогу, тихо сказал:

— Вы это... извините меня. Наговорил я тут, самому тошно, — он нахмурился, ослабил галстук, глянул на женщину... Она тоже смотрела на него внимательно, точно изучала.

— Ничего, — сказала она, и уголки губ ее дрогнули в насмешливой, но какой-то очень доброй, необидной улыбке. — И лес, и поле — все в ход пошло?

Мужчина тоже смущенно улыбнулся.

— В том-то и дело — философия сразу нашлась! — он провел ладонью по лицу. — Как ворованного хлеба поел.

— Шибко-то не казнись. Все вы... только дай волю.

Мужчина достал портсигар, закурил. Обхватил длинными руками голенастые ноги и задумался. У него был вид неприятно изумленного и подавленного человека.

— Все?

— А то?..

— Да нет, не все, конечно. Долго нам еще ехать?

— Километра два.

— Не все... зря ты так, — повторил мужчина.

Женщина ничего на это не сказала.

Лес кончился. Дорога пошла полем, в хлебах.

Тихо опускался вечер. По земле разлилась мягкая задумчивая грусть. Ударили первые перепела.

Мужчина курил, смотрел на четкий, правильный профиль женской головы.

— Хорошая ты, — вдруг сказал он просто. — Тебя как зовут?

— Нина.

— Хорошая ты, Нина.

— Да уж... — женщина не обернулась к нему; в голосе ее было и смущение, и радость, тихая, не забытая еще радость недавних лет.

— Я тебя рисовать буду.

— Как это? — Нина повернулась к нему и тотчас отвернулась.

— Ну... про тебя... Картина будет называться «Кукушкины слезки».

— Господи! — только и сказала Нина.

Немножко помолчали.

— А тебя как зовут? — спросила Нина.

— Сергей.

— Жить-то где будешь?

— Не знаю...

— У нас можно. Мы вдвоем с мамой, а дом большой. Половина все равно пустует. У реки как раз...

Сергей помолчал.

— Мне, понимаешь... это... Ты обиделась?

— Ну и ладно. И хорошо, что стыдно, — она наклонилась вперед и огрела мерина вожжами. Телега дернулась и громко застучала по дороге.

— Нина! — позвал художник.

— Ну... — Нина упорно не оборачивалась к нему.

— Ты обиделась?

— Да ладно!.. На вас на всех обижаться — обиды не хватит. Не надо больше про это говорить. Вон Березовка наша.

Впереди показалась деревня. Ранняя заря окрасила крыши домов в багровый цвет, и они неярко, сильно тлели посреди молодого золота созревающих хлебов.

— Нарисовал бы вот такой вечер? — спросила Нина. — Видишь, красиво как.

— Да, — тихо сказал художник. Помолчал и еще раз сказал: — Да.

Хорошо было, правда.

ВЯНЕТ, ПРОПАДАЕТ

— Идет! — крикнул Славка. — Гусь-Хрустальный идет!

— Чего орешь-то? — сердито сказала мать. — Не можешь никак потише-то?.. Отойди оттудова, не торчи.

Славка отошел от окна.

— Играть, что ли? — спросил он.

— Играй. Какую-нибудь... поновей.

— Какую? Может, марш?

— Ну, какую недавно учил?..

— Я ее не одолел еще. Давай «Вянет, пропадает»?

— Играй. Она грустная?

— Помоги снять. Не особенно грустная, но за душу возьмет.

Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Славке на колени. Славка заиграл «Вянет, пропадает».

Вошел дядя Володя, большой, носатый, отряхнул о колено фуражку и тогда только сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, Владимир Николаич, — приветливо откликнулась мать.

Славка перестал было играть, чтоб поздороваться, но вспомнил материн наказ — играть без передыху, кивнул дяде Володе и продолжал играть.

— Дождь, Владимир Николаич?

— Сеет. Пора уж ему и сеять, — дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, обстоятельно, точно кубики скла-

дывал. Положит кубик, посмотрит, подумает — переставит. — Пора... Сегодня у нас... што? Двадцать седьмое? Через три дня — октябрь месяц. Пойдет четвертый квартал.

— Да, — вздохнула мать.

Славку удивляло, что мать, обычно, такая крикливая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась. Вообще становилась какая-то сама не своя: краснела, суетилась, все хотела, например, чтоб дядя Володя выпил «последнюю» рюмку перцовки, а дядя Володя говорил, что «последнюю-то как раз и не надо пить — она-то и губит людей».

— Все играешь, Славка? — спросил дядя Володя.

— Играет! — встряла мать. — Приходит из школы и начинает — надоело уж... В ушах звенит.

Это была несусветная ложь; Славка изумлялся про себя.

— Хорошее дело, — сказал дядя Володя. — В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию: все будут строевой шаг отрабатывать, а ты в красном уголке на баяне тренироваться. Очень хорошее дело. Не всем только дается...

— Я говорила с ихним учителем-то: шибко, говорит, способный.

«Когда говорила?! О боже милостивый!.. Что с ней?»

— Талант, говорит.

— Надо, надо. Молодец, Славка.

— Садитесь, Владимир Николаич.

Дядя Володя ополоснул руки, тщательно вытер их полотенцем, сел к столу.

— С талантом люди крепко живут.

— Дал бы уж господи...

— И учиться, конечно, надо — само собой.

— Вот учиться-то... — мать строго посмотрела на Славку. — Лень-матушка! Вперед нас, видно, родилась. Чего уж только не делаю: сама иной раз с им сяду: «Учи! Тебе надо-то, не мне». Ну!.. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы мужчина в доме... Нас-то много они слушают!

— Отец-то не заходит, Славка?

— А чего ему тут делать? — отвечала мать. — Алименты свои плотит — и довольный. А тут рóсти, как знаешь...

— Алименты — это удовольствие ниже среднего, — заметил дядя Володя. — Двадцать пять?

— Двадцать пять. А зарабатывает-то не шибко... И те пропивает.

— Стараться надо, Славка. Матери одной трудно.

— Понимал бы он...

— Ты пришел из школы: сразу — раз — за уроки. Уроки подготовил — поиграл на баяне. На баяне поиграл — пошел погулял.

Мать вздохнула.

Славка играл «Вянет, пропадает».

Дядя Володя выпил перцовки.

— Стремиться надо, Славка.

— Уж и то говорю ему: «Стремись, Славка...».

— Говорить мало, — заметил дядя Володя и налил еще рюмочку перцовки.

— Как же воспитывать-то?

Дядя Володя опрокинул рюмочку в большой рот.

— Ху-у... Все: пропустили по поводу воскресенья и будет, — дядя Володя закурил. — Я ведь пил, крепко пил...

— Вы уж рассказывали. Счастливый человек — бросили... Взяли себя в руки.

— Бывало, утром: на работу идти, а от тебя, как от циклона, на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую — не бриться, ничего — откроешь рот: он побрызгает, тогда уж идешь. Мучился. Хочешь на счетах три положить, кладешь — пять.

— Гляди-ко!

— В голове — дымовая завеса, — обстоятельно рассказывал дядя Володя. — А у меня еще стол наспроть окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить — пот градом!.. И мысли комичные возникают: в ведомости, допустим: «Такому-то на руки семьсот рублей». По-старому. А ты думаешь: «Это ж сколько поллитр выйдет?». Х-хе...

— Гляди-ко, до чего можно дойти!

— Дальше идут. У меня приятель был: тот по ночам все шанец искал.

— Какой шанец?

— Шанс. Он его называл — шанец. Один раз искал, искал, — показалось, кто-то с улицы зовет, шагнул с балкона, и все, не вернулся.

— Разбился?!

— Ну, с девятого этажа — шутка в деле! Он же не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: «Эй!».

— Сердешный... — вздохнула мать.

Дядя Володя посмотрел на Славку...

— Отдохни, Славка. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакум, как говорит наш главный бухгалтер. Тоже пить бросил и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакум заполнить.

Славка посмотрел на мать. Та улыбнулась.

— Ну отдохни, сынок.

Славка с великим удовольствием вылез из-под баяна... Мать опять взгромоздила его на шкаф, накрыла салфеткой.

Дядя Володя расставлял на доске фигуры.

— В шахматы тоже учись, Славка. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли, а ты раз — за шахматы: «Желаете?». К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?

— По родной речи. Трояк.

— Плохо. Литературу надо назубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю: «Е-два, Е-четыре», как сказал гроссмейстер. А ты не знаешь, где это написано. Надо знать. Ну давай.

Славка походил пешкой.

— А зачем говорят-то: «Едва, Ечетыре»? — спросила мать, наблюдая за игрой.

— А шутят, — пояснил дядя Володя. — Шутят так. А люди уж понимают: «Этого голой рукой не возьмешь». У нас в типографии все шутят. Ходи, Славка.

Славка походил пешкой.

— У нас дядя Иван тоже шутит, — сказал он. — Нас вывели на физкультуру, а он говорит: «Вот вам лопаты — тренируйтесь», — Славка засмеялся.

— Как это?

— Он завхозом у нас.

— А-а... Этим шутникам лишь бы на троих сообразить, — недовольно заметил дядя Володя.

Мать и Славка промолчали.

— Не перевариваю этих соображал, — продолжал дядя Володя. — Живут — небо коптят.

— А вот пили-то, — поинтересовалась мать, — жена-то как же?

— Жена-то? — дядя Володя задумался над доской: Славка неожиданно сделал каверзный ход. — Реагировала-то?

— Да. Реагировала-то.

— Отрицательно, как еще. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Вот так, Славка! — дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен. — Из-за этого и горшок об горшок у нас и получился.

— Как это? — не понял Славка.

— Горшок об горшок-то? — дядя Володя снисходительно улыбнулся. — Горшок об горшок — и кто дальше.

Мать засмеялась.

— Еще рюмочку, Владимир Николаич?

— Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения — и будет. Раньше не отказался ба... Ох, пил!.. Спомнить страшно.

— Не думаете сходиться-то? — спросила мать.

— Нет, — твердо сказал дядя Володя. — Дело прынципа: я первый на мировую не пойду.

Славка опять сделал удачный ход.

— Ну, Славка!.. — изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Славку за штанину. Славка протестующе дрыгнул ногой: он тоже вошел в азарт.

— Так, Славка... — дядя Володя думал, сморщившись. — Так... А мы вот так!

Теперь Славка задумался.

— Детей-то проведуете? — расспрашивает мать.

— Проведую, — дядя Володя закурил. — Дети есть дети. Я детей люблю.

— Жалеет счас небось?

— Жена-то? Тайно, конечно, жалеет. У меня счас без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь — тридцать восемь метров, обстановка... Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей — любо глядеть. Домой приходишь — сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь... Хочу еще софу купить.

— Ходите, — сказал Славка.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка заалевший нос.

— Так, Славка... Ты так? А мы — так! Шахович. Софы есть чешские... Раздвижные — превосходные. Отпускные получу, обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу.

— Сколько же шкура станет?

— Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку на восток ездит, закажу ему, привезет.

— А волчья хуже? — спросил Славка.

— Волчья небось твердая, — сказала мать.

— Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Славка.

Дождик перестал, за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

— Завтра хороший день будет, — сказал дядя Володя. — Вот где солнышко село, небо зеленоватое: значит, хороший день будет.

— Зима скоро, — вздохнула мать.

— Это уж как положено. У вас батареи не затопили еще?

— Нет. Пора бы уж.

— С пятнадцатого затопят. Ну пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Мать смотрела на дядю Володю с таким выражением, как будто ждала, что он вот-вот возьмет и скажет что-то не про телевизор, не про софу, не про медвежью шкуру — что-то другое.

Дядя Володя надел фуражку, остановился у порога...

— Ну, до свиданья.

— До свиданья...

— Славка, а кубинский марш не умеешь?

— Нет, — сказал Славка. — Не проходили еще.

— Научись, сильная вещь. На вечера будут приглашать... Ну, до свиданья.

— До свиданья.

Дядя Володя вышел. Через две минуты он шел под окнами — высокий, сутулый, с большим носом. Шел и серьезно смотрел вперед.

— Руль, — с досадой сказала мать, глядя в окно. — Чего ходит?..

— Тоска, — сказал Славка. — Тоже ж один кукует.

Мать вздохнула и пошла в куть готовить ужин.

— Чего ходить тогда? — еще раз сказала она и сердито чиркнула спичкой по коробку. — Нечего и ходить тогда. Правда, что Гусь-Хрустальный.

ВОЛКИ

В воскресенье, рано утром к Ивану Дегтяреву явился тесть, Наум Кречетов, не старый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя; Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана.

— Спишь? — живо заговорил Наум. — Эхха!.. Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспать. Здравствуйте.

— Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь.

— Зря. Вставай-ка... Поедем съездим за дровишкам. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за «здорово живешь», но черт с ним — дров надо.

Иван полежал, подумал... И стал одеваться.

— Вот ведь почему молодежь в город уходит? — заговорил он. — Да потому что там отработал норму — иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. Здесь — как проклятый: ни дня ни ночи. Ни воскресенья.

— Што же, без дров сидеть? — спросила Нюра, жена Ивана. — Ему же коня достали, и он еще недовольный.

— Я слыхал: в городе тоже работать надо, — заметил тесть.

— Надо. Я бы с удовольствием лучше водопровод пошел рыть, траншеи: выложился раз, зато потом без горя — и вода, и отопление.

— С одной стороны, конечно, хорошо — водопровод, с другой — беда: ты ба тогда совсем заспался. Ну, хватит, поехали.

— Завтракать будешь? — спросила жена.

Иван отказался — не хотелось.

— С похмелья? — полюбопытствовал Наум.

— Так точно, ваше благородье!

— Да-а... Вот так. А ты говоришь — водопровод... Ну, поехали.

День был солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой.

Ехать надо было далеко — верст двадцать: ближе рубить не разрешалось.

Наум ехал впереди и все возмущался:

— Черт те чего!.. Из лесу в лес — за дровами.

Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала.

Выехали на просеку, спустились в открытую логовину, стали подыматься в гору. Там, на горе, снова синей стеной вставал лес.

Почти выехали в гору... И тут увидели, недалеко от дороги, — пять штук. Вышли из леса, стоят, ждут. Волки.

Наум остановил коня, негромко, нараспев заматерился:

— Твою в душеньку ма-ать... Голубочки сизые. Выставились.

Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю. Иван задержал вожжами, разворачивая его. Конь храпел, бил ногами — не мог перешагнуть оглоблину.

Волки двинулись с горы.

Наум уже развернулся, крикнул:

— Ну, што ты?!

Иван выскочил из саней, насилу втолкал коня в оглобли... Упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах.

Наум был уже далеко.

— Грабю-ут! — заполошно орал он, нахлестывая коня.

Волки серыми комками податливо катились с горы, наперерез подводам.

— Грабю-ут! — орал Наум.

«Что он, с ума сходит? — невольно подумал Иван. — Кто кого грабит?». Он испугался, но как-то странно: был и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков.

Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой... Уже только метров пятнадцать-двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. Сейчас понял, что волк — это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный окрик человека. Этого, с паленой мордой, могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост.

Иван оглядел сани — ничего, ни малого прутика. Оба топора в санях тестя. Только клок сена под боком да бич в руке.

— Грабю-ут! — кричал Наум.

Ивана охватил настоящий страх.

Передний, очевидно вожак, стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах... Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого, лязгнул зубами, прыгнул в сторону. Сбился с маха... Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого... И снова, вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван приготовился, ждал момента... Хотел еще раз достать вожака. Но тот стал обходить сани дальше. И еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить сани — с другой стороны. Иван стиснул зубы, сморщился... «Конец. Смерть». Глянул вперед.

— Сто-ой! — заорал он. — Отец!.. Дай топор!

Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя волки, и быстро отвернулся.

— Придержи малость, отец!.. Дай топор! Мы отобьемся!..

— Грабю-ут!

— Придержи, мы отобьемся!.. Придержи малость, гад такой!

— Кидай им чево-нибудь! — крикнул Наум.

Вожак поравнялся с лошадью и выбирал момент, чтоб прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко: малейшая задержка, и они с ходу влетят в сани — и конец. Иван кинул клочок сена; волки не обратили на это внимания.

— Отец, сука, придержи, кинь топор!

Наум обернулся.

— Ванька!.. Гляди, кину!..

— Ты придержи!

— Гляди, кидаю! — Наум бросил на обочину дороги топор.

Иван примерился... Прыгнул из саней, схватил топор... Прыгая, он пугнул трех задних волков, они отскочили в сторону, осадили бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовав под собой твердый

наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб... Сани перевернулись: оглобли свернули хомут, он захлестнул коню горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо повдоль.

Три отставших волка бросились тоже к жертве.

В последующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшей лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок, урчали. Вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека...

Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорей на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на волков. Вожак еще раз глянул на него... И взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал что было силы и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором нимало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал. Взмахнул топором и шагнул к нему... Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился.

— Ваша взяла, — сказал он. — Жрите, сволочи, — и пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть. Но не выдержал, глянул... И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге.

— Ну погоди!.. Погоди у меня, змей ползучий. Ведь отбились бы — и конь был бы целый. Шкура.

Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался:

— Живой? Слава те господи! — на совести у него все-таки было неспокойно.

— Живой! — откликнулся Иван. — А ты тоже живой?

Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай зашагнул к саням.

— Ну, что они там?..

— Поклон тебе передают. Шкура!..

— Чего ты? Лаешься-то?..

— Я тебя бить буду, а не лаяться.

Иван подходил к саням. Наум стегнул лошадь.

— Стой! — крикнул Иван и побежал за санями. — Стой, паразит!

Наум нахлестывал коня... Началась другая гонка: человек догонял человека.

— Стой, тебе говорят! — кричал Иван.

— Заполошный! — кричал в ответ Наум. — Чего ты взъелся-то? С ума, что ли, спятил! Я-то при чем здесь?

— Ни при чем?! Мы бы отбились, а ты предал!..

— Да как отбились?! Ты что!

— Предал, змей! Я тебя проучу! Не уйдешь ты от меня, остановись лучше. Одного отметелю — не так будет позорно. А то при людях отлуплю. И расскажу все... Остановись лучше!

— Сейчас — остановился, держи карман! — Наум нахлестывал коня. — Оглоед чертов... откуда ты взялся на нашу голову!

— Послушай доброго совета: остановись! — Иван стал выдыхаться. — Тебе же лучше: отметелю и никому не скажу.

— Тебя, дьявола, голого в родню приняли, а ты же на меня с топором! Стыд-то есть или нету?

— Вот отметелю, потом про стыд поговорим. Остановись! — Иван бежал медленно, уже отстал. И наконец вовсе бросил догонять. Пошел шагом.

— Найду, никуда не денешься! — крикнул он напоследок тестю.

Дома у себя Иван никого не застал: на двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом. Поискал в шкафу... Нашел не допитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю.

В ограде тестя стояла выпряженная лошадь.

— Дома, — удовлетворенно сказал Иван.

Толкнулся в дверь — не заперто. Он ждал, что будет заперто. Иван вошел в избу... Его ждали: в избе сидели тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался.

— Ну что, Иван?

— Та-ак... Сбегал уже? — спросил Иван, глядя на тестя.

— Сбегал, сбегал. Налил шары-то, успел?

— Малость принял для... красноречия, — Иван сел на табуретку.

— Ты чего это, Иван? С ума, что ли, сошел? — поднялась Нюра. — Ты что?

— Хотел папаню твоего поучить... Как надо человеком быть.

— Брось ты, Иван, — заговорил милиционер. — Ну, случилось несчастье, испугались оба... Кто же ждал, что так будет? Стихия.

— Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними...

— Я ж тебе бросил топор? Ты попросил — я бросил. Чево еще-то от меня требовалось?

— Самую малость: чтоб ты человеком был. А ты — шкура. Учить я тебя все равно буду.

— Учитель выискался! Сопля... Гол как сокол, пришел в дом на все на готовенькое да еще грозится. Да еще недовольный всем: водопроводов, видите ли, нету!

— Да не в этом дело, Наум, — сказал милиционер. — При чем тут водопровод?

— В деревне плохо!.. В городе лучше, — продолжал Наум. — А чево приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуждать?

— От сука! — изумился Иван. И встал.

Милиционер тоже встал.

— Бросьте вы! Пошли, Иван...

— Таких возбудителев-то, знаешь, куда девают? — не унимался Наум.

— Знаю! — ответил Иван. — В прорубь головой... — и шагнул к тестю.

Милиционер взял Ивана под руки и повел из избы.

На улице остановились, закурили.

— Ну не паразит ли! — все изумлялся Иван. — И на меня же попер.

—Да брось ты его!

— Нет, отметелить я его должен.

—Ну и заработаешь! Из-за дерьма.

— Куда ты меня счас?

— Пойдем, переночуешь у нас... Остынешь. А то себе хуже сделаешь. Не связывайся.

— Нет, это же... что ж это за человек?

— Нельзя, Иван, нельзя: кулаками ничего не докажешь.

Пошли по улице по направлению к сельской кутузке.

— Там-то не мог? — спросил вдруг милиционер.

— Не догнал! — с досадой сказал Иван. — Не мог догнать.

— Ну вот... Теперь все — теперь нельзя.

— Коня жалко.

— Да...

Замолчали. Долго шли молча.

— Слушай, отпусти ты меня, — Иван остановился. — Ну чего я в воскресенье там буду? Не трону я его.

— Да нет, пойдем. А то потом не оберешься... Тебя жалеючи говорю. Пойдем в шахматишки сыграем... Играешь в шахматы?

Иван сплюнул на снег окурок и полез в карман за другой папироской.

— Играю.

НАЧАЛЬНИК

С утра нахмурилось; пролетел сухой мелкий снег. И стало зловеще тихо. И долго было тихо. Потом началось... С гор сорвался упругий, злой ветер, долина загудела. Лежалый снег поднялся в воздух, сделалось темно.

Двое суток на земле и на небе ревело, выло. Еще не старые, крепкие на вид лесины начинали вдруг с криком клониться и медленно ложились, вывернув рваные корни. В лесу отчаянно скрипело, трещало.

Одиннадцать человек лесорубов с дальней делянки остались без еды. Еще до бурана, объезжая работы, к ним заехал начальник участка, сказал, что машина с продуктами к ним вышла. И начался буран. Начальник остался на делянке.

Двенадцать человек, коротая время, спали, курили, «забивали козла», слонялись из угла в угол. Разговаривали мало. Когда сорвало крышу с избушки, малость поговорили.

— Долго держалась, — сказал начальник, с треском выставляя кость домино на грубо струганный стол из плах.

— Держалась, держалась, держалась, — повторил лесоруб с огромными руками, мучительно раздумывая, какую кость выставить. И тоже так треснул об стол, что весь рядок

глазастых шашек подпрыгнул. Четверо игроков молчком аккуратно восстановили его. Потом задумался третий... Тоже с треском выставил кость и сказал:

— Додержалась!

— Угорела! — сказал четвертый и выставил не думая. — Считайте яйца.

На третьи сутки чуть вроде поослабло.

Начальник надел полушубок, вышел на улицу. Минут десять его не было. Вернулся, выбил из шапки снег, снял полушубок. Все ждали, что он скажет.

— Надо ехать, — сказал начальник. — Кто?

Трактористов было двое: Колька и Петька. Колька глянул на Петьку, Петька — на Кольку. Оба ребята молодые, здоровые.

— Что, стихает?

— Маленько стихает, — начальник посмотрел на Кольку, усмехнулся. — Ну кто?

— Ладно — я, — сказал Колька; один раз Колька, пользуясь переездом, крупно подкалымил на тракторе — перевез сруб и пару дней гулял, а сказал, что стоял с пробитой прокладкой. Большеротый начальник знал это и всякий раз, здороваясь с Колькой, криво улыбался и спрашивал: «Ну, как прокладки?». Колька ждал, что его потянут за тот калым, но его почему-то не тянули.

Колька стал собираться.

Ему советовали:

— От ключа выбивайся на просеку, там счас не так убродно.

— Где, на просеке?

— Но.

— Скажи кому-нибудь. Наоборот, надо от ключа влево...

— Не слушай никого, Колька, ехай, как знаешь.

— Можа, обождать маленько? — предложил Колька и посмотрел на начальника. Тот, нахмурившись, колдовал что-то в своем блокноте.

— Иди сюда, — сказал он. — Смотри: вот ключ, вот просека — поедешь просекой. Доедешь ей до Марушкина лога — вот он, снова повернешь на дорогу, там где-нибудь он стоит. Попробуйте буксировать. Не выйдет, тогда возьмите побольше на трактор... Сала, хлеба. В зеленой канистре, под кулями, спирт — возьмите.

Лесорубы переглянулись. Кто-то хмыкнул.

— Та канистрочка давно уж теперь в кабине, рядом с Митей. Он с ей беседует.

— Похудела канистра, ясно.

— Да-а, Митя... Он, конечно, не только канистру уговорит...

Начальник не слышал этих замечаний.

— Можа, переждать малость? — еще раз предложил Колька. — А?

Начальник захлопнул блокнот, подумал.

— По подсчетам, у него кончилось горючее часов пять назад. Ты будешь ехать часа три... Восемь. Давай. Часов через шесть ждем вас.

Колька шепотом сказал что-то и пошел на улицу. Минут через десять противно застрекотал пускач (пусковой моторчик) его трактора, потом глухо взревел двигатель...

— Поехал, — сказал один лесоруб.

Другие промолчали.

Митька Босых, деревенский вор в прошлом, поэт, трепач и богохульник, ругался в кабине матом. Его занесло вровень с кузовом; пять часов назад сгорела последняя капля горючего.

— Погибаю, пала! — орал Митька. — Кранты!.. В лучшем случае — членовредительство.

Зеленая канистра была с ним в кабине, и она действительно слегка «похудела».

Калина красная,
Калина вызрела;
Я у залеточки
Характер вызнала!..

Митька отхлебнул еще из канистры и закусил салом.

— Жись!.. Как сон, как утренний туман, пала...

Вдруг сквозь вой ветра ему почудился гул трактора. Подумал, что — показалось, прислушался: нет, трактор.

— Ура-а! — заорал Митька и полез из кабины. — Роднуля! Крошечка моя!..

Трактор с трудом пробивался; он то круто полз вверх, то по самый радиатор зарывался в сугроб, и тогда особенно на-

труженно, из последних своих могучих сил ревел, выбираясь, дымил, парил, дрожал, лязгал, упорно лез вперед. Колька был отличный тракторист.

Увидев занесенную машину и Митьку около нее, Колька остановился, оставил трактор на газу, вылез из кабины.

— Припухаешь?!

— А?!

— На!.. Канистра живая?

— А?!

Ветер валил с ног; дул порывами: то срывался с цепей, тогда ничего вокруг не было видно, ровно и страшно ревело и трещало, точно драли огромное плотное полотнище, то вдруг на какое-то время все замирало, сверху, в тишине, мягкой тучей обрушивался снег, поднятый до того в воздух. И снова откуда-то не то сверху, не то снизу ветер начинал набирать разгон и силу...

Обследовали машину: буксировать ее можно только двумя или тремя тракторами. Начали перетаскивать продукты на трактор.

— Канистру уговорил?!

— А што я подыхать должен? Начальник там?

— Там!

— Пусть он про меня в газету пишет, пала... Как я чуть геройски дуба не дал!

— В канистре много осталось?

— А?

— Много тяпнул?!

— Там хватит... — Митька захлебнулся ветром, долго кашлял. — Всем хватит!

Поехали обратно.

Калина красная-а,
Калина вызрела-а! —

запел во все горло Митька; душа его ликовала: не пропал.

Колька терпел, терпел, отдал ему рычаги и занялся канистрой. Отпили немного, смерили проволочкой — сколько осталось. Еще малость отпили.

Доехали, как по горнице босиком прошли: легко и весело.

Их ждали, их давно ждали. Всем скопом кинулись перетаскивать продукты в избушку. Зеленую канистру занес сам

начальник и поставил под нары. Шумно сделалось в тесной избушке.

Хмельной Митька начал куражиться.

— Начальник, заметку в «Трудовую вахту»: «Исключительный поступок Митьки Босых». Я же мог вполне повернуть назад! Мог? Мог... И мне говорили, что не доедешь. Я их послал вдоль по матушке и поехал, пала. Я же вполне мог дуба дать! И вы бы куковали тут...

— Сколько выпили? — спросил начальник у Кольки.

Колька хмурился: хотел казаться трезвым. Ну, если и выпил, то так — самую малость, для согрева.

— Не знаю, — сказал он. — Расплескалось много.

Начальник заглянул в канистру, взболтнул содержимое...

— Полтора литра, — достал блокнот, записал. — С получки вычту.

Всем налили по полстакана спирту. Митьке не налили.

— Хватит, — сказал начальник.

Митька взбунтовался, полез к начальнику:

— Так? Да? Я же чуть не погиб, пала!..

Начальник выпил свою порцию, скривил большой рот, закусил хлебом.

— Большеротик! — горько орал Митька. — Я же привез, а ты...

— Спокойно, Босых. Заметку напишу, а спирту не дам. Ты свое выпил. А то будешь не Босых, а — Косых.

Огромный Митька сгреб начальника за грудки.

— Да я же мог весь выпить!..

Начальник оттолкнул его. Митька снова попер на него с кулаками... Начальник, невысокий, жидкий с виду мужичок, привстал, не размахиваясь, ткнул Митьке куда-то в живот. Митька скорчился и сел на нары. С трудом продыхнул и пожаловался:

— Под ложечку, пала... Ты што?.. Налей хоть грамм семисит?

Все посмотрели на начальника.

— Нет, — сказал тот. — Все. Иди ешь.

— Не буду, — капризно заявил Митька. — Раз ты так — я тоже так: голодовку объявлю, пала.

Засмеялись. Начальник тоже засмеялся. Смеялся он неумело, по-бабьи звонко. Он редко смеялся.

— Хошь, счас всем скажу? — спросил вдруг Митька, угрожающе глядя на начальника. — Хошь?

— Говори, — спокойно сказал тот.

— Нет, сказать?

— Говори.

— А-а... то-то.

— Что «а-а»? Говори, — начальник внимательно, с усмешкой смотрел на Митьку. Ждал.

Все стихли.

Митька не выдержал взгляда начальника, отвернулся...

— Сижу на нарах, стос мечу! — запел он и полез на нары. Еще раз напоследок попытал судьбу: — Пиисят грамм? И — ша! И ни звука. А? Иван Сергеич?

— Нет.

— Все — убито, Бобик сдох. Да ты начальничек, ключик-чайничек!.. — еще пропел Митька и затих, заснул.

— Ну, Митька... Откуда что берется? — заговорили лесорубы.

— Посиди там — научишься.

— Да, там научат.

На начальника посматривали с интересом: что такое знал о нем Митька?

Начальник как ни в чем не бывало с удовольствием жевал сало с хлебом, запивал чаем.

— Нет, я-то ведь тоже чуть дуба не дал! — вспомнил Колька. Он добавил к выпитому дорогой, и его заметно развезло. — Туда ехал, у меня заглохло. Я с час, наверно, возился... Руки поморозил. А оказывается, выхлоп подлючий снегом забило!.. Бензину налил, выжег его... А сам чуть не сгорел: во! — показал прожженный рукав фуфайки. — Плеснул нечаянно, он загорелся...

— Прокладку не пробило? — спросил начальник и опять засмеялся неожиданно высоким женским смехом.

— Когда ты забудешь про эту прокладку? Ты што, всю жись теперь будешь?!

— Нет, — серьезно сказал начальник. — Иди спать. А мы отдохнем малость, жирок на пупке завяжется, и пойдем крышу привяжем. А то се расколотит всю об лесины. Или унесет совсем.

Колька полез к Митьке на нары.

Лесорубы закурили после сытного обеда.

Начальник достал блокнот, устроился за столом, начал писать заметку.

«Самоотверженный поступок шофера Дмитрия Босых и тракториста Николая Егорова».

Написал так, подумал, зачеркнул. Написал иначе:

«Лесорубы спасены!»

Опять зачеркнул. Написал:

«Тов. редактор! У лесорубов на 7 участке еще до бурана кончились все продукты. Им грозила крупная неприятность. И только благодаря умелым действиям шофера Д. Босых и тракториста Н. Егорова продукты на участок были доставлены».

Начальник прочитал, что написал, и остался доволен.

— Иван Сергеич, — спросил один лесоруб, — если не секрет: что такое хотел сказать Митька?

— Митька?.. — начальник криво улыбнулся. — Мы с ним в одном лагере сидели. Он в моей бригаде был.

— Так вы што... тоже?..

— Двенадцать лет. А Митька теперь шантажирует, — начальник снова не сдержался и — в третий раз за этот день — закатился звонким своим искренним смехом. Отсмеялся и сказал убежденно: —Но он ни за что, ни под какой пыткой не сказал бы. Это он спьяну решил малость пошантажировать. Он отличный парень.

— А за что, Иван Сергеич?

— Сидел-то? Сто шестнадцать пополам. Ну, пошли, братцы, найдем крышу-то.

Начальник оделся, взял веревку и первый вышел из избушки в крутой, яростный ад.

Буран снова набирал силу. Он, кажется, зарядил на неделю — февральский.

ГОРЕ

Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит, тихо... Неспокойно на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже —

не думается, что-то другое: чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах, — сердце замирает от необъяснимой, тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей. Они помнятся.

Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь.

Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, упорно, до слез смотрел на луну. Вдруг услышал: кто-то невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего. Это он шел, маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво.

У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена, тихая, безответная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались. Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. Узнали поутру: «Нечаиха-то... гляди-ко, сердешная». Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли — и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур: «Цып-цып-цып...». Ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была — и нету, ушла.

...Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вокруг, и такая теплая, родная земля, и совсем нестрашно на ней.

Я притаился.

Длинная, ниже колен, рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку. Я прислушался.

— Ничо... счас маленько уймусь... мирно побеседуем, — тихо говорил старик и все не мог унять слезы. — Третий день маюсь — не знаю, куда себя деть. Руки опустились... хоть што делай. Вот как!

Помаленьку он успокоился.

— Шибко горько, Парасковья: пошто напоследок-то ничо не сказала? Обиду што ль, затаила какую? Сказала бы — и то легше. А то — думай теперь... Охо-хо... — помолчал. — Ну обмыли тебя, нарядили — все, как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали. Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили. А положили тебя с краешку возле Дадовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там пригляделал. Не знаю вот, што теперь одному-то делать? Может, уж заколотить избенку да к Петьке уехать?.. Опасно: он сам ни-

чо бы, да бабенка-то у его... сама знаешь: и сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то!.. Чего посоветуешь?

Молчание.

Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым терпеливым голосом.

— Вот гадаю, — продолжал дед Нечай, — куда приткнуться? Прям хоть петлю накидывай. А этто вчерашней ночью здремнул маленько, вижу: ты вроде идешь по ограде, яички в сите несешь. Я пригляделся: а это не яички, а цыпляты живые, маленькие ишо. И ты вроде начала их по одному исть. Ешь да ишо прихваливаешь... Страсть господня! Проснулся... Хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя — нету. Парасковьюшка... язви тя в душу!.. — дед Нечай опять заплакал. Громко. Завыл как-то, застонал протяжно: — Э-э-э... у-у... Ушла?.. А не подумала: куда я теперь? Хоть бы сказала: я бы доктора из города привез... вылечиваются люди. А то — ни слова, ни полслова — вытянулась! Так и я сумею... — Нечай высморкался, вытер слезы, вздохнул. — Чижало там, Парасковьюшка? Охота, поди, сюда? Снишься-то. Снись хоть почаще... только нормально. А то цыпляты какие-то... черт-те чего. А тут... — Нечай заговорил шепотом, я половину не расслышал. — Грешным делом, хотел уж... А чего? Бывает, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшкино... стонала. Выкопали, она живая. Эти две ночи ходил, слушал: вроде тихо. А то уж хотел... Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный, а все думают, што помер человек, а он не помер, а сонный...

Тут мне совсем жутко стало. Я ползком-ползком — да из огорода. Прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады.

— Он сам с собой или вроде как с ей разговаривает? — расспрашивал дед.

— С ей. Советуется, как теперь быть...

— Тронется ишо, козел старый. Правда пойдет выкопает. Может, пьяный?

— Нет, он пьяный поет и про бога рассказывает, — я знал это.

Нечай, заслышав наши шаги, замолчал.

— Кто тут? — строго спросил дед.

Нечай долго не отвечал.

— Кто здесь, я спрашиваю?

— А чего тебе?

— Ты, Нечай?

— Но...

Мы подошли. Дедушка Нечай сидел, по-татарски скрестив ноги, смотрел снизу на нас — был очень недоволен.

— А ишо кто тут был?

— Иде?

— Тут... Я слышал, ты с кем-то разговаривал.

— Не твое дело.

— Я вот счас возьму палку хорошую и погоню домой — чтоб бежал и не оглядывался. Старый человек, а с ума сходишь... Не стыдно?

— Я говорю с ей и никому не мешаю.

— С кем говоришь? Нету ее, не с кем говорить! Помер человек — в земле.

— Она разговаривает со мной, я слышу, — упрямился Нечай. — И нечего нам мешать. Ходют тут, подслушивают...

— Ну-ка, пошли, — дед легко поднял Нечая с земли. — Пойдем ко мне, у меня бутылка самогонки есть, счас выпьем — полегчает.

Дедушка Нечай не противился.

— Чижало, кум, силов нету, — он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы. Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал — неслышно, чтоб дед подзатыльника не дал. Жалко было Нечая.

— А кому легко? — успокаивал дед. — Кому же легко родного человека в землю зарывать? Дак если бы все ложились с ими рядом от горя, што было бы? Мне уж теперь сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись и терпи.

— Жалко.

— Конешно, жалко... кто говорит. Но вить ничем теперь не поможешь. Изведешься, и все. И сам ноги протянешь.

— Вроде соображаю, а... запеклось вот здесь все — ничем не размочишь. Уж пробовал — пил: не берет.

— Возьмет, Петька-то чего не приехал? Ну, тем вроде далеко, а этот-то?..

— В командировку уехал. Ох, чижало, кум! Сроду не думал...

— Мы всегда так: живет человек — вроде так и надо. А помрет — жалко. Но с ума от горя сходить — это тоже... дурость.

Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая — умерла. Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню: все так же резко, горько пахло полынью,

Дед оставил Нечая у нас. Они легли на полу, накрылись тулупом.

— Я тебе одну историю расскажу, — негромко стал рассказывать мой дед. — Ты вот не воевал — не знаешь, как там было... Там, брат, похуже дела были. Вот какая история: я санитаром служил, раненых в тыл отвозили. Едем раз. А «студебеккер» наш битком набитый. Стонают, просют потише... А шофер, Миколай Игринев, годок мне, и так уж старается поровней ехать, медлить шибко тоже нельзя: отступаем. Ну, подъезжаем к одному развилку, впереди легковуха. Офицер машет: стой, мол. А у нас приказ строго-настрого: не останавливаться, хоть сам черт с рогами останавливай. Оно правильно: там сколько ишо их, сердешных, лежат, ждут. Да хоть бы наступали, а то отступаем. Ну, проехали. Легковуха обгоняет нас, офицер поперек дороги — с наганом. Делать нечего, остановились. Оказалось, офицер у их чижалораненый, а им надо в другую сторону. Ну, мы с тем офицером, который наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого. Миколай в кабинке сидел: с им там тоже капитан был, совсем тоже плохой, почесть, лежал: Миколай-то одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, какого подсадили-то, часует, бедный. Я голову его на коленки к себе взял, она вся в крове, все позасохло. Подумал ишо тогда: не довезем. А парень молодой, лейтенант, только бриться, наверно, начал. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых... — дед крякнул, помолчал... Закурил. — Миколай тоже стал помогать... Подал я ему лейтенанта-то... «Все, говорю, кончился». А Миколай посмотрел на лейтенанта, в лицо-то... Кхэх... — опять молчание. Долго молчали.

— Неужто сын? — тихо спросил дед Нечай.

— Сын.

— Ох ты, господи!

— Кхм... — мой дед швыркнул носом. Затянулся вчастую раз пять подряд.

— А потом-то што?

— Схоронили... Командир Миколаю отпуск на неделю домой дал. Ездил. А жене не сказал, што сына схоронил. Документы да ордена спрятал, пожил неделю и уехал.

— Пошто не сказал-то?

— Скажи!.. Так хоть какая-то надежда есть — без вести и без вести, а так — совсем. Не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел и не мог.

— Господи, господи, — опять вздохнул дед Нечай. — Сам-то хоть живой остался?

— Микола? Не знаю, нас раскидало потом по разным местам... Вот какая история. Сына!.. — легко сказать. Да молодого такого...

Старики замолчали.

В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет!.. Радость ли, горе ли тут — сияет!

СЛУЧАЙ В РЕСТОРАНЕ

В большом ресторане города Н. сидел маленький старичок с голой опрятной головкой, чистенький, тихий, выглаженный. Сидел и задумчиво смотрел в окно — ждал, когда принесут ужин.

— Свободно, батя? — спросил его сзади могучий голос.

Старичок вздрогнул, поднял голову.

— Пожалуйста, садитесь.

Сел огромный молодой человек в огромном коверкотовом костюме, на пиджаке которого отчаянно блестели новенькие черные пуговицы. Старичок уставился в глаза парню — почему-то в них приятно смотреть: они какие-то ужасно доверчивые,

— Что, батя? — спросил детина. — Врежем?

Старичок вежливо улыбнулся.

— Я, знаете, не пью.

— Чего так?

— Годы... Мое дело к вечеру, сынок.

Подошла официантка, тоже засмотрелась на парня.

— Бутылочку «Столичной» и чего-нибудь закусить, — распорядился молодой человек. — Шашлыки есть?

— Водки только сто грамм.

Детина не понял.

— Как это?

— Положено только сто грамм.

— Вы что?

— Что?

— Мне больше надо.

Старичок, глядя на парня, не вытерпел, засмеялся тихонько.

— Знаете, — сказал он официантке, — мне ведь тоже положено сто граммов? Так принесите ему двести.

— Не положено. Шашлык... Что еще?

Детина беспомощно посмотрел на старичка.

— Что это?.. Она шутит, что ли?

Старичок посерьезнел, обратился к официантке:

— Вы ведь знаете: правил без исключения не бывает. Видите, какой он... Что ему сто граммов?

— Нельзя, — спокойно сказала официантка и опять с удовольствием, весело посмотрела на парня. — Что еще?

Тот понял ее веселый взгляд по-своему.

— Ну, хоть триста, красавица, — попросил он. — М-м? — и кокетливо шевельнул могучим плечом.

— Нельзя. Что еще?

Детина обиделся.

— Сто бутылок лимонада.

Официантка захлопнула блокнотик.

— Подумайте, потом позовете, — и отошла от стола.

— Выпил, называется, — горько сказал детина, глядя вслед ей. — Тц...

— Бюрократизм, он, знаете, разъедает не только учреждения, — сочувственно заговорил старичок. — Вот здесь, — он постучал маленьким белым пальчиком по белой скатерти, — здесь он проявляется в наиболее уродливой форме. Если вас не принял какой-то начальник, вы еще можете подумать, что он занят...

— Что же все-таки делать-то? — спросил детина.

— Возьмите коньяк. Коньяк без нормы.

— Да?

— Да.

Парень поманил официантку. Та подошла.

— Я передумал, — сказал он. — Дайте бутылку коньяка и два... Батя, шашлык будешь?

Старичок качнул головой.

— Я уже заказал себе.

— Два шашлыка, пару салатов каких-нибудь и курицу в табаке.

— Табака, — поправила официантка, записывая.

— Я знаю, — сказал детина. — Я же шучу.

— Все?

— Да.

Официантка ушла.

Детина укоризненно покачал головой.

— На самом деле бюрократы. Ведь коньяк-то крепче. Они что, не знают, что ли?

— Коньяк дороже, в этом все дело, — пояснил старичок. — Вы, очевидно, приезжий?

— Но. За запчастями приехал. Седня получил — надо же выпить.

— Сибиряк?

— С Урала.

— Похожи... — старичок улыбнулся. — Когда-то бывал в Сибири, видел...

— Где?

— Во Владивостоке.

— А-а. Не доводилось там бывать.

Тут заиграла музыка. Детина посмотрел на оркестрантов. К микрофону подошла девушка, обтянутая сверкающим платьем, улыбнулась в зал... Детина спокойно отвернулся — ему такие не нравились. Девушка запела, да таким неожиданно низким, густым голосом, что детина снова посмотрел на нее. Девушка пела про «хорошего, не встреченного» еще. Удивительно пела: как будто рассказывала, а получалось — пела. И в такт музыке качала бедрами. Детина засмотрелся на нее...

Наплывали тягучие запахи кухни; гомон ресторанный покрывала музыка и песня девушки. Уютно и хорошо стало в большом зале с фикусами.

Парню все больше и больше нравилась девушка. Он посмотрел на старичка. Тот сидел спиной к оркестру... Вобрал голову в плечи и смотрел угасшими глазами в стол. Рот приоткрыт, нижняя губа отвисла.

— Пришла, — тихо сказал он, когда почувствовал на себе взгляд парня. И усмехнулся, точно оправдывался, что на него так сильно действует песня.

А девушка все пела, улыбалась... В улыбке се сквозило что-то не совсем хорошее. И все-таки она была красивая и очень смелая.

Детина обхватил голову громадными лапами и смотрел на нее.

— От зараза! — сказал он, когда девушка кончила петь.— А?

— У меня не такая уж большая пенсия, — доверчиво заговорил старичок, — и я ее, знаете, всю просиживаю в этом ресторане — слушаю, как она поет. Вам тоже нравится?

— Да.

— И обратите внимание: она же совсем еще ребенок. Хоть накрашена, хоть, знаете, этакая синевца под глазами и улыбаться научилась, а все равно ребенок. Меня иной раз слеза прошибает.

— Она еще петь будет?

— До без четверти одиннадцать.

Принесли коньяк, шашлык, салаты. Старичку принесли рисовую кашу.

— Выпьешь, батя? — предложил парень.

Старичок посмотрел на бутылку, подумал, махнул рукой и сказал:

— Наливайте! Граммов двадцать пять.

Детина улыбнулся, налил в синюю рюмку — половину, себе набухал в фужер и сразу, не раздумывая, выпил.

— Боже мой! — воскликнул старичок.

— Что?

— Здорово вы...

— Между прочим, я его не уважаю — вонючий.

— Завидую я вам... Вы кто по профессии?

— Бригадир. Лесоруб.

— Завидую вам, черт возьми! Прилетаете сюда, как орлы... Из какой-то большой жизни, и вам тесно здесь... Тесно, я чувствую.

Детина ел шашлык, слушал.

— Пей, батя.

Старичок выпил, крякнул и заторопился закусывать.

— Давно не пил, года три.

— Вы что, одинокий, что ли?

— Одинокий, — старичок кивнул головой.

— Плохо.

— Ничего... Я как-то не думаю об этом. Мне вот она, — кивнул он в сторону оркестра, где только что пела девушка, — дочерью, знаете, кажется. Люблю ее, как дочь. И ужасно боюсь за ее судьбу.

— Она знает тебя?

— Нет, откуда?

— Хорошо поет. Я не люблю, когда визжат.

— Да, да...

Детина отклонился от стола, гулко стукнул ладонью себя в грудь. Шумно вздохнул.

— Добрый шашлычишко.

— Вы — какие-то хозяева жизни. Я не умел так, — грустно сказал старичок.

Оркестранты опять взялись за инструменты.

Опять вышла девушка, поправила микрофон.

Детина закурил.

— Пришла, — показал он глазами на нее.

Старичок обернулся, мельком глянул на девушку.

— Я не вижу. А в очках смотреть... как-то не могу, не люблю. Редко смотрю.

Девушка запела. Песенка была о том, как она влюбилась в молчаливого парня, мучилась с ним, но любила.

Детина слушал, задумчиво улыбался. Старичок опять ушел в себя, опять потух его взор и отвисла губа.

Девушка шутила, рассказывала, как она любила такого вот идиота, который умел произносить только «ага» и «ого». Хорошая песенка, озорная. Казалось, девушка про себя рассказывает — так просто у нее получалось. И оттого, что она рассказывала это всем, не боялась, казалась она такой родной, милой...

Детина ощутил в груди странную, горячую радость. Жизнь со всеми своими заботами и делами отодвинулась далеко-далеко. Остались только звуки ее, песня. Можно было шагать в пустоте, делая огромные шаги, так легко сделалось.

— Давай еще, батя! — парень налил старичку и себе.

Старичок покорно выпил, закрутил головой и сказал:

— Это что же такое будет со мной?

— Ничего не будет. Мне тоже что-то жалко ее, — признался парень. — Поет тут пьяным харям.

— О!.. — старичок нацелился на него белым пальчиком. — Женись на ней! И увези куда-нибудь. В Сибирь. Ты же можешь... Ты вон какой!..

— Во-первых, я женатый, — возразил детина. — А потом: разве ж она поедет в Сибирь? Ты подумай...

— С тобой поехала бы.

— Едва ли.

Старичка заметно развезло. Он вытер рот, бросил скомканный платок на стол, заговорил горячо и поучительно:

— Никогда не надо так рассуждать: поехала, не поехала. Увидел, человек нуждается в помощи, — бери и помогай. Не спрашивай. Тем более бог ничем, кажется не обидел — ты же сильный!

— Я женатый! — опять возразил детина. — Ты что?

— Я не о том. Я о тенденции... Налей-ка мне еще. Что-то мне сегодня ужасно хорошо.

Детина налил в синюю рюмку. И себе тоже налил в фужер.

— Ты мне напомнил одного хорошего человека, — стал рассказывать старичок. — Ты кричишь здорово?

— Как кричишь?

— Ну-ка рявкни, — попросил старичок.

— Зачем?

— Я послушаю. Рявкни.

— Нас же выведут отсюда.

— Та-а... Плевать! Рявкни по-медвежьи, я прошу.

Детина поставил фужер, набрал воздуху и рявкнул.

Танцующие остановились, со всех столиков обернулись к ним.

Старичок влюбленно смотрел на парня.

— Хорошо. Был у меня товарищ, тоже учитель рисования... Ростом выше тебя... Ах, как он ревел! Потом он стал тигроловом. Ты знаешь, как тигров ловят? На них рявкают, они от неожиданности садятся на задние лапы...

Вышла певица и запела какую-то незнакомую песню. Детина не разбирал слов, да и не хотел разбирать. Опять облапил голову и сидел, слушал.

— Давай увезем ее? — предложил он старичку — Она у нас в клубе петь будет.

— Давай, — согласился старичок. — У меня душа спокойнее будет. Давай, Ваня!

— Меня Семеном зовут.

— Все равно. Давай, сынок, спасем человека!

Детина слушал старичка, и у него увлажнились глаза. Пудовые кулаки его сами собой сжимались на столе.

— Ты тоже поедешь со мной, — заявил он.

— Я? Поеду! — старичок пристукнул сухим кулачком по столу. — Мы из нее певицу сделаем! Я понимаю в этом толк.

К ним подошла официантка.

— Товарищи, что тут у вас? Кричите... Вы же не в лесу, верно?

— Спокойно, — сказал детина. — Мы все понимаем.

— С вас получить можно? — обратилась официантка к старичку.

— Спокойно, — сказал старичок. — Продолжайте заниматься своим делом.

Официантка удивленно посмотрела на него и ушла.

— Я всю жизнь хотел быть сильным и помогать людям, но у меня не получилось — я слаб.

— Ничего, — сказал детина. — Ты видишь? — показал кулак. — Со мной не пропадешь: с ходу любого укокошу.

— Ах, как я бездарно прожил, Ваня! Как жалко... Я даже не любил — боялся любить, ей-богу.

— Почему?

Старичок не слушал детину, говорил сам.

— А была вот такая же и тоже пела... Ужасно пела! И я так же сидел и слушал. Ее тоже надо было спасти. Там были офицеры... Это давно было. Красавцы!.. Тьфу! — старичок затряс головкой. — Лучше бы я ошибался, лучше бы пил, — может, смелее был бы. Я же ни разу в жизни не ошибся, Ваня! — он стукнул себя в грудь, помигал подслеповатыми глазами. — Ни одной штуки за всю жизнь не выкинул. Ты можешь поверить?

— А что тут плохого?

— Ни одного проступка — это отвратительно. Это ужасно! Когда меня жалели, мне казалось — любят, когда сам любил — я рассуждал и боялся.

— Лишка выпил, батя, — сказал парень. — Закусывай.

— Ты не понимаешь — это хорошо. Не надо понимать такие вещи.

— В Сибирь-то поедем?

— Поедем. Я допью это?

— Пей, — разрешил детина.

Старичок допил коньяк, трахнул рюмку об пол. Она со звоном разлетелась. А сам лег грудью на стол и заплакал.

К их столику шли официантка и швейцар. Детина, прищурившись, спокойно смотрел на них. Он был готов защищать старичка. Ему даже хотелось, чтобы его нужно было защищать.

— В чем дело?

— В шляпе. Мы едем в Сибирь, — угрожающе сказал детина.

— Хорошо. А зачем же хулиганить?

— Мы не хулиганим, мы слушаем, как здесь поют.

— Она же бездарно поет, Ваня! Это ужасно, как она поет, — сказал старичок сквозь слезы. — Ты рявкаешь лучше. Талантливее. Она же не умеет петь. Но не в этом дело. Совсем не в этом...

— Кто будет платить за рюмку?

— Я, — ответил детина, с изумлением глядя на старичка. — Я плачу за все.

Пока официантка рассчитывалась с парнем, старичок, уронив на руки полированную головку, плакал тихонько. И бормотал:

— Ах, Ваня, Ваня... зверь ты мой милый... Как рявкнул! Орел!.. Улетим в тайгу. Улетим... В Сибирь!

— Кто это, не знаете? — тихонько спросила официантка.

— Это... — парень подумал. — Это крупный интеллигент. Он сейчас на пенсии.

Официантка с жалостью посмотрела на старичка.

— Он часто здесь бывает, но никогда не пил. А сегодня чего-то... Уведите его, а то попадет куда-нибудь.

Детина ничего не сказал на это, встал, взял старичка под руку и повел. Старичок не сопротивлялся, только спросил:

— Куда, Ваня?

— Ко мне в номер. А завтра в Сибирь.

Дежурная по этажу заартачилась, не пускала в номер со старичком. Детина держал старичка; повернулся к ней боком и сказал:

— Достаньте в брюках, в кармане, деньги. Берите сколько надо, только не вякайте.

Дежурная глубоко возмутилась, отдала ключ, но предупредила:

— Завтра же вас здесь не будет!

— Завтра мы в Сибирь уезжаем.

— В Сибирь, Ваня!.. Я хоть помру по-человечески, — бормотал старичок. — Знаешь, не надо ключом — дай ногой разок, — попросил он. — Умоляю: садани хорошенько. Мы потом заплатим.

— Спокойно, — гудел детина. — Спокойно, батя. Вот раздухарился-то!.. Указ же вышел — нам с ходу счас по пятнадцать суток заделают.

— Не бойся!

Детина отомкнул номер и бережно положил старичка на кровать, снял с него туфли, хотел было снять пиджак, но старичок почему-то запротестовал.

— Не надо, я так. Не жалею, не зову не плачу...

— Ладно, — согласился парень. — Спи, — выключил свет и лег на диван.

— В Сибирь, Ваня? — спросил старичок.

— Завтра. А сегодня спать надо.

— Спим. Ах, Ваня, Ваня...

— Спи, батя.

...Утром детина нашел на столе записку.

«Ваня, я не могу с тобой в Сибирь. Спасибо за все. Прощай».

Старичка нигде не было. Сказали: ушел рано утром.

ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

В село Красный Яр из города (из городского Дома моделей) приехала группа молодых людей. Демонстрировать моды.

Было начало лета. По сельской улице пропылил красный автобус, остановился возле клуба, и из него стали выходить

яркие девушки и молодые парни с музыкальными инструментами.

Около автобуса уже крутился завклубом Николай Дегтярев, большой прохиндей и лодырь. Встретил. И повел устраивать молодых людей по квартирам.

На щите у клуба — ДК, как его упорно называл Дегтярев, — появилось объявление:

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Сегодня в ДК будет произведена демонстрация
молодежи мод весенне-летнего сезона.
Нач. в 9 час. Потом кинофильм.
Плата за демонстрацию не берется.

Народу в клуб пришло много. Большинство — молодежь, девушки. Дегтярев «толкнул» речь.

— В наш век, — сказал он, — в век потрясающих по своему восхищению достижений, мы, товарищи, должны одеваться! А ведь не секрет, товарищи, что мы еще иногда пускаем это дело на самотек. И вот сегодня сотрудники городского Дома моделей продемонстрируют перед вами ряд достижений в области легкой промышленности.

Закончил Дегтярев так:

— И если когда-то отдельные остряки с недоверием говорили: «Русь, культуришь?», то сегодня мы смело можем сказать: «Да, товарищи, мы за высокую культуру села!».

Потом на сцену вышли парни с инструментами, стали полукругом и заиграли что-то веселое, легкое. На сцену вышла девушка, одетая в красивое, отливающее серебром белое платье... Прошлась легкой поступью, повернулась, улыбнулась в зал и еще прошлась.

— Это вечернее строгое платье, — стала объяснять пожилая неинтересная женщина, которую сперва никто не заметил на сцене. — Фасон его довольно простой, но, как видите, платье производит впечатление.

Девушка в платье все ходила и ходила, поворачивалась, улыбалась в зал. Музыканты играли, Особенно старался ударник: подкидывал палочки, пристукивал ногой. Аккордеонист тоже пристукивал ногой. И гитарист тоже пристукивал ногой.

Девушка в серебристом платье ушла. Тотчас на сцену вышла другая — в другом платье. Это была совсем еще моло-

денькая, стройненькая, с красными губками. Она тоже прошлась по сцене мелкими шажками, повернулась... Да с таким изяществом повернулась, что в зале одобрительно загудели.

— Это платье на каждый день. Оно очень удобно и недорогое. Его можно надеть и вечером...

Братья Винокуровы сидели в первом ряду и все хорошо видели.

Иван, старший, сидел, облокотившись на спинку стула, и поначалу снисходительно смотрел на сцену. Но все веселее играли музыканты, выходили другие девушки, в других платьях, улыбались... Иван сел прямо.

Младший, Сергей, как сел, так ни разу не шевельнулся — смотрел на девушек.

Вышла полненькая, беленькая девушка в синем простеньком платьице. Стала ходить.

— Это платье удобно для купания. Оно легко снимается...

Полненькая девушка остановилась как раз против братьев и стала расстегивать платье. Иван толкнул коленом Сергея; тот не шевельнулся.

Девушка сняла платье, осталась в одном купальнике и так прошлась по сцене.

В зале стало тихо.

Девушка улыбнулась и стала надевать платье. Надела и ушла.

Завклубом (он сидел в первом ряду, у прохода) обернулся и строго посмотрел на всех. Отвернулся, подумал немного и захлопал. Его поддержали, но неуверенно: многие считали, что аплодисменты тут ни к чему.

Потом выходили молодые люди в костюмах, тоже прохаживались и улыбались...

Потом было кино.

Когда вышли из клуба, Иван стал обсуждать манекенщиц.

— Вообще я тебе так скажу: ничего в них хорошего нету, — заявил он. Иван жил в городе, и когда приезжал в отпуск в деревню, смотрел на все свысока, судил обо всем легко и скоро — вообще делал вид, что он отвык от деревни. — У них же внешность одна, а нутра на пятак нету.

— Брось, — недовольно заметил Сергей. Он не любил, когда брат начинал умничать. — Сам сейчас мечтать будешь...

— Я?

— Ты, кто же.

— Во-первых, они не в моем вкусе — худые, — сказал Иван. — А главное, у них внутреннего содержания нету.

— А на кой черт мне ихнее содержание? — спросил Сергей.

— Здорово живешь! — удивился старший. — Серьга, ты какой-то... Ты что?

— Ну что?

— Содержание — это все! — убежденно сказал Иван. — Женщина без внутреннего содержания — это ж... я не знаю... кошмар!..

— Пошел ты, — отмахнулся Сергей.

Дома Винокуровых ждал сюрприз: к ним определили на квартиру двух девушек-манекенщиц. Сказал им об этом отец, Кузьма Винокуров. Кузьма сидел на крыльце, курил.

— К нам двух девах на фатеру поставили, — сказал он. — До завтрева.

Братья переглянулись.

— Которые в клуб приехали? Из города? — спросил Иван.

— Но.

— Ничего себе!.. — Иван даже слегка растерялся. — А где они сейчас?

— В горнице.

Сергей сел на приступку крыльца, закурил.

— Пойдем к ним, Серьга? — предложил Иван.

Сергей промолчал.

— А?

— Зачем?

— Так... Пойдем?

— Постучитесь сперва — они там переодеваются, однако, — предупредил отец. — А то вломитесь.

Сергей погасил окурок, поднялся.

— А что скажем?

— Добрый вечер, мол... Вообще, потрепемся.

Сергей вошел в дом, в прихожую избу, нашел в сундуке новую рубаху, надел.

— Ты только... это... не шибко там, — посоветовал он брату

Иван снисходительно поморщился.

— Спокойно, Сережа, — не таких видели.

Сергей кивнул на горничную дверь.

— Ну...

Иван постучал.

— Да! — сказали в горнице.

Братья вошли.

— Добрый вечер! — громко сказал Иван, не успев оглядеться. И остановился в дверях. Сергей оказался в дурацком положении: ему и пройти вперед нельзя — Иван загородил дорогу, — и назад поворачивать неловко — показался уже. Он тоже негромко сказал «добрый вечер» и ткнул кулаком Ивана в спину. Иван не двигался.

Девушки ответили на приветствие и вопросительно смотрели на парней.

— Мы здесь живем, — счел нужным пояснить Иван.

— Да? Ну и что?.. Мы не стеснили вас?

— Вы что! — воскликнул Иван и двинулся вперед.

Сергей пошел за ним. Он чувствовал себя скверно — стыдно было.

Одна девушка, та самая, что ходила по сцене в купальнике, причесывалась перед зеркалом, другая сидела у стола, теребила от нечего делать длинными тонкими пальцами скатерть.

— Ну, как вы здесь? Ничего? — спросил Иван.

— Что? — девушка, которая причесывалась, повернулась к нему и улыбнулась.

— Устроились-то ничего, мол?

— Ничего, хорошо.

Иван тоже улыбнулся, присел на скамейку. Сергей постоял немного и тоже присел.

Иван не знал, что еще говорить, улыбался. Сергей тоже усмехнулся. Вынул из кармана складной нож, раскрыл его и стал пробовать лезвие большим пальцем — как проверяют: острый или нет.

Девушка с длинными тонкими пальцами громко засмеялась.

— Вы что, резать нас пришли? — спросила она.

Иван подхихикнул ей и тоже посмотрел на брата.

Сергей покраснел, вытер лезвие ножа о штанину.

— Можно и зарезать, — брякнул он и покраснел еще больше.

— У нас на днях, между прочим, одного зарезали, — сказал Иван. — С нашей шахты парень был... Идет по улице, а он подошел и сунул ему вот сюда. Тот согнулся. А он говорит: «Ты чего согнулся-то? Выпрямись». А ему же больно...

— Я что-то не поняла: кто кому говорит? — спросила девушка, которая ходила «на демонстрации» в купальнике; она кончила причесываться, тоже села к столу и смотрела на братьев весело.

Иван понял, что заговорил не так — не о том.

— Да тот, который ширнул ножом-то, — неохотно пояснил он.

Сергей незаметно сунул нож в карман, с тоской поглядел на брата.

«Заборонил», — подумал он о нем.

— А вы на шахте работаете? — спросила Ивана длинная тонкая девушка.

— Да.

— Прямо там, под землей?

Иван улыбнулся.

— А где же еще?

— Трудно, да?

— Нет. Первые месяц-два... Потом привыкаешь, В ночь, правда, трудно. Ну, и трудно, кто курит: курить-то нельзя.

— А там нельзя курить, да?

— Конечно! Там же газы. Я малость помучился, потом бросил.

— Что бросили? Курить?

— Но.

Разговор никак не налаживался. Полненькая девушка откровенно заскучала. Зевнула, прикрыв крошечной ладошкой рот. Посмотрела на часы.

— Что-то долго они не идут, — сказала она подруге.

Та тоже посмотрела на часы.

— Сейчас придут.

Сергей глядел на маленькую девушку; она тоже взглянула на него. Сергей опустил глаза и нахмурился.

— А вы тоже на шахте работаете? — спросила его девушка.

Сергей отрицательно качнул головой.

— Он шоферит, — сказал Иван и посмотрел на брата, как смотрят на младших братьев старшие — слегка как бы извиняясь за их глупость, но вместе с тем ласково. — Вон его «кобыла» стоит в ограде-то.

— А-а.

— А вы что, ждете кого-то? — спросил Сергей.

— Ребята наши хотели прийти, — ответила тонкая длинная.

— А-а, — Иван понимающе кивнул головой. — Хорошее дело.

— Я, между прочим, один фокус знаю, — сказал вдруг Сергей и посмотрел в упор на маленькую полненькую.

Девушки переглянулись.

— Да? — сказала маленькая. — Какой?

— Берется нормальный носовой платок... — Сергей поискал в кармане платок, не нашел, спросил у брата. Тот тоже поискал и тоже не нашел.

— Нету.

Маленькая девушка прыснула в ладошку.

Сергей посмотрел на нее, улыбнулся доброй своей, застенчивой улыбкой, сказал просто:

— Сейчас принесу.

Сходил в прихожую, принес платок, разложил его на своей широкой ладони.

— Так?

— Ну и что? — спросил Иван.

— Ничего нету?

Девушки тоже заинтересовались.

— Ничего. А что будет?

— Спокойствие! — Сергей осмелел. — Берем обыкновенную спичку, кладем вот сюда... так? — положил спичку в платок. — Заметили?

— Ну.

— Сворачиваем платок... — Сергей с подчеркнутой аккуратностью свернул платок — уголками в середину, — дал всем потрогать спичку через платок. — Тут спичка?

— Тут, — сказала маленькая девушка (Сергей дал ей первой потрогать).

— Здесь, — сказала тонкая девушка.

— Тут, — сказал Иван и посмотрел на брата с удивлением: он не ожидал от него такой прыти.

— Теперь ломайте ее! — велел Сергей. И дал ломать маленькой девушке. Та сломала спичку в платке, Сергей радостно смотрел на нее, улыбался.

— Сломали?

— Да.

— Ну-ка, я проверю! — потребовал Иван.

— Пожалуйста.

Иван проверил.

— Сломана?

— Сломана.

Сергей развернул платок — спичка была целехонька. Все удивились. А Сергей тихонько засмеялся.

— Ну-ка еще раз! Еще раз! — попросила полненькая девушка капризным голоском, как ребенок. Сергей смотрел на нее и улыбался.

— Еще раз? Можно еще раз.

Сергей вышел в прихожую избы, пробыл там минуты две и вошел.

— Ты чего там делал? — подозрительно спросил Иван.

— Прикуривал.

— Давайте ломать! — потребовала маленькая девушка.

Опять завернули спичку, ломали ее в платке втроем, и опять, когда Сергей развернул платок, спичка была целая. Полненькая девушка взвизгнула и захлопала в ладоши.

— Ой, как это? Ой, расскажите!..

В это время в горницу постучали.

— Наши! — радостно воскликнула длинная тонкая девушка. — Да!

Вошли молодые ребята, двое. С гитарой. И сразу забыт был фокус со спичкой, и забыты были братья Винокуровы. Один из пришедших сказал, что слышал сейчас на улице такую песню:

Ой, милка моя,
Шевелилка моя;
Сама ходит шевелит,
Мне пощщупать не велит.

Парень пропел частушку «по-деревенски».

Городские засмеялись. Иван тоже засмеялся — умничал.

Сергей встал и сказал:

— До свиданья. Пойду машину гляну — чево-то стрелять начала.

Вышел во двор, сел на дровосеку, закурил.

Из окон горницы слышался смех, гитарный перебор — там было весело. Сергею понравились эти красивые, беззаботные люди. Самому до боли захотелось быть красивым и веселым. Но он не умел.

По двору прошел отец — лазил в погреб за огурцами.

— Ты чего? — спросил он сына.

— Ничего.

— А Ванька где?

— Там, — Сергей кивнул на окно горницы.

— Выпить маленько хошь?

— Не.

Отец торопливо зашагал в дом — там его ждал кум.

Сергей докурил папиросу, встал... Спать не хотелось. Тревожило веселье в горнице. Он представил, как смеется маленькая полненькая девушка — прикроет беленькой ладошкой рот, только глазенки блестят... Он взял колун и начал колоть толстые чурки. Развалил три штуки, бросил колун, пошел на сеновал, лег. Прямо в новой рубахе. Полежал немного, осторожно закурил... И все думал о маленькой полненькой девушке.

Пришел Иван, сел рядом.

— Ну что? — спросил Сергей.

— Та-а... ерунда, — ответил Иван. —Я ж те говорил: одна внешность.

Сергей отвернулся к дощатой стене сарая.

— А чего ты ушел?

— Та-а...

— Хэх!..

Замолчали. Иван посидел немного, посвистел задумчиво и ушел спать в дом.

А из окон горницы все слышался смех.

Утром Сергей поднялся чуть свет. Походил бесцельно по двору, заглянул в открытое окно горницы...

Полненькая девушка спала, раскинув по подушке белые полненькие руки. Ротик приоткрыт, к нижней губе пристала пушинка от подушки; когда девушка выдыхала, пушинка становилась «на дыбки» и смешно дрожала.

«Как ребенок», — подумал с нежностью Сергей. Он долго еще смотрел на спящую девушку. Потом взял из кабины блокнот, вырвал чистый лист и написал:

«Это жа ерунда: спичку надо заране спрятать в каемычку платочка, а потом, когда сворачиваешь, подсунуть ее, чтобы человек ломал ее. И пусть он ее ломает, сколько влезет, — другая-то спичка целая! Покажи кому-нибудь. Сергей».

Свернул бумажку, положил на подоконник и сверху еще положил камешек — чтобы ветром не сдуло.

Потом завел машину и поехал.

На улицах было еще пусто; над крышами домов вставало солнце.

«Шляпу, что ли, купить, ядрена мать!» — подумал Сергей.

ДУМЫ

И вот так каждую ночь!

Как только маленько угомонится село, уснут люди — он начинает... Заводится, паразит, с конца села и идет. Идет и играет.

А гармонь у него какая-то особенная — орет. Не голосит — орет.

Нинке Кречетовой советовали:

— Да выходи ты скорей за него! Он же, черт, житья нам не даст.

Нинка загадочно усмехалась:

— А вы не слухайте. Вы спите.

— Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает. Ведь не идет же, черт блажной, к реке, а здесь старается! Как нарочно.

Сам Колька Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазами и заявлял:

— Имею право. За это никакой статьи нет.

Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулка

и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно.

Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и говорил:

— Все: завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.

Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только, когда встречал днем Кольку, спрашивал:

— Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будишь, звонарь!

— Имею право, — опять говорил Колька.

— Я вот те покажу право! Я те найду право!

И все. И на этом разговор заканчивался.

Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал:

— Завтра исключу.

И потом долго сидел после этого, думал... Гармонь уже уходила в улицу, и уж ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал.

— Хватит смолить-то! — ворчала сонная Алена, хозяйка.

— Спи, — кратко говорил Матвей.

О чем думалось? Да так как-то... ни о чем. Вспоминалась жизнь. Но ничего определенного, смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь. Она была черная, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе километрах в пятнадцати от деревни, в кучугурах. И вот ночью Кузьма захрипел: днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него «завалило» горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку (самого шустрого меринка) и гнать в деревню за молоком.

— Я тут пока огонь разведу... Привезешь, скипятим — надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас, — говорил отец.

Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот... Теперь уж Матвею скоро ше-

стьдесят, а тогда лет двенадцать-тринадцать было — все помнится та ночь. Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку, кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет — как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской — только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле... Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости.

...Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его:

— Ну, сынок... ты чо же это? Обожди маленько. Обожди маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, миленький... Вон Мотька молочка привез!..

А маленький Кузьма задыхался уж, посинел.

Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый иссиня-белый чужой мальчик.

...Только странно: почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события? Эту ночь? Ведь потом была целая жизнь: женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло! Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать: сказали, надо идти в колхоз, — пошел, пришла пора жениться — женился, рожали с Аленой детей, они вырастали... Пришла война — пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали: «Становись, Матвей, председателем. Больше некому». Стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли, так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была только на уме работа, работа, работа. И на войне тоже — работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, напри-

мер, слышал вокруг себя — «любовь», он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь, он сам, наверно, любил когда-то Алену (она была красивая в девках), но чтоб сказать, что он что-нибудь знает про это больше, — нет. Он и других подозревал, что притворяются: песни поют про любовь, страдают, слышал даже — стреляются... Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей: надо говорить про любовь — ну давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка — здоровая, гладкая. А время подперло жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, «тальянит». А чего не походить? Молодой, силенка играет в душе... И всегда так было. Хорошо еще, что не дерутся теперь из-за девок, раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так — кулаки чесались, и силенка опять же была. Надо же ее куда-нибудь девать.

Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел, толкнул жену:

— Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу...

— Чего ты? — удивилась Алена.

— У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь. Неважно.

Алена долго лежала, изумленная.

— Ты никак выпил?

— Да нет!.. Ты любила меня или так... по привычке вышла? Я сурьезно спрашиваю.

Алена поняла, что муж не «хлебнувши», но опять долго молчала — она тоже не знала, забыла.

— Чего это тебе такие мысли в голову полезли?

— Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня... как-то... заворошилось. Вроде хвори чего-то.

— Любила, конечно! — убежденно сказала Алена. — Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь спомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?

— Пошла ты! — обиделся Матвей. — Спи.

— Коровенку выгони завтра в стадо, я совсем забыла сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.

— Куда? — насторожился Матвей.

— Да не на покосы на твои, не пужайся.

— Поймаю — штраф по десять рублей.

— Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным-красно. Выгони коровенку-то.

— Ладно.

Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомнись теперь?

«Дурею, наверно, — грустно думал Матвей. — К старости все дуреют».

А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей «гармозой». Как его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку: «Телка гладкая!.. Рази ж она так скоро отпустит!»

И сидел и поджидал. Курил.

И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь — желанная. Без нее чего-то не хватает.

Еще вспоминались какие-то утра... Идешь по траве босиком. Она вся бусая от росы. И только след остается — ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зябко ногам, как вспомнишь.

А то вдруг про смерть подумается: что скоро — все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилку и зароют. Вот трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить — оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь... Этого никак не понять. Ну, лет десять-пятнадцать будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом — все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в празднички — ничего, весело бывало и... Нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя больше не будет... Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?

«Тьфу!.. Нет, старею».

Даже устал от таких дум.

— Слышь-ка!.. Проснись, — будил Матвей жену. — Ты смерти страшишся?

— Рехнулся мужик! — ворчала Алена. — Кто ее не страшится, косую?

— А я не страшусь.

— Ну дак и спи. Чего думать-то про это?

— Спи, ну тя!..

Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет — тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко.

А в одну ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел, курил... А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.

К свету Матвей разбудил жену.

— Чего эт звонаря-то нашего не слышно?

— Да женился уж! В воскресенье свадьбу намечают.

Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы... Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой, Филя-кузнец, гуляет. Теперь еще на свадьбу зальется, считай, неделя улетела.

«Завтра поговорить надо с Филей».

...Встретив на другой день Кольку губастого, Матвей усмехнулся:

— Что, брат, доигрался?

Колька заулыбался... А улыбка у него — от уха до уха.

— Все, Матвей Иваныч, больше не буду будить вас по ночам. Конец. Бросил якорь.

— Ну-ну, — сказал Матвей и пошел по своим делам, а сам думал: «Чего ты радуешься, бычок? Она тебя возьмет теперь за рога, Нинка-то. Они все, Кречетовы, такие».

Прошла неделя.

Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой... И было тихо.

Матвей плохо спал. Просыпался, курил... Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо.

В ПРОФИЛЬ И АНФАС

На скамейке у ворот сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у старика раннее солнышко, и он — давно-давно — шагал по земле и крепко чувствовал ее под ногами. А теперь — вечер, спокойный, с дымками по селу.

На скамейку присел длиннорукий худой парень с морщинистым лицом. Такие только на вид слабые, на деле выносливые, как кони. И в бане парятся здорово.

Парень тяжело вздохнул и стал закуривать.

— Гуляешь? — спросил старик.

— Это не гульба, дед, — не сразу сказал Иван. — Собачьи слезы. У тебя нет полтора рубля?

— Откуда?

— Башка лопается по швам.

— Как с работой-то?

— Никак. Бери, говорит, вилы да на скотный двор.

— Кто, директор?

— Ну. А у меня три специальности в кармане да почти девять классов образования. Ишачь сам, если такой сознательный.

— На сколь отобрали права-то?

— На год. А я выпил-то всего кружку пива! Да красенького стакан. А он придрался... С прошлого года караулил, гад. Я его тогда матом послал, он окрысился...

— Ты уж какой-то... шибко неуживчивый, парень. Надо маленько аккуратней. Чего вот теперь с имя сделаешь? Они — начальство...

— Ну и что?

— Ну и сиди теперь. Три специальности, а будешь сидеть. Где и смолчать надо.

Жгли ботву в огородах — скоро пахать. И каждый год одно и то же, а все не надоест человеку и все вдыхал бы и вдыхал этот горьковатый, прелый запах дыма и талой земли.

— Где и смолчать надо, парень, — повторил старик, глядя на огоньки в огородах. — Наше дело такое.

— Да я особо-то не лаюсь, — неохотно откликнулся Иван. — Так — если уж прицепится какой... Главное, я же правила-

то не нарушал! — опять горько воскликнул он. — За стакан вина да за кружку пива — на год лишил прав... Паразит.

— Загляни через плетень, моя старуха в огороде?

— Зачем?

— У меня под печкой бутылка самогонки есть. Я б те вынес похмелиться-то.

Иван поспешно встал, заглянул в огород.

— Там, — сказал он, — в дальнем углу. Сюда — ноль внимания.

Старик сходил в дом, принес бутылку самогона и немного ботуну. И стакан.

— Что ж ты сразу не сказал? — заторопился Иван. — Сидит помалкивает!.. — он налил стакан и одним духом оглушил. — Я вот такой больше люблю, чем первач. Этот с вонью, как бензин, — долго не будешь раздумывать. Кха!.. Пей. Сразу только.

Старик выпил не торопясь, закусил ботуном.

— Как бензин, верно?

— Самогон как самогон. Какой бензин? Хреновину городишь какую-то.

— Ну вот! — Иван хлопнул себя ладонью в грудь. — Теперь можно жить. Спасибо, дед. Хошь моих? — протянул пачку «Памира».

Старик с трудом ухватил негнущимися пальцами сигаретку, помял-помял, посмотрел на нее внимательно, прикурил.

— Петька-то пишет?

— Пишет. Помру я скоро, Иван.

Иван удивленно посмотрел на старика.

— Брось ты!..

— Хошь брось, хошь положь... на месте будет, — старик говорил спокойно.

— Болит, што ль, чего?

— Нет. Чую. Тебе столько годов будет, тоже учуешь.

Ивану сделалось хорошо от самогона, не хотелось говорить про смерть.

— Брось! — сказал он. — Поживешь. Гармонь, что ль, принесть?

— Неси.

Иван перешел через дорогу, вошел в дом... И его долго не было. Потом вышел с гармошкой, но опять хмурый.

— Мать, — сказал он. — Жалко вообще-то...

— Все жа ехать хошь?

— Ну а что делать-то? — Иван, видно, только что так и говорил с матерью. — Не могу же я на этот... Да ну — к черту совсем! Я Северным морским путем прошел... Я моторист, слесарь пятого разряда... Ну ладно, год не буду ездить, но неужели... Да ну — к черту! — он тронул гармонь, что-то такое попробовал и бросил. Ему стало грустно. — Не везет мне тоже, дед. Крепко. Женился. На Дальнем Востоке, так? Родилась дочка... А она делает фортель и уезжает к мамочке в Ленинград. Ты понял? — он часто рассказывал, как он женился.

— Пошто в Ленинград-то?

— Она на Дальнем Востоке за техникум отрабатывала. Да мне ее-то — черт с ней, мне дочь жалко. Снится.

— К ей теперь поедешь?

— К жене?! Она второй год замужем... Молодая красивая кыса.

— А куда?

— К корешу одному... На шахты. Может, не на все время. Может, на год.

— На год у вас теперь не получается. Шибко уж легко стали из дому уходить.

— Ну а что я тут буду делать-то?! — опять взвился Иван. — На этот идти, на... Да ну — к черту! — он развернул гармонь, заиграл и стал подпевать — как-то нарочно весело, зло:

Вот живу я с женщиной
Ум-па-ра-ра-ра!
А вот уходит женщина
Да от меня.
Напугалась, лапушка?
Кончена игра!..

Старик все так же спокойно слушал.

— Сам сочиняю, — сказал Иван. — На ходу прямо. Могу всю ночь петь.

А мы не будем кланяться —
В профиль и анфас;
В золотой оправушке...

— Баламут ты, Ванька, — сказал старик. — Ну, пошел ба, поработал год на свинарнике... Мать не жалеешь. Она всю жись и так одна прожила.

Иван перестал играть, долго молчал.

— Не в этом дело, дед. Мне обидно. Что, думаешь, у них не нашлось бы места, где устроить меня? Что, им один лишний слесарь помешает? Я тебя умоляю!.. Директор на меня тоже зуб имеет. Я его дочку пару раз проводил из клуба, он стал опасаться. А там можно опасаться: полудурок. А я трепаться умею... Я б ему сделал подарок. Зря, между прочим, не сделал.

— Чтоб в подоле принесла? Подарок-то?

— Ага. Скромный такой. К восьмому марта.

— Это вы умеете.

— Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота... как это... как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам, у того зрение нарушилось. И вот сижу я на суде и не могу понять: я-то зачем здесь? Самое же дурацкое дело! Ну, видел — и все. Измучился, пока суд шел, — Иван посмотрел на огоньки в огородах, вздохнул, помолчал. — Так и здесь. Сижу и думаю: «А я при чем здесь?». Суд хоть длинный был, но кончился, и я вышел. А здесь куда выйдешь? Не выйдешь.

— Отсюда одна дорога — на тот свет.

Иван налил в стакан, выпил.

— Нет счастья в жизни, — сказал он и сплюнул. — Тебе налить?

— Будет.

— Вот тебе хорошо было жить?

Старик долго молчал.

— В твои годы я так не думал, — негромко заговорил он. — Знал работал за троих. Сколько одного хлеба вырастил!.. Собрать ба весь, наверно, с год все село кормить можно было. Некогда было так думать.

— А я не знаю, для чего я работаю. Ты понял? Вроде нанялся, работаю. Но спроси: «Для чего?» — не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрался... А дальше что? — Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. — Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то...

— Заелись, — пояснил старик.

— И ты не знаешь. У вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало... Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо.

— Налей-ка, — попросил старик. Выпил, тоже сплюнул. — Сороконожки, — вдруг зло сказал он. — Суетитесь на земле — туда-сюда, туда-сюда, а толку никакого. Машин понаделали, а... тьфу! Рак-то, он от чего? От бензина вашего, от угару. Скоро детей рожать разучитесь...

— Не скажи.

— И чуют ведь, что неладно живут, а все хорохорятся. «Раз-ма-ах»! А чего гнусишь тогда?

— Чего эт тебя заело-то? Что дремучими вас назвал? А какие же вы?

— Лодыри вы. Светлые. Вы ведь как нонче: ему, подлецу, за ездку рупь двадцать кладут — можно четыре рубля в день заробить, а он две ездки сделает и коней выпрягает. А сам — хоть об лоб поросят бей — здоровый. А мне двадцать пять соток за ездку начисляли, и я по пять ездок делал, да на трех, на четырех подводах. Трудодень заробишь, да год ждешь, сколь тебе на его отвалят. А отваливали — шиш с маслом. И вы же ноете: не знаю, для чего робить! Тебе полторы тыщи в месяц неохота заробить, а я за такие-то денежки все лето горбатился.

— А мне не надо столько денег, — словно подзадоривая старика, сказал Иван. — Ты можешь это понять? Мне чего-то другого надо.

— Не надо, а полтора рубля — похмелиться — нету. Ходишь как побирушка... Не надо ему! Мать-то высохла на работе. Черти... Лодыри. Солнышко-то ишо вон где, а они уж с пашни едут. Да на машинах, с песнями!.. Эх... работники. Только по клубам засвистывать, подарки отцам мастерить...

— Нет, уж такой жизни теперь не будет, чтоб... Вообще ты формально прав, но ведь конь тоже работает... Где же смысл?

— Позорно ему на свинарнике поработать! А мясо не позорно исть?

— Не поймешь, дед, — вздохнул Иван.

— Где нам!

— Я тебе говорю: наелся. Что дальше? Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает. Я не могу только на один желудок работать.

Эх, на один желудочек,
На-нина-ни-на... —

пропел он.

Старик усмехнулся.

— Обормот. Жена-то пошто ушла? Пил небось?

— Я не фраер, дед, я был классный флотский специалист. Ушла-то?.. Не знаю. Именно потому, что я не был фраером.

— Кем не был?

— Это так... — Иван поставил гармонь на лавку, закурил, долго молчал. И вдруг не дурашливо, а с какой-то затаенной тревогой, даже болью сказал: — А правда ведь не знаю, зачем живу.

— Жениться надо.

— Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму!

— Женись, маяться перестанешь. Не до этого будет.

— Нет, тоже не то. Я должен сгорать от любви. А где тут сгоришь!.. Не понимаю: то ли я один такой дурак, то ли все так, но помалкивают... Веришь, нет: ночью думаю-думаю — до того плохо станет, хоть кричи. Ну зачем?!

— Тьфу! — старик покачал головой. — Совсем испортился народишко.

А день тихо умирал, истлевал в теплой сырости. Темней и темней становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче. И все острее пахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и переговариваться. И голоса будут звучать отчетливо, а шум и возня в деревне будут стихать. И совсем уже темно станет. Огоньки в огородах станут гаснуть. И где-нибудь, совсем близко, звучный мужской голос скажет:

— Ну, пошли, ладно.

Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько звонко, светло и горласто приходит новый. Петушня орет по селу. Суетятся люди, торопятся. Опаздывают.

Иван поднялся рано. Посидел на кровати, посмотрел в пол. Плохо было на душе, муторно. Стал одеваться.

Мать топила печку; опять пахло дымом, но только это был иной запах — древесный, сухой, утренний. Когда мать выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянуло свежестью, той свежестью, какая исходит от лужиц, подернутых светлым, как стеклышко, ледком; от комков земли,

окропленных мелким бисером изморози; от вчерашних кострищ в огородах, зола которых седая, и влажная, и тяжелая; от палого листа, который отсырел с весной, но все равно, когда идешь, громко шуршит под ногами.

— Может, я схожу к директору-то, попрошу?.. — заговорила мать.

Иван брился.

— Еще чего! В ноги упади — он довольный будет.

— Ну а как жа теперь? — мать старалась говорить не просительно, как можно убедительней — понимала: разговор, наверно, последний. — Ходют люди, просют. Язык-то не отсохнет...

— Я ходил. Просил.

— Да знаю я тебя, тугоносого, как ты просил! Лаяться только умеете.

— Хватит, мам.

Мать больше не выдержала, села на приступку и заплакала тихонько и запричитала:

— Куда вот собрался? К черту на кулички... То ли уж на роду мне написано весь свой век мучиться. Пошто жа, сынок, только про себя думаешь?.. Про матерей-то пошто не думаете?

Иван знал: будут слезы. И оттого он хмурился раньше времени.

— Да что ты меня... на войну, что ли, провожаешь? Что я там?.. Да ну, к шутам все! И вечно — слезы!.. Мне уж от этих слез житья нету.

— Сходила ба, попросила — не каменный он, подыскал ба чего-нибудь. А то к инспектору сходи... Што уж сразу так — уезжать. Вон у Кольки Завьялова тоже права отбирали, сходил парень-то, поговорил... С людьми поговорить надо...

— Они уж в милиции, права-то. Поздно.

— Ну, в милицию съездил ба...

— Хо-о! — изумился Иван. — Ну ты даешь!

— Господи, господи... Всю жись вот так. И за што мне такая доля злосчастная! Проклятая я, што ли...

Невмоготу становилось. Иван вышел во двор, умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот... Посмотрел на село. Все он тут знал. И томился здесь, в этих пе-

реулках, лунными ночами... А крепости желанной в душе перед дальней дорогой не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе, хоть немножко надо веселей уезжать.

Вывернулся откуда-то пес Дик, красивый, но шалавый, кинулся с лаской.

— Ну! — Иван откинул пса, пошел в дом.

Мать накрывала на стол.

— Ну, поработал ба на свинарнике...

Они настойчивые, матери. И беспомощные.

— Ни под каким лозунгом, — твердо сказал Иван. — Вся деревня смеяться будет. Я знаю, для чего он меня хочет на свинарник загнать... Только у него ничего не выйдет.

— Господи, господи...

...Позавтракали.

Мать уложила все в чемодан и тут же села на пол у раскрытого чемодана и опять заплакала. Только не причитала теперь.

— С годок поработаю и приеду. Чего ты?..

Мать вытерла слезы.

— Может, схожу, сынок? — посмотрела снизу на сына, и из глаз прямо плеснулось горе и мольба, и надежда, и отчаяние. — Упрошу его... Он хороший мужик.

— Мам... Мне же тоже тяжело!

— А может, сунуть кому-нибудь в милиции-то? Што, думаешь, не берут? Счас, не взяли! Колька Завьялов, думаешь, не сунул? Сунул... Счас, отдали так-то.

— Тут неизвестно, кто кому сунет: я им или они мне.

Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал далеко, мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать: «Матушка-печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю». Причем всякий раз она напоминала, как надо говорить, хоть Иван давно уж запомнил слова.

Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал:

— Матушка-печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю.

...И пошли по улице: мать, сын и собака.

Ивану не хотелось, чтоб мать провожала его, не хотелось, чтоб люди глазели в окна и говорили: «Ванька-то... уезжает, што ль, куда?».

Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали на сон грядущий.

Иван остановился. Он подумал, что, постояв, мать не пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом.

— Поехал?

— Поехал.

Закурили.

— Рыбачил, что ль?

— Попробовал поставил переметишки... Рано ишо.

— Рано.

Мать стояла рядом, сцепив на фартуке руки, не слушала разговор, бездумно, не то задумчиво глядела в ту сторону, куда поедет сын.

— Не пей там, — посоветовал дед. — Город — он и есть город — чужие все. Пообвыкни сперва...

— Что я, алкаш, что ли?

Еще постояли.

— Ну, с богом! — сказал старик.

— Бывай.

Старик пошел своей дорогой. Иван посмотрел на мать... Она, все так же глядя вперед, пошла, куда им надо идти. Иван пошел рядом.

Прошли немного.

— Мам... иди домой.

Мать послушно остановилась. Иван слегка приобнял ее... Голова ее затряслась у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас оторвать ее от себя, отвернуться и уйти.

— Ладно, мам... Иди. Я сразу письмо напишу. Как приеду, так... Ничего со мной не случится! Не ездют, што ль, люди? Иди.

Мать перекрестила его... И осталась стоять. А Иван уходил. Глупый пес увязался за ним. Он всегда ходил с хозяином на работу.

— Пошел! — сердито сказал Иван.

Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди.

— Дик! Дик! — позвал Иван.

Дик подбежал. Иван больно пнул его, пес заскулил, отбежал в сторону. И с удивлением смотрел на хозяина. Иван обернулся. Дик вильнул хвостом, тронулся было с места, но не побежал, остался стоять. И все так же удивленно посмотрел на хозяина.

А подальше стояла мать...

«Нет, надо на свете одному жить. Тогда легко будет», — думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице — к автобусу.

А мать все стояла... Смотрела вслед ему.

КАК ПОМИРАЛ СТАРИК

Старик с утра начал маяться. Мучительная слабость навалилась... Слаб он был давно уж, с месяц, но сегодня какая-то особенная слабость — такая тоска под сердцем, так нехорошо, хоть плачь. Не то чтоб страшно сделалось, а удивительно: такой слабости никогда не было. То казалось, что отнялись ноги... Пошевелит пальцами — нет, шевелятся. То начинала терпнуть левая рука, шевелил ею — вроде ничего. Но какая слабость, господи!..

До полудня он терпел, ждал: может, отпустит, может, оживеет маленько под сердцем — может, покурить захочется или попить. Потом понял: это смерть,

— Мать... А мать! — позвал он старуху свою. — Это... помираю вить я.

— Господь с тобой! — воскликнула старуха. — Кого там выдумываешь-то лежишь?

— Сняла бы как-нибудь меня отсудова. Шибко тяжко, — старик лежал на печке. — Сними, ради Христа.

— Одна-то я рази сниму. Сходить нешто за Егором?

— Сходи. Он дома ли?

— Даве крутился в ограде... Схожу.

Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное облако.

«Зимнее дело — хлопотно помирать-то», — подумал старик.

Пришел Егор, соседский мужик.

— Мороз, язви ево! — сказал он. — Погоди, дядя Степан, маленько обогреюсь, тогда уж полезу к тебе. А то застужу. Тебе чего, хуже стало?

— Совсем плохо, Егор. Помираю.

— Ну, что ты уж сразу так!.. Не паникуй особо-то.

— Паникуй не паникуй — все. Шибко морозно-то?

— Градусов пятьдесят есть, — Егор закурил. — А снега на полях — шиш. Сгребают тракторами, но кого там!

— Может, подвалит ишо.

— Теперь уж навряд ли. Ну, давай слезать будем...

Старуха взбила на кровати подушку, поправила перину. Егор встал на припечек, подсунул руки под старика.

— Держись мне за шею-то... Вот так! Легкий-то какой стал!

— Выхворался...

— Прям как ребенок. У меня Колька тяжельше.

Старика положили на кровать, накрыли тулупом.

— Может, папироску свернуть? — предложил Егор.

— Нет, неохота. Ах ты, господи, — вздохнул старик, — зимнее дело — помирать-то...

— Да брось ты! — сказал Егор серьезно. — Ты гони от себя эти мысли, — он пододвинул табуретку к кровати, сел. — Меня на фронте-то вон как задело! Тоже думал — каюк. А доктор говорит: захочешь жить — будешь жить, не захочешь — не будешь. А я и говорить-то не мог. Лежу и думаю: «Кто же жить не хочет, чудак-человек?». Так что лежи и думай: «Буду жить!».

Старик слабо усмехнулся.

— Дай разок курну, — попросил он.

Егор дал. Старик затянулся и закашлялся. Долго кашлял...

— Прохудился весь... Дым-то, однако, в брюхо прошел.

Егор хохотнул коротко.

— А где шибко-то болит? — спросила старуха, глядя на старика жалостливо и почему-то недовольно.

— Везде... Весь. Такая слабость, вроде всю кровь выцедили.

Помолчали все трое.

— Ну, пойду я, дядя Степан, — сказал Егор. — Скотинешку попоить да корма ей задать...

— Иди.

— Вечерком ишо зайду попроведую.

— Заходи.

Егор ушел.

— Слабость-то, она от чего? Не ешь, вот и слабость, — заметила старуха. — Может, зарубим курку — сварю бульону? Он ить скусный свеженькой-то... А?

Старик подумал.

— Не надо. И поисть не поем, а курку решим.

— Да бог уж с ей, с куркой! Не жалко ба...

— Не надо, — еще раз сказал старик. — Лучше дай мне полрюмки вина... Может, хоть маленько кровь-то заиграет.

— Не хуже ба...

— Ничо. Может, она хоть маленько заиграет.

Старуха достала из шкафа четвертинку, аккуратно заткнутую пробкой. В четвертинке было чуть больше половины.

— Гляди, не хуже ба...

— Да когда с водки хуже бывает, ты чо! — старика досада взяла. — Всю жизнь трясетесь над ей, а не понимаете: водка — это первое лекарство. Сундуки какие-то...

— Хоть счас-то не ерепенься! — тоже с досадой сказала старуха. — «Сундуки»... Одной уж ногой там стоит, а ишо шебаршит кого-то. Не велел доктор волноваться-то.

— Доктор... Они вон и помирать не велят, доктора-то, а люди помирают.

Старуха налила полрюмочки водки, дала старику. Тот хлебнул — и чуть не захлебнулся. Все обратно вылилось. Он долго лежал без движения. Потом с трудом сказал:

— Нет, видно, пей, пока пьется.

Старуха смотрела на него горько и жалостливо. Смотрела, смотрела и вдруг всхлипнула:

— Старик... А, не приведи господи, правда помрешь, чо же я одна-то делать стану?

Старик долго молчал, строго смотрел в потолок. Ему трудно было говорить. Но ему хотелось поговорить хорошо, обстоятельно.

— Перво-наперво: подай на Мишку на алименты. Скажи: «Отец помирал, велел тебе докормить мать до конца». Скажи. Если он, окаянный, не очухается, подавай на алименты. Стыд стыдом, а дожить тоже надо. Пусть лучше ему будет стыдно. Маньке напиши, штоб парнишку учила. Парнишка смышленый, весь «Интернационал» назубок знает. Скажи: «Отец велел учить», — старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим.

— А Петьке чего сказать? — спросила старуха, вытирая слезы; она тоже настроилась говорить серьезно и без слез.

— Петьке?.. Петьку не трогай — он сам едва концы с концами сводит.

— Может, сварить бульону-то? Егор зарубит...

— Не надо.

— А чего, хуже становится?

— Так же. Дай отдохну маленько, — старик закрыл глаза и медленно, тихо дышал. Он правда походил на мертвеца: какая-то отрешенность, нездешний какой-то покой были на лице его.

— Степан! — позвала старуха.

— Мм?

— Ты не лежи так...

— Как не лежи, дура? Один помирает, а она — не лежи так. Как мне лежать-то? На карачках?

— Я позову Михеевну — пособорует?

— Пошли вы!.. Шибко он мне много добра исделал... Курку своей Михеевне задарма сунешь... Лучше эту курку-то Егору отдай — он мне могилку выдолбит. А то кто долбить-то станет?

— Найдутся небось...

— «Найдутся». Будешь потом по деревне полоскать — кому охота на таком морозе долбать. Зимнее дело... Что бы летом-то!

— Да ты чо уж, помираешь, что ли! Может, ишо оклемаисся.

— Счас — оклемался. Ноги вон стынут... Ох, господи, господи!.. — старик глубоко вздохнул. — Господи... тяжко, прости меня, грешного.

— Степан, ты покренись маленько. Егор-то говорил: «Не думай всякие думы».

— Много он понимает! Он здоровый как бык. Ему скажи: не помирай — он не помрет.

— Ну, тада прости меня, старик, если я в чем виноватая...

— Бог простит, — сказал старик часто слышанную фразу. Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень нужное, но он как-то стал странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился...

— Агнюша, — с трудом сказал он, — прости меня... я маленько заполошный был... А хлеб-то — рясный-рясный!.. А погляди-ко в углу-то кто? Кто там?

— Где, Степан?

— Да вон!.. — старик приподнялся на локте, каким-то жутким взглядом смотрел в угол избы — в передний. — Вон же она, — сказал он, — вон... Сидит, гундосая.

Егор пришел вечером...

На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. Старуха тихо плакала у его изголовья...

Егор снял шапку, подумал немного и перекрестился на икону.

— Да, — сказал он, — чуял он ее.

ДВА ПИСЬМА

Человеку во сне приснилась родная деревня. Идет будто он по берегу реки, бросает камешки в воду. В том месте реки — затон. Тихо-тихо. Никого — ни одной живой души вокруг. Деревня рядом, и в деревне как повымерло все. «Что же это такое — никого нет-то?» — удивился человек. И еще бросил камень в воду. Он беззвучно пошел ко дну. Человек еще бросил — большой. Камень без звука утонул. Человека охватил страх: «Что-то случилось», — подумал он.

И проснулся. И стал вспоминать. Деревня... Лет десять не был он там, а то и больше... Вспомнились серые избы, пыльная улица, крапива у плетней, куры на завалинке, покосившиеся прясла... А за деревней — степь да колки. Да полыхает заря в полнеба. Попадаются еще небольшие озерки; вечерами вода в них гладкая-гладкая, и вся заря, — как в зеркале. Любилось сидеть на берегу этих маленьких озер, ни о чем не думалось... Только в душу с тишиной вместе вкрадывается беспокойно-нежное чувство ко всему на свете. Грустно немного, но кто-то будто шепчет на ухо, чуть слышно: подожди, подожди, дружок.

Далеко-далеко проскачет табун лошадей в ночное, повиснет над дорогой в воздухе полоска пыли и долго держится. И опять тихо. Что за тишина такая на земле! Стихи складывались:

...Тихо в поле, —
Устали кони.
Тихо в поле — зови, не зови...
В сонном озере, как в иконе,
Красный оклад зари.

Заря медленно гаснет. Как будто остался ты на земле совсем-совсем один. Не страшно, не одиноко... Только упрямо и беспокойно лезет в голову:

...Не хочу понять:
зачем явился?
Не могу понять:
зачем я есть?

Человек попытался заснуть и не мог. Он потихоньку, чтоб не разбудить жену, встал, надел пижаму, пошел в другую комнату, включил свет и сел к столу. И глубоко задумался.

— Эх ты, черт возьми, — бормотал он. — Что-то не того... Старею, что ли?

Было невыносимо грустно, чего-то жаль было чуть не до слез. Не сбылось как будто то, что мерещилось тогда, давно, на берегах крохотных тихих озер...

Человек — его звали Николай Иваныч — достал бумагу и сел писать давнишнему своему другу.

«Друже мой, Иван Семеныч! — начал он. — Здорово! Захотелось вот написать тебе. Увидел сейчас во сне деревню нашу и затосковал. Сижу вот и пишу ночью, как Бальзак. Вспомнил я, как мы с тобой институты окончили. Помнишь? Приехали с дипломами... Последний разок побывать на родине. Нарядились, как эти... черт-те знает кто! На мне белая какая-то заграничная рубашка, ты зачем-то матроску напялил. Шли по улице — два пижона. А пора была страдная. Я помню, встретился нам Минька Докучаев на вершнах, остановились, поздоровались. Он грязный весь — ни глаз, ни рожи, как говорят, ехал в кузницу пилу от жнейки заклепывать. Закурили. А говорить не о чем. Чужие какие-то с ним стали. Помялись-помялись, он уехал, а мы пошли за деревню — прощаться с местами, где когда-то копны возили, сено гребли, телят пасли, боронили... Прямо, чуть не бегом бежали прощаться с тем, что нас вспоило и вскормило. Вспомнил вот Миньку, и сейчас стыдно. Для чего мы так вырядились-то тогда? У людей самая пора горячая, а мы как два оглоеда... А тогда — ничего, как так

и надо. Шли прощаться! Экие, понимаешь, запорожцы за Дунаем! У меня в кармане бутылка белого, у тебя — портвейн. Один стакан на двоих. Сели у межи, под березками, выпили... И давай хвастаться — какие мы умные: институты кончили, людьми стали! Я свои стихи дурацкие читал, а ты, помню, стал даже на руки и прошелся. И потом долго колотил себя в грудь кулаком и доказывал: "Ты подумай: отцы-то наши кто были?! Кто? А мы — инженеры!". Еще выпили. И опять хвастались. Господи, как хвастались! Очень уж нас распирало тогда, что мы первые из деревни высшее образование получили. И плясали-то мы с тобой, и пели... А рядом рожь несжатая стояла. А нам — хоть бы что. Я даже в нее бутылку порожнюю запустил и, помню, подумал: "Будут жать жаткой, она, голенькая, заблестит на стерне. И кто-нибудь, тот же Минька, подумает: «Пил кто-то»". Потом спали мы с тобой. Проснулись, когда уже солнце садилось. Заграничная моя рубашка, как в ж... побывала. Голова болела, и совестно было. Наорали чего-то, натрепались. Я помню, ты мне в глаза не смотрел, и мне тоже не хотелось. Все это я почему-то очень хорошо помню...»

— Коля!

— Ну.

— Чего ты?

— Так... Спи.

— Я думала, ты ушел куда.

— Нет, спи.

«...Жена проснулась. Сытая лежит, толстая, прости меня господи, грешного, и несет, как от парфюмерной фабрики. Вот такие-то дела, Ваня. Грустно мне что-то сделалось. Может, зря мы тогда радовались-то? Вот прошло уж... сколько теперь? лет восемнадцать? А я их как-то и не заметил. Толстел год от года. Жену упрекаю, а сам — хоть поставь, хоть положь, в дверь не пролезаю. Курорты, понимаешь, санатории... А жизни как-то не успел порадоваться. Дети растут, но радости большой не доставляют, честно говоря. Сильно уж они сейчас много знают, бойко так рассуждают про все. По-моему, мы лучше были. Может, это старческое у меня, не знаю. Ты-то как? Написал бы когда. А то так вот хватит инфаркт, и все. Съехаться бы как-нибудь, а? Хоть вспомнили бы детство, понимаешь. Ведь есть что вспомнить! А то — работа, работа... Всю жизнь работаем, а оглянуться не на что. Напиши как-нибудь, выбери время. Одиноко мне стало вдруг, никто не

поймет, как ты. Да и тебе, наверно, не сладко? Ну — главный инженер, ну... — черт с рогами, а — что дальше? Ты понимаешь? Ну, ресторан, музыка — как гвозди в башку заколачивают, — а дальше-то что? Это называется: вышли в люди? Да... мать твою так-то! Я вспомню, как мы картошку в ночном пекли, на душе потеплеет. Вернуться бы опять туда, в степь: костерик, рассказы про чертей... Эх, Ваня, Ваня... Не зря мы с дипломами-то прыгали? А? Как думаешь? Или — все нормально? Может, у меня уж тихая шизофрения началась? У тебя бывает так или нет? Честно только. Куда летом-то ездишь? В Гагры вшивые? Я эти Гагры уже не могу видеть. Но попробуй заикнись, что хочу, мол, в деревню к себе поехать. Что ты! Истерика. Но я все-таки подниму нынче восстание — будь что будет. Поеду в деревню. Не могу больше. Поедем? Давай спишемся — и махнем. Черт с ними, пускай едут в Гагры, а нам надо в деревню съездить. А то грех какой-то лежит на душе. Не исповедь это, а просто душа просит. В общем, неважнецки я живу Иван. Так вроде все нормально, на работе хорошо, а — нет-нет — засосет что-то, тоска обуяет, как сейчас вот, — и все охота послать к черту. Напиши, Иван, прошу. Адрес у меня теперь другой — улучшение! Голой рукой не возьмешь. Жду.

Николай».

Николай Иваныч погасил свет, снял пижаму и подвалился к жаркой жене. И долго еще не мог заснуть. Думал: «Письмо сгоряча накатал бестолковое. Надо завтра на службе выбрать время, переписать. А то подумает, действительно... — первая стадия началась».

На службу, как всегда, Николай Иваныч пришел тютелька в тютельку: без пяти десять. Выбритый, свежий, хотя в голове немного шумело: пришлось вчера хватить снотворного. Шел по коридору, привычно здоровался, улыбался... Ему тоже улыбались. Кого-то остановил, что-то спросил, кто-то его спросил, он ответил. Ответил коротко, толково. Его уважали на работе. Миленькая секретарша привстала, ослепительно улыбнулась. Мелькнуло в голове: «Красивая женщина, черт возьми». Впрочем, эта мысль у него мелькала, кажется, каждое утро.

— Ну, что тут у нас?

— Значит, первое: звонили...

Звонили, требовали, просили, умоляли, предупреждали... Понеслась душа в рай! Одно чувство сменялось другим. То: «Послушайте! Я ведь с вами не буду в казаки-разбойники играть! Я последний раз предупреждаю!». То: «Милый, родной... что же я могу сделать? Ну, подумай: что? Если бы от меня зависело...». То: «Понимаю, все понимаю. Чтобы лишнего на себя не брать: к двадцать восьмому. А? Железно! Железно, как у меня главный говорит. Приложим все силы, не подведем». Но больше нравилось: «Послушайте! Мы ведь с вами не в драмкружке — не «Отелло» репетируем. Не клянитесь мне, я не верующий. Мне нужен ма-те-ри-ал! Все!». Еще нравилось: «Ну?.. Так... А что делать? Я тоже не знаю! Не знаю! Да что докладные? У меня столы ломятся от докладных. Я что, вместо подшипников буду ваши докладные вставлять? Попробуйте, может, у вас выйдет. Не знаю. Где хотите».

Деловой вихрь закрутил Николая Иваныча, он про ночное письмо забыл. А утром, уезжая на работу, захватил его.

Сейчас было не до письма. Пришли корреспонденты из областной газеты.

— Да ведь что, товарищи?.. Хвалиться особо пока нечем. План выполняем... да, но... — четыре шага по мягкому ковру в одну сторону четыре — в другую, остановка перед корреспондентами, улыбка, которая помогала ему всю жизнь. Недоброжелатели говорили про его улыбку: «Улыбочка-выручалочка». Обаятельная, простецкая — весь человек тут как он есть. — План планом, а силенок хватит и на большее. Если не секретничать перед вами, то в ближайшем будущем думаем слегка перевалить за сто десять — сто пятнадцать. Думаем тут «схимичить» кое-что: продлить линию, не стопоря ее. Да. Расчеты есть, люди горячие, в бой рвутся — одолеем.

Поснимался немного за столом, прошли в цех — там поснимались. Только там Николай Иваныч больше с рабочими и с мастерами говорил. Потом и совсем «сбагрил» корреспондентов главному инженеру; пришел опять в кабинет.

— Звонил Дмитрий Васильевич. Я сказала: в цехах.

— Соедините.

Разговор с Дмитрием Васильевичем получился хороший. На душе совсем повеселело.

Первый поток посетителей и звонков схлынул.

— Верочка!

— Да, Николай Иваныч?

— Меня пока нет. В цехе.

— Хорошо.

Николай Иваныч достал ночное письмо, повертел в руках, подумал... и сунул обратно в карман. Стал писать другое.

«Иван Семеныч! Здорово, старик! Вспомнил вот, решил написать! Как жив-здоров? Как работенка? Редко мы что-то пишем друг другу, ленимся, черти! У меня все нормально. Кручусь, верчусь... То я голову кому-то мою, то мне — так и идет. Скучать некогда. В общем, не унываю. Куда думаешь двинуть летом? Напиши, может, скооперируемся! Была у меня мысль: поехать нам с тобой в деревню нашу да ведь... как говорят: не привязанный, а визжишь. Жены-то бунт поднимут. А деревня частенько снится. Давай, слушай, махнем куда-нибудь вместе? Только не в Гагры, ну их к черту. На Волгу куда-нибудь? Ты прозондируй свою половину, я свою: соблазним их кострами, рыбалкой, еще чем-нибудь. Остановимся где-нибудь в деревушке на берегу, снимем хатку... А? Давай, старик? Ей-богу, не скучно будет. Подумай. Настрой у меня боевой, дела двигаются, дети растут. В общем, железно, как у меня главный говорит. Не хандри, дыши носом!

Пиши на завод — лучше.

Обнимаю. Твой Николай».

— Верочка!

— Да, Николай Иваныч!

— Я у себя.

— Хорошо.

И опять пошло: «Я не разрешаю!..». «Пожалуйста! Приветствую, только приветствую!». «А вот тут надо подумать. Тут с кондачка не решишь. Посоветуемся».

Вечером Николай Иваныч, пока готовился ужин, перечитал в своей комнате оба письма. Перечитал и долго-долго сидел молча. Потом бросил оба письма в стол и громко сказал:

— А черт его знает — как?

— Что ты? — спросила жена.

— Да так... я с собой. Как ужин?

— Сейчас будет готов. Ты ничем не расстроен?

— Нет, все в порядке. Подай газеты, пожалуйста.

«РАСКАС»

От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла!.. Прямо как в старых добрых романах — сбежала с офицером.

Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу... И нашел на столе записку:

«Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня. Людмила».

Огромный Иван, не оглянувшись, грузно сел на табуретку — как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это — правда.

Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо показалось ему, что этого не перенести: так нехорошо, больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла... Чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать и не мог — не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем.

Мелькнула короткая ясная мысль: «Вот она какая, большая-то беда». И все.

Сорокалетний Иван был не по-деревенски изрядно лыс, выглядел значительно старше своих лет. Его угрюмость и молчаливость не тяготили его, досадно только, что на это всегда обращали внимание. Но никогда не мог он помыслить, что мужика надо судить по этим качествам — всегда ли он весел и умеет ли складно говорить. «Ну а как же?!» — говорила ему та же Людмила. Он любил ее за эти слова еще больше... И молчал. «Не в этом же дело, — думал он, — что я тебе, политрук?» И вот — на тебе, она, оказывается, правда горевала, что он такой молчаливый и неласковый.

Потом узнал Иван, как все случилось.

Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером — помочь смонтировать в совхозе электроподстанцию. Побыли-то всего с неделю!.. Смонтировали и уехали. А офицер еще и семью тут себе «смонтировал».

Два дня Иван не находил себе места. Пробовал напиться, но еще хуже стало — противно. Бросил. На третий день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже захотелось спросить всех: как же так можно?!

Раскас

Значит было так: я приезжаю — настоле записка. Я ее не буду пирисказывать: она там обзываться начала. Главно я же знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожая на какую-то артистку. Я забыл на какую. Но она дурочка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я и давай теперь скакать как блоха на зеркале. А ей когда говорили, что она похожая она прямо щастливая становилась. Она и в культ прасветшколу из-за этого пошла, она сама говорила. А еслив сказать кому што он на Гитлера похожий, то што ему тада остается делать: хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой — вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили потому што нельзя так. Нет, этой все в город надо было. Там говорит меня все узнавать будут. Ну не дура! Она вобчем то не дура, но малость чокнутая нащет своей физиономии. Да мало ли красивых — все бы бегали из дому! Я же знаю, он ей сказал: «Как вы здорово похожи на одну артистку!» Она конешно вся засветилась... Эх, учили вас учили гусударство деньги на вас тратила, а вы теперь сяли на шею обчеству и радешеньки! А гусударство в убытке.

Иван остановил раскаленное перо, встал, походил по избе. Ему нравилось, как он пишет, только насчет государства, кажется, зря. Он подсел к столу, зачеркнул «гусударство». И продолжал:

Эх, вы!.. Вы думаете, еслив я шофер, дак я ничего не понимаю? Да я вас наскрозь вижу! Мы гусударству пользу приносим

вот этими самыми руками, которыми я счас пишу, а при стрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего мне после этого пришивать, што я кому-то угрожал но при стрече могу разок угостить. А потому што это тоже неправильно: увидал бабенку боле или мене ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Увиряю вас хоть я и лысый, но кое кого тоже мог ба поприжать, потому што в рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не делаю. А вдруг она чья нибудь жена? А они есть такие што может и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я рога надстроил! Я не лиходей людям.

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза глидят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, што они там наладят новую? Нету: Она всего навсего неделю человека знала, а мы с ей четыре года прожили. Не дура она после этого? А гусударство деньги на се тратила — учила. Ну и где ж та учеба? Ее же плохому-то не учили. И родителей я се знаю, они в соседнем селе живут хорошие люди. У ей между прочим брат тоже офицер старший лейтенант, но об нем слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки. Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. Я все для ей делал. У меня сердце к ей приросло. Каждый рас еду из рейса и у меня душа радуется: скоро увижу. И пожалуста: мне надстраивают такие рога! Да черт с ей не вытерпела там такой ловкач попался, што на десять минут голову потиряла... Я бы как нибудь пережил это. Но зачем совсем то уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как то у меня ни укладываится в голове. В жизни всяко бываит, бываит иной рас слабость допустил человек, но так вот одним разом всю жизнь рушить — зачем же так? Порушить-то ей лехко но снова складать трудно. А уж ей самой — тридцать лет. Очень мне счас обидно, поэтому я пишу свой раскас. Еслив уж на то пошло у меня у самого три ордена и четыре медали. И я давно бы уж был ударником коммунистического труда, но у меня есть одна слабость: как выпью так начинаю материть всех. Это у меня тоже не укладываится в голове, тверезый я совсем другой человек. А за рулем меня никто ни разу выпимши не видал и никогда не увидит. И при жене Людмиле я за все четыре года ни разу не матернулся, она это может подтвердить. Я ей грубога слова никогда не

сказал. И вот пожалуста она же мне надстраивает такие прямые рога! Тут кого хошь обида возьмет. Я тоже — не каменный.

С приветом.

Иван Петин. Шофер 1 класса.

Иван взял свой «раскас» и пошел в редакцию, которая была неподалеку.

Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе: холодно и горько. Вспомнилось, как совсем недавно они с женой ходили этой самой улицей в клуб — Иван встречал ее с репетиций. А иногда провожал на репетицию.

Он люто ненавидел это слово «репетиция», но ни разу не выказал своей ненависти: жена боготворила репетиции, он боготворил жену. Ему нравилось идти с ней по улице, он гордился красивой женой. Еще он любил весну, когда она только-только подступала, но уже вовсю чувствовалась даже у́трами, сердце сладко поднывало — чего-то ждалось. Весны и ждалось. И вот она наступила, та самая — нагая, раздрызганная и ласковая, обещающая земле скорое тепло, солнце... Наступила... А тут — глаза бы ни на что не глядели.

Иван тщательно вытер сапоги о замусоленный половичок на крыльце редакции и вошел. В редакции он никогда не был, но редактора знал: встречались на рыбалке.

— Агеев здесь? — спросил он у женщины, которую часто видел у себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Во всяком случае, когда ему доводилось слушать их разговор с Людмилой, это были все те же «репетиция», «декорация». Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться; больно дернуло за сердце.

Женщина с любопытством и почему-то весело посмотрела на него.

— Здесь. Вы к нему?

— К нему... Мне надо тут по одному делу, — Иван прямо смотрел на женщину и думал: «Тоже небось кому-нибудь рога надстроила — веселая».

Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала:

— Пройдите, пожалуйста.

Редактор — тоже веселый, низенький... Несколько больше, чем нужно бы при его росте, полненький, кругленький, тоже лысый. Встал навстречу из-за стола.

— А?! — воскликнул он и показал на окно. — На нас, на нас времечко-то работает! Не пробовали еще переметами?..

— Нет, — Иван всем видом своим хотел показать, что ему не до переметов сейчас.

— Я в субботу хочу попробовать, — редактора все не покидало веселое настроение. — Или не советуете? Просто терпения нет...

— Я раскас принес, — сказал Иван.

— Рассказ? — удивился редактор. — Ваш рассказ? О чем?

— Я тут все описал, — Иван подал тетрадку.

Редактор полистал ее... Посмотрел на Ивана. Тот серьезно и мрачно смотрел на него.

— Хотите, чтоб я сейчас прочитал?

— Лучше бы сейчас...

Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять и все смотрел на веселого редактора и думал: «Наверно, у него жена тоже на репетиции ходит. А ему хоть бы что — пусть ходит! Он сам сумеет про эти всякие «декорации» поговорить. Он про все сумеет».

Редактор захохотал.

Иван стиснул зубы.

— Ах, славно! — воскликнул редактор. И опять захохотал, так что заколыхался его упругий животик.

— Чего славно? — спросил Иван.

Редактор перестал смеяться... Несколько даже смутился.

— Простите... Это вы о себе? Это ваша история?

— Моя.

— Кхм... Извините, я не понял.

— Ничего. Читайте дальше.

Редактор опять уткнулся в тетрадку. Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен и ему все-таки смешно. И чтоб скрыть это, он хмурил брови и понимающе делал губы «трубочкой». Он дочитал.

— Вы хотите, чтоб мы это напечатали?

— Ну да.

— Но это нельзя печатать. Это не рассказ...

— Почему? Я читал, так пишут.

— А зачем вам нужно это печатать? — редактор действительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно. — Что это даст? Облегчит ваше... горе?

Иван ответил не сразу.

— Пускай они прочитают... там.

— А где они?

— Пока не знаю.

— Так она просто не дойдет до них, газетка-то наша!

— Я найду их... И пошлю.

— Да нет, даже не в этом дело! — редактор встал и прошелся по кабинету. — Не в этом дело. Что это даст? Что, она опомнится и вернется к вам?

— Им совестно станет.

— Да нет! — воскликнул редактор. — Господи... Не знаю, как вам... Я вам сочувствую, но ведь это глупость, что мы сделаем! Даже если я отредактирую это.

— Может, она вернется.

— Нет! — громко сказал редактор. — Ах ты, господи!.. — он явно волновался. — Лучше напишите письмо. Давайте вместе напишем?

Иван взял тетрадку и пошел из редакции.

— Подождите! — воскликнул редактор. — Ну давайте вместе — от третьего лица...

Иван прошел приемную редакции, даже не глянув на женщину, которая много знала о «декорациях», «репетициях»... Собаки!

Он направился прямиком в чайную. Там взял «полкило» водки, выпил сразу, не закусывая, и пошел домой — в мрак и пустоту. Шел, засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Все как-то не наступало желанное равновесие в душе его. Он шел и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него... А он шел и плакал. И ему было не стыдно. Он устал.

ЧУДИК

Жена называла его — Чудик. Иногда ласково.

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и де-

ло влипал в какие-нибудь истории — мелкие, впрочем, но досадные. Вот эпизоды одной его поездки.

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не виделись.

— А где блесна такая... на-подвид битюря?! — орал Чудик из кладовой.

— Я откуда знаю.

— Да вот же все тут лежали! — Чудик пытался строго смотреть круглыми иссиня-белыми глазами. — Вот тут, а этой, видите ли, нету.

— На битюря похожая?

— Ну, щучья.

— Я ее, видно, зажарила по ошибке.

Чудик некоторое время молчал.

— Ну и как?

— Что?

— Вкусная? Ха-ха-ха!.. — он совсем не умел острить, но ему ужасно хотелось. — Зубки-то целые? Она ж — дюралевая!..

...Долго собирались — до полуночи.

А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу.

— На Урал! На Урал! — отвечал он на вопрос: куда это он собрался? — Проветриться надо! — при этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам — они его не пугали. — На Урал!

Но до Урала было еще далеко.

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд.

Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам — конфет, пряников... Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:

— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот — без году неделя руководит коллективом — и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?». Нах-хал!

Шляпа поддакивала.

— Да, да... Они такие теперь. Подумаешь, склероз. А Сумбатыч?.. Тоже последнее время текст не держал, А эта, как ее?..

Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.

Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада. И отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать... Что-то глянул на полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит. Чудик даже задрожал от радости, глаза загорелись. Второпях, чтоб его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать этим, в очереди, про бумажку.

— Хорошо живете, граждане! — сказал он громко и весело.

На него оглянулись.

— У нас, например, такими бумажками не швыряются.

Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки — нет.

«Наверно, тот, в шляпе», — догадался Чудик.

Решили положить бумажку на видное место на прилавке.

— Сейчас прибежит кто-нибудь, — сказала продавщица.

Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось: «У нас, например, такими бумажками не швыряются!». Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане. Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.

— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик. — Мать твою так-то!.. Моя бумажка́-то.

Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать: «Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотельную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас

разменял, а другой — нету». Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить себя — не протянуть руку за проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать.

— Да почему же я такой есть-то? — вслух горько рассуждал Чудик. — Что теперь делать?..

Надо было возвращаться домой.

Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа... И не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.

Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.

Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.

Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему опять разъяснила жена (она даже пару раз стукнула его шумовкой по голове), ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки... Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.

— У нас в соседней деревне один дурак тоже... Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, — кричит, — руки-то не обожги, сынок!». О нем же и заботится... А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным...

— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.

— Зачем? — не понял тот. — У нас за рекой деревня Раменское...

Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.

После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом полтора часа. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости. «Неужели в нем за полтора часа ни один винтик не испортится!» — думал. Потом — ничего, осмелел. Попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету и так ему было интересно, что там, в газете, что

уж послушать живого человека ему не хотелось. А Чудик хотел выяснить вот что: он слышал, что в самолетах дают поесть. А что-то не несли. Ему очень хотелось поесть в самолете — ради любопытства.

«Зажилили», —решил он.

Стал смотреть вниз. Горы облаков внизу Чудик почему-то не мог определенно сказать: красиво это или нет. А кругом говорили, что «ах, какая красота!». Он только ощутил вдруг глупейшее желание: упасть в них, в облака, как в вату. Еще он подумал: «Почему же я не удивляюсь? Ведь подо мной чуть не пять километров». Мысленно отмерил эти пять километров на земле, поставил их на попа — чтоб удивиться, и не удивился.

— Вот человек!.. Придумал же, — сказал он соседу. Тот посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой.

— Пристегнитесь ремнями! — сказала миловидная молодая женщина. — Идем на посадку.

Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:

— Велят ремень застегнуть.

— Ничего, — сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то: — Дети — цветы жизни, их надо сажать головками вниз.

— Как это? — не понял Чудик.

Читатель громко засмеялся и больше не стал говорить.

Быстро стали снижаться. Вот уже земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объяснили знающие люди, летчик «промазал». Наконец толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Это читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали — это поразило Чудика. Он тоже молчал. Стали. Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет — на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:

— Мы, кажется, в картошку сели?

— Что, сами не видите? — ответил летчик.

Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.

Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.

— Эта?! — радостно воскликнул он. И подал.

У читателя даже лысина побагровела.

— Почему обязательно надо руками трогать! — закричал он шепеляво.

Чудик растерялся.

— А чем же?..

— Где я ее кипятить буду? Где?!

Этого Чудик тоже не знал.

— Поедемте со мной? — предложил он. — У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету...

Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:

«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша меня не забудь. Васятка».

Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:

— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.

— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали...

— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.

Чудик переписал.

«Приземлились. Все в порядке. Васятка».

Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка». Стало: *«Долетели. Василий».*

— «Приземлились»... Вы что, космонавт, что ли?

— Ну, ладно, — сказал Чудик. — Пусть так будет.

...Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников... О том, что должна быть сноха, как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.

Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:

Тополя-а-а, тополя-а-а-а...

Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:

— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? — и хлопнула дверью.

Брату Дмитрию стало неловко.

— Это... там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.

Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца...

— А помнишь? — радостно спрашивал брат Дмитрий. — Хотя, кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уже не стали оставлять. И все равно: только отвернутся, я около тебя — опять целую. Черт знает, что за привычка была. У самого-то еще сопли по колена, а уж... это... с поцелуями...

— А помнишь?! — тоже вспомнил Чудик. — Как ты меня...

— Вы прекратите орать? — опять спросила Софья Ивановна совсем зло, нервно. — Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же — разговорились.

— Пойдем на улицу, — сказал Чудик.

Вышли на улицу, сели на крылечке.

— А помнишь?.. — продолжал Чудик.

Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.

— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке!.. Сколько злости!

Чудик стал успокаивать брата:

— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они — психи. У меня такая же.

— Ну чего вот невзлюбила?! За что? Ведь невзлюбила она тебя... А за что?

Тут только понял Чудик, что — да, невзлюбила его сноха. А за что действительно?

— А вот за то, что ты — никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает... Она и меня-то тоже ненавидит — что я не ответственный, из деревни.

— В каком управлении-то?

— В этом... горно... Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Что она, не знала, что ли?

Тут и Чудика задело за живое.

— А в чем дело, вообще-то? — громко спросил он, не брата, кого-то еще. — Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Что ни фигура, понимаешь, так — выходец, рано пошел работать.

— А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, незаносистые.

— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его...

— Знал, как же.

— Уже там куда деревня!.. А — пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести...

— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста — кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори... Не надо.

— Ладно... А этот-то!..

Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.

— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными...

Потом они устали.

— Крышу-то перекрыл? — спросил старший брат негромко.

— Перекрыл, — Чудик тоже тихо вздохнул. — Веранду построил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду... начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал — сидели бы все на веранде, чай с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит. А я как-нибудь поласковей буду, она, глядишь, отойдет.

— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. — А вот... Детей замучила, дура: одного на

пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а не скажи, сразу ругань.

— Ммх!.. — опять возбудился Чудик. — Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, одна такая работает в магазине — грубая. Эх, вы!.. а она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю! — Чудик тоже стукнул кулаком по колену. — Не понимаю: почему они стали злые?

Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети, постарше, играли во дворе, маленького отнесли в ясли.

Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза ему попалась детская коляска. «Эге! — подумал Чудик. — Разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено, коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголком, по низу — цветочки разные, травку-муравку пару петушков, цыпляток... Осмотрел коляску со всех сторон — загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.

— А ты говоришь — деревня. Чудачка, — он хотел мира со снохой. — Ребеночек-то как в корзиночке будет.

Весь день Чудик ходил по городу, глазел на витрины. Купил катер племяннику; хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «Я его тоже разрисую», — думал.

Часов в шесть Чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял:

— Да ну, что тут!.. Да ладно... Сонь... Ладно уж...

— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! — кричала Софья Ивановна. — Завтра же пусть уезжает!

— Да ладно тебе!.. Сонь...

— Не ладно! Не ладно! Пусть не дожидается — выкину его чемодан к чертовой матери, и все!

Чудик поспешил сойти с крыльца... А дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, за-

чем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.

— Да почему же я такой есть-то? — горько шептал он, сидя в сарайчике. — Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества.

Он досидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.

— Вот... — сказал он. — Это... опять расшумелась. Коляску-то... не надо бы уж.

— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.

Брат Дмитрий вздохнул... И ничего не сказал.

Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:

Тополя-а-а, тополя-а...

С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них вздувались и лопались пузыри.

В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.

Звали его — Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.

МИЛЬ ПАРДОН, МАДАМ!

Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:

— А вот Бронька Пупков... он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь, — и как-то странно улыбаются.

Бронька (Бронислав) Пупков, еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука — отстрелено два пальца — не с фронта: парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался и — один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца — указательный и средний — принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

— Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.

Хотел крест поставить, отец не дал.

Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») — зла ни на кого не таил. Легко жил.

Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он был готов — хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.

Городские не скупились на водку; иногда давали деньжат, а если не давали, то и так ничего.

— На сколь? — деловито спрашивал Бронька.

— Дня на три.

— Все будет, как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.

Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди — уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.

В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу.

Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился... И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал.

— Что это с вами? — спрашивали.

— Так, —отвечал он. — Где будем отвальную соображать? На бережку?

— Можно на бережку.

...Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. По-

ка варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали.

Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал...

— На фронте приходилось бывать? — интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.

— Это с фронта у вас? — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку.

— Нет. Я на фронте санитаром был. Да... Дела-делишки... — Бронька долго молчал. — Насчет покушения на Гитлера не слышали?

— Слышали.

— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

— Да.

— Нет. Про другое.

— А какое еще? Разве еще было?

— Было, — Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. — Прошу плеснуть, — выпивал. — Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла, — Бронька показывал кончик мизинца.

— Когда это было?

— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года, — Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

— А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

— Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

— Я стрелял, — вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза... И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывая палочкой отскочившие угольки в костер... Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

— Вы серьезно?

— А как вы думаете? Что, я не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю. Знаю, дорогие товарищи.

— Да ну, ерунда какая-то...

— Где стреляли-то? Как?

— Из браунинга... Вот так — нажал пальчиком и — пук! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал.

Недоверчивые люди терялись.

— А почему об этом никто не знает?

— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете... В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

— Это что-то смахивает на...

— Погоди. Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.

— Разболтаете ведь?

Опять замешательство.

— Не разболтаем...

— Честное партийное?

— Да не разболтаем! Рассказывайте.

— Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знаете какой... Пойдут трепать языком.

— Да все будет в порядке! — людям уже не терпелось послушать. — Рассказывайте.

— Прошу плеснуть, — Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым. — Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Кха! Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать... Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату... А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая — в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит:

— Погоди-ка, санитар, не уходи.

Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтоб я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.

Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду, но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверка-

ет, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим.

— Ну, перевязали генерала... Доктор ему: «Вам надо полежать!» — «Да пошел ты!» — отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их — не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня расспрашивает: откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я подробно все объясняю: родом оттуда-то (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо, — говорит генерал. — Стреляешь метко?». Да, говорю, чтоб зря не трепаться: на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А насчет классов, мол, не густо: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. Ну, ничего, говорит, там высшего образованья не потребуется. А вот если, говорит, ты нам погасишь о́дну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь.

Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда, мол! Вековечные сибирские... Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бий-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня...

— Откуда у вас такое имя — Бронислав?

— Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году...

— Где это? Куда сопровождали?

— А в город. Мы его взяли, а вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб — веди.

— А почему, хорошее ведь имя?

— К такому имю надо фамилию подходящую. А я — Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так — смех. А вон у нас — Ванька Пупков, — хоть бы што.

— Да, так что же дальше?

— Дальше, значит, так. Где я остановился?

— Генерал расспрашивает...

— Да. Ну, расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито

Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо».

— А при чем тут вы?

— Кто с перебивом, тому — с перевивом. Прошу плеснуть. Кха! Поясняю: я похож на того гада как две капли воды. Ну, и — начинается житуха, братцы мои! — Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг. — Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев... Один — в звании старшины, а я — рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги. Подает. Приказ — ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку...

— Какую?

— Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. По истечении пятьдесят лет — можно. Прошло только... — Бронька шевелил губами — считал. — Прошло двадцать пять. Но это — само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь — завтрак: на первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, а я его кэк шугану!.. Он несет спирт, его в госпитале навалом. Сам беру разбавляю, как хочу, а портвейный — ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал. «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! Давай, говорит. С богом, говорит. Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись! Я говорю, если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов, шла пехота, а спереди — мощный лобовой удар танками.

Глаза у Броньки сухо горят, как угольки, поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет — забыл.

Блики огня играют на его суховатом правильном лице — он красив и нервен.

— Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! — Бронька встает. — Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов... Я быстро ориентируюсь: где Гитлер? — Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну...

— Сердце вот тут... горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил куда стрелять, — в усики. Я делаю рукой «Хайль Гитлер!». В руке у меня большой пакет, в пакете — браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо ручкой — миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьюрэр! — Бронька сглотнул. — И тут... вышел он. Меня как током дернуло... Я вспомнил свою далекую родину... Мать с отцом... Жены у меня тогда еще не было... — Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху... — Знаете, бывает, вся жизнь промелькнет в памяти... С медведем нос к носу — тоже так. Кха!.. Не могу! — Бронька плачет.

— Ну? — тихо просит кто-нибудь.

— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»... Он улыбался. И тут я рванул пакет... Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. — Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. — Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!! — это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина... И шепот, торопливый, почти невнятный: — Я стрелил... — Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит:

— Я промахнулся.

Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь — нехорошо.

— Прошу плеснуть, — тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.

...Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».

Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается:

— Чего как пес побитый плетешься? Опять!..

— Пошла ты!.. — вяло огрызается Бронька. — Дай пожрать.

— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! — орет жена. — Ведь от людей уж прохода нет!..

— Значит, сиди дома, не шляйся.

— Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудют когда-нибудь! За искажение истории...

— Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.

— Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты неумытая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу! — в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..

Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко с силой:

— Миль пардон, мадам... Счас ведь врежу!..

Жена хлопала дверью, уходила прочь — жаловаться на своего «лесного скота».

Зря она говорила, что Броньке — все равно. Нет. Он тяжело переживал, страдал, злился... И дня два пил дома. За водкой в лавочку посылал сынишку-подростка.

— Никого там не слушай, — виновато и зло говорил сыну. — Возьми бутылку и сразу домой.

Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры... Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно:

— Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..

Потом выпивал в лавочке «банку», маленько сидел на крыльце — чтобы «взяло», вставал, засучивал рукава и объявлял громко:

— Ну, прошу!.. Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..

А стрелок он был правда редкий.

ЗЕМЛЯКИ

Ночью перепал дождь. Погремело вдали... А утро встряхнулось, выгнало из туманов светило; заструилось в трепетной мокрой листве текучее серебро. Туманы, накопившиеся в низинах, нехотя покидали землю, поднимались кверху.

Стариковское дело — спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел.

И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы!

Шагал по мокрой дороге седой старик. Шагал покосить травы коровенке.

Деревня осталась позади за буграми. Место, куда направлялся он, называлось кучугуры. Это такая огромная всхолмленная долина — предгорье. Выйдешь на следующий бугор — видно всю долину. А долину с трех сторон обступили молчаливые горы. Вольный зеленый край. Здесь издавна были покосы.

На «лбах» и «гривах» тра́вы — коню по брюхо. Внизу — согры, там прохладно, в чащобе пахнет прелым. Там бьют из земли, из ржавой, жирной, светлые студеные ключи. И вкусна та вода! Тянет посидеть там; сумрачно и зябко, и грустно почему-то, и одиноко. Конечно, есть люди, которым не все равно: есть ты или нет... Но ведь... что же? Тут сам не пой-

мешь: зачем дана была эта непосильная красота? Что с ней было делать?.. Ведь чего и жалко-то: прошел мимо — торопился, не глядел.

А выйдешь на свет — и уж жалко своей же грусти, кажется, вот только вошло в душу что-то предрассветно-тихое, нежное; но возрадуешься, понесешь, чтобы и впредь тоже радоваться, и — нет, думы всякие сбивают, забываешь радоваться.

Выше поднималось солнце. Туманы поднялись и рассеялись. Легко парила земля. Испарина не застила свет, она как будто отнимала его от земли и тоже уносила вверх.

Листья на березах в околках пообсохли, но еще берегли умытую молодую нежность — жарко блестели. Огромную тишину утра тонко просвистывали невидимые птицы.

Все теплей становится. Тепло стекает с косогоров в волглые еще долины; земля одуряюще пахнет обилием зеленых своих сил.

Старик прибавил шагу. Но не так, чтобы уже в ходьбе устать. Сил оставалось мало, приходится жалеть.

Он ходил, ездил по этой дороге много — всю жизнь. Знал каждый поворот ее, знал, где приотпустить коня, а где придержать, чтобы и он тоже в охотку с утра не растратился, а потом работал бы вполсилы. Теперь коня не было. Он помнил всех своих коней, какие у него перебыли за жизнь, мог бы рассказать, если бы кому-нибудь захотелось слушать, про характер и привычки каждого. Особенно жалко последнего: он не продал его, не обменял, не украли его цыгане — он издох под хозяином.

Было это в тридцать третьем году. Старик (тогда еще не старик, а справный мужик Анисим Квасов (Анисимка, звали его) был уже в колхозе, работал объездным на полях. Случился тогда большой голод. Ели лебеду, варили крапиву, травились зимовалым зерном, которое подметали вениками на токах. Ждали нового урожая; надо было еще прожить лето. Вся надежда на коров: молоком отпаивали опухших детей.

И вот как-то, в покос тоже, пастух деревенский, слабый мужичонка, совсем ослаб, гоняясь за коровами, упал без сознания. Сколько он там пролежал, бог его знает, говорил потом — долго. Коровы тем временем зашли на клевер...

Поздно вечером пригнал он их в деревню, раздувшихся, закричал первым встречным: «Спасайте, они клевера обожрались!». Что тут началось!.. Бабы завыли, мужики всполошились, схватили бичи и стали гонять коров по улицам. Беда пришла, стон стоял в деревне. Коровы падали, люди тоже задыхались, тоже падали. У Анисима был конь (когда Анисима определили объездным, ему дали из колхоза бывшего его собственного мерина Мишку); Анисим, видя такое дело, вскочил на Мишку и стал тоже гонять коров. Всю ночь вываживали коров. К утру Мишка захрипел под Анисимом и пал на передние ноги. Сколько ни бился Анисим, мерин не вернулся к жизни. Анисим плакал, убивался над конем... Его обвинили во вредительстве, и он сидел месяца полтора в районной каталажке. Потом ничего, обошлось.

Вот наконец и делянка старика: пологая логовинка недалеко от дороги, внизу согра с ключом.

Солнце поднялось в ладонь уже; припоздал.

Наскоро перекусив малосольным огурцом с хлебом, старик отбил литовку, повжикал камешком по жалу.

Нет милее работы — косьбы. И еще: старик любил косить один. Чего только не передумаешь за день!

Сочно, посвистывая, сечет коса; вздрагивает, никнет трава. Впереди шагах в трех подняла голову змея... И потекла по траве, поблескивая гибким омерзительным телом своим. Опять воспоминание: раз, парнишкой еще, ехал он на коне хорошей рысью. Внезапно, почуяв или увидев змею, конь прыгнул вбок. Анисимки как век не было на коне — упал. И прямо задницей на змею. Неделю потом поно́сило («гвоздем летело»).

Память все выталкивает и выталкивает из глубины прожитой жизни светлые, милые сердцу далекие дни. Так в мутной, стоялой воде тихого озера бьют со дна чистые родники. Вот — змеи... Был тогда на деревне дед Куделька. Он говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею — сорок грехов долой. А если змею бросить в огонь, то можно увидеть на брюхе ее ножки — много-много. И ребятня азартно снимала с себя грехи. И жгли змей, и правда, когда она прыгала в костре, на брюхе у нее что-то такое мелькало — белое,

мелкое и много. Ребятишки орали: «Видишь! Вот они!». Все видели ножки.

До обеда, как трава совсем обсохла, старик косил. Солнце поджигало; на голову точно горячий блин положили.

— Слава богу! — сказал старик, глядя на выкошенную плешину: отхватил изрядно. На душе было радостно.

Он пошел в шалашик, который сделал себе загодя, когда приходил проведать травы. Теперь можно хорошо, не торопясь поесть.

В шалаше теплый резкий дух вялой травы. Звенит где-то крохотная пронзительная мушка; горячую тишину наполняет неутомимый, ровный, сухой стрекот кузнечиков. Да с неба еще льются и скользят серебряные жавороньи сверлышки.

Хорошо! Господи, как хорошо!.. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал: вот — хорошо. Это когда нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то хорошо». А когда нам хорошо, мы не думаем: «А где-то кому-то плохо». Хорошо нам, и все.

Старик расстелил на траве стираную тряпочку, разложил огурцы, хлеб, батунок мытый... Пошел к ключу: там в воде стояла бутылка молока, накрепко закупоренная тряпочной пробкой. Склонился к ручью, оперся руками в сырой податливый бережок, долго, без жадности пил. Видел, как по ржавому дну гоняются друг за другом крохотные светлые песчинки.

«Как живые», — подумал старик. С трудом поднялся, взял бутылку и пошел к шалашу. А там, у шалашика, сидит на пеньке старик в шляпе и с палочкой. Покуривает.

— Доброго здоровья, — приветствовал старик в шляпе. — Увидел — человек, присел отдохнуть. Возражений нет?

— Чего ж? — сказал Анисим. — Давай сюда, тут все же маленько не так жарит.

— Жарко, да, — старик в шляпе вошел тоже в шалашик, сел на траву. — Жарковато.

«В добрых штанах-то... зеленые будут», — подумал Анисим.

— Хошь, садись со мной? — пригласил он.

— Спасибо, я поел недавно, — старик в шляпе внимательно смотрел на Анисима, так что тому даже не по себе стало. — Косишь?

— Надо. Нездешний, видно?

— Здешний.

Анисим глянул на гостя и ничего не сказал.

— Не похож?

— Пошто? Теперь всякие бывают, — Анисим захрумкал огурцом... И уловил взгляд гостя: тот смотрел на нехитрую крестьянскую снедь на тряпочке. «Хочет, наверно».

— Подсаживайся, — еще раз сказал он.

— Ешь, тебе еще полдня работать. Робить.

— Да хватит тут!

Городской старик снял шляпу, обнаружив блестящую лысину, придвинулся, взял огурец, отломил хлеба.

— У тебя газеты нету? — спросил Анисим.

— Зачем? — удивился гость.

— Иззеленишь штаны-то. Штаны-то добрые.

— А-а... Да шут с ними. Ах, огурцы!..

— Што?

— Объеденье!

— Здешний, говоришь... Откуда?

— Тут близко...

Не верилось Анисиму, что гость из этих мест — не похоже действительно.

— Сейчас-то я не здесь живу. Родом отсюда.

— А-а. Погостить?

— Побывать надо на родине... Помирать скоро. Ты из какой деревни-то?

— Лебяжье. Вот по этой дороге...

— Один со старухой живешь?

— Ага.

— Дети-то есть?

— Есть. Трое. Да двоих на войне убило.

— Где эти трое-то? В городе?

— Один в городе, Колька. А девахи замужем... Одна в Чебурлаке, за бригадиром колхозным, другая — та подальше, — не сказал, что другая замужем не за русским. — Была Нинка-то по весне. Ребятишки большие уж.

— А Колька-то в каком городе?

— Да он — и в городе, и не в городе: работа у его какая-то непутевая, вечно ездит: железо ищет.

— А какой город-то?

— В Ленинграде. Пишет нам, деньги присылает... Так-то хорошо живет. Хочет тоже приехать, да все не выберется. Может, приедет.

Городской старик отпил немного молока, вытер платком губы.

— Спасибо. Хорошо поел.

— Не за што.

— Косить пойдешь?

— Нет, обожду маленько. Пусть свалится маленько.

— Колька-то с какого года? — спросил еще гость,

— С двадцатого, — тут только Анисим подумал: «А чего это он выспрашивает-то все?». Посмотрел на гостя.

Тот невесело как-то, но и не так чтобы уж совсем печально усмехнулся.

— Вот так, земляк, — сказал.

«Чудной какой-то, — подумал Анисим. — Старый — чудить-то».

— Здоровьем-то как? — все пытал городской.

— Бог милует пока... Голова болит. У нас полдеревни головами маются, молодые даже.

— Из родных-то есть кто-нибудь? Братья, сестры...

— Нет, давно уж...

— Умерли?

— Сестры умерли, брат ишо с той войны не пришел.

— Погиб?

— Знамо. Пошто с войны не приходют?

Городской закурил. Синяя слоистая струйка дыма потянулась к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она была отчетливо видна, а на светлой воле сразу куда-то девалась, хоть ветерка — ни малого дуновения — не было. Звенели кузнечики; посвистывали, шныряя в кустах, птахи; роняли на теплую грудь земли свои нескончаемые трели хохлатые умельцы.

По высокой травинке у входа в шалаш взбиралась вверх божья коровка. Лезла упорно, бесстрашно... Старики загляделись на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком над травами.

— Вот и прожили мы свою жизнь, — негромко сказал городской старик.

Анисим вздохнул: до странного показалась знакомой эта фраза. Не фраза сама, а то, как она была сказана: так говорил отец, когда задумывался: с еле уловимой усмешкой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы: «Мать твою так-то». Ласково.

— Не грустно, земляк?

— Грусти не грусти — што толку?

— Што-то должно помогать человеку в такое время?

— У тебя болит, што ль, чего?

— Душа. Немного. Жалко... не нажился. Не устал. Не готов, так сказать.

— Хэх!.. Да разве ж когда наживесся? Кому охота в ее, матушку, ложиться.

— Есть же самоубийцы...

— Это хворые. Бывает: надорвется человек, с виду вроде ничего ишо, а снутри — не жилец. Пристал.

— И не додумал чего-то... А сам понимаю, глупо: что отпущено было, давно все додумал, — городской помолчал. — Жалко покоя вот этого... Суетился много. Но место надо уступать. А?

— Надо. Хэх!.. Надо.

— А так бы и пристроился где-нибудь, чтобы и забыли про тебя, и так бы лет двести! А? — старик засмеялся весело. Что-то опять до беспокойства знакомое проскользнуло в нем — в смехе. — Чтоб так и осталось все. А?

— Надоест, поди.

— Да вот все никак не надоест!

— А ты заранься-то не думай про ее — не будешь страшиться. А придет — ну придет... Сколько там похвораешь! В неделю люди сворачиваются.

— Да...

— Ты вот вперед загадываешь, а я беспречь назад оглядываюсь — тоже плохо. Расстройство одно.

— Вспоминаешь?

— Но.

— Это хорошо.

— Хорошо, а все душу тревожишь. Зачем?

— Нет, это хорошо. Что же вспоминается? Детство?

— Больше — детство.

— Расскажи чего-нибудь! Хулиганили?

— Брат у меня был, Гринька, тот прокуда был, — Анисим улыбнулся, вспомнив. — Откуда чего бралось!.. И на войне-то, наверно, вперед других выскочил...

— Что же он вытворял? — живо заинтересовался городской старик. — Расскажи-ка... Пожалуйста, пока отдыхаешь.

— Хэх!.. — Анисим покачал головой, долго молчал. — Шельма был. Один раз поймал нас у себя в огороде сосед наш, Егор Чалышев, ну — выпорол. За дело, конечно: не пакости. Арбузишки-то зеленые ишо, мы их больше портили, чем ели. Ночью-то не видно: об коленку его — куснешь, зеленый — в сторону. Да. Выпорол с сердцем. Потом ишо отец добавил. Гриньку злость взяла. И чево придумал: взял пузырь свинячий — свинью тогда как раз резали, — растер его в золе... Знаешь, как пузыри-то делают?

— Знаю.

— Вот. Высушил, надул, нарисовал на ем морду страшенную... — Анисим засмеялся. — Где он такую харю видал?.. Ну, дождались мы ночи, подкрались тихонько к Егору на крыльцо, привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь тот... Утром Егор открыл дверь-то — на улицу выходит, — а ему прям в лицо харя-то эта глянула... Мужик чуть в штаны не наворотил. Захлопнул дверь да в избу. Да давай в трубу орать: «Караул! У меня черт на крыльце!».

Городской старик громко захохотал. До слез досмеялся.

— Трухнул мужичок. А? Ха-ха!..

— Да, так Егора потом и звали: «Егорка, черт на крыльце!». А раз — мы уж побольше были — на покосе тоже... Миколай Рогодин — хитрый был мужик, охотник до чужого — и говорит вечером: «Гринька, — говорит, — подседлай какого-нибудь коня, хошь моёва, дуй в деревню, насшибай кур у кого-нибудь. Курятинки охота». Гринька, недолго думая, подседлал коня — и в деревню. Через недолго время привозит пяток кур с открученными головами. Мы все радешеньки. Заварили их тут же... Ну, и умели в охотку. А Миколай ел да прихваливал: молодец, мол, Гринька! А Гринька ему: «Ешь, дядя Миколай! Ешь, как своих».

Оба старика от души посмеялись. Городской закурил.

— Поматерился же он потом!.. А што сделаешь? — сам послал.

— Да... — городской старик вытер глаза. Задумался.

Долго молчали, думая каждый свое. А жизнь за шалашом все звенела, накалялась, все отрешеннее и непостижимее обнажала свою красу под солнцем.

— Ну, пойду с богом... — сказал Анисим. — Маленько вроде схлынуло,

— Жарко еще...

— Ничего.

— Корову-то обязательно надо держать?

— Как же?

Анисим взял литовку, подернул ее бруском. Поглядел на ряды кошенины — неплохо с утра помахал. А городской старик смотрел на него... Внимательно. Грустно.

— Ну, пойду, — еще раз сказал Анисим.

— Ну, давай, — сказал городской. — Ну и... прощай, — посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму, ничего больше не сказал, пожал крепко руку и скоро пошел в гору, к дороге. Вышел к дороге, оглянулся, постоял и пошел. И пропал за поворотом.

Старик косил допоздна.

Потом пошел домой.

Дома старуха с нетерпением — видно было — ждала его.

— К нам какой-то человек приезжал! — сказала она, едва старик показался в воротчиках. — На длинной автонобиле. Тебя спрашивал. Где, говорит, старик твой?

Анисим сел на порожек, опустил на землю узелок свой...

— В шляпе? Старый такой...

— В шляпе. В кустюме такой... Как учитель.

Старик долго молчал, глядя в землю, себе под ноги. Теперь-то вот и вспомнилась та странная схожесть, что удивила давеча днем. Теперь-то она и вспомнилась! Только... неужели же?!

— Не Гринька ли был-то? Ты ничего не заметила?

— Господь с тобой!.. С ума спятил. С того света, што ли?

С бабой лучше не говорить про всякие догадки души — не поймет. Ей, дуре, пока она молодая, неси, не стыдись самые дурацкие слова — верит; старой — скажи попробуй про самую свою нечаянную думу, —сам моментально дураком станешь.

— Уехал он?

— Уехал. Этто после обеда пошла...

«Неужто Гринька? Неужто он был?»

Всю ночь старик не сомкнул глаз. Думал. К утру решил: нет, похожий.

Мало ли похожих! Да и что бы ему не признаться? Может, душу не хотел зазря бередить? Он смолоду чудной был...

«Неужто Гринька?»

Через неделю старикам пришла телеграмма:

«Квасову Анисиму Степановичу.

Ваш брат Григорий Степанович скончался двенадцатого. Просил передать. Семья Квасова».

Брат был. Гринька.

ДАЕШЬ СЕРДЦЕ!

Дня за три до Нового года, глухой морозной ночью, в селе Николаевке, качнув стылую тишину, гулко ахнули два выстрела. Раз за разом... Из крупнокалиберного ружья. И кто-то крикнул:

— Даешь сердце!

Эхо выстрелов долго гуляло над селом. Залаяли собаки.

Утром выяснилось: стрелял ветфельдшер Александр Иванович Козулин.

Ветфельдшер Козулин жил в этом селе всего полгода. Но даже когда он только появился, он не вызвал у николаевцев никакого к себе интереса. На редкость незаметный человек. Лет пятидесяти, полный, рыхлый... Ходил, однако, скоро. И смотрел вниз. Торопливо здоровался и тотчас опускал глаза. Разговаривал мало, тихо, неразборчиво и все как будто чего-то стыдился. Точно знал про людей какую-то тайну и боялся, что выдаст себя, если будет смотреть им в глаза. Не из страха за себя, а из стыда и деликатности. Он даже бабам не понравился, хоть они уважают мужиков трезвых и тихих. Еще не нравилось, что он — одинок. Почему одинок, никто

не знал, но только это нехорошо — в пятьдесят лет ни семьи, никого.

И вот этот-то человек выскочил за полночь из дома и дважды саданул из ружья в небо. И закричал про сердце.

Недоумевали.

В полдень на ветучасток к Козулину приехал грузный, с красным, обветренным лицом участковый милиционер.

— Здравствуй, товарищ Козулин!

Козулин удивленно посмотрел на милиционера.

— Здравствуйте.

— Надо будет... это... проехать в сельсовет. Протокол составить.

Козулин виновато поискал что-то глазами на полу...

— Какой протокол? Для чего?

— Что?

— Протокол-то зачем? Я не понял.

— Стреляли вчера? Вернее, ночью.

— Стрелял.

— Вот надо протокол составить. Предсельсовета хочет это... побеседовать с вами. Чего стрельбу-то открыли? Испугались, что ль, кого?

— Да нет... Победа большая в науке, я отсалютовал.

Участковый с искренним интересом, весело смотрел на фельдшера.

— Какая победа?

— В науке.

— Ну?

— Я отсалютовал. А что тут такого? Я — от радости.

— Салют в Москве производят, — назидательно пояснил участковый. — А здесь — это нарушение общественного порядка. Мы боремся с этим.

Козулин снял халат, надел пальто, шапку и видом своим показал, что он готов ехать объясняться.

У ворот ветучастка стоял мотоцикл с коляской.

Предсельсовета ждал их.

— Это, оказывается, ночью-то, салют был, — заговорил участковый и опять весело посмотрел на Козулина. — Мне вот товарищ Козюлин объяснил...

— Козулин, — поправил фельдшер.

— А?

— Правильно — Козулин.

— А какая раз... А-а! — понял участковый и засмеялся. И тяжело сел в большое кожаное кресло. И вынул из планшета бланк протокола. — Извиняюсь, я без умысла.

Председатель скрипнул хромовыми сапогами, поправил рукой ремень гимнастерки (из другого рукава свисала аккуратная лакированная ладонь протеза), пригласил фельдшера:

— Садись, товарищ Козулин.

Козулин тоже сел в глубокое кресло.

— Так что случилось-то? Почему стрельба была?

— Вчера в Кейптауне человеку пересадили сердце, — торжественно произнес Козулин. И замолчал. Председатель и участковый ждали — что дальше? — От мертвого человека — живому, — досказал Козулин.

У участкового вытянулось лицо.

— Что, что?

— Живому человеку пересадили сердце мертвого. Трупа.

— Что, взяли выкопали труп и...

— Да зачем же выкапывать, если человек только умер! — раздраженно воскликнул Козулин. — Они оба в больнице были, но один умер...

— Ну, это бывает, бывает, — снисходительно согласился председатель, — пересаживают отдельные органы. Почки... и другие.

— Другие — да, а сердце впервые. Это же — сердце!

— Я не вижу прямой связи между этим... патологическим случаем и двумя выстрелами в ночное время, — строго заметил председатель.

— Я обрадовался... Я был ошеломлен, когда услышал, мне попалось на глаза ружье, я выбежал во двор и выстрелил...

— В ночное время.

— А что тут такого?

— Что? Нарушение общественного порядка трудящихся.

— Во сколько это было? — строго спросил участковый.

— Не знаю точно. Часа в три.

— Вы что, до трех часов радио слушаете?

— Не спалось, слушал...

Участковый многозначительно посмотрел на председателя.

— Какая это Москва в три часа говорит? — строго спросил он.

— «Маяк».

— «Маяк» всю ночь говорит, — подтвердил председатель, но внимательно смотрел на фельдшера. — Кто вам дал право в три часа ночи булгатить село выстрелами?

— Простите, не подумал в тот момент... Я — шизя.

— Кто? — не понял милиционер.

— Шизя. На меня, знаете, находит... Теряю самоконтроль, — фельдшер как бы в раздумье потрогал лоб, потом глаза — пальцами. — Ширво коло ширво... Зубной порошок и прочее.

Милиционер и председатель недоуменно переглянулись.

— Простите, — еще раз сказал фельдшер.

— Да мы-то простим, товарищ Козулин, — участливо произнес председатель, — а вот как трудящиеся-то? Им, некоторым, вставать в пять утра. Вы же человек с образованием, вы же должны понимать такие вещи.

— Кстати, — по-доброму оживился участковый, — а чего вы-то салютовать кинулись? Ведь это не по вашей части победа-то, — вы же ветеринар. Не кобыле же сердце пересадили.

— Не смейте так говорить! — закричал вдруг фельдшер. И покраснел. Помолчал и тихо и горько спросил: — Зачем вы так?

Некоторое время все молчали. Первым заговорил председатель.

— Горячиться не надо. Конечно, это большое достижение ученых. Дело не в том, кому пересадили, все мы, в конце концов, животный мир, важно само достижение. Тем более, что это произошло на человеке. Но, товарищ Козулин, еще раз говорю вам: эта ваша самодеятельность с салютом в ночное время — грубое нарушение покоя. Мало ли еще будет каких достижений! Вы нам всех граждан психопатами сделаете. Раз и навсегда запомните это. Кстати, как у вас с дровами?

Фельдшер растерялся от неожиданного вопроса.

— Спасибо, пока есть. У меня пока все есть. Мне здесь хорошо, — фельдшер мял в руках шапку, хмурился. Ему было стыдно за свой выкрик. Он посмотрел на участкового. — Простите меня — не сдержался...

Участковый смутился.

— Да ну, чего там...

Председатель засмеялся.

— Ничего. Кто, как говорят, старое помянет, тому глаз вон.

— Но кто забу-удет, — шутливо погрозил участковый, — тому два долой! Протокол составлять не будем, но запомним. Так, товарищ Козулин?

— При чем тут протокол, — сказал председатель. — Интеллигентный товарищ...

— Интеллигентный-то интеллигентный... а дойдет до наших в отделении...

— Мы вас не задерживаем, товарищ Козулин, — сказал председатель. — Идите работайте. Заходите, если что понадобится.

— Спасибо, — фельдшер поднялся, надел шапку, пошел к выходу.

На пороге остановился... Обернулся. И вдруг сморщился, закрыл глаза и неожиданно громко — как перед батальоном — протяжно скомандовал:

— Рр-а-вняйсь! С'ирра-а!

Потом потрогал лоб и глаза и сказал тихо:

— Опять нашло... До свидания, — и вышел.

Милиционер и председатель еще некоторое время сидели, глядя на дверь. Потом участковый тяжело перевалился в кресле к окну, посмотрел, как фельдшер уходит по улице.

— У нас таких звали: контуженный пыльным мешком из-за угла, — сказал он.

Председатель тоже смотрел в окно.

Ветфельдшер Козулин шел, как всегда, скоро. Смотрел вниз.

— Ружье-то надо забрать у него, — сказал председатель. — А то черт его знает...

Участковый хэкнул.

— Ты что, думаешь, он правда «с приветом»?

— А что?

— Придуривается! Я по глазам вижу...

— Зачем? — не понял председатель. — Для чего ему? Сейчас-то?..

— Ну, как же — никакой ответственности. А вот спроси сейчас справку — нету. Голову даю на отсечение: никакой

справки, что он шизя, нету. А билет есть. Ты говоришь: ружье... У него наверняка охотничий билет есть. Давай на спор: сейчас поеду, проверю — билет есть. И взносы уплачены. Давай?

— Все же я не пойму: для чего ему надо на себя наговаривать?

Участковый засмеялся.

— Да просто так — на всякий случай. Мало ли — коснись: что, чего? — я шизя. Знаем мы эти штучки!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЬ-СТАРУШКА...

А были у него хорошие времена. В войну. Он ходил по деревне, пел. Водила его Матрена Кондакова, сухая, на редкость выносливая баба, жадная и крикливая. Он называл ее — супружница.

Обычно он садился на крыльцо сельмага, вынимал из мешка двухрядку русского строя, долго и основательно устраивал ее на коленях, поправлял ремень на плече... Он был, конечно, артист. Он интриговал слушателей, он их готовил к действу. Он был спокоен. Незрячие глаза его (он был слепой от роду) «смотрели» куда-то далеко-далеко. Наблюдать за ним в эту минуту было интересно. Матрена малость портила торжественную картину — суетилась, выставляла на крыльце алюминиевую кружку для денег, зачем-то надевала на себя цветастую кашемировую шаль, которая совсем была не к лицу ей, немолодой уж... Но на нее не обращали внимания. Смотрели на Ганю. Ждали. Он негромко, сдержанно прокашливался, чуть склонял голову и, продолжая «смотреть» куда-то в даль, одному ему ведомую, начинал...

Песен он знал много. И все они были — про войну, про тюрьму, про сироток, про скитальцев... Знал он и «божественные», но за этим следили «сельсоветские». А если никого из «сельсоветских» близко не было, его просили:

— Гань, про безноженьку.

Ганя пел про безноженьку (девочку), которая просит ласкового боженьку, чтоб он приделал ей ноженьки. Ну — хоть во сне, хоть только чтоб узнать, как ходят на ноженьках...

Бабы плакали.

Матрена тоже вытирала слезы концом кашемировой шали. Может, притворялась, бог ее знает. Она была хитрая.

Пел Ганя про «сибулонцев» (заключенных сибирских лагерей) — как одному удалось сбежать; только он сбежать-то сбежал, а куда теперь — не знает, потому что жена его, курва, сошлась без него с другим.

Пел про «синенький, скромный платочек»...

Слушали, затаив дыхание. Пел Ганя негромко, глуховатым голосом, иногда (в самые захватывающие моменты) умолкал и только играл, а потом продолжал. Разные были песни.

В воскресенье мать-старушка
К воротам тюрьмы пришла,
Своему родному сыну
Передачку принесла.

Оттого, что Ганя все «смотрел» куда-то далеко и лицо его было скорбное и умное, виделось, как мать-старушка подошла к воротам тюрьмы, а в узелке у нее — передачка: сальца кусочек, шанежки, яички, соль в тряпочке, бутылка молока...

Передайте передачку,
А то люди говорят:
Заключенных в тюрьмах много —
Сильно с голоду морят.

Бабы, старики, ребятишки как-то все это понимали — и что много их там, и что морят. И очень хотелось, чтоб передали тому несчастному «сидельцу», сыну ее, эту передачку — хоть поест, потому что в «терновке» (тюрьме), знамо дело, несладко. Но...

Ей привратник усмехнулся:
«Твоего тут сына нет.
Прошлой ночью был расстрелян
И отправлен на тот свет».

Горло сжимало горе. Завыть хотелось... Ганя понимал это. Замолкал, И только старенькая гармошка его с медными уголками все играет и играет. Потом:

Повернулась мать-старушка,
От ворот тюрьмы пошла...
И никто про то не знает —
На душе что понесла.

Как же не знали — знали! Плакали. И бросали в кружку пятаки, гривенники, двадцатики. Матрена строго следила, кто сколько дает. А Ганя сидел, обняв гармошку, и все «смотрел» в свою далекую, неведомую даль. Удивительный это был взгляд, необъяснимо жуткий, щемящий душу.

Потом война кончилась. Вернулись мужики, какие остались целые... Стало шумно в деревнях. А тут радио провели, патефонов понавезли — как-то не до Гани стало. Они еще ходили с Матреной, но слушали их плохо. Подавали, правда, но так — из жалости, что человек — слепой, и ему надо как-то кормиться. А потом и совсем вызвали Ганю в сельсовет и сказали:

— Назначаем тебе пенсию. Не шляйся больше.

Ганя долго сидел молча, смотрел мимо председателя...

Сказал:

— Спасибо нашей дорогой Советской власти.

И ушел.

Но и тогда не перестал он ходить, только — куда подальше, где еще не «провели» это «вшивое радиво».

Но чем дальше, тем хуже и хуже. Молодые, те даже подсмеиваться стали.

— Ты, дядя... шибко уж на слезу жмешь. Ты б чего-нито повеселей.

— Жиганье, — обиженно говорил Ганя. — Много вы понимаете!

И укладывал гармошку в мешок, и они шли с Матреной дальше... Но дальше — не лучше.

И Ганя перестал ходить.

Жили они с Матреной в небольшой избенке под горой. Матрена занималась огородом. Ганя не знал, что делать. Стал попивать. На этой почве у них с Матреной случались ругань и даже драки.

— Глот! — кричала Матрена. — Ты вот ее пропьешь, пензию-то, а чем жить будем?! Ты думаешь своей башкой дырявой, или она у тебя совсем прохудилась?

— Закрой варежку, — предлагал Ганя. — И никогда не открывай.

— Я вот те открою счас — шумовкой по калгану!.. черт слепошарый.

Ганя бледнел.

— Ты мои шары не трожь! Не ты у меня свет отняла, не тебе вякать про это.

Вообще стал Ганя какой-то строптивый. Звали куда-нибудь: на свадьбу поиграть — отказывался.

— Я не комик, чтоб пляску вам наигрывать. Поняли? У вас теперь патефоны есть — под их и пляшите.

Пришли раз молодые из сельсовета (наверно, Матрена сбегала, пожаловалась), заикнулись:

— Вы знаете, есть ведь такое общество — слепых...

— Вот и записывайтесь туда, — сказал Ганя. — А мне и тут хорошо. А этой... моей... передайте: если она ишо по сельсоветам бегать будет, я ей ноги переломаю.

— Почему вы так?

— Как?

— Вам же лучше хотят...

— А я не хочу! Вот мне хотят, а я не хочу! Такой я... губошлеп уродился, что себе добра не хочу. Вы мне пензию платите — спасибо. Больше мне ничего от вас не надо. Чего мне в тем обчестве делать? Чулки вязать да радиво слушать?.. Спасибо. Передайте им всем там от меня низкий поклон.

...Один только раз встрепенулся Ганя душой, оживился, помолодел даже...

Приехали из города какие-то люди — трое, спросили:

— Здесь живет Гаврила Романыч Козлов?

Ганя насторожился.

— А зачем? В обчество звать?

— В какое общество?.. Вы песен много знаете, нам сказали...

— Ну, так?

— Нам бы хотелось послушать. И кое-что записать...

— А зачем? — пытал Ганя.

— Мы собираем народные песни. Записываем. Песни не должны умирать...

Догадался же тот городской человек сказать такие слова!.. Ганя встал, заморгал пустыми глазами... Хотел унять слезы, а они текли, ему было стыдно перед людьми, он хмурился и покашливал и долго не мог ничего сказать.

— Вы споете нам?

— Спою.

Вышли на крыльцо. Ганя сел на приступку, опять долго устраивал гармонь на коленях, прилаживал поудобней ремень на плече. И опять «смотрел» куда-то далеко-далеко, и опять лицо его было торжественное и умное. И скорбное, и прекрасное.

Был золотой день бабьего лета, было тепло и покойно на земле. Никто в деревне не знал, что сегодня, в этот ясный погожий день, когда торопились рубить капусту, ссыпать в ямы картошку, пока она сухая, сжигать на огородах ботву, пока она тоже сухая, никто в этот будничный, рабочий день не знал, что у Гаврилы Романыча Козлова сегодня — праздник.

Пришла с огорода Матрена.

Навалился на плетень соседский мужик, Егор Анашкин... С интересом разглядывали городских, которые разложили на крыльце какие-то кружочки, навострились с блокнотами — приготовились слушать Ганю.

— Сперва жалобные или тюремные? — спросил Ганя.

— Любые.

И Ганя запел... Ах, как он пел! Сперва спел про безноженьку. Подождал, что скажут. Ждал напряженно и «смотрел» вдаль.

— А что-нибудь такое... построже... Нет, это тоже хорошая! Но... что-нибудь — где горе настоящее...

— Да рази ж это не горе — без ног-то? — удивился Ганя.

— Горе, горе, — согласились. — Словом, пойте, какие хотите.

Как на кладбище
Митрофановском
Отец дочку родную убил, —

запел Ганя. И славно так запел, с душой.

— Это мы знаем, слышали, — остановили его.

Ганя растерялся.

— А чего же тогда?

Тут эти трое негромко заспорили: один говорил, что надо писать все, двое ему возражали: зачем?

Ганя напряженно слушал и все «смотрел» туда куда-то, где он, наверно, видел другое — когда слушали его и не спорили, слушали и плакали.

— А вот вы говорили — тюремные. Ну-ка тюремные.

Ганя поставил гармонь рядом с собой. Закурил.

— Тюрьма — это плохое дело, — сказал он. — Не приведи господи. Зачем вам?

— Почему же?!

— Нет, люди хорошие, — будет. Попели, поиграли — и будет, — и опять жестокая строптивость сковала лицо.

— Ну просют же люди! — встряла Матрена. — Чего ты кобенисся-то?

— Закрой! — строго сказал ей Ганя.

— Ишак, — сказала Матрена и ушла в огород.

— Вы обиделись на нас? — спросили городские.

— Пошто? — изумился Ганя. — Нет. За что же? Каких песен вам надо, я их не знаю. Только и делов.

Городские собрали свои чемоданчики, поблагодарили Ганю, дали три рубля и ушли.

Егор Анашкин перешагнул через низенький плетень, подсел к Гане.

— А чего, правда, заартачился-то? — поинтересовался он. — Спел ба, может, больше бы дали.

— Свиней-то вырастил? — спросил Ганя после некоторого молчания.

— Вырастил, — вздохнул Егор. — Теперь не знаю, куда с имя деваться, черт бы их надавал. Сдуру тада — разрешили: давай по пять штук! А куда теперь? На базар — там без меня навалом, не один я такой...

Егор закурил и задумался.

— Эх ты, поросятинка! — вдруг весело сказал Ганя. — На-ка трешку-то — сходи возьми бутылочку. За здоровье свинок твоих... и чтоб не кручинился ты — выпьем.

МИКРОСКОП

На это надо было решиться. Он решился.

Как-то пришел домой — сам не свой — желтый; не глядя на жену, сказал:

— Это... я деньги потерял, — при этом ломаный его нос (кривой, с горбатинкой) из желтого стал красным. — Сто двадцать рублей.

У жены отвалилась челюсть, на лице появилось просительное выражение: может, это шутка? Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. Она глупо спросила:

— Где?

Тут он невольно хмыкнул.

— Дак если б я знал, я б пошел и...

— Ну не-ет!! — взревела она. — Ухмыляться ты теперь до-олго не будешь! — и побежала за сковородником. — Месяцев девять, гад!

Он схватил с кровати подушку — отражать удары (древние только форсили своими сверкающими щитами. Подушка!). Они закружились по комнате...

— Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать!..

— Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! Мои!..

— По рукам, слушай!..

— От-теньки-коротеньки!.. Кривенькие носики!

— По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень сяду! Тебе же хуже.

— Садись!

— Тебе же хуже...

— Пускай!

— Ой!

— От так!

— Ну, будет?

— Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая! Дятел... — тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама испугалась...

Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо смотрела на него: притворяется или правда больно? Решила, что — правда. Поставила сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причетом, с причетом:

— Ох, да за што же мне долюшка така-ая-а?.. Да копила-то я их, копила!.. Ох, да лишний-то раз кусочка белого не ела-а!.. Ох, да и детушкам своим пряничка сладкого не покупала!.. Все берегла-то я, берегла, скважина ты кривоносая-а!.. Ох-х!.. Каждую-то копеечку откладывала да радовалась: будут у моих детушек к зиме шубки теплые да

нарядные! И будут-то они ходить в школу не рваные да не холодные!..

— Где это они у тебя рваные-то ходют? — не вытерпел он.

— Замолчи, скважина! Замолчи. Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился... Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было.

— Спасибо на добром слове, — ядовито прошептал он.

— М-хх, скважина!.. Где был-то? Может, вспомнишь?.. Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под верстак положил да забыл?

— Где на работе!.. Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе...

— Ну, может, заходил к кому, скважина?

— Ни к кому не заходил.

— Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками?.. Вспомни. Может, выронил на пол... Беги, они пока ишо отдадут.

— Да не заходил я в ларек!

— Да где ж ты их потерять-то мог, скважина?

— Откуда я знаю?

— Ждала его!.. Счас бы пошли с ребятишками, примерили бы шубки... Я уж там подобрала — какие. А теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина...

— Да будет тебе! Заладила: скважина, скважина...

— Кто же ты?

— Што теперь сделаешь?

— Будешь в две смены работать, скважина! Ты у нас худой будешь... Ты у нас выпьешь теперь читушечку после бани, выпьешь! Сырой водички из колодца...

— Нужна она мне, читушечка. Без нее обойдусь.

— Ты у нас пешком на работу ходить будешь! Ты у нас покатаешься на автобусе.

Тут он удивился:

— В две смены работать и — пешком? Ловко...

— Пешком! Пешком — туда и назад, скважина! А где, так ишо побежишь — штоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз.

— В две не в две, а по полторы месячишко отломаю — ничего, — серьезно сказал он, потирая ушибленное место. — Я уж с мастером договорился... — он не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула

на него, поправился: — Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился.

— Ну-ка дай сберегательную книжку — потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько сказала: — Скважина.

С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при «Заготзерне», что в девяти километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена все злилась; он то и дело получал «скважину», сам тоже злился, но обзываться вслух не смел.

Однако дни шли... Жена успокаивалась. Андрей ждал. Наконец решил, что — можно.

И вот поздно вечером (он действительно «вламывал» по полторы смены) пришел он домой, а в руках держал коробку, а в коробке, заметно, что-то тяжеленькое. Андрей тихо сиял.

Ему нередко случалось приносить какую-нибудь работу на дом, иногда это были небольшие какие-нибудь деревянные штучки, ящички, завернутые в бумагу — никого не удивляло, что он с чем-то пришел. Но Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него обратят внимание... На него обратили внимание.

— Чего эт ты, как... голый зад при луне, светисся?

— Вот... дали за ударную работу, — Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку. И наконец открыл. И выставил на стол... микроскоп. — Микроскоп.

— Для чего он тебе?

Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился.

— Луну будем разглядывать! — и захохотал. Сын-пятиклассник тоже засмеялся: луну в микроскоп!

— Чего вы? — обиделась мать.

Отец с сыном так и покатились.

Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился.

— Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды... Так? — Андрей зачерпнул кружку воды. — Ты думаешь, ты воду пьешь?

— Пошел ты!

— Нет, ты ответь.

— Воду пью.

Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.

— Воду она пьет!.. Ну не дура?..

— Скважина! Счас сковородник возьму.

Андрей снова посерьезнел.

— Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой— то. Миллиончика два тяпнешь — и порядок. На закуску! — отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.

— Гляди суда! — закричал Андрей. Подбежал с кружкой к микроскопу долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверно, минуты две, еле дыша, смотрел. Сын стоял за ним — смерть как хотелось тоже глянуть.

— Пап!..

— Вот они, собаки!.. — прошептал Андрей Ерин. С каким-то жутким восторгом прошептал: — Разгуливают.

— Ну, пап!

Отец дрыгнул ногой.

— Туда-сюда, туда-сюда!.. Ах, собаки!

— Папка!

— Дай ребенку посмотреть! — строго велела мать, тоже явно заинтересованная.

Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил:

— Ну?

Сын молчал.

— Ну?!

— Вот они! — заорал парнишка. — Беленькие...

Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.

— Гляди! Воду она пьет...

Мать долго смотрела... Одним глазом, другим...

— Да никого я тут не вижу.

Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый.

— Оглазела! Любую копейку в кармане найдет, а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе прыгают, дура! Беленькие такие...

Мать, потому что не видела никаких беленьких, а отец с сыном видели, не осердилась.

— Вон, однако... — может, соврала, у нее выскакивало. Могла приврать.

Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прилип к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот.

— Твою мать, што делают! Што делают!..

— Мутненькие такие? — расспрашивала сзади мать сына. — Вроде как жиринки в супу?.. Они, што ли?

— Ти-ха! — рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. — Жиринки... Сама ты жиринка. Ветчина целая, — странно, Андрей Ерин становился крикливым хозяином в доме.

Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать дала ему подзатыльник. Потом подвела к микроскопу младших.

— Ну-ка ты, доктор кислых щей!.. Дай детям посмотреть. Уставился.

Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то.

Когда ужинали, Андрей все думал о чем-то, поглядывал на микроскоп и качал головой. Зачерпнул ложку супа, показал сыну:

— Сколько здесь? Приблизительно?

Сын наморщил лоб:

— С полмиллиончика есть.

Андрей Ерин прищурил глаз на ложку!

— Не меньше. А мы их — ам! — он проглотил суп и хлопнул себя по груди. — И — нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Он-то с имя управляется!

— Небось сам выпросил? — жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. — Может, пылесос бы дали. А то пропылесосить — и нечем.

Нет, бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся творец, увлекся. Как всякий художник, впрочем. Да ведь и то — не Мыслителя делал.

Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал:

— От же ж собаки!.. Што вытворяют. Што они только вытворяют! И не спится им!

— Не помешайся, — сказала жена, — тебе ведь немного и надо-то — тронешься.

— Скоро начну открывать, — сказал Андрей, залезая в тепло к жене. — Ты с ученым спала когда-нибудь?

— Еще чего!..

— Будешь, — и Андрей Ерин ласково похлопал супругу по мягкому плечу. — Будешь, дорогуша, с ученым спать.

Неделю, наверно, Андрей Ерин жил, как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал... Косился на микроскоп.

— Дело в том, — рассказывал он, — что человеку положено жить сто пятьдесят лет. Спрашивается, почему же он шестьдесят, от силы семьдесят — и протянул ноги? Микробы! Они, сволочи, укорачивают век человеку. Пролезают в организм, и как только он чуток ослабнет, они берут верх.

Вдвоем с сыном часами сидели они у микроскопа, исследовали. Рассматривали каплю воды из колодца, из питьевого ведра... Когда шел дождик, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы... И там этих беленьких кишмя кишело.

— Твою мать-то, што делают!.. Ну вот как с имя бороться? — у Андрея опускались руки. — Наступил человек в лужу, пришел домой, наследил. Тут же прошел и ребенок босыми ногами и, пожалуйста, подцепил. А какой там организьм у ребенка!

— Поэтому всегда надо вытирать ноги, — заметил сын. — А ты не вытираешь.

— Не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то — я вытру, знаю теперь, а Сенька вон Маров... докажи ему: как шлепал, дурак, так и впредь будет.

Рассматривали также капельку пота, для чего сынишка до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой соскреб у него со лба влагу — получили капельку, склонились к микроскопу...

— Есть! — Андрей с досадой ударил себя кулаком по колену. — Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В коже и то есть.

— Давай опробуем кровь? — предложил сын.

Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце... Склонился к трубке и застонал.

— Хана, сынок, — в кровь пролезли! — Андрей Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг. — Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают — и молчат.

— Кто? — не понял сын.

— Ученые. У их микроскопы-то получше нашего — все видят. И молчат. Не хотят расстраивать народ. А чего бы не

сказать? Может, все вместе-то и придумали бы, как их уничтожить. Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется.

Андрей Ерин сел на табуретку, закурил.

— От какой мелкой твари гибнут люди! — вид у Андрея был убитый.

Сын смотрел в микроскоп.

— Друг за дружкой гоняются! Эти маленько другие... Кругленькие.

— Все они — кругленькие, длинненькие — все на одну масть. Матери не говори пока, што мы у меня их в крове видели.

— Давай у меня посмотрим?

Отец внимательно поглядел на сына... И любопытство, и страх отразились в глазах Ерина-старшего. Руки его, натруженные за много лет — большие, пропахшие смольем... чуть дрожали на коленях.

— Не надо. Может, хоть у маленьких-то... Эх, вы! — Андрей встал, пнул со зла табуретку. — Вшей, клопов, личинок всяких — это научились выводить, а тут каких-то... меньше же гниды самой маленькой — и ничего сделать не можете! Где же ваша ученая степень!

— Вшу видно, а этих... Как ты их?

Отец долго думал.

— Скипидаром?.. Не возьмет. Водка-то небось покрепче... я ж пью, а вон видел, што делается в крове-то!

— Водка в кровь, что ли, поступает?

— А куда же? С чего же дуреет человек?

Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу... Умылся, подмигнул сыну, и они ушли в горницу.

— Давай попробуем... Наточил проволочку — может, сумеем наколоть парочку.

Кончик проволочки был тонкий-тонкий — прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку воды. Пыхтел... Вспотел даже.

— Разбегаются, заразы... Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя — не сделать. Ладно, счас поужинаем, попробуем их током... Я батарейку прихватил: два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда они будут...

И тут-то во время ужина нанесло неурочного: зашел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в «Заготзерне». По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрел к Андрею — просто так.

В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными. Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.

— Садись с нами, — без всякого желания пригласил Андрей.

— Зачем? Мы вот тут... Нам што? Нам — в уголку!..

«Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся?»

— Как хочешь.

— Дай микробов посмотреть?

Андрей встревожился.

— Каких микробов? Иди проспись, Серега... Никаких у меня микробов нету.

— Чего ты скрываешь-то? Оружию, што ли, прячешь? Научное дело... Мне мой парнишка все уши прожужжал: дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить. Андрей!.. — Сергей стукнул себя в грудь кулаком, устремил свирепый взгляд на «ученого». — Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я с тобой рядом работал!.. Андрюха!

Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что говорят про ее мужа — ученый. Скорей по привычке поворчать при случае, чем из истинного чувства, она заметила:

— Не могли уж чего-нибудь другое присудить? А то — микроскоп. Свихнется теперь мужик — ночи не спит. Што бы — пылесос какой-нибудь присудить... А то пропылесосить — и нечем, не соберемся никак купить.

— Кого присудить? — не понял Сергей.

Андрей Ерин похолодел.

— Да премию-то вон выдали... Микроскоп-то этот...

Андрей хотел было как-нибудь — глазами — дать понять Сергею, что... но куда там! Тот уставился на Зою как баран.

— Какую премию?

— Ну премию-то вам давали!

— Кому?

Зоя посмотрела на мужа, на Сергея...

— Вам премию выдавали?

— Жди, выдадут они премию! Догонют да ишо раз выдадут. Премию...

— А Андрею вон микроскоп выдали... за ударную работу... — голос супруги Ериной упал до жути — она все поняла.

— Они выдадут! — разорялся в углу пьяный Сергей. — Я в прошлом месяце на сто тридцать процентов нарядов назакрывал... так? Вон Андрей не даст соврать...

Все рухнуло в один миг и страшно устремилось вниз, в пропасть.

Андрей встал... Взял Сергея за шкирку и вывел из избы. Во дворе стукнул его разок по затылку, потом спросил:

— У тебя три рубля есть? До получки...

— Есть... Ты за што меня ударил?

— Пошли в лавку. Кикимора ты болотная!.. Какого хрена пьяный болтаешься по дворам?.. Эх-х... Чурка ты с глазами.

В эту ночь Андрей Ерин ночевал у Сергея. Напились они с ним до соплей. Пропили свои деньги, у кого-то еще занимали до получки.

Только на другой день, к обеду заявился Андрей домой... Жены не было.

— Где она? — спросил сынишку.

— В город поехала, в эту... как ее... в комиссионку.

Андрей сел к столу, склонился на руки. Долго сидел так.

— Ругалась?

— Нет. Так, маленько. Сколько пропил?

— Двенадцать рублей. Ах, Петька... сынок... — Андрей Ерин, не поднимая головы, горько сморщился, заскрипел зубами. — Разве же в этом дело?! Не поймешь ты по малости своей... не поймешь...

— Понимаю: она продаст его.

— Продаст. Да... Шубки надо. Ну ладно — шубки, ладно. Ничего... Надо: зима скоро. Учись, Петька! — повысил голос Андрей. — На карачках, но ползи в науку — великое дело. У тя в копилке мелочи нисколь нету?

— Нету, — сказал Петька. Может, соврал.

— Ну и ладно, — согласился Андрей. — Учись знай. И не пей никогда... Да они и не пьют, ученые-то. Чего им пить? У их делов хватает без этого.

Андрей посидел еще, покивал грустно головой... И пошел в горницу спать.

НЕПРОТИВЛЕНЕЦ МАКАР ЖЕРЕБЦОВ

Всю неделю Макар Жеребцов ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил жить — по возможности весело, но благоразумно, с «пониманием многомиллионного народа».

Он разносил односельчанам письма. Работу свою ценил, не стыдился, что он, здоровый, пятидесятилетний, носит письма и газетки. Да пенсию старикам.

Шагал по улице — спокойный, сосредоточенный.

Его окликали:

— Макар, нету?

— Ты же видишь — мимо иду, значит, нету.

— Чего же нету-то? Пора уж. Черти окаянные.

Макар подходил к пряслу, вешал свою сумку на колышек, закуривал.

— Сколько у нас, в СССР, народу?

Старуха не знала.

— Дьявол их знает, сколько? Много небось.

— Много, — Макар тоже точно не знал, сколько. — И всем надо выдать пенсию...

— Чего же всем-то? Все — зарплату получают.

— Ну, я неправильно выразился. Кто заслужил. Так?

— Ну? Чего ты опять?

— Спокойно. Тебе государство задержало пенсию на один день, и ты уже начинаешь возвышать голос. Сама злишься, и на тебя тоже глядеть тошно. А у государства таких, как ты, — миллионы. Спрашивается, совесть-то у вас есть или нету? Вы что, не можете потерпеть день-другой? Вы войдите тоже в ихнее-то положение.

Старухи обижались. Старики посылали Макара... дальше.

Макар шел дальше.

— Семен, ездил к сыну-то?

— Ездил...

— Ну, как?

— Никак. Как пил, так и пьет. С работы опять прогнали, свистуна.

— Ну, ты, конечно, коршуном на него, такой-сякой-разэ-дакый!

— А как же мне с им? Петя, сынок, уймись с пьянкой?

— Да где там! Ты и слов-то таких не знаешь. Ты привык языком-то, как оглоблей, ломить... Самого, дурака, с малых лет поленом учили, ты думаешь, и всегда так надо. Теперь совсем другая жизнь...

— Раньше так пили, как он заливается? Другая жизнь...

— А ты войди в его положение. Он — молодой, дорвался до вольной жизни, деньжаты появились... Ведь тут какую силу воли надо иметь, чтоб сдержаться? Конинную. С другой стороны, его тоска гложет — оторвался от родительского дома. Ты вон в город-то на неделю уедешь, и то тебя домой манит, а он сколько уж лет там. Он небось сходит в кино, поглядит про деревню — и пойдет выпьет. Это же все понимать надо.

— Ты, лоботряс, только рассуждать умеешь. А коснись самого, не так бы запел. Ходишь по деревне, пустозвонишь... Пустозвон. Чего ты лезешь не в свое дело?

— Я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то, да сядь выпей с ним...

— У тебя прям не голова, а сельсовет.

— Да. Выпей. А потом к нему потихоньку в душу: сократись, сынок, сократись, милый. Ведь мы все пьем по праздникам... Праздничек подошел — выпей, прошел праздничек — пора на работу, а не похмеляться. Та-ак, А как же? Поговорить надо, убедить человека. Да не матерным словом, а ласковым, ласковым, оно, глядишь, скорей дойдет.

— Его надо поленом по башке, а не ласковым словом.

— Во-от. Я и говорю: бараны. Рога на лбу выросли — и довольные: бодаться можно. А ты же человек, тебе разум даден, слово доходчивое...

— Иди ты!..

— Эх, вы.

Макар шагал дальше, и сердце его сосала, сладко прикусывая, жирная, мягкая змея, какая сосет сердце всех оскорбленных проповедников.

Иногда дело доходило до оплеух.

У Ивана Соломина жена Настя родила сына. Иван заспорил с Настей — как назвать новорожденного. Иван хотел Иваном: Иван Иванович Соломин, Настя хотела, чтоб был

Валерик. Супруги серьезно поссорились. И в это-то самое время Макар принес им письмо от сестры Настиной, которая жила с мужем в Магадане и писала в письмах, что живут они очень хорошо, что у них в доме только одной живой воды нет, а так все есть, «но, сами понимаете, — в концервах, так как климат здесь суровый».

Макар посмотрел красный безымянный комочек, поздравил родителей... И те, конечно, схватились перед ним — каждый свое доказывать.

— Иван!.. Иванов-то нынче осталось — ты да Ваня—дурачок в сказке. Умру — не дам Ванькой назвать! Сам как Ваня-дурачок...

— Сама ты дура! Счас в этом деле назад повернули, к старому. Посмотри в городах...

Макар весь подобрался, накогтился — почуял добычу.

— Спокойно, Иван, —сказал он хозяину. — Не обзывайся. Даже если она тебе законная жена, все равно ты ее не имеешь права дурачить. Она тебе — «Ваня-дурачок», допустим, а ты ей — «несмышленыш мой» или еще как-нибудь. Ласково. Ей совестно станет, она замолчит. А не замолчит — сам замолчи. Скрепись и молчи.

— Иди отсюда, миротворец!

— И меня не надо посылать. Зачем меня посылать? Ты меня послушай, постарайся сперва понять, а потом уж посылай. Ведь я к тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а по новым законам — твой друг и товарищ. И хочу вам подать добрый совет: назови-ка ты сынка своего Митей — в честь свояка магаданского. Ведь они вам и посылки шлют, и деньжат нет-нет подкинут... А напиши-ка ему, что вот, мол, своячок, в честь тебя сына назвал — Митрием. Он бы где — одну посылку, а тут подумает-подумает да две ахнет. А как же: в честь меня сына назвали — это бо-оль-шое уважение. За уважение люди тоже уважением плотют.

Иван чего-то озверел.

— Иди отсюда, гад подколодный! Чего ты лезешь не в свое дело?!

Макар посмеялся кротко, снисходительно, ласково. Он знал драчливый характер Ивана.

— Ах, пошуметь бы?.. Ах, бы да сейчас развоеваться бы?.. Эх, ты. Ваня и есть.

Иван и в самом деле взял почтальона за шкирку, подвел к двери и дал пинка под зад:

— За совет!

Макар пошагал дальше но улице. Потирал ушибленное место и шептал:

— Нога у дьявола — конская.

И начинал рассказывать встречным:

— Иван Соломин... Зашел к нему, у них пыль до потолка: не могут имя сыну придумать. Я и подскажи им: Митрий. У него свояк в Магадане — Митрий...

Но Макара не хотели слушать — некогда. Да и мало на селе в летнюю пору встречных.

И вот наступало воскресенье. В воскресенье Макар не работал. Он ждал воскресенья. Он выпивал с утра рюмочку-две, не больше, завтракал, выходил на скамеечку к воротам... Была у него такая скамеечка со столиком, аккуратная такая скамеечка, он удобно устраивался — нога на ногу, закуривал и, поблескивая повлажневшими глазами, ждал кого-нибудь.

— Михеевна!.. Здравствуй, Михеевна! С праздничком!

— С каким, Макар?

— А с воскресеньем.

— Господи, праздник!..

— Сын-то не пишет? Что-то давненько я к тебе не заходил.

— Некогда, поди-ка, расписываться-то. Тоже — не курорт — шахты-то эти.

— Всем им, подлецам, некогда. Им водку литрами жрать — на это у них есть время. А письмо матери написать — время нет. Пожалуйся на него директору шахты. Хошь, я сочиню? Заказным отправим...

— Ты что, сдурел, Макар? На родного сына стану директору жалиться!

— Можно хитрей сделать. Можно послать телеграмму: мол, беспокоюсь, не захворал ли? Его все равно вызовут...

— Тьфу, дьявол! Тебе что, делать, что ль, нечего, —выдумываешь сидишь?

— А учить подлецов надо, учить.

Старуха, злая, обиженная за сына, шла дальше своей дорогой.

— Боров гладкий, — бормотала она, — ты их нарожай сперва своих, потом жалься. Подымется ли рука-то?

— Человека — пока не стукнет, до тех пор он не поймет, — говорил сам с собой Макар. — На судьбу обижаемся, а она учит, матушка. Учит.

Проходили еще люди. Макар заговаривал со всеми, и все в таком же духе — в воскресном. Подсказывал, как можно теще насолить, как заставить уважать себя дирекцию совхоза. Надо только смелей быть. Выступать подряд на всех собраниях и каждый раз — против. Они сперва окрысятся, попробуют ущемить как-нибудь, а ты на собрании и про это. Важно — не сдаваться. Когда они поймут, что с тобой ничего нельзя сделать, тогда начнут уважать. А то еще и побаиваться станут — грешки-то есть. У кого их нету?

— Дак ведь возьмут да и выгонют.

— А куда выгонять-то? Дальше-то?.. Это ж не с завода.

Где-нибудь часа так в два пополудни к Макару выходил дед Кузьма, выпивоха и правдолюб. Опохмелиться у него никогда денег не было.

— Дай на бутылку. Во вторник поплывем с зятем рыбачить, привезу рыбки.

Макар давал рубль двадцать — на плодово-ягодную. Только просил:

— Приходи здесь пить. А то поговорить не с кем.

Дед приносил бутылку плодово-ягодной, выпивал стакан, и ему сразу легчало.

— Вчерась перебрали с зятем. Тоже лежит мучается.

— Отнеси стаканчик.

— Ничо, оклемается — молодой. Мне этой самому — только-только.

— Жадный.

— Нет, —просто говорил дед.

— А взять-то тоже не на что? Зятю-то.

— Да есть у Нюрки... Она рази даст. Тут хоть подохни. Как жена-то?

— Хворает.

— Ты ее, случаем, не поколачиваешь тайком? — чего она у тебя все время хворает?..

— Ни разу пальцем не тронул. Так — организм слабый.

— Чудной ты мужик, Макар. Не пойму тебя. Нашенских, кто на глазах рос, всех понимаю, а тебя никак не пойму.

— Чем же я кажусь чудной? — искренне интересовался Макар.

— Ну как же? Подошло воскресенье — ты сидишь день-деньской сложа ручки. Люди ждут не дождутся этого воскресенья, чтоб себе по хозяйству чего-нибудь сделать, а тебе вроде и делать нечего.

— А на кой оно мне... хозяйство-то?

— Вот то и чудно-то. Ты из каких краев-то? Или я уж спрашивал?

— Недалеко отсюда. Что мне его, хозяйство-то, в гроб с собой?

— Ну, тебе до гроба ишо... Поживешь. Работа — не бей лежачего. И не совестно ведь! — искренне изумлялся дед. — Неужель не совестно? На тебе же пахать надо, а ты...

— Ни на вот эстолько, — Макар показывал кончик мизинца.

— А почто, например, ты то одно людям говоришь, то другое — совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то?

Макар глубокомысленно думал, глядя на улицу, потом говорил. Похоже, всю правду, какую знал про себя.

— Не для этой я жизни родился, дед... Для этой, но гораздо круче умом замешан.

— Для какой же ты жизни?

— Сам не знаю. Вот говоришь — путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу — охота помочь советом каким-нибудь... Потом раздумаешься: да пошли вы все!.. Как жили, так и живите — кроты.

— Хм.

— Так вот ходишь неделю, тыкаешься в ихные дела... Потом придет воскресенье, и я вроде отдыхаю. Давайте, думаю, черти, — гните дальше. А я еще какую-нибудь пакость подскажу.

— Во стерьва-то!

— Ей-богу! А завтра опять пойду по домам, опять полезу с советами. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы — в большом масштабе советы-то давать, у меня бы вышло. Ну, подучиться, само собой... У меня какой-то зуд на советы. Охота учить, и все, хоть умри.

— Дак и учил бы одному чему а то, как...

— Да я и хочу! Но ведь я им одно, а они меня по матушке. А то и — по загривку. Ванька вон Соломин... так и пустил с крыльца.

— Ххэ!.. У того не заржавит.

— А я для его же пользы — назови, мол, сыночка-то Митей, в честь свояка, свояк-то в лепешку расшибется — будет посылки слать. Какая ему дураку разница — Митя у него будет расти или Ваня? А жить все же маленько полегче было бы — свояк-то на Севере, тыщи ворочает... А так-то я их не презираю, людей-то. Наоборот, мне их жалко.

Старик допивал остатки вина, поднимался.

— И все-таки стерьва ты, — говорил беззлобно. — Путаешь людей.

— Что, пошел?

— Пойду... Зять теперь очухался, погреб небось копает. Он с похмелья злой на работу. Помочь надо. Рыбки-то занесу килограмма два. Во вторник.

— Ладно, сгодится. Я до ухи любитель.

— Спасибо, что выручил.

— Не за что.

Дед уходил. А Макар оставался сидеть на скамеечке, глядел на село, курил.

Иногда из дома выходила больная жена — к теплу, к солнышку. Присаживалась рядышком.

— Вот ведь сколько домов!.. — раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар. — И в каждом дому — свое. А это — только одна деревня. А их, таких деревень-то, по России — ое-ей сколько!..

— Много, — соглашалась жена.

— Много, —вздыхал Макар. — Много. Где же всем поможешь! Завязнешь к чертям... Или — пристукнут где-нито насовсем. А все же жалко, дураков...

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Витька Борзенков поехал на базар в районный городок, продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, позарез нужны были деньги), пошел в винный ларек

«смазать» стакан-другой красного. Пропустил пару, вышел, закурил... Подошла молодая девушка, попросила:

— Разреши прикурить.

Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки — молодая, припухла, пальцы трясутся...

— С похмелья? — прямо спросил Витька.

— Ну, — тоже просто и прямо ответила выпивоха, с наслаждением затягиваясь «беломориной».

— А похмелиться не на что, — стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо.

— А у тебя есть?

(Никогда бы, ни с какой стати не влетело в лоб Витьке, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила).

— Пойдем, поправься, — Витьке понравилась девушка — миловидная, стройненькая... А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже как-то взволновали.

Они зашли в ларек... Витька взял бутылку красного, два стакана... Они тут же, в уголке, раздавили бутылочку. Витька выпил полтора стакана, остальное великодушно навялил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо, девушке тоже. Обоим стало хорошо.

— Здесь живешь?

— Вот тут, недалеко, — кивнула девушка. — Спасибо, легче стало.

— Врезала вчера? — Витьке было легко и просто с девушкой, удивительно.

— Было дело.

— Может, еще хочешь?

— Можно вообще-то... Только не здесь.

— Где же?

— Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет...

В груди у Витьки нечто такое — сладостно-скользкое вильнуло хвостом. Было еще рано, а до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом — можно все успеть сделать.

— У меня там еще подружка есть, —подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял: одну белую и две красных.

— С закусом одолеем, — решил он. — Есть чем закусить?

— Найдем.

Пошли с базара, как давние друзья.

— Чего приезжал?

— Сало продал. Деньги нужны — женюсь.

— Да?

— Женюсь. Хватит бурлачить, — странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты — куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой, — интересней.

— Хорошая девушка?

— Как тебе сказать?.. Домовитая. Хозяйка будет хорошая.

— А насчет любви?

— Как тебе сказать?.. Такой, как раньше бывало, —здесь вот кипятком подмывало чего-то такое, — такой нету. Так... Надо же когда-нибудь жениться.

— Не промахнись. Будешь потом... Непривязанный, а визжать будешь.

—Да я уж накобелился на свой век — хватит.

В общем, поговорили в таком духе, пришли к дому девушки (ее звали Рита). Витька и не заметил, как дошли и как шли — какими переулками. Домик как домик — старенький, темный, но еще будет стоять семьдесят лет, не охнет.

В комнатке (их три) чистенько, занавесочки, скатерочки на столах — уютно. Витька вовсе воспрянул духом.

«Шик-блеск-тру-ля-ля», —всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость.

— А где же подружка?

— Я сейчас схожу за ней. Посидишь?

— Посижу. Только поскорей, ладно?

— Заведи вон радиолу чтоб не скучать. Я быстро.

Ну почему так легко, хорошо Витьке с этой девушкой? Пять минут знакомы, а... Ну, жизнь! У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Когда она улыбается, глаза не улыбаются, и это придает ее круглому личику необъяснимую прелесть — маленькая, усталая женщина. Витьке то вдруг становится жалко девушку, то до боли охота стиснуть ее в объятиях, измять, куснуть ее припухшие, влажные губы.

Рита ушла. Витька стал ходить по комнате — радиолу не завел: без радиолы сердце млело в радостном предчувствии.

Потом помнит Витька: пришла подружка Риты — похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила с ходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, «работала каучук». Потом пили... Витька прямо тут же, за столом, целовал Риту, подружка смеялась одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула тугой грудью и другой рукой обнимала за шею.

«Вот она — жизнь! — ворочалось в горячей голове Витьки. — Вот она — зараза кипучая, желанная. Молодец я!»

Потом Витька ничего не помнит — как отрезало. Очнулся поздно вечером под каким-то забором... Долго и мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил он девушку Риту, губы ее мягкие, послушные... И понял: опоили чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил карманы: да, денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся... Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое, совсем другие дома.

У Витьки в укромном месте, в загашнике, был червонец — еще на базаре сунул туда на всякий случай. Пошарил — там червонец. Витька пошел наугад — до первого встречного. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко: прямо, потом налево переулком и вправо по улице — опять прямо. «И упретесь в автобусную станцию». Витька пошел... И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в голове поунялась и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила.

— Ладно, ладно, —бормотал он, —я вам устрою... Я вам тоже заделаю бяку.

Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится.

Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного, прямо из горлышка осаденил ее, всю, до донышка, запустил бу-

тылку в скверик... Ему какие-то подпившие мужики, трое, сказали:

— Там же люди могут сидеть.

Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку — оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати.

— Ну?! — удивился Витька. — Неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?

Трое переглянулись.

— А кто ж тут, по-твоему?

— Суки!

Трое пошли на него, Витька пошел на трех... Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали:

— Наших бьют!

Еще налетело человек пять... Бляха заиграла, мягко, тупо шлепалась в тела. Еще двое-трое свалилось... Попало и Витьке: кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь — Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой.

Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали — этим пользовался Витька и бил.

— Каучук работали? — орал он. — В цирке работали?!

Прибежала милиция... Всем скопом загнали Витьку в угол — между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутость ее, был налит свинец. Милиционер упал... Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень... Витьку отвезли в КПЗ.

Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то.

— Батюшки святы! — испугалась мать. — Чего же ему теперь за это?

— Тюрьма. Тюрьма верная. У милиционера тяжелая травма, лежит в больнице. За такие дела — только тюрьма. Лет пять могут дать. Что он, сдурел, что ли?

— Батюшка, андел ты мой господний, — взмолилась мать, — помоги как-нибудь!

— Да ты что! Как я могу помочь?..

— Да выпил он, должно, он дурной выпимши...

— Да не могу я ничего сделать, пойми ты! Он в КПЗ, на него уже наверняка завели дело.

— А кто же бы мог бы помочь-то?

— Да никто. Кто?.. Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже... Что они там могут сделать?

Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета — тот тоже развел руками:

— Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать... Все равно, наверно, придется писать. Ну, напишу хорошую.

— Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что — по пьянке он, он тверезый-то мухи не обидит...

— Там ведь не будут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке. Милиционера изувечил... Ты вот что: съезди к тому милиционеру, может, не так уж он его и зашиб-то. Хотя вряд ли...

— Вот спасибо-то тебе, андел ты наш, вот спасибочко-то.

— Да не за что.

Мать Витькина кинулась в район. Мать Витьки родила пятерых детей, рано осталась вдовой (Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в сорок втором году), старший сын ее тоже погиб на войне в сорок пятом году, девочка умерла от истощения в сорок шестом, следующие два сына выжили, мальчиками еще, спасаясь от великого голода, ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, осталась нищей, но сына выходила — крепкий вырос, ладный собой, добрый... Все бы хорошо, но пьяный — дурак дураком становится. В отца пошел — тот, царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускал.

В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово: тот правда лежал в больнице и был очень слаб. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице — тоже от Витькиной страшной бляхи.

Бляху с интересом разглядывали.

— Придумал, сволочь!.. Догадайся: ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще не ребром угодил.

И тут вошла мать Витьки... И, переступив порог, упала на колени и завыла, и запричитала:

— Да анделы вы мои милые, да разумные ваши головушки!.. Да способитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой — простите вы его, окаянного! Пьяный он был... Он трезвый последнюю рубашку отдаст, сроду тверезый никого не обидел...

Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще — чтобы мать все поняла.

— Ты подожди, мать. Ты встань, встань — здесь не церква. Иди, глянь...

Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном начальственного голоса.

— Вот гляди: ремень твоего сына... Он во флоте, что ли, служил?

— Во флоте, во флоте — на кораблях-то на этих...

— Теперь смотри: видишь? — начальник перевернул бляху, взвесил на руке: — Этим же убить человека — дважды два. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром — конец. Убийство. Да и плашмя троих уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь — простить. Ведь он же трех человек, можно сказать, инвалидами сделал, действительно. А одного — при исполнении служебных обязанностей. Ты подумай сама: как же можно прощать за такие дела, действительно?

Материнское сердце, оно — мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем.

— Да сыночки вы мои милые! — воскликнула мать и заплакала. — Да нешто не бывает по пьяному делу?! Да всякое бывает — подрались... Сжальтесь вы над ним!..

Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе. И хоть милиционеры — народ тертый, до жалости неохочий, даже и они — кто отвернулся, кто стал закуривать.

— Один он у меня — при мне-то: и поилец мой, и кормилец. А еще жениться надумал — как же тогда с девкой-то, если его посадют? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи, жалко...

— Он зачем в город-то приезжал? — спросил начальник.

— Сала продать. На базар — сальца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили — где их больше возьмешь?

— При нем никаких денег не было.

— Батюшки святы! — испугалась мать. — А иде ж они?

— Это у него надо спросить.

— Да украли небось! Украли!.. Да милый ты сын, он оттого, видно, и в драку-то полез — украли их у него! Жулики украли...

— Жулики украли, а при чем здесь наш сотрудник — за что он его-то?

— Да попал, видно, под горячую руку...

— Ну, если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сыновья! — начальник набрался твердости. — Не будет за это прощения, получит свое — по закону.

— Да анделы вы мои, люди добрые, — опять взмолилась мать, — пожалейте вы хоть меня, старуху, я только теперь маленько и свет-то увидела... Он работящий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила...

— Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Есть же прокурор! Ну, выпустили мы его, а с нас спросят: на каком основании? Мы не имеем нрава. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться.

— А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть, я нынче холста наткала — пропасть! Все им готовила...

— Да не будет он у тебя ничего брать, не будет! — уже кричал начальник. — Не ставь ты людей в смешное положение, действительно. Это же — не кум с кумом поцапались, это — покушение на органы!

— Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?

— Пусть к прокурору сходит, — посоветовал один из присутствующих.

— Мельников, проводи ее до прокурора, — велел начальник. И опять повернулся к матери, и опять стал с ней говорить, как с глухой или совсем бестолковой: — Сходи к прокурору — он повыше нас! И дело уже у него. И пусть он тебе там объяснит: можем мы чего сделать или нет? Никто же тебя не обманывает, пойми ты!

Мать пошла с милиционером к прокурору.

Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым.

— Сыночек, што, шибко он его зашиб-то?

Милиционер Мельников задумчиво молчал.

— Сколько же ему дадут, если судить-то станут?

Милиционер шагал широко. Молчал.

Мать семенила рядом и все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо.

— Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж... Мать-то и у тебя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, што вот говорю — а кажное слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?

Милиционер Мельников ответил туманно:

— Вот когда украшают могилы — оградки ставят, столбики, венки кладут... Это что — мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно.

Мать охватил такой ужас, что она остановилась.

— Ты к чему это?

— Пошли. Я к тому, что — будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить — пьяный, деньги украли — обидели человека. Но судить все равно будут — чтоб другие знали. Важно на этом примере других научить. Он поднял руку на представителя власти — эт-то...

— Да сам же говоришь — пьяный был!

— Это теперь не в счет. Теперь другая установка. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь сидеть, а другие — задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь.

Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала.

Прокурор матери с первого взгляда понравился — внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть она говори-

ла длинно и путано — что сын ее, Витька, хороший, добрый, что он трезвый мухи не обидит, что — как же ей теперь одной-то оставаться? Что девка, невеста, не дождется Витьку, что такую девку возьмут с руками-ногами — хорошая девка. Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе... Заговорил издалека, тоже как-то мудрено:

— Вот ты — крестьянка, вас, наверно, много в семье росло?..

— Шестнадцать, батюшка. Четырнадцать выжило, двое маленькие ишо померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали...

— Ну вот — шестнадцать. В миниатюре — целое общество. Во главе — отец. Так?

— Так, батюшка, так. Отца слушались...

— Вот! — поймал прокурор мать на слове. — Слушались! А почему? Нашкодил один — отец его ремнем. А братья и сестры смотрят, как отец учит шкодника, и думают: шкодить им или нет? Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости отец одному, прости другому — что в семье? Развал. Я понимаю тебя, тебе жалко... Если хочешь, и мне жалко — там, разумеется, не курорт, и поедет он, судя по всему не на один сезон. По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка, там мы бессильны. Судить будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд. Все.

Мать поняла, что и этот невзлюбил се сына. «За своего обиделись».

— Батюшка, а выше-то тебя есть кто?

— Как это? — не сразу понял прокурор.

— Ты самый главный али повыше тебя есть?

Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся.

— Есть, мать, есть. Много!

— Где же они?

— Ну, где?.. — посерьезнел прокурор. — Есть краевые организации... Ты что, ехать туда хочешь? Не советую.

— Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызволять, пока несужденый, потом чижельше будет...

— Скажи этим добрым людям, что они — не добрые. Это они со стороны добрые... добренькие. Кто это посоветовал?

— Да кто?.. Люди.

— Ну, ехай. Проездишь деньги, и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю: будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И никто этот суд не отменит.

У матери больно сжалось сердце. Но она обиделась на прокурора, а поэтому вида не показала, что едва держится, чтоб не грохнуться здесь и не завыть в голос. Ноги ее подкашивались.

— Разреши мне хоть свиданку с ним...

— Это можно, —сразу согласился прокурор. — У него что, деньги большие были, говорят?

— Были...

Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери.

— Иди в милицию.

Дорогу в милицию мать нашла одна, без длинного — его уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло. Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара. Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока его не засудили. А то потом вызволять будет трудно. Она вызволит сына, она верила в это, верила. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем, и все вот так — на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Она давно могла отчаяться, но неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Эти — ладно — эти за своего обиделись, у них зачерствело на душе от злости, а те — подальше которые — те помогут. Неужели же не помогут! Она все им расскажет — помогут. Странно, мать ни разу не подумала о сыне — что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь идти и идти... Найдет она этих добрых людей, найдет.

— Ну? — спросил ее начальник милиции.

— Велел в краевые организации ехать, — слукавила мать. — А вот — на свиданку, — она подала бумажку.

Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку... Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала: «А-а». Ей стало маленько полегче.

— Проводи, Мельников.

Мать думала, что идти надо будет далеко, долго, что будут открываться железные двери — сына она увидит за решеткой, и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки... Сын ее сидел тут же, внизу, в подвале. Там, в коридоре, стриженые мужики играли в домино... Уставились на мать и на милиционера. Витьки среди них не было.

— Что, мать, — спросил один мордастый, — тоже пятнадцать суток схлопотала?

Засмеялись.

— Егоров, — строго сказал длинный милиционер остряку, — в обед — драить служебные помещения.

Теперь уже заржали над остряком.

— Вот ты-то схлопотал!

— Ваня, ишо раз советую, отруби ты себе язык! — посоветовал один. — Перетерпи раз, зато потом всю жизнь проживешь без горюшка.

Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было три или четыре, открыл дверь...

Витька был один, а камера большая и нары широкие. Он лежал на нарах. Когда вошел милиционер, он не поднялся, но увидев за ним мать, вскочил.

— Десять минут на разговоры, — предупредил длинный. И вышел.

Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком.

— Гляди-ка, под землей, а сухо, тепло, — сказала она.

Витька молчал, сцепив на коленях руки. Смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс — сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтоб мать не заметила хоть этой его тряски.

— Деньги-то, видно, украли? — спросила мать.

— Украли.

— Ну и бог бы уж с имя, с деньгами, зачем было драку из-за них затевать? Не они нас наживают — мы их.

Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали, — стыдно. Две шлюхи... Стыдно,

мучительно стыдно! И еще — жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы — ждал этого и страшился.

У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете милиция, прокурор, суд, тюрьма... Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный... И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она — только она, никто больше — нужна ему?

— Не знаешь, сильно я его?..

— Да нет, плашмя попало... Но лежит, не поднимается.

— Экспертизу, конечно, сделали... Бюллетень возьмет... — Витька посмотрел на мать. — Лет семь заделают.

— Батюшки святы!.. — сердце у матери упало. — Што же уж так много-то?

— Милиция... С этими бы я договорился. Сала бы опять продал — сунули бы им, до суда дело не дошло бы.

— Да што милиция? Не люди, што ли?

— Тут — если он даже сам не захочет, за него подадут. Семь лет!.. — Витька вскочил с нар, заходил по камере. — Все прахом! Все, вся жизнь кувырком!

Мать мудрым сердцем своим поняла, какая сила гнетет душу ее ребенка: та самая огромная, едкая сила — отчаяние, что делает в душе вывих, заставляет браться за веревку или за бритву. Злая, могучая сила.

— Тебя как вроде уж осудили! — сказала она с укором. — Сразу — жизнь кувырком.

— А чего тут ждать? Все известно.

— Гляди-ка, все уж известно! Ты бы хоть сперва спросил: где я была, чего достигла?..

— Где была? — Витька остановился.

— У прокурора была.

— Ну? И он что?

— Дак вот и спроси сперва: чего он? А то сразу — кувырком! Какие-то слабые вы... Ишо ничем ничего, а уж... мысли бог знает какие.

— А чего прокурор-то?

— А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы... Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому што — наш человек-то, не имеем права. А ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы во-

лей-неволей его отпустим. Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хотели, мол, осудить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было?

— Полторы сотни.

— Батюшки святы! Нагрели руки.

В дверь заглянул длинный милиционер.

— Кончайте.

— Счас, счас, — заторопилась мать. — Мы уж все обговорили. Счас я, значит, доеду до дома, Мишка Бычков напишет на тебя характеристику... Хорошую, говорит, напишу.

— Там... это у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы... возьми на всякий случай.

— Какие грамоты?

— Ну, там увидишь. Может, поможет.

— Возьму. Потом схожу в контору — тоже возьму характеристику... С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж, у меня Сергеевна хотела взять?

— Зачем?

— Да взять бы деньжонок-то с собой — может, кого задобрить придется?

— Не надо, хуже только наделаешь.

— Ну, погляжу там.

В дверь заглянул милиционер.

— Время.

— Пошла, пошла, — опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула из-за пазухи печенюжку и яйцо. — На-ка поешь... Да шибко-то не задумывайся — не кувырком ишо. Помогут добрые люди. Большие-то начальники — они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться — сами себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай про чего-нибудь — про Верку хоть... Верка-то шибко закручинилась тоже. Даве забежала — а она уж слыхала...

— Ну?

— Горюет.

У Витьки в груди не потеплело оттого, что невеста горюет. Как-то так, не потеплело.

— А ишо вот чего... — мать зашептала: — Возьми да в уме помолись. Скажи: господи-батюшка, отец небесный, помо-

ги мне! Подумай так, подумай — попроси. Ничего, ты — крещеный. Со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дому-то выеду — до поезда — да забегу, свечечку Николе-угоднику поставлю, попрошу тоже его. Ничего, смилостивются. Похоронку от отца возьму...

— Ты братьям-то... это... пока уж не сообщай.

— Не буду, не буду — кого они сделают? Только лишний раз душу растревожут. Ты, главно, не задумывайся — что все теперь кувырком. А если уж дадут, так год какой-нибудь — для отвода глаз. Не семь же лет! А кому год дают, смотришь — они через полгода выходит. Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут.

Милиционер вошел в камеру и больше уже не выходил.

— Время, время...

— Пошла, — мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала:

— Спаси тебя Христос.

И вышла из камеры. И шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже их жалко, но тут какая-то особая жалость — когда вот так, тут — просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится... Но мать — действовала. Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние — это гибель, она знала. Она — действовала.

Часу в третьем пополудни мать выехала опять из деревни — в краевые организации.

«Господи, помоги, батюшка, — твердила она в уме беспрерывно. — Помоги, господи, рабе твоей Анне. Не допусти сына до худых мыслей, образумь его. Он маленько заполошный — как бы не сделал чего над собой. Помоги, господи! Укрепи нас!»

Поздно вечером она села в поезд и поехала. Впереди краевые организации. Это не страшило ее.

«Ничего, добрые люди помогут».

Она верила, помогут.

ПИСЬМО ЛЮБИМОЙ

В пятнадцать лет я писал свое первое любовное письмо. Невероятное письмо. Голова у меня шла кругом, в жар кидало, когда писал, но — писал.

Как я влюбился.

Она была приезжая — это поразило мое воображение. Все сразу полюбилось мне в этой девочке: глаза, косы, походка... Нравилось, что она тихая, что учится в школе (я там уже не учился), что она — комсомолка. А когда у них там, в школе, один парень пытался из-за нее отравиться (потом говорили, только попугал), я совсем голову потерял.

Не помню теперь, как случилось, что я пошел провожать ее из клуба.

Помню, была весна... Я даже и не выламывался, молчал. Сердце в груди ворочалось, как картофелина в кипятке. Не верилось, что я иду с Марией (так ее все называли — Мария, и это тоже мне ужасно нравилось!), изумлялся своей смелости, страшился, что она передумает и скажет: «Не надо меня провожать», и уйдет одна. И мучился — господи, как мучился! — что молчу. Молчу, как проклятый. Ни одного слова не могу из себя выдавить. А ведь умел и приврать при случае, и...

На прощанье только прижал Марию покрепче к груди и скорей-скорей домой, как на крыльях полетел. «Ну, гадство! — думал, — теперь вы меня не возьмете!» Сильный был в ту ночь, добрый, всех любил... И себя тоже. Когда кого-нибудь любишь, то и себя заодно любишь.

Потом я дня три не видел Марию, она не ходила в клуб. «Ничего, — думал, — я за это время пока осмелею». Успел подраться с одним дураковатым парнем.

— Провожал Марию? — спросил он.

— Ну.

— Гну! Хватит. Теперь я буду.

Колун парень, ухмылка такая противная... Но здоровый. Я умел «брать на калган» — головой бить. Пока он махал своими граблями, я его пару раз «взял на калган», он отстал.

А Марии — нет (Потом узнали, что отец не стал пускать ее на улицу). А я думал, что ни капли ей не понравился, и

она не хочет видеть меня, молчуна. Или — тоже возможно — опасается: выйдет, а я ей всыплю, за то, что не хочет со мной дружить. Так делали у нас: не хочет девка дружить с парнем и бегает от него задами и переулками, пока не сыщется заступник.

И вот тогда-то и сел я за письмо.

«Слушай, Мария, — писал я, — ты что, с этим Иванов П. начала дружить? Ты с ума сошла! Ты же не знаешь этого парня — он надсмеется над тобой и бросит. Его надо опасаться, как огня, потому что он уже испорченный. А ты девочка нежная. А у него отец родной — враг народа, и он сам на ножах ходит. Так что смотри. Мой тебе совет: заведи себе хорошего мальчика, скромного, будете вместе ходить в школу и одновременно дружить. А этого дурака ты даже из головы выкинь — он опасный. Почему он бросил школу? Думаешь, правда, по бедности? А ху-ху не хо-хо? Он побывал в городе, снюхался там с урками и теперь ему одна дорожка — в тюрьму. Так что смотри. С какими ты глазами пойдешь потом в школу, когда ему выездная сессия сунет в клубе лет пять? Ты же со стыда сгоришь. Что скажут тебе твои родные мать с отцом, когда его повезут в тюрьму? А его повезут, вот увидишь. У него все мысли направлены — где бы только своровать или кого-нибудь пырнуть ножом. Ну, тебя он, конечно, не пырнет, но научит плохому. Какая про тебя славушка пойдет! А ты еще молодая, тебе жить да жить. А его песенка спета. Опасайся его. Никогда с ним не дружи и обходи стороной. Он знается с такими людьми, которые могут и квартиру вашу обчистить, тем более что вы — богатенькие. Вот он на вас-то и наведет их. А случись — ночное дело — прирезать могут. А он будет смотреть и улыбаться. Ты никогда не узнаешь, кто это тебе писал, но писал знающий человек. И он желает тебе только добра».

Вот так.

Много лет спустя Мария, моя бывшая жена, глядя на меня грустными, добрыми глазами, сказала, что я разбил ее жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего, посоветовала не пить много вина — тогда у меня будет все в порядке. Мне стало нестерпимо больно — жалко стало Марию, и себя тоже. Грустно стало. Я ничего не ответил.

А письмо это я тогда не послал.

Примечания

РАССКАЗЫ

В архиве В.М.Шукшина имеется более ста опубликованных рассказов.

Настоящее издание является наиболее полным. По нему читатель может составить представление как о целостном облике Шукшина-новеллиста (общепризнанно, что именно рассказы обеспечили их автору видное место в русской прозе XX века), так и о движении и развитии его мастерства и миропонимания.

Все известные читателям рассказы В.М.Шукшина написаны в последние полтора десятилетия его жизни: с 1958 по 1974 год.

Перелом наступил летом 1958 года: в журнале «Смена» № 15 появился рассказ Шукшина «Двое на телеге». С тех пор имя Шукшина-рассказчика не сходит со страниц печатных изданий.

В примечаниях, помимо времени и места написания рассказов, отражены прижизненные публикации: периодика и книги В.М.Шукшина: «Сельские жители» (М., Молодая гвардия, 1963), «Там, вдали...» (М., Советский писатель, 1968), «Земляки» (М., Советская Россия, 1970), «Характеры» (М., Современник, 1973) и «Беседы при ясной луне» (М., Советская Россия, 1974), а также вышедшие сразу после смерти автора «Брат мой» (М., Современник, 1975) и «Избранные произведения» в двух томах (М., Молодая гвардия, 1975), которые В.М.Шукшин успел в основном составить сам.

В примечаниях также приведены наброски В.М.Шукшина из его рабочих тетрадей, относящиеся к конкретным рассказам. Эти наброски позволяют судить о движении его замысла.

В примечаниях отмечены наиболее характерные полемические суждения критиков об отдельных рассказах В.М.Шукшина, появившиеся при его жизни.

Публикующиеся в настоящем издании рассказы, как и другие произведения, были выверены по всем имеющимся архивным материалам с учетом последних уточнений автора.

Я РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ...

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Пvбликация Л.Н.Федосеевой-Шукшиной из архива В.М.Шукшина.

ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ ИВАНА ПОПОВА

Первоначально с подзаголовком: «Воспоминания, написанные им самим». Цикл рассказов написан в 1968 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 11, 1968) под названием «Из детства Ивана Попова», затем в книге В.М.Шукшина «Земляки» в сокращенном виде.

В рабочих тетрадях писателя сохранился набросок, озаглавленный «Отец» и посвященный Макару Леонтьевичу Шукшину. Вот он:

«Отец.

Отца плохо помню. Помню — точно это было во сне — бежал за жнейкой по пыльной улице и просил его:

— Тять, прокати! Тять!

Еще помню: он лежал на кровати — прилег, а я разбежался от лавки и прыгнул ему на грудь. А он сказал:

— О, как ты умеешь!

Рассказывают, это был огромный мужик, спокойный, красивый... Насчет красоты — трудно сказать. У нас красивыми называют здоровых, круглолицых — «ряшка — во!». Наверно, он был действительно очень здоровый: его почему-то называли двухсердечным. Фотографии его ни одной не осталось — не фотографировали. Он был какой-то странный человек. Я пытаюсь по рассказам восстановить его характер и не могу — очень противоречивый характер. А может, не было еще никакого характера — он был совсем молодой, когда его «взяли» — двадцать два года.

Мать моя вышла за него «убегом». Собрала в узелок рубашонки, какие были, платьишки — и айда! Ночью увез, на санях. А потом — ничего: сыграли свадьбу, все честь по чести. Просто мамины родители хотели немного покуражиться — не отдавали девку.

А потом жили неважно.

Отец был на редкость неразговорчивый. Он мог молчать целыми днями. И неласковый был, не ласкал жену. Другие ласкали, а он нет. Мама плакала. Я, когда подрос и начитался книг, один раз хотел доказать ей, что не в этом же дело — не в ласках. Она рассердилась:

— Такой же, наверно, будешь... Не из породы, а в породушку.

Почему-то отец не любил попа.

Когда поженился, срубил себе избу. Избу надо крестить. Отец на дыбы — не хочет, мать в слезы. На отца напирает родня с обеих сторон: надо крестить. Отец махнул рукой: делайте что хотите, хоть целуйтесь со своим длинногривым мерином.

Воскресенье. Мать готовится к крестинам, отец во дворе. Скоро должен прийти поп. Мать радуется, что все будет, как у добрых людей. А отец в это время, пока она хлопотала и радовалась, потихоньку разворотил крыльцо, прясло, навалил у двери кучу досок и сидит тюкает топором какой-то кругляш. Он раздумал крестить избу.

Пришел поп со своей свитой: в избу не пройти.

— Чего тут крестить, я ее еще не доделал, — сказал отец.

Мать неделю не разговаривала с ним. Он не страдал от того.

А меня крестили втайне от отца. Он уехал на пашню, а меня быстренько собрали мать с бабкой и оттащили в церковь.

Работать отец умел и любил. По-моему, он только этим и жил — работой. Уезжал на пашню и жил там неделями безвыездно. А когда к нему приезжала мама, он был недоволен.

— Макар, вон баба твоя едет, — говорили ему.

— Ну и что теперь?

— Я ехала к нему, как к доброму, — рассказывала мама. — Все едут и я еду — жена ведь, не кто-нибудь. А он увидит меня, возьмет топор и пойдет в согру дрова рубить. Разве не обидно? Дура была молодая: надо было уйти от него.

И всегда она мне так рассказывала об отце. А я почему-то любил его.

А когда взяли отца (1933 год. — Ред.), *она сама же плакала. Все ждала: отпустят. Не отпустили. Перегнали в Барнаул. Тогда мать и еще одна молодая баба поехали в Барнаул. Ехали в каких-то товарных вагонах, двое суток ехали. (Сейчас за шесть часов доезжают.) Доехали. Пошли в тюрьму. Передачу приняли.*

— Мне ее надо было сразу уж всю отдать, а я на два раза разделила, думаю: пусть знает, что я еще здесь, все, может, легче будет, — рассказывает мать. — А пришла на другой день — не берут. Нет, говорят, такого.

Потом они пошли к какому-то главному начальнику. Сидит, говорит, такой седой, усталый, вроде добрый. Посмотрел в книгу и спрашивает:

— Дети есть?

— Есть, двое.

— Не жди его, устраивай как-нибудь свою жизнь. У него высшая мера наказания.

Соврал зачем-то. Отца реабилитировали в 1956 году, посмертно, но в бумажке было сказано, что он умер в 1942 году.

В чем обвинили отца, я так и не знаю. Одни говорят: вредительство в колхозе, другие — что будто он подговаривал мужиков поднять восстание против Советской власти.

Как бы там ни было, не стало у нас отца».

(Архив В.М.Шукшина.)

ДАЛЁКИЕ ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Рассказ написан в 1961 году. В периодике не печатался. Впервые опубликован в книге В.М.Шукшина «Сельские жители» (1963).

ДЯДЯ ЕРМОЛАЙ

Написан летом 1971 года в селе Сростки. Впервые опубликован в газете «Советская Молдавия» 14 августа 1971 года, а затем в том же году в газетах «Советская Литва» (21 августа), «Советская Киргизия» и «Советская Эстония» (22 августа), «Алтайская правда» (26 августа),

«Туркменская искра» (9 сентября) и в журнале «Наш современник» (№ 9, 1971). Рассказ вошел в книги «Характеры», «Брат мой» и в «Избранные произведения».

Набросок к рассказу в рабочих тетрадях: *«Из детства. Случай, когда нас бригадир послал с Гришкой Новоселовым сторожить ток. Мы ток в темноте не нашли,переспали в первой попавшей скирде. А утро было — в этом и рассказ — утро после дождя. И всю жизнь мне снится то утро».*

Финал рассказа, начиная со слов: «Не так — не кто умнее, а — кто ближе к истине...», написан В.Шукшиным в ходе последней авторской правки, незадолго до смерти, и впервые опубликован в 3-томном собрании сочинений (М., Молодая гвардия, 1985).

ПЛЕМЯННИК ГЛАВБУХА

Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Москва» (№ 4, 1962). Вошел в сборник «Сельские жители».

РАССКАЗЫ 60-Х ГОДОВ

ДВОЕ НА ТЕЛЕГЕ

Один из первых рассказов Шукшина. Впервые опубликован в журнале «Смена» в № 15 за 1958 год. В сборники автором не включался.

ЛИДА ПРИЕХАЛА

Написан в начале 60-х годов. При жизни В.М.Шукшина не публиковался. Впервые опубликован в газете «Неделя» за 30 декабря — 5 января 1975 года.

СВЕТЛЫЕ ДУШИ

Рассказ написан в 1959 году, впервые опубликован в журнале «Октябрь» (№ 3, 1961). Включен В.М.Шукшиным в книгу «Сельские жители» .

ПРАВДА

Рассказ написан в 1960 году, впервые опубликован в журнале «Октябрь» (№ 3, 1961) и параллельно в газете «Труд» 26 марта 1961 года. Включен автором в книгу «Сельские жители».

СТЕНЬКА РАЗИН

Рассказ написан в 1960 году, впервые опубликован в журнале «Москва» (№ 4, 1962). Включен в книгу «Сельские жители».

СОЛНЦЕ, СТАРИК И ДЕВУШКА

Рассказ написан в 1960 году. В периодике не печатался. Впервые опубликован в сборнике «Сельские жители».

ЭКЗАМЕН

Рассказ написан в 1960 году. Впервые опубликован в журнале «Октябрь» (№ 1, 1962). Включен В.М.Шукшиным в книгу «Сельские жители».

СТЁПКИНА ЛЮБОВЬ

Рассказ написан в 1960 году. Впервые опубликован в журнале «Октябрь» (№ 3,1961). Включен в книгу «Сельские жители». В 1964 году рассказ стал объектом полемики между критиками Е.Митиным и В.Кожиновым (газета «Литературная Россия», 19 июня и 25 сентября); в ходе полемики Г.Митин требовал от автора нравственных оценок происходящего, а В.Кожинов доказывал, что эти оценки следуют из художественного смысла рассказа.

ДЕМАГОГИ

Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия» (№ 3, 1962). Включен в книгу «Сельские жители», в дальнейшие прижизненные книги В.М.Шукшина не включался.

ЛЁНЬКА

Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия» (№ 3, 1962). Включен в книгу «Сельские жители». В дальнейшие прижизненные издания не включался.

АРТИСТ ФЁДОР ГРАЙ

Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Москва» (№ 4, 1962) и параллельно в газете «Советская Россия» 30 апреля 1962 года. Включен В.М.Шукшиным в книгу «Сельские жители».

ВОСКРЕСНАЯ ТОСКА

Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован 1 января 1962 года в «Комсомольской правде» под названием «Приглашение на два лица». Вошел в книгу «Сельские жители».

КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ

Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в журнале «Октябрь» (№ 5, 1962). Включен в книгу «Сельские жители» (1963). Мотивы рассказа использованы В.М.Шукшиным в фильме «Живет такой парень».

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в газете «Труд» 30 апреля 1962 года под названием «Перед полетом», затем в журнале «Октябрь» (№ 5, 1962). Вошел в сборник «Сельские жители» как заглавное произведение. Включен также в сборник «Беседы при ясной луне» и в «Избранные произведения».

ЛЁЛЯ СЕЛЕЗНЁВА С ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ

Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Октябрь» (№ 5, 1962. Вошел в сборник «Сельские жители».

ГРИНЬКА МАЛЮГИН

Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 2, 1963). Вошел в сборник «Сельские жители». Мотивы рассказа использованы в фильме «Живет такой парень».

КЛАССНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 2, 1963). Включен в сборник «Сельские жители». Мотивы рассказа использованы в фильме «Живет такой парень».

ИГНАХА ПРИЕХАЛ

Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 2, 1963), Включен в сборник «Сельские жители» Мотивы рассказа использованы в фильме «Ваш сын и брат».

ОДНИ

Первоначально: «Музыкант». Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 2, 1963). Включен в сборник «Сельские жители» и в «Избранные произведения».

КРИТИКИ

Рассказ написан в 1963 году. Впервые опубликован в журнале «Искусство кино» (№ 2, 1964). Не включался автором ни в один из прижизненных сборников. «Возможно, что В.М.Шукшин об этом рассказе забыл» (Л. Н. Федосеева-Шукшина). Впервые издан в книге В.М.Шукшина «До третьих петухов» (М., 1976).

ЗМЕИНЫЙ ЯД

Рассказ написан в 1964 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№11, 1964). Включен в сборники «Там, вдали...», «Брат мой». Мотивы рассказа использованы в фильме «Ваш сын и брат».

И РАЗЫГРАЛИСЬ ЖЕ КОНИ В ПОЛЕ

Рассказ написан в 1964 году. Впервые опубликован с сокращениями в «Литературной газете» 22 августа 1964 года, затем полностью в книге «Библиотека современной молодежной прозы и поэзии» (т. 3, М., 1967). Включен В.М.Шукшиным в книги: «Там, вдали...», «Земляки», «Избранные произведения». Стихи в рассказе написаны В.М.Шукшиным.

СТЁПКА

Первоначально: «Дурак». Написан в 1964 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ II, 1964). Вошел в сборники В.Шук-

шина «Там, вдали...», «Земляки», «Избранные произведения» (1975). Мотивы рассказа использованы в фильме «Ваш сын и брат».

КОСМОС, НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ШМАТ САЛА

Рассказ написан в 1966 году: Впервые опубликован в газете «Литературная Россия» 29 июля 1966 года. Вошел в сборники «Там, вдали...», «Земляки», в «Избранные произведения». Мотивы рассказа использованы в сценарии фильма «Позови меня в даль светлую».

НЕЧАЯННЫЙ ВЫСТРЕЛ

Первоначально: «Колька», «Нога». Написан в 1966 году. Впервые опубликован в газете «Московский комсомолец» 27 июля 1966 года. Вошел в книги «Там, вдали...» и «Земляки».

ОХОТА ЖИТЬ

В рукописи посвящение: *«Лиде Федосеевой в день 8 марта 1966 года. Аутор»*. Впервые рассказ опубликован в еженедельнике «Неделя» за 3—9 июля 1968 года. Включен в книгу «Там, вдали...». Переиздан, в частности, в книге «Библиотека современной молодежной прозы и поэзии» (т. 3, М., 1967).

КАПРОНОВАЯ ЁЛОЧКА

Первоначально: «В ночь под Новый год». Рассказ написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь» (№ 12, 1966). Включен в книги «Там, вдали...» и «Брат мой».

Географическое название Буланово введено В. Шукшиным в рассказ в ходе последней авторской правки незадолго до смерти, до того во всех публикациях — Завьялово. По всей видимости, автор хотел уйти от широко распространенного в Сибири названия сел — Завьялово.

ВАНЯ, ТЫ КАК ЗДЕСЬ?!

Первоначально: «Как Пронька Лагутин чуть не сделался артистом». Рассказ написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (№ 12, 1966). Включен в сборники «Там, вдали...»и «Брат мой».

ЗАРЕВОЙ ДОЖДЬ

Первоначально: «Дождь на заре». Написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (№ 12, 1966). Включен в сборники «Там, вдали...» и «Брат мой».

В 1969 году рассказ стал объектом полемики: А. Марченко, отвечая критикам Г.Митину, В.Камянову и Л.Аннинскому оспорила его драматизм: «Вы настроились на серьезный лад... и совершенно напрасно!» (журнал «Вопросы литературы», № 4, 1969). В архиве В.М.Шукшина сохранился экземпляр статьи А. Марченко с пометкой: *«Тетя не понимает шуток»*.

ОПЕРАЦИЯ ЕФИМА ПЬЯНЫХ

Первоначально: «20 лет спустя», «Как бюллетировали тетку Матрену». Рассказ написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (№ 12, 1966). Включен в сборник «Земляки» и в «Избранные произведения».

КУКУШКИНЫ СЛЁЗКИ

Рассказ написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (№ 12, 1966). Включен в сборник «Там, вдали...».

ВЯНЕТ, ПРОПАДАЕТ

Рассказ написан в 1966 году в Хабаровске. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 1, 1967), затем в книгах «Там, вдали...», «Земляки», «Беседы при ясной луне», и «Избранных произведениях» . Включен В.М.Шукшиным в сценарий «Позови меня в даль светлую».

ВОЛКИ

Рассказ написан в 1966 году на Алтае. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 1, 1967), затем в книге «Библиотека современной молодежной прозы и поэзии», в сборниках «Там, вдали...», «Земляки», «Беседы при ясной луне», в «Избранных произведениях».

НАЧАЛЬНИК

Рассказ написан в 1966 году на Алтае. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 1,1967). Включен в сборник «Там, вдали...».

ГОРЕ

Рассказ написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Москва» (№ 3, 1967). Включен в сборники «Там, вдали...», «Беседы при ясной луне», «Брат мой» и в «Избранные произведения».

СЛУЧАЙ В РЕСТОРАНЕ

Первоначальные названия: «Крупный поэт», «Крупный интеллигент». Написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Москва» (№ 3, 1967). Включен в сборники «Там, вдали...» и «Беседы при ясной луне». При своем появлении рассказ вызвал полемику критиков Ю.Идашкина («Комсомольская правда», 16 декабря 1967 г.) и И.Штокмана («Литературная газета», 11 сентября 1968 г.); первый усмотрел в героях рассказа «удивительное духовное убожество», а второй оспорил это мнение, истолковав рассказ как историю расплаты человека за сделанный им неправильный жизненный выбор.

ВНУТРЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

Рассказ написан в 1966 году. Впервые опубликован в журнале «Москва» (№ 3, 1967). Включен в сборник «Там, вдали...». Мотивы рассказа использованы в фильме «Живет такой парень».

ДУМЫ

Рассказ написан в январе 1967 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 9, 1967). Вошел в сборники «Там, вдали...», «Земляки», «Избранные произведения». Использован в фильме «Странные люди».

В ПРОФИЛЬ И АНФАС

Первоначально: «Земля». Рассказ написан в 1967 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 9, 1967). Вошел в сборники «Там, вдали...», «Земляки», в «Избранные произведения».

КАК ПОМИРАЛ СТАРИК

Рассказ написан в 1967 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 9, 1967). Вошел в сборники «Там, вдали...», «Земляки», «Беседы при ясной луне», в «Избранные произведения».

ДВА ПИСЬМА

Первоначально: «Так как же мы все-таки живем? (Два неотправленных письма)». Рассказ написан в 1967 году. Впервые опубликован в газете «Советская Россия» 17 мая 1967 года. Включен в книгу «Там, вдали...» и в «Избранные произведения».

«РАСКАС»

Написан в 1967 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 9, 1967). Вошел в сборники «Там, вдали...», «Земляки», «Беседы при ясной луне» и «Избранные произведения».

ЧУДИК

Рассказ написан в 1967 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 9, 1967). Вошел в сборники «Там, вдали...», «Земляки», «Беседы при ясной луне» и в «Избранные произведения». Рассказ использован в фильме «Странные люди» — новелла «Братка».

МИЛЬ ПАРДОН, МАДАМ!

Рассказ написан в 1967 году для цикла «Непутевые люди». Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 11, 1968). Включен в сборники «Земляки», «Беседы при ясной луне» и в «Избранные произведения» (1975). Рассказ использован в фильме «Странные люди» — новелла «Роковой выстрел».

ЗЕМЛЯКИ

Рассказ написан в 1968 году. Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь» (№ 5, 1968) под названием «Здешний», затем в сборнике «Земляки» и в «Избранных произведениях».

ДАЁШЬ СЕРДЦЕ!

Первоначально: «Даешь жизнь!». Рассказ написан в 1967 году для цикла «Непутевые люди». Впервые опубликован в книге «Земляки», затем в сборниках «Характеры» и «Брат мой».

В ВОСКРЕСЕНЬЕ МАТЬ-СТАРУШКА...

Рассказ написан в 1967 году. Впервые опубликован в книге «Земляки», затем в «Беседах при ясной луне».

МИКРОСКОП

Первоначально: «Микро-микро». Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь» (№ 11, 1969). Вошел в сборник «Земляки» и в «Избранные произведения».

Финал рассказа, начиная со слов: «...Зима скоро. Учись, Петька!..» — написан В.М.Шукшиным в ходе последней авторской доработки незадолго до смерти и впервые был опубликован в Собрании сочинений в 3-х томах (М., Молодая гвардия, 1983).

НЕПРОТИВЛЕНЕЦ МАКАР ЖЕРЕБЦОВ

Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 10, 1969) под названием «Макар Жеребцов». Вошел в сборники «Земляки», «Характеры» и в «Избранные произведения».

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Рассказ написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир» (№ 10, 1969), затем в книгах «Беседы при ясной луне», «Брат мой» и в «Избранных произведениях».

ПИСЬМО ЛЮБИМОЙ

Один из самых первых литературных опытов Шукшина. Публикация Л.Н.Федосеевой-Шукшиной.

Комментарии к произведениям, опубликованным в настоящем издании, подготовлены Л.Аннинским, Г.Костровой и Л.Федосеевой-Шукшиной.

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Макарович Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах

Книга первая

ОХОТА ЖИТЬ

Лицензия № 063348 от 13 мая 1994 г.

Подписано в печать 16.12.1997 г. Формат 84×108/32.
Бумага типографская №1. Печать высокая. Уч.-изд. л. 28,8.
Усл. п. л. 26,88. Тираж 10000 экз. Заказ 423.

Издательство «Надежда-1»
129366, Москва, ул. Космонавтов, 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

Лидушка





«Я его еще во ВГИКе узнала, хотя учились на разных курсах: Вася в пятьдесят четвертом поступил, а я — в пятьдесят шестом. Шукшин был у нас комсомольским секретарем и со стороны казался товарищем очень строгим, недоступным, даже необычным. Необычно выглядела его одежда: гимнастерка, галифе, сапоги.

Необычным был взгляд: стрельнет в тебя глазом, а потом упрет куда-то в пол, в землю... И походка тоже была отличительная — очень уж какая-то устойчивая, твердая. Даже упрямая. Откровенно говоря, мне в нем это тогда не нравилось.

Когда годы спустя мы поженились, я вспомнила: «К тебе в институте страшно было подойти — весь в себе, вечно замкнут...» Он улыбался и скороговоркой: «Было, было, было...» И подарил свою книгу «Сельские жители» с такой надписью: «За то, что ты меня когда-то невзлюбила, вот тебе беспомощная моя работа».

Впрочем, свои привычки он сохранил на всю жизнь. Говорил: «Надеть бы косоворотку, сапоги, но только чтобы вокруг не смеялись...» Не раз повторял: «Хорошо работать в чистой рубахе, валенках и чтобы было полно сигарет...» Как-то раз признался: «Мне кажется, что в галстуке или накрахмаленной рубашке я бы не написал ни строчки...»

А сблизила нас песня. Съемки фильма «Какое оно море?» должны были проходить в Крыму. Сели дружной компанией в поезд Москва—Феодосия, достали снедь. Я запела «Калина красная, калина вызрела...» — тогда, в шестьдесят четвертом, эта песня как раз только появилась. Он стал подпевать. Дальше — больше: «Вот кто-то с горочки спустился...», «Куда ведешь, тропинка милая...». Так с песни все и началось.



Жили мы сначала на окраине Москвы, которая называется Свиблово, в маленькой Васиной кооперативной квартире. Там и дочки родились — погодки Маша и Оля, как раз по количеству комнат.



На ночь вместе с дочками сочинял сказки. Бывало и утром бегут к нему: «Папа, сказочку!» Он отбивается: «Дайте хоть глаза продрать...» Потом на кухне восхищенно: «Оля словно перочинный ножичек: р-раз — и складывается ко мне, а Машка, как журавлик, ножки вытянула...» Машу так и звал Журавликом, а Олю по-разному.

Как-то Оля (ей было четыре года) увидела в кабинете книжечку «Земляки» с портретом отца. Подбежала.

— Папа, почему ты здесь?

— Потому что это моя книжка, я ее написал.

— Как это «написал»?

— Я писатель.

Девочка была поражена:

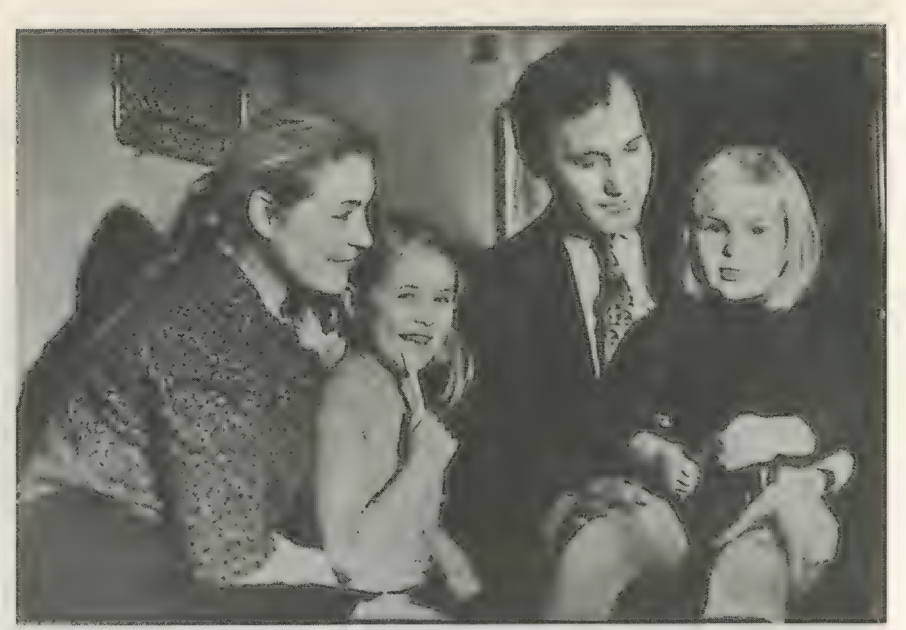
— Ты пи-са-тель? Мама! Иди скорей сюда! Ты знаешь, наш папа — писатель!..

Он хохотал до слез...



Обожал дочек. С интересом наблюдал за ними, следил за их игрой: «Может, и правда артистками вырастут? Да еще талантливыми? Как режиссер, обязательно высмотрю...» Писал им из Сибири: «Девочки, вырастайте скорей, и я вам покажу свою родину. Тогда вы поймете, что такое жизнь...»

Подолгу играл с детьми, устраивал с Машей и Олей шумные баталии, катал их на спине. Уложив девочек, говорил друзьям: «Сейчас, значит, кофеечку, сигаретку...». Подготавливал себя к любимому разговору — о дочках. Слушал мои рассказы, восхищался: «Нет, определенно дети гениальные».



«Расскажу немного о своих невестах. Это надо, конечно, видеть, особенно Ольгу. Она такая толстенькая, крепенькая... Но справиться с ними нет сил. Я удивляюсь Лидиному терпению. Ей, конечно, достается. С Машей — глаз да глаз. Носятся, возятся. Оля — характером спокойнее, тверже. Маша ее безумно любит, тискает, а той не нравится, говорит: «Мася, не надо». Меня заездили. Как появляюсь дома, так — на рученьки (а лючики — говорит Оля). Очень она меня любит, Оля.

Маня, эта вертихвостка, очень любит танцевать и танцует, надо сказать, удивительно... выгибается, ручками выделывает. Оля, глядя на нее, тоже танцует, но больше — одной ногой, и руками, как мужик, машет.

Олю положили спать, она начинает болтать в кроватке, все рассказывает, что с ней за день было. Я подойду, строжусь: Спать, Оля! Это что такое! У тебя совесть есть или нет? где у тебя совесть? — Титиляля (потеряла). Или мать подойдет — тоже ругает ее, а она спрашивает: Сюсин кулит? (Шукшин курит?) Я действительно сижу на кухне, курю.

Оля такая деревенская, надежная, а Маня — москвичка. Поют хорошо. «Коля — Коля — Николай, я приду, а ты встречай». Хорошенькие, сил нет. Приведу их на студию, все сбегаются смотреть...»

(Из письма В. Шукшина к матери)

Вася писал урывками. Сетовал: «Четыре строчки в день — разве это работа?..» Там, в Свиблово, всю маленькую квартиру заполнили дочки. Работать выпадало только ночью, на кухне. Шукшин мечтал: «Хочу стол, как у Ромма, большой, и чтобы завален был книгами, бумагами. Хочу кабинет, чтобы можно было бы от всех закрыться».

В новой квартире на улице Бочкова, куда переехали в семьдесят втором году, мечта о кабинете, наконец, осуществилась, и стол подобрали просторный, но писать выходило все равно, только когда все домашние засыпали. Заваривал покрепче кофе, доставал сигареты — тихо, хорошо... Раскрывал общую тетрадь в клеенчатом переплете — он любил такие вот тетради: чем толще, тем лучше. Обычно рассказы вынашивал долго и писал почти без помарок. Как только заканчивал, будил меня: «Послушай...» Однажды просыпаюсь: под подушкой — тетрадка. Раскрыла: «В день 8 Марта дарю тебе этот рассказ». Назывался он «Охота жить».



Многие почему-то думают, что Шукшин жену себе привез из Сибири, на фильм «Печки-лавочки». А ведь я коренная ленинградка. Как-то рассказывая ему о своем детстве, упомянула, в частности, что жила в нашей коммунальной квартире глухонемая девочка, с которой я настолько сдружилась, что абсолютно понимала ее «язык». Более того, могла свободно на нем разговаривать. Шукшин очень заинтересовался и вскоре написал рассказ «Степка». Потом рассказ вошел в картину «Ваш сын и брат», а роль глухонемой Веры предназначалась специально для меня, но в силу разных причин я сниматься не смогла...



Работалось с ним легко. Накануне съемки мы обычно устраивали дома застольную репетицию, причем как режиссер Шукшин вел себя очень тактично: никаких «приказов», никаких «давлений». Верил в мою интуицию. Но работать с актерами обожал, и еще особое удовольствие доставлял ему монтаж фильма.

Как-то я с дочками пришла к мужу в больницу, а у него в глазах слезы:

— Что случилось?

Подает «амбарную книгу»:

— На вот, написал... Только не надо сейчас... Потом, дома.

Читала, плакала... Зазвонил телефон. Подняла трубку, а говорить не могу... Он — оттуда, тихо:

— Ну что, ставить будем?

Она, тетрадка эта, и сейчас на его рабочем столе. Вверху надпись: «Калина красная», а пониже: «Киносценарий 27 октября — 15 ноября 1972 года. Москва (больница)».



А вообще-то уставал он от съемок картин просто дьявольски, ведь сценарий для него никогда не был законом, и он все что-то менял, в каждый кусочек картины стремился вложить очень много. А тут жесткие сроки производства, клещи монтажа, худсовет... Выматывался и не раз клятвенно заверял: «Все, с кино завязываю. Надо писать...» Но думаю, с кинематографом он никогда бы не расстался...

Он не любил многолюдных мест, свободное время стремился проводить дома.

Не любил автомашины — чтобы перейти дорогу, обычно долго выбирал подходящий момент. Хотя, когда понадобилось для роли, научился лихо управлять грузовиком.

Не любил ходить по магазинам — все хозяйство было на мне.

Не любил смотреть телевизор. Только мировые чемпионаты по фигурному катанию и боксу. Бокс обожал.

В шахматы со мной не любил играть, считал, что не «дотягиваю» до него: «Ты же в конце концов не Нона Гаприндашвили». В нарды иногда, когда появлялось свободное время. А его, как правило, не было.





Работа, работа, работа и страсть к чтению необыкновенная. Мог запереться в дальнюю комнату и часами читать.

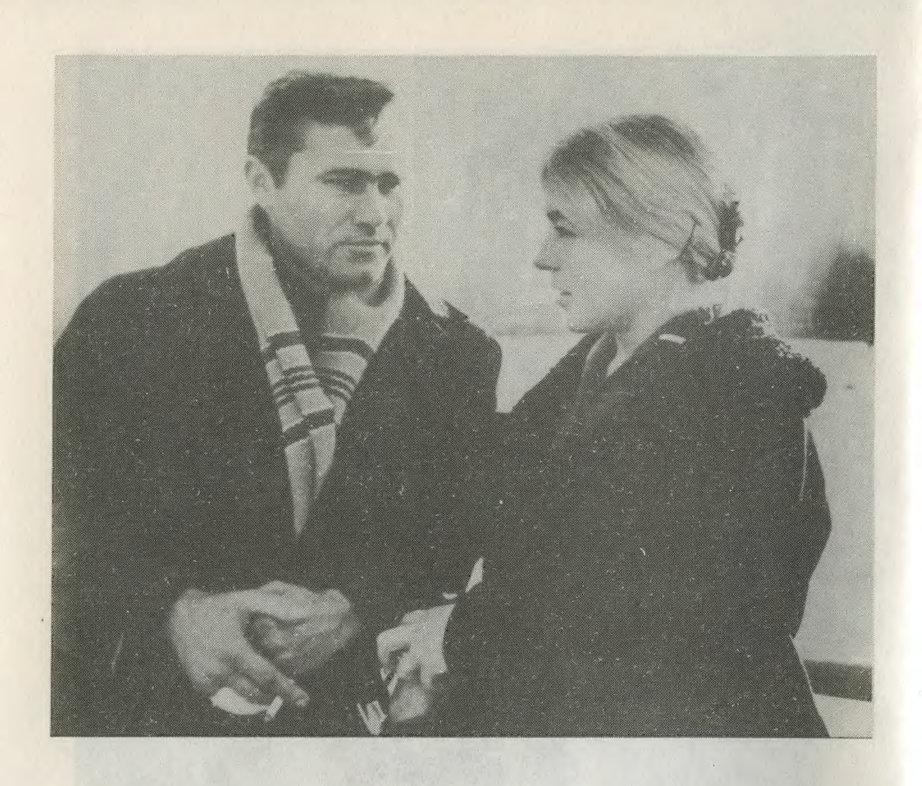
Как-то Вася задумался: «Почему бы мне хобби себе какое-нибудь не найти?» и начал — начал коллекционировать зажигалки. Быстро остывал к предмету, переключался на другой — [illegible], пепельницы, словом, все, что относилось к курению. А вот табак бросить не мог. Курил беспощадно.



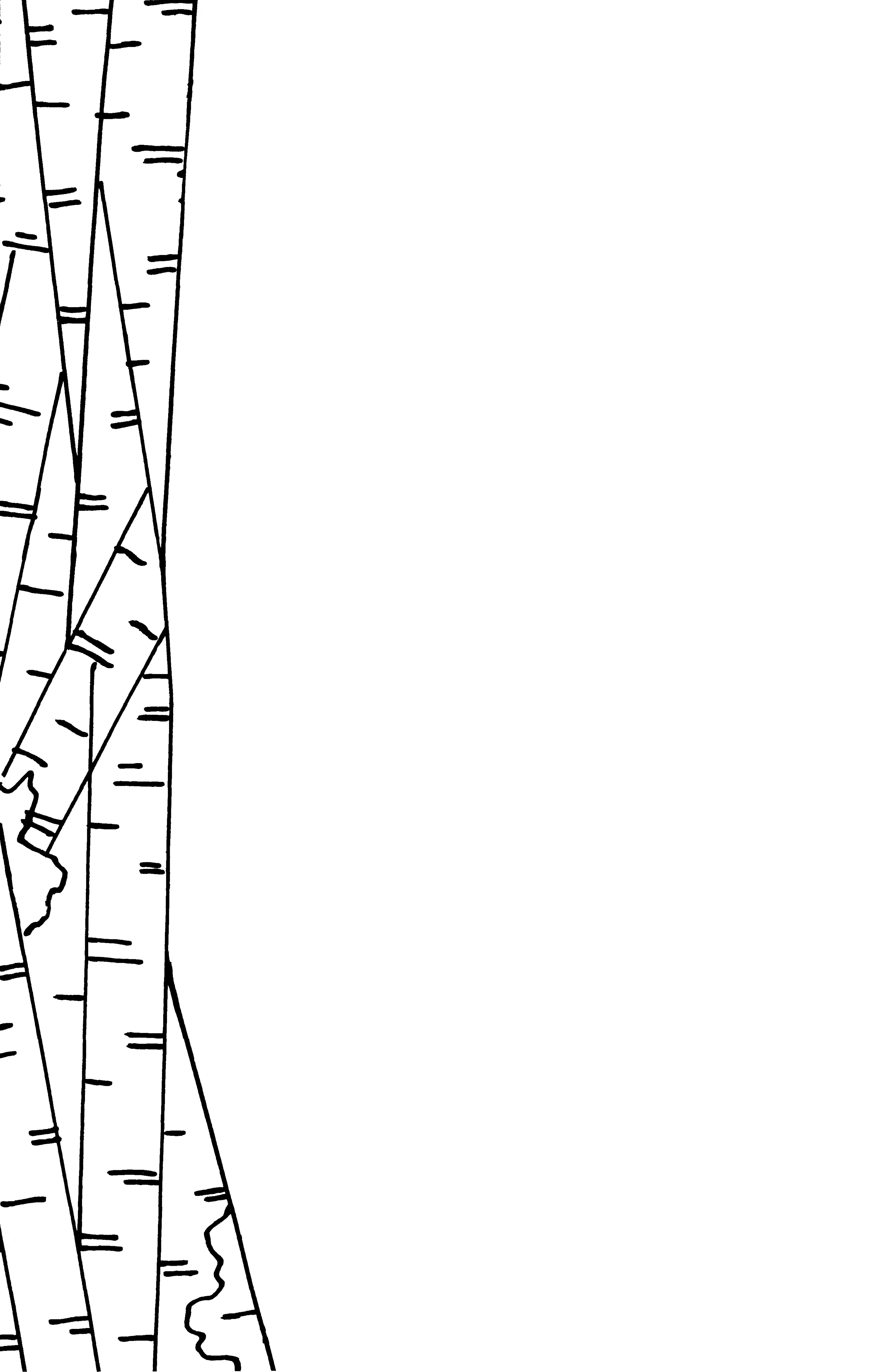
Самый лучший отдых для Шукшина — это разговоры о детях. Устраивался в кухне, сигареты, кофе и мог часами слушать мои рассказы. Хмурился, когда что-то расстраивало, особенно если дочки болели. А уж когда был доволен, то смеялся аж до слез. Дочка смешное как-то выдумала, так Вася несколько дней подряд все меня теребил: расскажи, да расскажи еще раз.







Жизнь с Шукшиным... Работа с Шукшиным... Смешно говорить, что он был для меня «своим режиссером» — он меня сделал, вылепил, сформировал — назовите, как хотите. Не только как актрису — как человека. Он знал меня прекрасно. Знал, что я могу сыграть, что не могу. Все женские роли в сценариях (кроме «Живет такой парень»), в пьесах он примерял на меня и собирался делать со мной не только Любу, Нюру, Груню, но и «Невесту» в «Точке зрения», дочь Бабы Яги в сказке «До третьих петухов». Был придуман сценарий про глухонемую... Вообще у Василия Макаровича было очень много задумок, причем именно для кино — не только «Разин». Я убеждена, что никогда бы он режиссуру не бросил, хотя желание это сделать появлялось у него после сдачи каждой картины. Но «киношный» зуд сидел в нем постоянно, и, я думаю, никогда бы он от него не избавился.



Еще — ни холодов, ни льдин,
Земля тепла, красна калина.
А в землю лег еще один
На Новодевичьем мужчина.

«Должно быть, он примет
не знал —
Народец праздный суесловит, —
Смерть тех из нас всех прежде
ловит,
Кто понарошку умирал».

Коль так, Макарыч, —
не спеши,
Спусти колки, ослабь зажимы,
Пересними! Перепиши!
Переиграй! Останься живым!

Но в слезы мужиков вгоняя,
Ты пулю в животе понес,
Припал к земле, как верный
пес,
А рядом куст калины рос.
Калина — красная такая...

И был бы «Разин» в этот год!
Натура где — Онега, Нарочь?
Все — печки-лавочки, Макарыч,
Такой твой парень не живет!

Ты белые стволы берез
Ласкал в киношной гулкой
рани,
Но успокоился всерьез,
Решительней, чем на экране.

Смерть самых лучших намечает
И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во тьму!..
Не поздоровилось ему!
Не буйствует и не скучает.

И после непременной бани,
Чист перед Богом и тверез,
Вдруг взял да умер он всерьез.
Спокойнее, чем на экране.

Владимир Высоцкий